ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1975

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1975

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ДЕСЯТЫЙ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
1872—1903

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1975

Примечания
С. А. Розановой

Оформление художника
И. Жихарева

Т $\frac{70301-038}{028(01)-75}$ подписное

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК

(Быль)

1

Служил на Кавказе офицером один барин. Звали его Жилин.

Пришло раз ему письмо из дома. Пишет ему старуха мать: «Стара я уж стала, и хочется перед смертью повидать любимого сынка. Приезжай со мной проститься, похорони, а там и с богом, поезжай опять на службу. А я тебе и невесту приискала: и умная, и хорошая, и именье есть. Полюбится тебе, может, и женишься и совсем останешься».

Жилин и раздумался: «И в самом деле: плоха уж старуха стала; может, и не придется увидать. Поехать; а если невеста хороша — и жениться можно».

Пошел он к полковнику, выправил отпуск, простился с товарищами, поставил своим солдатам четыре ведра водки на прощанье и собрался ехать.

На Кавказе тогда война была. По дорогам ни днем, ни ночью не было проезда. Чуть кто из русских отъедет или отойдет от крепости, татары или убьют, или уведут в горы. И было заведено, что два раза в неделю из крепости в крепость ходили провожатые солдаты. Спереди и сзади идут солдаты, а в средине едет народ.

Дело было летом. Собрались на зорьке обозы за крепость, вышли провожатые солдаты и тронулись по дороге. Жилин ехал верхом, а телега с его вещами шла в обозе.

Ехать было 25 верст. Обоз шел тихо; то солдаты остановятся, то в обозе колесо у кого соскочит, или лошадь станет, и все стоят — дожидаются.

Солнце уже и за полдни перешло, а обоз только половину дороги прошел. Пыль, жара, солнце так и печет, а укрыться негде. Голая степь, ни деревца, ни кустика по дороге.

Выехал Жилин вперед, остановился и ждет, пока подойдет обоз. Слышит, сзади на рожке заиграли,— опять стоять. Жилин и подумал: «А не уехать ли одному, без солдат? Лошадь подо мной добрая, если и нападусь на татар — ускачу. Или не ездить?..»

Остановился, раздумывает. И подъезжает к нему на лошади другой офицер, Костылин, с ружьем, и говорит:

— Поедем, Жилин, одни. Мочи нет, есть хочется, да и жара. На мне рубаху хоть выжми.— А Костылин — мужчина грузный, толстый, весь красный, а пот с него так и льет. Подумал Жилин и говорит:

— А ружье заряжено?

— Заряжено.

— Ну, так поедем. Только уговор — не разъезжаться.

И поехали они вперед по дороге. Едут степью, разговаривают да поглядывают по сторонам. Кругом далеко видно.

Только кончилась степь, пошла дорога промеж двух гор в ущелье, Жилин и говорит:

— Надо выехать на гору, поглядеть, а то тут, пожалуй, выскочат из-за горы и не увидишь.

А Костылин говорит:

— Что смотреть? поедем вперед.

Жилин не послушал его.

— Нет,— говорит,— ты подожди внизу, а я только взгляну.

И пустил лошадь налево, на гору. Лошадь под Жилиным была охотницкая (он за нее сто рублей заплатил в табуне жеребенком и сам выездил); как на крыльях взнесла его на кручь. Только выскакал, глядь — а перед самым им, на десятину места, стоят татары верхами,— человек тридцать. Он увидал, стал назад поворачивать; и татары его увидали, пустились к нему, сами на скаку выхватывают ружья из чехлов. Припустил Жилин под кручь во все лошадиные ноги, кричит Костылину:

— Вынимай ружье! — а сам думает на лошадь свою: «Матушка, вынеси, не зацепись ногой, спотыкнешься — пропал. Доберусь до ружья, я им не дамся».

А Костылин, заместо того чтобы подождать, только увидал татар — закатился что есть духу к крепости. Плетью ожаривает лошадь то с того бока, то с другого. Только в пыли видно, как лошадь хвостом вертит.

Жилин видит — дело плохо. Ружье уехало, с одной шашкой ничего не сделаешь. Пустил он лошадь назад

к солдатам — думал уйти. Видит, ему наперерез катят шестеро. Под ним лошадь добрая, а под теми еще добрее, да и наперерез скачут. Стал он окорачивать, хотел назад поворотить, да уж разнеслась лошадь, не удержит, прямо на них летит. Видит — близится к нему с красной бородой татарин на сером коне. Визжит, зубы оскалил, ружье наготове.

«Ну, — думает Жилин, — знаю вас, чертей, если живого возьмут, посадят в яму, будут плетью пороть. Не дамся же живой».

А Жилин хоть невелик ростом, а удал был. Выхватил шашку, пустил лошадь прямо на красного татарина, думает: «Либо лошадью сомну, либо срублю шашкой».

На лошадь места не доскакал Жилин, выстрелили по нем сзади из ружей и попали в лошадь. Ударилась лошадь оземь со всего маху, — навалилась Жилину на ногу.

Хотел он подняться, а уж на нем два татарина вонючие сидят, крутят ему назад руки. Рванулся он, скинул с себя татар,— да еще соскакали с коней трое на него, начали бить прикладами по голове. Помутилось у него в глазах и зашатался. Схватили его татары, сняли с седел подпруги запасные, закрутили ему руки за спину, завязали татарским узлом, поволокли к седлу. Шапку с него сбили, сапоги стащили, все обшарили, деньги, часы вынули, платье все изорвали. Оглянулся Жилин на свою лошадь. Она, сердечная, как упала на бок, так и лежит, только бьется ногами,— до земли не достает; в голове дыра, и из дыры так и свищет кровь черная,— на аршин кругом пыль смочила.

Один татарин подошел к лошади, стал седло снимать. Она все бьется,— он вынул кинжал, прорезал ей глотку. Засвистело из горла, трепанулась, и пар вон.

Сняли татары седло, сбрую. Сел татарин с красной бородой на лошадь, а другие подсадили Жилина к нему на седло; а чтобы не упал, притянули его ремнем за пояс к татарину и повезли в горы.

Сидит Жилин за татарином, покачивается, тычется лицом в вонючую татарскую спину. Только и видит перед собой здоровенную татарскую спину, да шею жилистую, да бритый затылок из-под шапки синеется. Голова у Жилина разбита, кровь запеклась над глазами. И нельзя ему ни поправиться на лошади, ни кровь обтереть. Руки так закручены, что в ключице ломит.

Ехали они долго с горы на гору, переехали вброд реку, выехали на дорогу и поехали лощиной.

Хотел Жилин примечать дорогу, куда его везут,— да глаза замазаны кровью, а повернуться нельзя.

Стало смеркаться. Переехали еще речку, стали подниматься по каменной горе, запахло дымом, забрехали собаки.

Приехали в аул [1]. Послезли с лошадей татары, собрались ребята татарские, окружили Жилина, пищат, радуются, стали каменьями пулять в него.

Татарин отогнал ребят, снял Жилина с лошади и кликнул работника. Пришел ногаец скуластый, в одной рубахе. Рубаха оборванная, вся грудь голая. Приказал что-то ему татарин. Принес работник колодку: два чурбака дубовых на железные кольца насажены, и в одном кольце пробойчик и замок.

Развязали Жилину руки, надели колодку и повели в сарай: толкнули его туда и заперли дверь. Жилин упал на навоз. Полежал, ощупал в темноте, где помягче, и лег.

2

Почти всю эту ночь не спал Жилин. Ночи короткие были. Видит — в щелке светиться стало. Встал Жилин, раскопал щелку побольше, стал смотреть.

Видна ему из щелки дорога — под гору идет, направо сакля татарская, два дерева подле нее. Собака черная лежит на пороге, коза с козлятами ходит, хвостиками подергивают. Видит — из-под горы идет татарка молоденькая, в рубахе цветной, распояской, в штанах и сапогах, голова кафтаном покрыта, а на голове большой кувшин жестяной с водой. Идет, в спине подрагивает, перегибается, а за руку татарчонка ведет бритого, в одной рубашке. Прошла татарка в саклю с водой, вышел татарин вчерашний с красной бородой, в бешмете шелковом, на ремне кинжал серебряный, в башмаках на босу ногу. На голове шапка высокая, баранья, черная, назад заломлена. Вышел, потягивается, бороду красную сам поглаживает. Постоял, велел что-то работнику и пошел куда-то.

Проехали потом на лошадях двое ребят к водопою. У лошадей храп мокрый. Выбежали еще мальчишки бри-

---

[1] А у л — татарская деревня. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

тые, в одних рубашках, без порток, собрались кучкой, подошли к сараю, взяли хворостину и суют в щелку. Жилин как ухнет на них: завизжали ребята, закатились бежать прочь, только коленки голые блестят.

А Жилину пить хочется, в горле пересохло; думает — хоть бы пришли проведать. Слышит — отпирают сарай. Пришел красный татарин, а с ним другой, поменьше ростом, черноватенький. Глаза черные, светлые, румяный, бородка маленькая, подстрижена; лицо веселое, все смеется. Одет черноватый еще лучше; бешмет шелковый синий, галунчиком обшит. Кинжал на поясе большой, серебряный; башмачки красные, сафьянные, тоже серебром обшиты. А на тонких башмачках другие толстые башмаки. Шапка высокая, белого барашка.

Красный татарин вошел, проговорил что-то, точно ругается, и стал; облокотился на притолку, кинжалом пошевеливает, как волк исподлобья косится на Жилина. А черноватый, — быстрый, живой, так весь на пружинах и ходит,— подошел прямо к Жилину, сел на корточки, оскаливается, потрепал его по плечу, что-то начал часто-часто по-своему лопотать, глазами подмигивает, языком прищелкивает, все приговаривает: «корошо урус! корошо урус!»

Ничего не понял Жилин и говорит: «Пить, воды пить дайте!»

Черный смеется. «Корош урус», — все по-своему лопочет.

Жилин губами и руками показал, чтоб пить ему дали.

Черный понял, засмеялся, выглянул в дверь, кликнул кого-то: «Дина!»

Прибежала девочка — тоненькая, худенькая, лет тринадцати и лицом на черного похожа. Видно, что дочь. Тоже — глаза черные, светлые и лицом красивая. Одета в рубаху длинную, синюю, с широкими рукавами и без пояса. На полах, на груди и на рукавах оторочено красным. На ногах штаны и башмачки, а на башмачках другие с высокими каблуками; на шее монисто, всё из русских полтинников. Голова непокрытая, коса черная, и в косе лента, а на ленте привешаны бляхи и рубль серебряный.

Велел ей что-то отец. Убежала и опять пришла, принесла кувшинчик жестяной. Подала воду, сама села на корточки, вся изогнулась так, что плечи ниже колен

ушли. Сидит, глаза раскрыла, глядит на Жилина, как он пьет, как на зверя какого.

Подал ей Жилин назад кувшин. Как она прыгнет прочь, как коза дикая. Даже отец засмеялся. Послал ее еще куда-то. Она взяла кувшин, побежала, принесла хлеба пресного на дощечке круглой и опять села, изогнулась, глаз не спускает — смотрит.

Ушли татары, заперли опять дверь.

Погодя немного, приходит к Жилину ногаец и говорит:

— Айда, хозяин, айда!

Тоже не знает по-русски. Только понял Жилин, что велит идти куда-то.

Пошел Жилин с колодкой, хромает, ступить нельзя, так и воротит ногу в сторону. Вышел Жилин за ногайцем. Видит — деревня татарская, домов десять, и церковь ихняя, с башенкой. У одного дома стоят три лошади в седлах. Мальчишки держат в поводу. Выскочил из этого дома черноватый татарин, замахал рукой, чтоб к нему шел Жилин. Сам смеется, все говорит что-то по-своему, и ушел в дверь. Пришел Жилин в дом. Горница хорошая, стены глиной гладко вымазаны. К передней стене пуховики пестрые уложены, по бокам висят ковры дорогие; на коврах ружья, пистолеты, шашки — всё в серебре. В одной стене печка маленькая вровень с полом. Пол земляной, чистый как ток, и весь передний угол устлан войлоками; на войлоках ковры, а на коврах пуховые подушки. И на коврах в одних башмаках сидят татары: черный, красный и трое гостей. За спинами у всех пуховые подушки подложены, а перед ними на круглой дощечке блины просяные и масло коровье распущено в чашке, и пиво татарское — буза, в кувшинчике. Едят руками, и руки все в масле.

Вскочил черный, велел посадить Жилина в сторонке, не на ковер, а на голый пол, залез опять на ковер, угощает гостей блинами и бузой. Посадил работник Жилина на место, сам снял верхние башмаки, поставил у двери рядком, где и другие башмаки стояли, и сел на войлок поближе к хозяевам; смотрит, как они едят, слюни утирает.

Поели татары блины, пришла татарка в рубахе такой же, как и девка, и в штанах; голова платком покрыта. Унесла масло, блины, подала лоханку хорошую и кувшин с узким носком. Стали мыть руки татары, потом сложили руки, сели на коленки, подули на все стороны и молитвы

прочли. Поговорили по-своему. Потом один из гостей-татар повернулся к Жилину, стал говорить по-русски.

— Тебя,— говорит,— взял Кази-Мугамед,— сам показывает на красного татарина,— и отдал тебя Абдул-Мурату, — показывает на черноватого. — Абдул-Мурат теперь твой хозяин. — Жилин молчит.

Заговорил Абдул-Мурат, и все показывает на Жилина, и смеется, и приговаривает: «солдат урус, корошо урус».

Переводчик говорит: «Он тебе велит домой письмо писать, чтоб за тебя выкуп прислали. Как пришлют деньги, он тебя пустит».

Жилин подумал и говорит: «А много ли он хочет выкупа?»

Поговорили татары, переводчик и говорит:

— Три тысячи монет.

— Нет,— говорит Жилин,— я этого заплатить не могу.

Вскочил Абдул, начал руками махать, что-то говорит Жилину,— всё думает, что он поймет. Перевел переводчик, говорит: «Сколько же ты дашь?»

Жилин подумал и говорит: «Пятьсот рублей».

Тут татары заговорили часто, все вдруг. Начал Абдул кричать на красного, залопотал так, что слюни изо рта брызжут. А красный только жмурится да языком пощелкивает.

Замолчали они; переводчик и говорит:

— Хозяину выкупу мало пятьсот рублей. Он сам за тебя двести рублей заплатил. Ему Кази-Мугамед был должен. Он тебя за долг взял. Три тысячи рублей, меньше нельзя пустить. А не напишешь, в яму посадят, наказывать будут плетью.

«Эх,— думает Жилин,— с ними, что робеть, то хуже». Вскочил на ноги и говорит:

— А ты ему, собаке, скажи, что если он меня пугать хочет, так ни копейки ж не дам, да и писать не стану. Не боялся, да и не буду бояться вас, собак!

Пересказал переводчик, опять заговорили все вдруг. Долго лопотали, вскочил черный, подошел к Жилину.

— Урус,— говорит,— джигит, джигит урус!

Джигит, по-ихнему, значит «молодец». И сам смеется; сказал что-то переводчику, а переводчик говорит:

— Тысячу рублей дай.

Жилин стал на своем: «Больше пятисот рублей не дам. А убьете, — ничего не возьмете».

Поговорили татары, послали куда-то работника, а сами то на Жилина, то на дверь поглядывают. Пришел работник, и идет за ним человек какой-то, толстый, босиком и ободранный, на ноге тоже колодка.

Так и ахнул Жилин,— узнал Костылина. И его поймали. Посадили их рядом; стали они рассказывать друг другу, а татары молчат, смотрят. Рассказал Жилин, как с ним дело было; Костылин рассказал, что лошадь под ним стала и ружье осеклось и что этот самый Абдул нагнал его и взял.

Вскочил Абдул, показывает на Костылина, что-то говорит.

Перевел переводчик, что они теперь оба одного хозяина, и кто прежде выкуп даст, того прежде отпустят.

— Вот,— говорит Жилину,— ты все серчаешь, а товарищ твой смирный; он написал письмо домой, пять тысяч монет пришлют. Вот его и кормить будут хорошо, и обижать не будут.

Жилин говорит:

— Товарищ, как хочет; он, может, богат, а я не богат. Я,— говорит,— как сказал, так и будет. Хотите убивайте,— пользы вам не будет, а больше пятисот рублей не напишу.

Помолчали. Вдруг как вскочит Абдул, достал сундучок, вынул перо, бумаги лоскут и чернила, сунул Жилину, хлопнул по плечу, показывает: «пиши». Согласился на 500 рублей.

— Погоди еще, — говорит Жилин переводчику, — скажи ты ему, чтоб он нас кормил хорошо, одел-обул как следует, чтоб держал вместе,— нам веселей будет, и чтобы колодку снял.— Сам смотрит на хозяина и смеется. Смеется и хозяин. Выслушал и говорит:

— Одежу самую лучшую дам: и черкеску, и сапоги, хоть жениться. Кормить буду, как князей. А коли хотят жить вместе — пускай живут в сарае. А колодку нельзя снять — уйдут. На ночь только снимать буду. — Подскочил, треплет по плечу.— Твоя хорош, моя хорош!

Написал Жилин письмо, а на письме не так написал, чтоб не дошло. Сам думает: «Я уйду».

Отвели Жилина с Костылиным в сарай, принесли им туда соломы кукурузной, воды в кувшине, хлеба, две черкески старые и сапоги истрепанные, солдатские. Видно, с убитых солдат стащили. На ночь сняли с них колодки и заперли в сарай.

3

Жил так Жилин с товарищем месяц целый. Хозяин все смеется.— Твоя, Иван, хорош,— моя, Абдул, хорош.— А кормил плохо, — только и давал, что хлеб пресный из просяной муки, лепешками печенный, а то и вовсе тесто непеченое.

Костылин еще раз писал домой, все ждал присылки денег и скучал. По целым дням сидит в сарае и считает дни, когда письмо придет, или спит. А Жилин знал, что его письмо не дойдет, а другого не писал.

«Где,— думает,— матери столько денег взять, за меня заплатить. И то она тем больше жила, что я посылал ей. Если ей пятьсот рублей собрать, надо разориться вконец. Бог даст — и сам выберусь».

А сам все высматривает, выпытывает, как ему бежать. Ходит по аулу, насвистывает; а то сидит, что-нибудь рукодельничает, или из глины кукол лепит, или плетет плетенки из прутьев. А Жилин на всякое рукоделье мастер был.

Слепил он раз куклу, с носом, с руками, с ногами и в татарской рубахе, и поставил куклу на крышу.

Пошли татарки за водой. Хозяйская дочь Динка увидала куклу, позвала татарок. Составили кувшины, смотрят, смеются. Жилин снял куклу, подает им. Они смеются, а не смеют взять. Оставил он куклу, ушел в сарай и смотрит, что будет?

Подбежала Дина, оглянулась, схватила куклу и убежала.

Наутро смотрит, на зорьке Дина вышла на порог с куклой. А куклу уж лоскутками красными убрала и качает, как ребенка, сама по-своему прибаюкивает. Вышла старуха, забранилась на нее, выхватила куклу, разбила ее, услала куда-то Дину на работу.

Сделал Жилин другую куклу, еще лучше, — отдал Дине. Принесла раз Дина кувшинчик, поставила, села и смотрит на него, сама смеется, показывает на кувшин.

«Чего она радуется?» — думает Жилин. Взял кувшин, стал пить. Думает, вода, а там молоко. Выпил он молоко, «хорошо»,— говорит. Как взрадуется Дина!

— Хорошо, Иван, хорошо! — и вскочила, забила в ладоши, вырвала кувшин и убежала.

И с тех пор стала она ему каждый день, крадучи, молока носить. А то делают татары из козьего молока

лепешки сырные и сушат их на крышах,— так она эти лепешки ему тайком принашивала. А то раз резал хозяин барана,— так она ему кусок баранины принесла в рукаве. Бросит и убежит.

Была раз гроза сильная, и дождь час целый как из ведра лил. И помутились все речки, где брод был, там на три аршина вода пошла, камни ворочает. Повсюду ручьи текут, гул стоит по горам. Вот как прошла гроза, везде по деревне ручьи бегут. Жилин выпросил у хозяина ножик, вырезал валик, дощечки, колесо оперил, а к колесу на двух концах кукол приделал.

Принесли ему девчонки лоскутков, — одел он кукол: одна — мужик, другая — баба; утвердил их, поставил колесо на ручей. Колесо вертится, а куколки прыгают.

Собралась вся деревня: мальчишки, девчонки, бабы; и татары пришли, языком щелкают:

— Ай, урус! ай, Иван!

Были у Абдула часы русские, сломанные. Позвал он Жилина, показывает, языком щелкает. Жилин говорит:

— Давай починю.

Взял, разобрал ножичком, разложил; опять сладил, отдал. Идут часы.

Обрадовался хозяин, принес ему бешмет свой старый, весь в лохмотьях, подарил. Нечего делать, взял,— и то годится покрыться ночью.

С тех пор прошла про Жилина слава, что он мастер. Стали к нему из дальних деревень приезжать: кто замок на ружье или пистолет починить принесет, кто часы. Привез ему хозяин снасть: и щипчики, и буравчики, и подпилочек.

Заболел раз татарин, пришли к Жилину: «Поди полечи». Жилин ничего не знает, как лечить. Пошел, посмотрел, думает: «Авось поздоровеет сам». Ушел в сарай, взял воды, песку, помешал. При татарах нашептал на воду, дал выпить. Выздоровел на его счастье татарин. Стал Жилин немножко понимать по-ихнему. И которые татары привыкли к нему, — когда нужно, кличут: «Иван, Иван!» — а которые все, как на зверя, косятся.

Красный татарин не любил Жилина. Как увидит, нахмурится и прочь отвернется либо обругает. Был еще у них старик. Жил он не в ауле, а приходил из-под горы. Видал его Жилин только, когда он в мечеть приходил богу молиться. Он был ростом маленький, на шапке

у него белое полотенце обмотано, бородка и усы подстрижены, — белые, как пух; а лицо сморщенное и красное, как кирпич. Нос крючком, как у ястреба, а глаза серые, злые и зубов нет — только два клыка. Идет, бывало, в чалме своей, костылем подпирается, как волк, озирается. Как увидит Жилина, так захрапит и отвернется.

Пошел раз Жилин под гору — посмотреть, где живет старик. Сошел по дорожке, видит садик, ограда каменная; из-за ограды — черешни, шепталы и избушка с плоской крышкой. Подошел он ближе; видит — ульи стоят, плетенные из соломы, и пчелы летают, гудят. И старик стоит на коленочках, что-то хлопочет у улья. Поднялся Жилин повыше, посмотреть и загремел колодкой. Старик оглянулся — как визгнет; выхватил из-за пояса пистолет, в Жилина выпалил. Чуть успел он за камень притулиться.

Пришел старик к хозяину жаловаться. Позвал хозяин Жилина, сам смеется и спрашивает:

— Зачем ты к старику ходил?

— Я,— говорит,— ему худого не сделал. Я хотел посмотреть, как он живет.

Передал хозяин. А старик злится, шипит, что-то лопочет, клыки свои выставил, махает руками на Жилина.

Жилин не понял всего; но понял, что старик велит хозяину убить русских, а не держать их в ауле. Ушел старик.

Стал Жилин спрашивать хозяина: что это за старик? Хозяин и говорит:

— Это большой человек! Он первый джигит был, он много русских побил, богатый был. У него было три жены и восемь сынов. Все жили в одной деревне. Пришли русские, разорили деревню и семь сыновей убили. Один сын остался и передался русским. Старик поехал и сам передался русским. Пожил у них три месяца, нашел там своего сына, сам убил его и бежал. С тех пор он бросил воевать, пошел в Мекку — богу молиться. От этого у него чалма. Кто в Мекке был, тот называется хаджи и чалму надевает. Не любит он вашего брата. Он велит тебя убить; да мне нельзя убить, — я за тебя деньги заплатил; да я тебя, Иван, полюбил; я тебя не то, что убить, я бы тебя и выпускать не стал, кабы слова не дал. — Смеется, сам приговаривает по-русски: «твоя, Иван, хорош, моя, Абдул, хорош!»

4

Прожил так Жилин месяц. Днем ходит по аулу или рукодельничает, а как ночь придет, затихнет в ауле, так он у себя в сарае копает. Трудно было копать от камней, да он подпилком камни тер, и прокопал он под стеной дыру, что впору пролезть. «Только бы,— думает,— мне место хорошенько узнать, в какую сторону идти. Да не сказывают никто татары».

Вот он выбрал время, как хозяин уехал; пошел после обеда за аул на гору,— хотел оттуда место посмотреть. А когда хозяин уезжал, он приказал малому за Жилиным ходить, с глаз его не спускать. Бежит малый за Жилиным, кричит:

— Не ходи! Отец не велел. Сейчас народ позову!

Стал его Жилин уговаривать.

— Я,— говорит,— далеко не уйду,— только на ту гору поднимусь: мне траву нужно найти — ваш народ лечить. Пойдем со мной; я с колодкой не убегу. А тебе завтра лук сделаю и стрелы.

Уговорил малого, пошли. Смотреть на гору — не далеко, а с колодкой трудно; шел, шел, насилу взобрался. Сел Жилин, стал место разглядывать. На полдни, за горой, лощина, табун ходит, и аул другой в низочке виден. От аула другая гора — еще круче, а за той горой еще гора. Промеж гор лес синеется, а там еще горы всё выше и выше поднимаются. А выше всех — белые, как сахар, горы стоят под снегом. И одна снеговая гора выше других шапкой стоит. На восход и на закат — всё такие же горы; кое-где аулы дымятся в ущельях. «Ну,— думает,— это все ихняя сторона». Стал смотреть в русскую сторону: под ногами речка, аул свой, садики кругом. На речке, как куклы маленькие, видно,— бабы сидят, полоскают. За аулом, пониже, гора, и через нее еще две горы, по ним лес; а промеж двух гор синеется ровное место, а на ровном месте, далеко-далеко, точно дым стелется. Стал Жилин вспоминать, когда он в крепости дома жил, где солнце всходило и где заходило. Видит: так точно, в этой долине должна быть наша крепость. Туда, промеж этих двух гор, и бежать надо.

Стало солнышко закатываться. Стали снеговые горы из белых — алые; в черных горах потемнело; из лощин пар поднялся, и самая та долина, где крепость наша должна быть, как в огне загорелась от заката. Стал Жилин

вглядываться,— маячит что-то в долине, точно дым из труб. И так и думается ему, что это самое — крепость русская.

Уж поздно стало. Слышно — мулла прокричал. Стадо гонят — коровы ревут. Малый все зовет: «Пойдем», а Жилину и уходить не хочется.

Вернулись они домой. «Ну,— думает Жилин,— теперь место знаю; надо бежать». Хотел он бежать в ту же ночь. Ночи были темные — ущерб месяца. На беду, к вечеру вернулись татары. Бывало, приезжают они — гонят с собою скотину и приезжают веселые. А на этот раз ничего не пригнали, а привезли на седле своего убитого татарина, брата рыжего. Приехали сердитые, собрались все хоронить. Вышел и Жилин посмотреть. Завернули мертвого в полотно, без гроба, вынесли под чинары за деревню, положили на траву. Пришел мулла, собрались старики, полотенцами повязали шапки, разулись, сели рядком на пятки перед мертвым.

Спереди мулла, сзади три старика в чалмах, рядком, а сзади их еще татары. Сели, потупились и молчат. Долго молчали. Поднял голову мулла и говорит:

— Алла! (значит бог) — Сказал это одно слово, и опять потупились и долго молчали; сидят, не шевелятся. Опять поднял голову мулла:

— Алла! — и все проговорили: «Алла» — и опять замолчали. Мертвый лежит на траве, не шелохнется, и они сидят как мертвые. Не шевельнется ни один. Только слышно, на чинаре листочки от ветерка поворачиваются. Потом прочел мулла молитву, все встали, подняли мертвого на руки, понесли. Принесли к яме. Яма вырыта не простая, а подкопана под землю, как подвал. Взяли мертвого под мышки, да под лытки, перегнули, спустили полегонечку, подсунули сидьмя под землю, заправили ему руки на живот.

Притащил ногаец камышу зеленого, заклали камышом яму, живо засыпали землей, сровняли, а в головы к мертвецу камень стоймя поставили. Утоптали землю, сели опять рядком перед могилой. Долго молчали.

— Алла! Алла! Алла! — Вздохнули и встали.

Роздал рыжий денег старикам, потом встал, взял плеть, ударил себя три раза по лбу и пошел домой.

Наутро видит Жилин — ведет красный кобылу за деревню, а за ним трое татар идут. Вышли за деревню, снял рыжий бешмет, засучил рукава,— ручищи здоровые,—

вынул кинжал, поточил на бруске. Задрали татары кобыле голову кверху, подошел рыжий, перерезал глотку, повалил кобылу и начал свежевать — кулачищами шкуру поднарывает. Пришли бабы, девки, стали мыть кишки и нутро. Разрубили потом кобылу, стащили в избу. И вся деревня собралась к рыжему поминать покойника.

Три дня ели кобылу, бузу пили, покойника поминали. Все татары дома были. На четвертый день, видит Жилин, в обед куда-то собираются. Привели лошадей, убрались и поехали человек 10, и красный поехал: только Абдул дома остался. Месяц только народился, ночи еще темные были.

«Ну,— думает Жилин,— нынче бежать надо», и говорит Костылину. А Костылин заробел.

— Да как же бежать? Мы и дороги не знаем.

— Я знаю дорогу.

— Да и не дойдем в ночь.

— А не дойдем — в лесу переночуем. Я вот лепешек набрал. Что ж ты будешь сидеть? Хорошо, пришлют денег, а то ведь не соберут. А татары теперь злые — за то, что ихнего русские убили. Поговаривают — нас убить хотят.

Подумал, подумал Костылин.

— Ну, пойдем.

5

Полез Жилин в дыру, раскопал пошире, чтоб и Костылину пролезть, и сидят они — ждут, чтобы затихло в ауле.

Только затих народ в ауле, Жилин полез под стену, выбрался. Шепчет Костылину: «Полезай». Полез и Костылин, да зацепил камень ногой, загремел. А у хозяина сторожка была — пестрая собака, и злая-презлая; звали ее Уляшин. Жилин уже наперед прикормил ее. Услыхал Уляшин,— забрехал и кинулся, а за ним другие собаки. Жилин чуть свистнул, кинул лепешки кусок, Уляшин узнал, замахал хвостом и перестал брехать.

Хозяин услыхал, загайкал из сакли: «Гайть! Гайть! Уляшин!»

А Жилин за ушами почесывает Уляшина. Молчит собака, трется ему об ноги, хвостом махает.

Посидели они за углом. Затихло все; только слышно, овца перхает в закуте да низом вода по камушкам шумит. Темно; звезды высоко стоят на небе; над горой молодой

месяц закраснелся, кверху рожками заходит. В лощинах туман, как молоко, белеется.

Поднялся Жилин, говорит товарищу: «Ну, брат, айда!»

Тронулись; только отошли, слышат — запел мулла на крыше: «Алла! Бесмилла! Ильрахман!» Значит — пойдет народ в мечеть. Сели опять, притаившись под стенкой. Долго сидели, дожидались, пока народ пройдет. Опять затихло.

— Ну, с богом! — Перекрестились, пошли. Прошли через двор под кручь к речке, перешли речку, пошли лощиной. Туман густой, да низом стоит, а над головой звезды виднешеньки. Жилин по звездам примечает, в какую сторону идти. В тумане свежо, идти легко, только сапоги неловки — стоптались. Жилин снял свои, бросил, пошел босиком. Попрыгивает с камушка на камушек да на звезды поглядывает. Стал Костылин отставать.

— Тише, — говорит, — иди: сапоги проклятые, все ноги стерли.

— Да ты сними, легче будет.

Пошел Костылин босиком — еще того хуже: изрезал все ноги по камням и все отстает. Жилин ему говорит:

— Ноги обдерешь — заживут, а догонят — убьют — хуже.

Костылин ничего не говорит, идет, покряхтывает. Шли они низом долго. Слышат — вправо собаки забрехали. Жилин остановился, осмотрелся, полез на гору, руками ощупал.

— Эх,— говорит,— ошиблись мы,— вправо забрали. Тут аул чужой, я его с горы видел; назад надо, да влево в гору. Тут лес должен быть.

А Костылин говорит:

— Подожди хоть немножко, дай вздохнуть,— у меня ноги в крови все.

— Э, брат, заживут; ты легче прыгай. Вот как!

И побежал Жилин назад, влево в гору, в лес. Костылин все отстает и охает. Жилин шикнет-шикнет на него, а сам все идет.

Поднялись на гору. Так и есть — лес. Вошли в лес,— по колючкам изодрали все платье последнее. Напались на дорожку в лесу. Идут.

— Стой! — Затопало копытами по дороге. Остановились, слушают. Потопало, как лошадь, и остановилось. Тронулись они — опять затопало. Они остановятся — и

оно остановится. Подполз Жилин, смотрит на свет по дороге — стоит что-то. Лошадь не лошадь, и на лошади что-то чудное, на человека не похоже. Фыркнуло — слышит. «Что за чудо!» Свистнул Жилин потихоньку, — как шаркнет с дороги в лес и затрещало по лесу, точно буря летит, сучья ломает.

Костылин так и упал со страху. А Жилин смеется, говорит:

— Это олень. Слышишь — как рогами лес ломит? Мы его боимся, а он нас боится.

Пошли дальше. Уж высожары спускаться стали, до утра недалеко. А туда ли идут, нет ли, — не знают. Думается так Жилину, что по этой самой дороге его везли и что до своих — верст десять еще будет; а приметы верной нет, да и ночь — не разберешь. Вышли на полянку. Костылин сел и говорит:

— Как хочешь, а я не дойду,— у меня ноги не идут.

Стал его Жилин уговаривать.

— Нет,— говорит,— не дойду, не могу.

Рассердился Жилин, плюнул, обругал его.

— Так я же один уйду,— прощай!

Костылин вскочил, пошел. Прошли они версты четыре. Туман в лесу еще гуще сел, ничего не видать перед собой, и звезды уж чуть видны.

Вдруг слышат, впереди топает лошадь. Слышно — подковами за камни цепляется. Лег Жилин на брюхо, стал по земле слушать.

— Так и есть,— сюда, к нам конный едет.

Сбежали они с дороги, сели в кусты и ждут. Жилин подполз к дороге, смотрит — верховой татарин едет, корову гонит, сам себе под нос мурлычет что-то. Проехал татарин. Жилин вернулся к Костылину.

— Ну, пронес бог,— вставай, пойдем.

Стал Костылин вставать и упал.

— Не могу,— ей-богу, не могу; сил моих нет.

Мужчина грузный, пухлый, запотел; да как обхватило его в лесу туманом холодным, да ноги ободраны,— он и рассолодел. Стал его Жилин силой поднимать. Как закричит Костылин:

— Ой, больно!

Жилин так и обмер.

— Что кричишь? Ведь татарин близко — услышит.— А сам думает: «Он и вправду расслаб; что мне с ним делать? Бросить товарища не годится».

— Ну,— говорит,— вставай, садись на закорки, снесу, коли уж идти не можешь.

Подсадил на себя Костылина, подхватил руками под ляжки, вышел на дорогу, поволок.

— Только,— говорит,— не дави ты меня руками за глотку, ради Христа. За плечи держись.

Тяжело Жилину,— ноги тоже в крови и уморился. Нагнется, подправит, подкинет, чтоб повыше сидел на нем Костылин, тащит его по дороге.

Видно, услыхал татарин, как Костылин закричал. Слышит Жилин, едет кто-то сзади, кличет по-своему. Бросился Жилин в кусты. Татарин выхватил ружье, выпалил,— не попал, завизжал по-своему и поскакал прочь по дороге.

— Ну,— говорит Жилин,— пропали, брат! Он, собака, сейчас соберет татар за нами в погоню. Коли не уйдем версты три, — пропали. — А сам думает на Костылина: «И черт меня дернул колоду эту с собой брать. Один я бы давно ушел».

Костылин говорит: — Иди один, за что тебе из-за меня пропадать.

— Нет, не пойду, не годится товарища бросать.

Подхватил опять на плечи, попер. Прошел он так с вёрсту. Все лес идет и не видать выхода. А туман уж расходиться стал, и как будто тучки заходить стали, не видать уж звезд. Измучился Жилин.

Пришел, у дороги родничок, камнем обделан. Остановился, ссадил Костылина.

— Дай,— говорит,— отдохну, напьюсь. Лепешек поедим. Должно быть, недалеко.

Только прилег он пить, слышит — затопало сзади. Опять кинулись вправо, в кусты, под кручь, и легли.

Слышат голоса татарские; остановились татары на том самом месте, где они с дороги свернули. Поговорили, потом зауськали, как собак притравляют. Слышат — трещит что-то по кустам, прямо к ним собака чужая чья-то. Остановилась, забрехала.

Лезут и татары — тоже чужие; схватили их, посвязали, посадили на лошадей, повезли.

Проехали версты три,— встречает их Абдул-хозяин с двумя татарами. Поговорил что-то с татарами, пересадили на своих лошадей, повезли назад в аул.

Абдул уж не смеется и ни слова не говорит с ними.

Привезли на рассвете в аул, посадили на улице. Сбежались ребята. Камнями, плетками бьют их, визжат.

Собрались татары в кружок, и старик из-под горы пришел. Стали говорить. Слышит Жилин, что судят про них, что с ними делать. Одни говорят: надо их дальше в горы услать, а старик говорит: «надо убить». Абдул спорит, говорит: «я за них деньги отдал, я за них выкуп возьму». А старик говорит: «ничего они не заплатят, только беды наделают. И грех русских кормить. Убить,— и кончено».

Разошлись. Подошел хозяин к Жилину, стал ему говорить:

— Если, — говорит, — мне не пришлют за вас выкуп, я через две недели вас запорю. А если затеешь опять бежать,— я тебя как собаку убью. Пиши письмо, хорошенько пиши!

Принесли им бумаги, написали они письма. Набили на них колодки, отвели за мечеть. Там яма была аршин пяти, и спустили их в эту яму.

6

Житье им стало совсем дурное. Колодки не снимали и не выпускали на вольный свет. Кидали им туда тесто непеченое, как собакам, да в кувшине воду спускали. Вонь в яме, духота, мокрота. Костылин совсем разболелся, распух, и ломота во всем теле стала; и все стонет или спит. И Жилин приуныл, видит — дело плохо. И не знает, как выдраться.

Начал он было подкапываться, да землю некуда кидать; увидал хозяин, пригрозил убить.

Сидит он раз в яме на корточках, думает об вольном житье, и скучно ему. Вдруг прямо ему на коленки лепешка упала, другая, и черешни посыпались. Поглядел кверху, а там Дина. Поглядела на него, посмеялась и убежала. Жилин и думает: «не поможет ли Дина?»

Расчистил он в яме местечко, наковырял глины, стал лепить кукол. Наделал людей, лошадей, собак, думает: «как придет Дина, брошу ей».

Только на другой день нет Дины. А слышит Жилин — затопали лошади, проехали какие-то, и собрались татары у мечети, спорят, кричат и поминают про русских. И слышит голос старика. Хорошенько не разобрал он,

а догадывается, что русские близко подошли, и боятся татары, как бы в аул не зашли, и не знают, что с пленными делать.

Поговорили и ушли. Вдруг слышит— зашуршало что-то наверху. Видит: Дина присела на корточки, коленки выше головы торчат, свесилась, монисты висят, болтаются над ямой. Глазенки так и блестят, как звездочки; вынула из рукава две сырные лепешки, бросила ему. Жилин взял и говорит:

— Что давно не бывала? А я тебе игрушек наделал. На вот! — Стал ей швырять по одной. А она головой мотает, не смотрит.

— Не надо,— говорит. Помолчала, посидела и говорит: — Иван! тебя убить хотят.— Сама себе рукой на шею показывает.

— Кто убить хочет?

— Отец, ему старики велят. А мне тебя жалко.

Жилин и говорит:

— А коли тебе меня жалко, так ты мне палку длинную принеси.

Она головой мотает,— что «нельзя». Он сложил руки, молится ей:

— Дина, пожалуйста! Динушка, принеси!

— Нельзя,— говорит,— увидят, все дома,— и ушла.

Вот сидит вечером Жилин и думает: «что будет?» Все поглядывает вверх. Звезды видны, а месяц еще не всходил. Мулла прокричал, затихло все. Стал уже Жилин дремать, думает: «побоится девка».

Вдруг на голову ему глина посыпалась; глянул кверху — шест длинный в тот край ямы тыкается. Потыкался, спускаться стал, ползет в яму. Обрадовался Жилин, схватил рукой, спустил — шест здоровый. Он еще прежде этот шест на хозяйской крыше видел.

Поглядел вверх,— звезды высоко на небе блестят; и над самою ямой, как у кошки, у Дины глаза в темноте светятся. Нагнулась она лицом на край ямы и шепчет: «Иван, Иван!» — а сама руками у лица все машет, — что «тише, мол».

— Что? — говорит Жилин.

— Уехали все, только двое дома.

Жилин и говорит:

— Ну, Костылин, пойдем, попытаемся последний раз; я тебя подсажу.

Костылин и слушать не хочет.

— Нет,— говорит,— уж мне, видно, отсюда не выйти. Куда я пойду, когда и поворотиться нет сил?

— Ну, так прощай, — не поминай лихом. — Поцеловался с Костылиным.

Ухватился за шест, велел Дине держать, полез. Раза два он обрывался,— колодка мешала. Поддержал его Костылин,— выбрался кое-как наверх. Дина его тянет ручонками за рубаху, изо всех сил, сама смеется.

Взял Жилин шест и говорит:

— Снеси на место, Дина, а то хватятся,— прибьют тебя.

Потащила она шест, а Жилин под гору пошел. Слез под кручь, взял камень вострый, стал замок с колодки выворачивать. А замок крепкий,— никак не собьет, да и неловко. Слышит, бежит кто-то с горы, легко попрыгивает. Думает: «верно, опять Дина». Прибежала Дина, взяла камень и говорит:

— Дай я.

Села на коленочки, начала выворачивать. Да ручонки тонкие, как прутики,— ничего силы нет. Бросила камень, заплакала. Принялся опять Жилин за замок, а Дина села подле него на корточках, за плечо его держит. Оглянулся Жилин, видит — налево за горой зарево красное загорелось, месяц встает. «Ну,— думает,— до месяца надо лощину пройти, до лесу добраться». Поднялся, бросил камень. Хоть в колодке,— да надо идти.

— Прощай,— говорит,— Динушка. Век тебя помнить буду.

Ухватилась за него Дина: шарит по нем руками, ищет — куда бы лепешки ему засунуть. Взял он лепешки.

— Спасибо,— говорит,— умница. Кто тебе без меня кукол делать будет? — И погладил ее по голове.

Как заплачет Дина, закрылась руками, побежала на гору, как козочка прыгает. Только в темноте слышно — монисты в косе по спине побрякивают.

Перекрестился Жилин, подхватил рукой замок на колодке, чтобы не бренчал, пошел по дороге,— ногу волочит, а сам все на зарево поглядывает, где месяц встает. Дорогу он узнал. Прямиком идти верст восемь. Только бы до лесу дойти прежде, чем месяц совсем выйдет. Перешел он речку,— побелел уже свет за горой. Пошел лощиной, идет, сам поглядывает: не видать еще месяца. Уж зарево посветлело и с одной стороны лощины все светлее, свет-

лее становится. Ползет под гору тень, все к нему приближается.

Идет Жилин, все тени держится. Он спешит, а месяц еще скорее выбирается; уж и направо засветились макушки. Стал подходить к лесу, выбрался месяц из-за гор,— бело, светло совсем, как днем. На деревах все листочки видны. Тихо, светло по горам, как вымерло все. Только слышно — внизу речка журчит.

Дошел до лесу — никто не попался. Выбрал Жилин местечко в лесу потемнее, сел отдыхать.

Отдохнул, лепешку съел. Нашел камень, принялся опять колодку сбивать. Все руки избил, а не сбил. Поднялся, пошел по дороге. Прошел с версту, выбился из сил,— ноги ломит. Ступит шагов десять и остановится. «Нечего делать,— думает,— буду тащиться, пока сила есть. А если сесть, так и не встану. До крепости мне не дойти, а как рассветет, — лягу в лесу, переднюю, а ночью опять пойду».

Всю ночь шел. Только попались два татарина верхами, да Жилин издалека их услыхал, схоронился за дерево.

Уж стал месяц бледнеть, роса пала, близко к свету, а Жилин до края леса не дошел. «Ну,— думает,— еще тридцать шагов пройду, сверну в лес и сяду». Прошел тридцать шагов, видит — лес кончается. Вышел на край—совсем светло, как на ладонке перед ним степь и крепость, и налево, близехонько под горой, огни горят, тухнут, дым стелется и люди у костров.

Вгляделся — видит: ружья блестят, казаки, солдаты.

Обрадовался Жилин, собрался с последними силами, пошел под гору. А сам думает: «избави бог, тут, в чистом поле, увидит конный татарин; хоть близко, а не уйдешь».

Только подумал — глядь: налево, на бугре, стоят трое татар, десятины на две. Увидали его,— пустились к нему. Так сердце у него и оборвалось. Замахал руками, закричал что было духу своим:

— Братцы! выручай! братцы!

Услыхали наши,— выскочили казаки верховые. Пустились к нему—наперерез татарам.

Казакам далеко, а татарам близко. Да уж и Жилин собрался с последней силой, подхватил рукой колодку, бежит к казакам, а сам себя не помнит, крестится и кричит:

— Братцы! братцы! братцы!

Казаков человек пятнадцать было.

Испугались татары,—не доезжаючи, стали останавливаться. И подбежал Жилин к казакам.

Окружили его казаки, спрашивают: «кто он, что за человек, откуда?» А Жилин сам себя не помнит, плачет и приговаривает:

— Братцы! Братцы!

Выбежали солдаты, обступили Жилина; кто ему хлеба, кто каши, кто водки, кто шинелью прикрывает, кто колодку разбивает.

Узнали его офицеры, повезли в крепость. Обрадовались солдаты, товарищи собрались к Жилину.

Рассказал Жилин, как с ним все дело было, и говорит:

— Вот я и домой съездил, женился! Нет, уж, видно, не судьба моя.

И остался служить на Кавказе. А Костылина только еще через месяц выкупили за пять тысяч. Еле живого привезли.

ЧЕМ ЛЮДИ ЖИВЫ

Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев: не любящий брата пребывает в смерти. *(I посл. Иоан. III, 14)*

А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое: как пребывает в том любовь божия? *(III, 17)*

Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиной. *(III, 18)*

Любовь от бога, и всякий любящий рожден от бога и знает бога. *(IV, 7)*

Кто не любит, тот не познал бога, потому что бог есть любовь. *(IV, 8)*

Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то бог в нас пребывает. *(IV, 12)*

Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в боге, и бог в нем. *(IV, 16)*

Кто говорит: я люблю бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить бога, которого не видит? *(IV, 20)*

I

Жил сапожник с женой и детьми у мужика на квартире. Ни дома своего, ни земли у него не было, и кормился он с семьею сапожной работой. Хлеб был дорогой, а работа дешевая, и что заработает, то и проест. Была у сапожника одна шуба с женой, да и та износилась в лохмотья; и второй год собирался сапожник купить овчин на новую шубу.

К осени собрались у сапожника деньжонки: три рубля бумажка лежала у бабы в сундуке, а еще пять рублей двадцать копеек было за мужиками в селе.

И собрался с утра сапожник в село за шубой. Надел нанковую бабью куртушку на вате на рубаху, сверху кафтан суконный, взял бумажку трехрублевую в карман, выломал палку и пошел после завтрака. Думал: «Получу

пять рублей с мужиков, приложу своих три,— куплю овчин на шубу».

Пришел сапожник в село, зашел к одному мужику — дома нет, обещала баба на неделе прислать мужа с деньгами, а денег не дала; зашел к другому, — забожился мужик, что нет денег, только двадцать копеек отдал за починку сапог. Думал сапожник в долг взять овчины, — в долг не поверил овчинник.

— Денежки,— говорит,— принеси, тогда выбирай любые, а то знаем мы, как долги выбирать.

Так и не сделал сапожник никакого дела, только получил двадцать копеек за починку да взял у мужика старые валенки кожей обшить.

Потужил сапожник, выпил на все двадцать копеек водки и пошел домой без шубы. С утра сапожнику морозно показалось, а выпивши — тепло было и без шубы. Идет сапожник дорогой, одной рукой палочкой по мерзлым калмыжкам постукивает, а другой рукой сапогами валеными помахивает, сам с собой разговаривает.

— Я, — говорит, — и без шубы тёпел. Выпил шкалик; оно во всех жилках играет. И тулупа не надо. Иду, забывши горе. Вот какой я человек! Мне что? Я без шубы проживу. Мне ее век не надо. Одно — баба заскучает. Да и обидно— ты на него работай, а он тебя водит. Постой же ты теперь: не принесешь денежки, я с тебя шапку сниму, ей-богу, сниму. А то что же это? По двугривенному отдает! Ну что на двугривенный сделаешь? Выпить — одно. Говорит: нужда. Тебе нужда, а мне не нужда? У тебя и дом, и скотина, и все, а я весь тут; у тебя свой хлеб, а я на покупном, — откуда хочешь, а три рубля в неделю на один хлеб подай. Приду домой — а хлеб дошел; опять полтора рубля выложь. Так ты мне мое отдай.

Подходит так сапожник к часовне у повертка, глядит — за самой за часовней что-то белеется. Стало уж смеркаться. Приглядывается сапожник, а не может рассмотреть, что такое. «Камня, думает, здесь такого не было. Скотина? На скотину не похоже. С головы похоже на человека, да бело что-то. Да и человеку зачем тут быть?»

Подошел ближе — совсем видно стало. Что за чудо: точно, человек, живой ли, мертвый, голышом сидит, прислонен к часовне и не шевелится. Страшно стало сапожнику; думает себе: «Убили какие-нибудь человека, раздели, да и бросили тут. Подойди только, и не разделаешься потом».

И пошел сапожник мимо. Зашел за часовню — не видать стало человека. Прошел часовню, оглянулся, видит — человек отслонился от часовни, шевелится, как будто приглядывается. Еще больше заробел сапожник, думает себе: «Подойти или мимо пройти? Подойти — как бы худо не было: кто его знает, какой он? Не за добрые дела попал сюда. Подойдешь, а он вскочит да задушит, и не уйдешь от него. А не задушит, так поди вожжайся с ним. Что с ним, с голым, делать? Не с себя же снять, последнее отдать. Пронеси только бог!»

И прибавил сапожник шагу. Стал уж проходить часовню, да зазрила его совесть.

И остановился сапожник на дороге.

— Ты что же это,— говорит на себя,— Семен, делаешь? Человек в беде помирает, а ты заробел, мимо идешь. Али дюже разбогател? боишься, ограбят богатство твое? Ай, Сема, неладно!

Повернулся Семен и пошел к человеку.

II

Подходит Семен к человеку, разглядывает его и видит: человек молодой, в силе, не видать на теле побоев, только видно — измерз человек и напуган; сидит, прислонясь, и не глядит на Семена, будто ослаб, глаз поднять не может. Подошел Семен вплоть, и вдруг как будто очнулся человек, повернул голову, открыл глаза и взглянул на Семена. И с этого взгляда полюбился человек Семену. Бросил он наземь валенки, распоясался, положил подпояску на валенки, скинул кафтан.

— Будет,— говорит,— толковать-то! Одевай, что ли! Ну-ка!

Взял Семен человека под локоть, стал поднимать. Поднялся человек. И видит Семен — тело тонкое, чистое, руки, ноги не ломаные и лицо умильное. Накинул ему Семен кафтан на плечи,— не попадет в рукава. Заправил ему Семен руки, натянул, запахнул кафтан и подтянул подпояскою.

Снял было Семен картуз рваный, хотел на голого надеть, да холодно голове стало, думает: «У меня лысина во всю голову, а у него виски курчавые, длинные». Надел опять. «Лучше сапоги ему обую».

Посадил его и сапоги валеные обул ему.

Одел его сапожник и говорит:

— Так-то, брат. Ну-ка, разминайся да согревайся. А эти дела все без нас разберут. Идти можешь?

Стоит человек, умильно глядит на Семена, а выговорить ничего не может.

— Что же не говоришь? Не зимовать же тут. Надо к жилью. Ну-ка, на вот дубинку мою, обопрись, коли ослаб. Раскачивайся-ка!

И пошел человек. И пошел легко, не отстает.

Идут они дорогой, и говорит Семен:

— Чей, значит, будешь?

— Я не здешний.

— Здешних-то я знаю. Попал-то, значит, как сюда, под часовню?

— Нельзя мне сказать.

— Должно, люди обидели?

— Никто меня не обидел. Меня бог наказал.

— Известно, все бог, да все же куда-нибудь прибиваться надо. Куда надо-то тебе?

— Мне все одно.

Подивился Семен. Не похож на озорника и на речах мягок, а не сказывает про себя. И думает Семен: «Мало ли какие дела бывают»,— и говорит человеку:

— Что ж, так пойдем ко мне в дом, хоть отойдешь мало-мальски.

Идет Семен, не отстает от него странник, рядом идет. Поднялся ветер, прохватывает Семена под рубаху, и стал с него сходить хмель, и прозябать стал. Идет он, носом посапывает, запахивает на себе куртушку бабью и думает: «Вот-те и шуба, пошел за шубой, а без кафтана приду да еще голого с собой приведу. Не похвалит Матрена!» И как подумает об Матрене, скучно станет Семену. А как поглядит на странника, вспомнит, как он взглянул на него за часовней, так взыграет в нем сердце.

III

Убралась Семена жена рано. Дров нарубила, воды принесла, ребят накормила, сама закусила и задумалась; задумалась, когда хлебы ставить: нынче или завтра? Краюшка большая осталась.

«Если, думает, Семен там пообедает да много за ужином не съест, на завтра хватит хлеба».

Повертела, повертела Матрена краюху, думает: «Не стану нынче хлебов ставить. Муки и то всего на одни хлебы осталось. Еще до пятницы протянем».

Убрала Матрена хлеб и села у стола заплату на мужнину рубаху нашить. Шьет и думает Матрена про мужа, как он будет овчины на шубу покупать.

«Не обманул бы его овчинник. А то прост уж очень мой-то. Сам никого не обманет, а его малое дитя проведет. Восемь рублей деньги не малые. Можно хорошую шубу собрать. Хоть не дубленая, а все шуба. Прошлую зиму как бились без шубы! Ни на речку выйти, ни куда. А то вот пошел со двора, все на себя надел, мне и одеть нечего. Не рано пошел. Пора бы ему. Уж не загулял ли соколик-то мой?»

Только подумала Матрена, заскрипели ступеньки на крыльце, кто-то вошел. Воткнула Матрена иголку, вышла в сени. Видит — вошли двое: Семен и с ним мужик какой-то без шапки и в валенках.

Сразу почуяла Матрена дух винный от мужа. «Ну, думает, так и есть загулял». Да как увидела, что он без кафтана, в куртушке в одной и не несет ничего, а молчит, ужимается, оборвалось у Матрены сердце. «Пропил, думает, деньги, загулял с каким-нибудь непутевым, да и его еще с собой привел».

Пропустила их Матрена в избу, сама вошла, видит — человек чужой, молодой, худощавый, кафтан на нем ихний. Рубахи не видать под кафтаном, шапки нет. Как вошел, так стал, не шевелится и глаз не поднимает. И думает Матрена: недобрый человек — боится.

Насупилась Матрена, отошла к печи, глядит, что от них будет.

Снял Семен шапку, сел на лавку, как добрый.

— Что ж,— говорит,— Матрена, собери ужинать, что ли!

Пробурчала что-то себе под нос Матрена. Как стала у печи, не шевельнется: то на одного, то на другого посмотрит и только головой покачивает. Видит Семен, что баба не в себе, да делать нечего: как будто не примечает, берет за руку странника.

— Садись,— говорит,— брат, ужинать станем.

Сел странник на лавку.

— Что же, али не варила?

Взяло зло Матрену.

— Варила, да не про тебя. Ты и ум, я вижу, пропил.

Пошел за шубой, а без кафтана пришел, да еще какого-то бродягу голого с собой привел. Нет у меня про вас, пьяниц, ужина.

— Будет, Матрена, что без толку-то языком стрекотать! Ты спроси прежде, какой человек...

— Ты сказывай, куда деньги девал?

Полез Семен в кафтан, вынул бумажку, развернул.

— Деньги — вот они, а Трифонов не отдал, завтра посулился.

Еще пуще взяло зло Матрену: шубы не купил, а последний кафтан на какого-то голого надел да к себе привел.

Схватила со стола бумажку, понесла прятать, сама говорит:

— Нет у меня ужина. Всех пьяниц голых не накормишь.

— Эх, Матрена, подержи язык-то. Прежде послушай, что говорят...

— Наслушаешься ума от пьяного дурака. Недаром не хотела за тебя, пьяницу, замуж идти. Матушка мне холсты отдала — ты пропил; пошел шубу купить — пропил.

Хочет Семен растолковать жене, что пропил он только двадцать копеек, хочет сказать, где он человека нашел,— не дает ему Матрена слова вставить: откуда что берется, по два слова вдруг говорит. Что десять лет тому назад было, и то все помянула.

Говорила, говорила Матрена, подскочила к Семену, схватила его за рукав.

— Давай поддевку-то мою. А то одна осталась, и ту с меня снял да на себя напер. Давай сюда, конопатый пес, пострел тебя расшиби!

Стал снимать с себя Семен куцавейку, рукав вывернул, дернула баба — затрещала в швах куцавейка. Схватила Матрена поддевку, на голову накинула и взялась за дверь. Хотела уйти, да остановилась: и сердце в ней расходилось — хочется ей зло сорвать и узнать хочется, какой-такой человек.

IV

Остановилась Матрена и говорит:

— Кабы добрый человек, так голый бы не был, а то на нем и рубахи-то нет. Кабы за добрыми делами пошел, ты бы сказал, откуда привел щеголя такого.

— Да я сказываю тебе: иду, у часовни сидит этот раздемши, застыл совсем. Не лето ведь, нагишом-то. Нанес меня на него бог, а то бы пропасть. Ну, как быть? Мало ли какие дела бывают! Взял, одел и привел сюда. Утиши ты свое сердце. Грех, Матрена. Помирать будем.

Хотела Матрена изругаться, да поглядела на странника и замолчала. Сидит странник — не шевельнется, как сел на краю лавки. Руки сложены на коленях, голова на грудь опущена, глаз не раскрывает и все морщится, как будто душит его что. Замолчала Матрена. Семен и говорит:

— Матрена, али в тебе бога нет?!

Услыхала это слово Матрена, взглянула еще на странника, и вдруг сошло в ней сердце. Отошла она от двери, подошла к печному углу, достала ужинать. Поставила чашку на стол, налила квасу, выложила краюшку последнюю. Подала нож и ложки.

— Хлебайте, что ль, — говорит.

Подвинул Семен странника.

— Пролезай,— говорит,— молодец.

Нарезал Семен хлеба, накрошил, и стали ужинать. А Матрена села об угол стола, подперлась рукой и глядит на странника.

И жалко стало Матрене странника, и полюбила она его. И вдруг повеселел странник, перестал морщиться, поднял глаза на Матрену и улыбнулся.

Поужинали; убрала баба и стала спрашивать странника:

— Да ты чей будешь?

— Не здешний я.

— Да как же ты на дорогу-то попал?

— Нельзя мне сказать.

— Кто ж тебя обобрал?

— Меня бог наказал.

— Так голый и лежал?

— Так и лежал нагой, замерзал. Увидал меня Семен, пожалел, снял с себя кафтан, на меня надел и велел сюда прийти. А здесь ты меня накормила, напоила, пожалела. Спасет вас господь!

Встала Матрена, взяла с окна рубаху старую Семенову, ту самую, что платила, подала страннику; нашла еще портки, подала.

— На вот, я вижу, у тебя и рубахи-то нет. Оденься да ложись где полюбится — на хоры али на печь.

Снял странник кафтан, одел рубаху и портки и лег на хоры. Потушила Матрена свет, взяла кафтан и полезла к мужу.

Прикрылась Матрена концом кафтана, лежит и не спит, все странник ей с мыслей не идет.

Как вспомнит, что он последнюю краюшку доел и на завтра нет хлеба, как вспомнит, что рубаху и портки отдала, так скучно ей станет; а вспомнит, как он улыбнулся, и взыграет в ней сердце.

Долго не спала Матрена и слышит — Семен тоже не спит, кафтан на себя тащит.

— Семен!

— А!

— Хлеб-то последний поели, а я не ставила. На завтра, не знаю, как быть. Нечто у кумы Маланьи попрошу.

— Живы будем, сыты будем.

Полежала баба, помолчала.

— А человек, видно, хороший, только что ж он не сказывает про себя.

— Должно, нельзя.

— Сём!

— А!

— Мы-то даем, да что ж нам никто не дает?

Не знал Семен, что сказать. Говорит: «Будет толковать-то». Повернулся и заснул.

V

Наутро проснулся Семен. Дети спят, жена пошла к соседям хлеба занимать. Один вчерашний странник в старых портках и рубахе на лавке сидит, вверх смотрит. И лицо у него против вчерашнего светлее.

И говорит Семен:

— Чего ж, милая голова: брюхо хлеба просит, а голое тело одежи. Кормиться надо. Что работать умеешь?

— Я ничего не умею.

Подивился Семен и говорит:

— Была бы охота. Всему люди учатся.

— Люди работают, и я работать буду.

— Тебя как звать?

— Михаил.

— Ну, Михайла, сказывать про себя не хочешь — твое дело, а кормиться надо. Работать будешь, что прикажу,— кормить буду.

— Спаси тебя господь, а я учиться буду. Покажи, что делать.

Взял Семен пряжу, надел на пальцы и стал делать конец.

— Дело не хитрое, гляди...

Посмотрел Михайла, надел также на пальцы, тотчас перенял, сделал конец.

Показал ему Семен, как наваривать. Также сразу понял Михайла. Показал хозяин и как всучить щетинку, и как тачать, и тоже сразу понял Михайла.

Какую ни покажет ему работу Семен, все сразу поймет, и с третьего дня стал работать, как будто век шил. Работает без разгиба, ест мало; перемежится работа — молчит и все вверх глядит. На улицу не ходит, не говорит лишнего, не шутит, не смеется.

Только и видели раз, как он улыбнулся в первый вечер, когда ему баба ужинать собрала.

VI

День ко дню, неделя к неделе, вскружился и год. Живет Михайла по-прежнему у Семена, работает. И прошла про Семенова работника слава, что никто так чисто и крепко сапог не сошьет, как Семенов работник Михайла, и стали из округи к Семену за сапогами ездить, и стал у Семена достаток прибавляться.

Сидят раз по зиме Семен с Михайлой, работают, подъезжает к избе тройкой с колокольцами возок. Поглядели в окно: остановился возок против избы, соскочил молодец с облучка, отворил дверцу. Вылезает из возка в шубе барин. Вышел из возка, пошел к Семенову дому, вошел на крыльцо. Выскочила Матрена, распахнула дверь настежь. Нагнулся барин, вошел в избу, выпрямился, чуть головой до потолка не достал, весь угол захватил.

Встал Семен, поклонился и дивуется на барина. И не видывал он людей таких. Сам Семен поджарый и Михайла худощавый, а Матрена и вовсе как щепка сухая, а этот — как с другого света человек: морда красная, налитая, шея как у быка, весь как из чугуна вылит.

Отдулся барин, снял шубу, сел на лавку и говорит:

— Кто хозяин сапожник?

Вышел Семен, говорит:

— Я, ваше степенство.

Крикнул барин на своего малого:

— Эй, Федька, подай сюда товар.

Вбежал малый, внес узелок. Взял барин узел, положил на стол.

— Развяжи, — говорит. Развязал малый.

Ткнул барин пальцем товар сапожный и говорит Семену:

— Ну, слушай же ты, сапожник. Видишь товар?

— Вижу,— говорит,— ваше благородие.

— Да ты понимаешь ли, какой это товар?

Пощупал Семен товар, говорит:

— Товар хороший.

— То-то хороший! Ты, дурак, еще не видал товару такого. Товар немецкий, двадцать рублей плачен.

Заробел Семен, говорит:

— Где же нам видать.

— Ну, то-то. Можешь ты из этого товара на мою ногу сапоги сшить?

— Можно, ваше степенство.

Закричал на него барин:

— То-то «можно». Ты понимай, ты на кого шьешь, из какого товару. Такие сапоги мне сшей, чтобы год носились, не кривились, не поролись. Можешь — берись, режь товар, а не можешь — и не берись и не режь товару. Я тебе наперед говорю: распорются, скривятся сапоги раньше году, я тебя в острог засажу; не скривятся, не распорются до году, я за работу десять рублей отдам.

Заробел Семен и не знает, что сказать. Оглянулся на Михайлу. Толкапул его локтем и шепчет:

— Брать, что ли?

Кивнул головой Михайла: «Бери, мол, работу».

Послушался Семен Михайлу, взялся такие сапоги сшить, чтобы год не кривились, не поролись.

Крикнул барин малого, велел снять сапог с левой ноги, вытянул ногу.

— Снимай мерку!

Сшил Семен бумажку в десять вершков, загладил, стал на коленки, руку об фартук обтер хорошенько, чтобы барский чулок не попачкать, и стал мерить. Обмерил Семен подошву, обмерил в подъеме; стал икру мерить, не сошлась бумажка. Ножища в икре как бревно толстая.

— Смотри, в голенище не обузь.

Стал Семен еще бумажку нашивать. Сидит барин, пошевеливает перстами в чулке, народ в избе оглядывает. Увидал Михайлу.

— Это кто ж,— говорит,— у тебя?

— А это самый мой мастер, он и шить будет.

— Смотри же,— говорит барин на Михайлу,— помни, так сшей, чтобы год проносились.

Оглянулся и Семен на Михайлу; видит — Михайла на барина и не глядит, а уставился в угол за барином, точно вглядывается в кого. Глядел, глядел Михайла и вдруг улыбнулся и просветлел весь.

— Ты что, дурак, зубы скалишь? Ты лучше смотри, чтобы к сроку готовы были.

И говорит Михайла:

— Как раз поспеют, когда надо.

— То-то.

Надел барин сапог, шубу, запахнулся и пошел к двери. Да забыл нагнуться, стукнулся в притолоку головой.

Разругался барин, потер себе голову, сел в возок и уехал.

Отъехал барин, Семен и говорит:

— Ну уж кремняст. Этого долбней не убьешь. Косяк головой высадил, а ему горя мало.

А Матрена говорит:

— С житья такого как им гладким не быть. Этакого заклепа и смерть не возьмет.

VII

И говорит Семен Михайле:

— Взять-то взяли работу, да как бы нам беды не нажить. Товар дорогой, а барин сердитый. Как бы не ошибиться. Ну-ка ты, у тебя и глаза повострее, да и в руках-то больше моего сноровки стало, на-ка мерку. Крои товар, а я головки дошивать буду.

Не ослушался Михайла, взял товар барский, разостлал на столе, сложил вдвое, взял нож и начал кроить.

Подошла Матрена, глядит, как Михайла кроит, и дивится, что такое Михайла делает. Привыкла уж и Матрена к сапожному делу, глядит и видит, что Михайла не по-сапожному товар кроит, а на круглые вырезает.

Хотела сказать Матрена, да думает себе: «Должно, не поняла я, как сапоги барину шить; должно, Михайла лучше знает, не стану мешаться».

Скропил Михайла пару, взял конец и стал сшивать не по-сапожному, в два конца, а одним концом, как босовики шьют.

Подивилась и на это Матрена, да тоже мешаться не стала. А Михайла все шьет. Стали полудновать, поднялся Семен, смотрит — у Михайлы из барского товару босовики сшиты.

Ахнул Семен. «Как это, думает, Михайла год целый жил, не ошибался ни в чем, а теперь беду такую наделал? Барин сапоги вытяжные на ранту заказывал, а он босовики сшил без подошвы, товар испортил. Как я теперь разделаюсь с барином? Товару такого не найдешь».

И говорит он Михайле:

— Ты что же это,— говорит,— милая голова, наделал? Зарезал ты меня! Ведь барин сапоги заказывал, а ты что сшил?

Только начал он выговаривать Михайле — грох в кольцо у двери, стучится кто-то. Глянули в окно: верхом кто-то приехал, лошадь привязывает. Отперли: входит тот самый малый от барина.

— Здорово!

— Здорово. Чего надо?

— Да вот барыня прислала об сапогах.

— Что об сапогах?

— Да что об сапогах! сапог не нужно барину. Приказал долго жить барин.

— Что ты!

— От вас до дома не доехал, в возке и помер. Подъехала повозка к дому, вышли высаживать, а он как куль завалился, уж и закоченел, мертвый лежит, насилу из возка выпростали. Барыня прислала, говорит: «Скажи ты сапожнику, что был, мол, у вас барин, сапоги заказывал и товар оставил, так скажи: сапог не нужно, а чтобы босовики на мертвого поскорее из товару сшил, а обрезки, говорит, пусть пришлет. Товар дорогой, мне, говорит, башмаки выйдут. Да дождись, пока сошьют, и с собой босовики привези». Вот и приехал.

Взял Михайла со стола обрезки товара, свернул трубкой, взял и босовики готовые, щелкнул друг об друга, обтер фартуком и подал малому. Взял малый босовики.

— Прощайте, хозяева! Час добрый!

VIII

Прошел и еще год, и два, и живет Михайла уже шестой год у Семена. Живет по-прежнему. Никуда не ходит, лишнего не говорит и во все время только два раза улыбнулся: один раз, когда баба ему ужинать собрала, другой раз на барина. Не нарадуется Семен на своего работника. И не спрашивает его больше, откуда он; только одного боится, чтоб не ушел от него Михайла.

Сидят раз дома. Хозяйка в печь чугуны ставит, а ребята по лавкам бегают, в окна глядят. Семен тачает у одного окна, а Михайла у другого каблук набивает.

Подбежал мальчик по лавке к Михайле, оперся ему на плечо и глядит в окно.

— Дядя Михайла, глянь-ка, купчиха с девочками, никак, к нам идет. А девочка одна хромая.

Только сказал это мальчик, Михайла бросил работу, повернулся к окну, глядит на улицу.

И удивился Семен. То никогда не глядит на улицу Михайла, а теперь припал к окну, глядит на что-то. Поглядел и Семен в окно; видит — вправду идет женщина к его двору, одета чисто, ведет за ручки двух девочек в шубках, в платочках в ковровых. Девочки одна в одну, разузнать нельзя. Только у одной левая ножка попорчена — идет, припадает.

Взошла женщина на крыльцо, в сени, ощупала дверь, потянула за скобу — отворила. Пропустила вперед себя двух девочек и вошла в избу.

— Здорово, хозяева!

— Просим милости. Что надо?

Села женщина к столу. Прижались ей девочки в колени, людей чудятся.

— Да вот девочкам на весну кожаные башмачки сшить.

— Что же, можно. Не шивали мы маленьких таких, да все можно. Можно рантовые, можно выворотные на холсте. Вот Михайла у меня мастер.

Оглянулся Семен на Михайлу и видит: Михайла работу бросил, сидит, глаз не сводит с девочек.

И подивился Семен на Михайлу. Правда, хороши, думает, девочки: черноглазенькие, пухленькие, румяненькие, и шубки и платочки на них хорошие, а все не поймет Семен, что он так приглядывается на них, точно знакомые они ему.

Подивился Семен и стал с женщиной толковать — рядиться. Порядился, сложил мерку. Подняла себе женщина на колени хроменькую и говорит:

— Вот с этой две мерки сними; на кривенькую ножку один башмачок сшей, а на пряменькую три. У них ножки одинакие, одна в одну. Двойни они.

Снял Семен мерку и говорит на хроменькую:

— С чего же это с ней сталось? Девочка такая хорошая. Сроду, что ли?

— Нет, мать задавила.

Вступилась Матрена, хочется ей узнать, чья такая женщина и чьи дети, и говорит:

— А ты разве им не мать будешь?

— Я не мать им и не родня, хозяюшка, чужие вовсе — приемыши.

— Не свои дети, а как жалеешь их!

— Как мне их не жалеть, я их обеих своею грудью выкормила. Свое было детище, да бог прибрал, его так не жалела, как их жалею.

— Да чьи же они?

IX

Разговорилась женщина и стала рассказывать.

— Годов шесть,— говорит,— тому дело было, в одну неделю обмерли сиротки эти: отца во вторник похоронили, а мать в пятницу померла. Остались обмóрушки эти от отца трех деньков, а мать и дня не прожила. Я в эту пору с мужем в крестьянстве жила. Соседи были, двор об двор жили. Отец их мужик одинокий был, в роще работал. Да уронили дерево как-то на него, его поперек прихватило, все нутро выдавило. Только довезли, он и отдал богу душу, а баба его в ту же неделю и роди двойню, вот этих девочек. Бедность, одиночество, одна баба была, — ни старухи, ни девчонки. Одна родила, одна и померла.

Пошла я наутро проведать соседку, прихожу в избу, а она, сердечная, уж и застыла. Да как помирала, завалилась на девочку. Вот эту задавила — ножку вывернула. Собрался народ — обмыли, опрятали, гроб сделали, похоронили. Всё добрые люди. Остались девчонки одни. Куда их деть? А я из баб одна с ребенком была. Первенького мальчика восьмую неделю кормила. Взяла я их до време-

ни к себе. Собрались мужики, думали, думали, куда их деть, и говорят мне: «Ты, Марья, подержи покамест девчонок у себя, а мы, дай срок, их обдумаем». А я разок покормила грудью пряменькую, а эту раздавленную и кормить не стала: не чаяла ей живой быть. Да думаю себе, за что ангельская душка млеет? Жалко стало и ту. Стала кормить, да так-то одного своего да этих двух — троих грудью и выкормила! Молода была, сила была, да и пища хорошая. И молока столько, бог дал, в грудях было, что зальются, бывало. Двоих кормлю, бывало, а третья ждет. Отвалится одна, третью возьму. Да так-то бог привел, что этих выкормила, а своего по второму годочку схоронила. И больше бог и детей не дал. А достаток прибавляться стал. Вот теперь живем здесь на мельнице у купца. Жалованье большое, жизнь хорошая. А детей нет. И как бы мне жить одной, кабы не девчонки эти! Как же мне их не любить! Только у меня и воску в свечке, что они!

Прижала к себе женщина одною рукой девочку хроменькую, а другою рукой стала со щек слезы стирать.

И вздохнула Матрена и говорит:

— Видно, пословица не мимо молвится: без отца, матери проживут, а без бога не проживут.

Поговорили они так промеж себя, поднялась женщина идти; проводили ее хозяева, оглянулись на Михайлу. А он сидит, сложивши руки на коленках, глядит вверх, улыбается.

X

Подошел к нему Семен: что, говорит, ты, Михайла!

Встал Михайла с лавки, положил работу, снял фартук, поклонился хозяину с хозяйкой и говорит:

— Простите, хозяева. Меня бог простил. Простите и вы.

И видят хозяева, что от Михайлы свет идет. И встал Семен, поклонился Михайле и сказал ему:

— Вижу я, Михайла, что ты не простой человек, и не могу я тебя держать, и не могу я тебя спрашивать. Скажи мне только одно: отчего, когда я нашел тебя и привел в дом, ты был пасмурен, и когда баба подала тебе ужинать, ты улыбнулся на нее и с тех пор стал светлее? Потом когда барин заказывал сапоги, ты улыбнулся

в другой раз и с тех пор стал еще светлее? И теперь, когда женщина приводила девочек, ты улыбнулся в третий раз и весь просветлел. Скажи мне, Михайла, отчего такой свет от тебя и отчего ты улыбнулся три раза?

И сказал Михайла:

— Оттого свет от меня, что я был наказан, а теперь бог простил меня. А улыбнулся я три раза оттого, что мне надо было узнать три слова божии. И я узнал слова божьи; одно слово я узнал, когда твоя жена пожалела меня, и оттого я в первый раз улыбнулся. Другое слово я узнал, когда богач заказывал сапоги, и я в другой раз улыбнулся; и теперь, когда я увидал девочек, я узнал последнее, третье слово, и я улыбнулся в третий раз.

И сказал Семен:

— Скажи мне, Михайла, за что бог наказал тебя и какие те слова бога, чтобы мне знать.

И сказал Михайла:

— Наказал меня бог за то, что я ослушался его. Я был ангел на небе и ослушался бога.

Был я ангел на небе, и послал меня господь вынуть из женщины душу. Слетел я на землю, вижу: лежит одна жена — больна, родила двойню, двух девочек. Копошатся девочки подле матери, и не может их мать к грудям взять. Увидала меня жена, поняла, что бог меня по душу послал, заплакала и говорит: «Ангел божий! мужа моего только схоронили, деревом в лесу убило. Нет у меня ни сестры, ни тетки, ни бабки, некому моих сирот взрастить. Не бери ты мою душеньку, дай мне самой детей вспоить, вскормить, на ноги поставить! Нельзя детям без отца, без матери прожить!» И послушал я матери, приложил одну девочку к груди, подал другую матери в руки и поднялся к господу на небо. Прилетел к господу и говорю: «Не мог я из родильницы души вынуть. Отца деревом убило, мать родила двойню и молит не брать из нее души, говорит: «Дай мне детей вспоить, вскормить, на ноги поставить. Нельзя детям без отца, без матери прожить». Не вынул я из родильницы душу». И сказал господь: «Поди вынь из родильницы душу и узнаешь три слова: узнаешь, что есть в людях, и чего не дано людям, и чем люди живы. Когда узнаешь, вернешься на небо». Полетел я назад на землю и вынул из родильницы душу.

Отпали младенцы от грудей. Завалилось на кровати мертвое тело, придавило одну девочку, вывернуло ей

ножку. Поднялся я над селом, хотел отнести душу богу, подхватил меня ветер, повисли у меня крылья, отвалились, и пошла душа одна к богу, а я упал у дороги на землю.

XI

И поняли Семен с Матреной, кого они одели и накормили и кто жил с ними, и заплакали они от страха и радости.

И сказал ангел:

— Остался я один в поле и нагой. Не знал я прежде нужды людской, не знал ни холода, ни голода, и стал человеком. Проголодался, измерз и не знал, что делать. Увидал я — в поле часовня для бога сделана, подошел к божьей часовне, хотел в ней укрыться. Часовня заперта была замком, и войти нельзя было. И сел я за часовней, чтобы укрыться от ветра. Пришел вечер, проголодался я и застыл и изболел весь. Вдруг слышу: идет человек по дороге, несет сапоги, сам с собой говорит. И увидал я впервой смертное лицо человеческое после того, как стал человеком, и страшно мне стало это лицо, отвернулся я от него. И слышу я, что говорит сам с собой этот человек о том, как ему свое тело от стужи в зиму прикрыть, как жену и детей прокормить. И подумал: «Я пропадаю от холода и голода, а вот идет человек, только о том и думает, как себя с женой шубой прикрыть и хлебом прокормить. Нельзя ему помочь мне». Увидал меня человек, нахмурился, стал еще страшнее и прошел мимо. И отчаялся я. Вдруг слышу, идет назад человек. Взглянул я и не узнал прежнего человека: то в лице его была смерть, а теперь вдруг стал живой, и в лице его я узнал бога. Подошел он ко мне, одел меня, взял с собой и повел к себе в дом. Пришел я в его дом, вышла нам навстречу женщина и стала говорить. Женщина была еще страшнее человека — мертвый дух шел у нее изо рта, и я не мог продохнуть от смрада смерти. Она хотела выгнать меня на холод, и я знал, что умрет она, если выгонит меня. И вдруг муж ее напомнил ей о боге, и женщина вдруг переменилась. И когда она подала нам ужинать, а сама глядела на меня, я взглянул на нее — в ней уже не было смерти, она была живая, и я и в ней узнал бога.

И вспомнил я первое слово бога: «Узнаешь, что есть в людях». И я узнал, что есть в людях любовь. И обрадо-

вался я тому, что бог уже начал открывать мне то, что обещал, и улыбнулся в первый раз. Но всего не мог я узнать еще. Не мог я понять, чего не дано людям и чем люди живы.

Стал я жить у вас и прожил год. И приехал человек заказывать сапоги такие, чтобы год носились, не поролись, не кривились. Я взглянул на него и вдруг за плечами его увидал товарища своего, смертного ангела. Никто, кроме меня, не видал этого ангела, но я знал его и знал, что не зайдет еще солнце, как возьмется душа богача. И подумал я: «Припасает себе человек на год, а не знает, что не будет жив до вечера». И вспомнил я другое слово бога: «Узнаешь, чего не дано людям».

Что есть в людях, я уже знал. Теперь я узнал, чего не дано людям. Не дано людям знать, чего им для своего тела нужно. И улыбнулся я в другой раз. Обрадовался я тому, что увидал товарища ангела, и тому, что бог мне другое слово открыл.

Но всего не мог я понять. Не мог еще я понять, чем люди живы. И все жил я и ждал, когда бог откроет мне последнее слово. И на шестом году пришли девочки-двойни с женщиной, и узнал я девочек, и узнал, как остались живы девочки эти. Узнал и подумал: «Просила мать за детей, и поверил я матери,— думал, что без отца, матери нельзя прожить детям, а чужая женщина вскормила, взрастила их». И когда умилилась женщина на чужих детей и заплакала, я в ней увидал живого бога и понял, чем люди живы. И узнал, что бог открыл мне последнее слово и простил меня, и улыбнулся я в третий раз.

XII

И обнажилось тело ангела, и оделся он весь светом, так что глазу нельзя смотреть на него; и заговорил он громче, как будто не из него, а с неба шел его голос. И сказал ангел:

— Узнал я, что жив всякий человек не заботой о себе, а любовью.

Не дано было знать матери, чего ее детям для жизни нужно. Не дано было знать богачу, чего ему самому нужно. И не дано знать ни одному человеку — сапоги на живого или босовики ему же на мертвого к вечеру нужны.

Остался я жив, когда был человеком, не тем, что я сам себя обдумал, а тем, что была любовь в прохожем человеке и в жене его и они пожалели и полюбили меня. Остались живы сироты не тем, что обдумали их, а тем, что была любовь в сердце чужой женщины и она пожалела, полюбила их. И живы все люди не тем, что они сами себя обдумывают, а тем, что есть любовь в людях.

Знал я прежде, что бог дал жизнь людям и хочет, чтобы они жили; теперь понял я еще и другое.

Я понял, что бог не хотел, чтобы люди врозь жили, и затем не открыл им того, что каждому для себя нужно, а хотел, чтоб они жили заодно, и затем открыл им то, что им всем для себя и для всех нужно.

Понял я теперь, что кажется только людям, что они заботой о себе живы, а что живы они одною любовью. Кто в любви, тот в боге и бог в нем, потому что бог есть любовь.

И запел ангел хвалу богу, и от голоса его затряслась изба. И раздвинулся потолок, и встал огненный столб от земли до неба. И попадали Семен с женой и с детьми на землю. И распустились у ангела за спиной крылья, и поднялся он на небо.

И когда очнулся Семен, изба стояла по-прежнему, и в избе уже никого, кроме семейных, не было.

СКАЗКА
ОБ ИВАНЕ-ДУРАКЕ И ЕГО ДВУХ БРАТЬЯХ: СЕМЕНЕ-ВОИНЕ И ТАРАСЕ-БРЮХАНЕ, И НЕМОЙ СЕСТРЕ МАЛАНЬЕ, И О СТАРОМ ДЬЯВОЛЕ И ТРЕХ ЧЕРТЕНЯТАХ

I

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был богатый мужик. И было у богатого мужика три сына: Семен-воин, Тарас-брюхан и Иван-дурак, и дочь Маланья-векоуха, немая. Пошел Семен-воин на войну, царю служить, Тарас-брюхан пошел в город к купцу, торговать, а Иван-дурак с девкою остался дома работать, горб наживать. Выслужил себе Семен-воин чин большой и вотчину и женился на барской дочери. Жалованье большое было и вотчина большая, а всё концы с концами не сводил: что муж соберет, все жена-барыня рукавом растрясет; все денег нет. И приехал Семен-воин в вотчину доходы собирать. Приказчик ему и говорит:

— Не с чего взять; нет у нас ни скотины, ни снасти, ни лошади, ни коровы, ни сохи, ни бороны; надо всего завести — тогда доходы будут.

И пошел Семен-воин к отцу:

— Ты,— говорит,— батюшка, богат, а мне ничего не дал. Отдели мне третью часть, я в свою вотчину переведу.

Старик и говорит:

— Ты мне в дом ничего не подавал, за что тебе третью часть давать? Ивану с девкой обидно будет.

А Семен говорит:

— Да ведь он дурак, а она векоуха немая; чего им надо?

Старик и говорит:

— Как Иван скажет.

А Иван говорит:

— Ну что ж, пускай берет.

Взял Семен-воин часть из дома, перевел в свою вотчину, опять уехал к царю служить.

Нажил и Тарас-брюхан денег много — женился на купчихе, да все ему мало было, приехал к отцу и говорит:

— Отдели мне мою часть.

Не хотел старик и Тарасу давать часть.

— Ты,— говорит,— нам ничего не подавал, а что в доме есть, то Иван нажил. Тоже и его с девкой обидеть нельзя.

А Тарас говорит:

— На что ему, он дурак; жениться ему нельзя, никто не пойдет, а девке немой тоже ничего не нужно. Давай,— говорит,— Иван, мне хлеба половинную часть; я снасти брать не буду, а из скотины только жеребца сивого возьму,— тебе он пахать не годится.

Засмеялся Иван.

— Ну что ж,— говорит,— я пойду обротаю.

Отдали и Тарасу часть. Увез Тарас хлеб в город, увел жеребца сивого, и остался Иван с одной кобылой старой по-прежнему крестьянствовать — отца с матерью кормить.

II

Досадно стало старому дьяволу, что не поссорились в дележе братья, а разошлись по любови. И кликнул он трех чертенят.

— Вот видите,— говорит,— три брата живут: Семен-воин, Тарас-брюхан и Иван-дурак. Надо бы им всем перессориться, а они мирно живут: друг с дружкой хлеб-соль водят. Дурак мне все дела испортил. Подите вы втроем, возьмитесь за троих и смутите их так, чтобы они друг дружке глаза повыдрали. Можете ли это сделать?

— Можем,— говорят.

— Как же вы делать будете?

— А так, — говорят, — сделаем: разорим их сперва, чтоб им жрать нечего было, а потом собьем в одну кучу, они и передерутся.

— Ну, ладно, — говорит, — я вижу — вы дело знаете; ступайте и ко мне не ворочайтесь, пока всех троих не смутите, а то со всех троих шкуру спущу.

Пошли чертенята все в болото, стали судить, как за дело браться; спорили, спорили, каждому хочется полегче работу выгадать, и порешили на том, что жеребий кинуть, какой кому достанется. А коли кто раньше других отделается,

чтоб приходил другим подсоблять. Кинули жеребий чертенята и назначили срок, опять когда в болоте собраться, узнать, кто отделался и кому подсоблять идти.

Пришел срок, и собрались по уговору чертенята в болоте. Стали толковать, как у кого дела. Стал рассказывать первый чертенок — от Семена-воина.

— Мое дело, — говорит, — ладится. Завтра, — говорит, — мой Семен домой к отцу придет.

Стали его товарищи спрашивать:

— Как ты, — говорят, — сделал?

— А я, — говорит, — первым делом храбрость такую на Семена навел, что он обещал своему царю весь свет завоевать, и сделал царь Семена начальником, послал его воевать индейского царя. Сошлись воевать. А я в ту же ночь в Семеновом войске весь порох подмочил и пошел к индейскому царю из соломы солдат наделал видимо-невидимо. Увидали Семеновы солдаты, что на них со всех сторон соломенные солдаты заходят, заробели. Велел Семен-воин палить: пушки, ружья не выходят. Испугались Семеновы солдаты и побежали, как бараны. И побил их индейский царь. Осрамился Семен-воин, отняли у него вотчину и завтра казнить хотят. Только мне на день и дела осталось, из темницы его выпустить, чтобы он домой убежал. Завтра отделаюсь, так сказывайте, кому из двух помогать приходить?

Стал и другой чертенок, от Тараса, рассказывать про свои дела.

— Мне, — говорит, — помогать не нужно. Мое дело тоже на лад пошло, больше недели не проживет Тарас. Я, — говорит, — первым делом отрастил ему брюхо и навел на него зависть. Такая у него зависть на чужое добро сделалась, что, чтó ни увидит, все ему купить хочется. Накупил он всего видимо-невидимо на все свои деньги и все еще покупает. Теперь уж стал на заемные покупать. Уж много на шею набрал и запутался так, что не распутается. Через неделю сроки подойдут отдавать, а я из всего товара его навоз сделаю — не расплатится и придет к отцу.

Стали спрашивать и третьего чертенка, от Ивана.

— А твое дело как?

— Да что,— говорит,— мое дело не ладится. Наплевал я ему первым делом в кувшин с квасом, чтобы у него живот болел, и пошел на его пашню, сбил землю, как

камень, чтоб он не осилил. Думал я, что он не вспашет, а он, дурак, приехал с сохой, начал драть. Кряхтит от живота, а сам все пашет. Изломал я ему одну соху — поехал дурак домой, переладил другую, подвои новые подвязал и опять принялся пахать. Залез я под землю, стал за сошники держать, не удержишь никак — налегает на соху, а сошники вострые: изрезал мне руки все. Почти все допахал, одна только полоска осталась. Приходите,— говорит,— братцы, помогать, а то, как мы его одного не осилим, все наши труды пропадут. Если дурак останется да крестьянствовать будет, они нужды не увидят, он обоих братьев кормить будет.

Пообещал чертенок от Семена-воина назавтра приходить помогать, и разошлись на том чертенята.

III

Вспахал Иван весь пар, только одна полоска осталась. Приехал допахивать. Болит у него живот, а пахать надо. Выхлестнул гужи, перевернул соху и поехал пахать. Только завернулся раз, поехал назад — ровно за корень зацепило что-то — волочет. А это чертенок ногами вокруг рассохи заплел — держит. «Что за чудо!—думает Иван.—Корней тут не было, а корень». Запустил Иван руку в борозду, ощупал — мягкое. Ухватил что-то, вытащил. Черное, как корень, а на корне что-то шевелится. Глядь — чертенок живой.

— Ишь ты,— говорит,— пакость какая!

Замахнулся Иван, хотел о приголовок пришибить его, да запищал чертенок:

— Не бей ты меня,— говорит,— а я тебе что хочешь сделаю.

— Что ж ты мне сделаешь?

— Скажи только, чего хочешь.

Почесался Иван.

— Брюхо,— говорит,— болит у меня — поправить можешь?

— Могу, — говорит.

— Ну, лечи.

Нагнулся чертенок в борозду, пошарил, пошарил когтями, выхватил корешок-тройчатку, подал Ивану.

— Вот,— говорит,— кто ни проглотит один корешок, всякая боль пройдет.

Взял Иван, разорвал корешки, проглотил один. Сейчас живот прошел.

Запросился опять чертенок.

— Пусти,— говорит,— теперь меня, я в землю проскочу — больше ходить не буду.

— Ну что ж, — говорит, — бог с тобой!

И как только сказал Иван про бога — юркнул чертенок под землю, как камень в воду, только дыра осталась. Засунул Иван два остальных корешка в шапку и стал допахивать. Запахал до конца полоску, перевернул соху и поехал домой. Отпряг, пришел в избу, а старший брат, Семен-воин, сидит с женой — ужинают. Отняли у него вотчину,— насилу из тюрьмы ушел и прибежал к отцу жить.

Увидал Семен Ивана.

— Я, — говорит, — к тебе жить приехал; корми нас с женой, пока место новое выйдет.

— Ну что ж,— говорит,— живите.

Только хотел Иван на лавку сесть — не понравился барыне дух от Ивана. Она и говорит мужу:

— Не могу я,— говорит,— с вонючим мужиком вместе ужинать.

Семен-воин и говорит:

— Моя барыня говорит, от тебя дух не хорош — ты бы в сенях поел.

— Ну что ж,— говорит.— Мне и так в ночное пора — кобылу кормить.

Взял Иван хлеба, кафтан и поехал в ночное.

IV

Отделался в эту ночь чертенок от Семена-воина и пришел по уговору Иванова чертенка искать—ему помогать дурака донимать. Пришел на пашню; поискал, поискал товарища — нет нигде, только дыру нашел. «Ну, думает, видно, с товарищем беда случилась, надо на его место становиться. Пашня допахана — надо будет дурака на покосе донимать».

Пошел чертенок в луга, напустил на Иванов покос паводок; затянуло весь покос грязью. Вернулся на зорьке Иван из ночного, отбил косу, пошел луга косить. Пришел Иван, стал косить; махнет раз, махнет другой — затупится коса, не режет, точить надо. Бился, бился Иван,

— Нет,— говорит,— пойду домой, отбой принесу да и хлеба ковригу. Хоть неделю пробьюсь, а не уйду, пока не выкошу.

Услыхал чертенок — задумался.

— Калян, — говорит, — дурак этот, не проймешь его. Надо на другие штуки подниматься.

Пришел Иван, отбил косу, стал косить. Залез чертенок в траву, стал косу за пятку ловить, носком в землю тыкать. Трудно Ивану, однако выкосил покос — осталась одна делянка в болоте. Залез чертенок в болото, думает себе:

«Хоть лапы перережу, а не дам выкосить».

Зашел Иван в болото; трава — смотреть — не густая, а не проворотить косы. Рассердился Иван, начал во всю мочь махать; стал чертенок подаваться — не поспевает отскакивать; видит — дело плохо, забился в куст. Размахнулся Иван, шаркнул по кусту, отхватил чертенку половину хвоста. Докосил Иван покос, велел девке грести, а сам пошел рожь косить.

Вышел с крюком, а кургузый чертенок уж там, перепутал рожь так, что на крюк нейдет. Вернулся Иван, взял серп и принялся жать — выжал всю рожь.

— Ну, теперь, — говорит, — надо за овес браться.

Услыхал кургузый чертенок, думает: «На ржи не донял, так на овсе дойму, дай только утра́ дождаться». Прибежал чертенок утром на овсяное поле, а овес уже скошен: Иван его ночью скосил, чтоб меньше сыпался. Рассердился чертенок.

— Изрезал,— говорит,— меня и замучил дурак. И на войне такой беды не видал! Не спит, проклятый, за ним не поспеешь! Пойду,— говорит,— теперь в копны, прогною ему все.

И пошел чертенок в ржаную копну, залез между снопами — стал гноить: согрел их и сам согрелся и задремал.

А Иван запряг кобылу и поехал с девкой возить. Подъехал к копне, стал кидать на воз. Скинул два снопа, сунул — прямо чертенку в зад; поднял — глядь: на вилах чертенок живой, да еще кургузый, барахтается, ужимается, соскочить хочет.

— Ишь ты, — говорит, — пакость какая! Ты опять тут?

— Я, — говорит, — другой, то мой брат был. А я, — говорит, — у твоего брата Семена был.

— Ну, — говорит, — какой ты там ни будь, и тебе то же будет! — Хотел его об грядку пришибить, да стал его просить чертенок.

— Отпусти,— говорит,— больше не буду, а я тебе что хочешь сделаю.

— Да что ты сделать можешь?

— А я, — говорит, — могу из чего хочешь солдат наделать.

— Да на что их?

— А на что,— говорит,— хочешь их поверни; они все могут.

— Песни играть могут?

— Могут.

— Ну что ж,— говорит,— сделай.

И сказал чертенок:

— Возьми ты вот сноп ржаной, тряхни его о землю гузом и скажи только: «Велит мой холоп, чтоб был не сноп, а сколько в тебе соломинок, столько бы солдат».

Взял Иван сноп, тряхнул оземь и сказал, как велел чертенок. И расскочился сноп, и сделались солдаты, и впереди барабанщик и трубач играют. Засмеялся Иван.

— Ишь ты,— говорит,— как ловко! Это,— говорит,— хорошо — девок веселить.

— Ну, — говорит чертенок, — пусти же теперь.

— Нет, — говорит, — это я из старновки делать буду, а то даром зерно пропадает. Научи, как опять в сноп поворотить. Я его обмолочу.

Чертенок и говорит:

— Скажи: «Сколько солдат, столько соломинок. Велит мой холоп, будь опять сноп!»

Сказал так Иван, и стал опять сноп.

И стал опять проситься чертенок.

— Пусти,— говорит,— теперь.

— Ну что ж!

Зацепил его Иван за грядку, придержал рукой, сдернул с вил.

— С богом,— говорит. И только сказал про бога — юркнул чертенок под землю, как камень в воду, только дыра осталась.

Приехал Иван домой, а дома и другой брат, Тарас, с женой сидят — ужинают. Не расчелся Тарас-брюхан, убежал от долгов и пришел к отцу. Увидал Ивана.

— Ну, — говорит, — Иван, пока я расторгуюсь, корми нас с женой.

— Ну что ж, — говорит, — живите.

Снял Иван кафтан, сел к столу.

А купчиха говорит:

— Я, — говорит, — с дураком кушать не могу: от него,— говорит,— пóтом воняет.

Тарас-брюхан и говорит:

— От тебя,— говорит,— Иван, дух не хорош — поди в сенях поешь.

— Ну что ж, — говорит.

Взял хлеба, ушел на двор.

— Мне, — говорит, — кстати в ночное пора — кобылу кормить.

V

Отделался в эту ночь и от Тараса чертенок — пришел по уговору товарищам помогать — Ивана-дурака донимать. Пришел на пашню, поискал, поискал товарищей — нет никого, только дыру нашел. Пошел на луга — в болоте хвост нашел, а на ржаном жниве и другую дыру нашел. «Ну, думает, видно, над товарищами беда случилась, надо на их место становиться, за дурака приниматься».

Пошел чертенок Ивана искать. А Иван уж с поля убрался, в роще лес рубит.

Стало братьям тесно жить вместе, велели дураку себе на избы лес рубить, новые дома строить.

Прибежал чертенок в лес, залез в сучья, стал мешать Ивану деревья валить. Подрубил Иван дерево как надо, чтоб на чистое место упало, стал валить — дурóм пошло дерево, повалилось, куда не надо, на суках застряло. Вырубил Иван рочаг, начал отворачивать — насилу свалил дерево. Стал Иван рубить другое — опять то же. Бился, бился, насилу выпростал. Взялся за третье — опять то же. Думал Иван хлыстов полсотни срубить, и десятка не срубил, а уж ночь на дворе. И замучался Иван. Валит от него пар, как туман по лесу пошел, а он все не бросает. Подрубил он еще дерево, и заломило ему спину, так что мочи не стало; воткнул топор и присел отдохнуть. Услыхал чертенок, что затих Иван, обрадовался. «Ну, думает, выбился из сил — бросит; отдохну теперь и я». Сел верхом на сук и радуется. А Иван поднялся, вынул топор, размахнулся да как тяпнет с другой с стороны, сразу затрещало дерево — грохнулось. Не спопашился чертенок, не успел ног выпростать, сломался сук и защемил чертен-

ка за лапу. Стал Иван очищать — глядь: чертенок живой. Удивился Иван.

— Ишь ты,— говорит,— пакость какая! Ты опять тут?

— Я, — говорит, — другой. Я у твоего брата Тараса был.

— Ну, какой бы ты ни был, а тебе то же будет!

Замахнулся Иван топором, хотел его обухом пристукнуть. Взмолился чертенок.

— Не бей,— говорит,— меня, я тебе что хочешь сделаю.

— Да что ж ты сделать можешь?

— А я, — говорит, — могу тебе денег сколько хочешь наделать.

— Ну что ж, — говорит, — наделай!

И научил его чертенок.

— Возьми ты, — говорит, — листу дубового с этого дуба и потри в руках. Наземь золото падать будет.

Взял Иван листьев, потер — посыпалось золото.

— Это,— говорит,— хорошо, когда на гулянках с ребятами играть.

— Пусти же, — говорит чертенок.

— Ну что ж! — Взял Иван рогач, выпростал чертенка.— Бог с тобой! — говорит.— И как только сказал про бога — юркнул чертенок под землю, как камень в воду, только дыра осталась.

VI

Построили братья дома и стали жить порознь. А Иван убрался с поля, пива наварил и позвал братьев гулять. Не пошли братья к Ивану в гости.

— Не видали мы,— говорят,— мужицкого гулянья.

Угостил Иван мужиков, баб и сам выпил — захмелел и пошел на улицу в хороводы. Подошел Иван к хороводам, велел бабам себя величать.

— Я,— говорит,— вам того дам, чего вы в жизнь не видали. — Посмеялись бабы и стали его величать. Отвеличали и говорят:

— Ну что ж, давай.

— Сейчас,— говорит,— принесу.— Ухватил севалку, побежал в лес. Смеются бабы: «То-то дурак!» И забыли про него. Глядь: бежит Иван назад, несет севалку, полну чего-то.

— Оделять, что ли?

— Оделяй.

Захватил Иван горсть золота — кинул бабам. Батюшки! Бросились бабы подбирать; выскочили мужики, друг у дружки рвут, отнимают. Старуху одну чуть до смерти не задавили. Смеется Иван.

— Ах вы, дурачки,— говорит,— зачем вы бабушку задавили. Вы полегче, а я вам еще дам.— Стал еще швырять. Сбежался народ, расшвырял Иван всю севалку. Стали просить еще. А Иван говорит:

— Вся. Другой раз еще дам. Теперь давайте плясать, играйте песни.

Заиграли бабы песни.

— Не хороши,— говорит,— ваши песни.

— Какие же, — говорят, — лучше?

— А я,— говорит,— вот вам покажу сейчас.

Пошел на гумно, выдернул сноп, обил его, поставил на гузо, стукнул.

— Ну,— говорит,— сделай холоп, чтоб был не сноп, а каждая соломинка — солдат.

Расскочился сноп, стали солдаты; заиграли барабаны, трубы. Велел Иван солдатам песни играть, вышел с ними на улицу. Удивился народ. Поиграли солдаты песни, и увел их Иван назад на гумно, а сам не велел никому за собой ходить, и сделал опять солдат снопом, бросил на одонье. Пришел домой и лег спать в закуту.

VII

Узнал наутро про эти дела старший брат Семен-воин, приходит к Ивану.

— Открой ты мне,— говорит,— откуда ты солдат приводил и куда увел?

— А на что, — говорит, — тебе?

— Как на что? С солдатами все сделать можно. Можно себе царство добыть.

Удивился Иван.

— Ну? Что ж ты, — говорит, — давно не сказал? Я себе сколько хочешь наделаю. Благо мы с девкой много насторновали.

Повел Иван брата на гумно и говорит:

— Смотри же, я их делать буду, а ты их уводи, а то коли их кормить, так они в один день всю деревню слопают.

Обещал Семен-воин увести солдат, и начал Иван их делать. Стукнет по току снопом — рота; стукнет другим — другая; наделал их столько, что все поле захватили.

— Что ж, будет, что ли?

Обрадовался Семен и говорит:

— Будет. Спасибо, Иван.

— То-то,— говорит.— Коли тебе еще надо, ты приходи, я еще наделаю. Соломы нынче много.

Сейчас распорядился Семен-воин войском, собрал их как следует и пошел воевать.

Только ушел Семен-воин, приходит Тарас-брюхан — тоже узнал про вчерашнее дело, стал брата просить:

— Открой мне, откуда ты золотые деньги берешь? Кабы у меня такие вольные деньги были, я бы к этим деньгам со всего света деньги собрал.

Удивился Иван.

— Ну! Ты бы давно,— говорит,— мне сказал. Я тебе сколько хочешь натру.

Обрадовался брат:

— Дай мне хоть севалки три.

— Ну что ж, — говорит, — пойдем в лес, а то лошадь запряги — не унесешь.

Поехали в лес; стал Иван с дуба листья натирать. Насыпал кучу большую.

— Будет, что ли?

Обрадовался Тарас.

— Пока будет,—говорит.— Спасибо, Иван.

— То-то, — говорит. — Коли тебе еще надо, приходи, я натру еще — листу много осталось.

Набрал Тарас-брюхан денег воз целый и уехал торговать.

Уехали оба брата. И стал Семен воевать, а Тарас торговать. И завоевал себе Семен-воин царство, а Тарас-брюхан наторговал денег кучу большую.

Сошлись братья вместе и открылись друг другу: откуда у Семена солдаты, а у Тараса деньги.

Семен-воин и говорит брату:

— Я, — говорит, — царство себе завоевал, и мне жить хорошо, только у меня денег нехватка — солдат кормить.

А Тарас-брюхан говорит:

— А я,— говорит,— нажил денег бугор большой, только одно, — говорит, — горе — караулить денег некому.

Семен-воин и говорит:

— Пойдем,— говорит, — к брату Ивану,— я велю ему еще солдат наделать — тебе отдам твои деньги караулить, а ты вели ему мне денег натереть, чтоб было чем солдат кормить.

И поехали они к Ивану. Приезжают к Ивану. Семен и говорит:

— Мне мало, братец, моих солдат, сделай мне,— говорит, — еще солдат, хоть копны две переделай.

Замотал головой Иван.

— Даром,— говорит,— не стану больше тебе солдат делать.

— Да как же,— говорит,— ты обещал?

— Обещал, — говорит, — да не стану больше.

— Да отчего ж ты, дурак, не станешь?

— А оттого, что твои солдаты человека до смерти убили. Я намедни пашу у дороги: вижу, баба по дороге гроб везет, а сама воет. Я спросил: «Кто помер?» Она говорит: «Мужа Семеновы солдаты на войне убили». Я думал, что солдаты будут песни играть, а они человека до смерти убили. Не дам больше.

Так и уперся, не стал больше делать солдат.

Стал и Тарас-брюхан просить Ивана-дурака, чтоб он ему еще золотых денег наделал.

Замотал головой Иван.

— Даром,— говорит,— не стану больше тереть.

— Да как же, ты,— говорит,— обещал?

— Обещал, — говорит, — да не стану больше.

— Да отчего же ты, дурак, не станешь?

— А оттого, что твои золотые у Михайловны корову отняли.

— Как отняли?

— Так отняли. Была у Михайловны корова, ребята молоко хлебали, а намедни пришли ее ребята ко мне молока просить. Я и говорю им: «А ваша корова где?» Говорят: «Тараса-брюхана приказчик приезжал, мамушке три золотые штучки дал, а она ему и отдала корову, нам теперь хлебать нечего». Я думал, ты золотыми штучками играть хочешь, а ты у ребят корову отнял. Не дам больше!

И уперся дурак, не дал больше. Так и уехали братья.

Уехали братья и стали судить, как им своему горю помочь. Семен и говорит:

— Давай вот что сделаем. Ты мне денег дай — солдат кормить, а я тебе половину царства с солдатами отдам — твои деньги караулить.

Согласился Тарас. Поделились братья, и стали оба царями и оба богаты.

VIII

А Иван дома жил, отца с матерью кормил, с немой девкой в поле работал.

Только случилось раз, заболела у Ивана собака дворная старая, опаршивела, стала издыхать. Пожалел ее Иван — взял хлеба у немой, положил в шапку, вынес собаке, кинул ей. А шапка продралась, и выпал с хлебом один корешок. Слопала его с хлебом собака старая. И только проглотила корешок, вскочила собака, заиграла, залаяла, хвостом замахала — здорова стала.

Увидали отец с матерью, удивились.

— Чем ты,— говорят,— собаку вылечил?

А Иван и говорит:

— У меня два корешка были — от всякой боли лечат, так она и слопала один.

И случилось в это время, что заболела у царя дочь, и повестил царь по всем городам и селам — кто вылечит ее, того он наградит, и если холостой, за того и дочь замуж отдаст. Повестили и у Ивана в деревне.

Позвали отец с матерью Ивана и говорят ему:

— Слышал ты, что царь повещает? Ты сказывал, что у тебя корешок есть, поезжай, вылечи царскую дочь. Ты навек счастье получишь.

— Ну что ж,—говорит.

И собрался Иван ехать. Одели его, выходит Иван на крыльцо, видит — стоит побирушка косорукая.

— Слышала я,— говорит,— что ты лечишь? Вылечи мне руку, а то и обуться сама не могу.

Иван говорит:

— Ну что ж!

Достал корешок, дал побирушке, велел проглотить. Проглотила побирушка и выздоровела, сейчас стала рукой махать. Вышли отец с матерью Ивана к царю провожать, услыхали, что Иван последний корешок отдал и нечем царскую дочь лечить, стали его отец с матерью ругать.

— Побирушку,— говорят,— пожалел, а царскую дочь не жалеешь!

Жалко стало Ивану и царскую дочь. Запряг он лошадь, кинул соломы в ящик и сел ехать.

— Да куда же ты, дурак?

— Царскую дочь лечить.

— Да ведь тебе лечить нечем?

— Ну что ж,— говорит и погнал лошадь.

Приехал на царский двор и только ступил на крыльцо — выздоровела царская дочь.

Обрадовался царь, велел звать к себе Ивана, одел его, нарядил.

— Будь,— говорит,— ты мне зятем.

— Ну что ж,— говорит.

И женился Иван на царевне. А царь вскоре помер. И стал Иван царем. Так стали царями все три брата.

IX

Жили три брата — царствовали.

Хорошо жил старший брат Семен-воин. Набрал он со своими соломенными солдатами настоящих солдат. Велел он по всему своему царству с десяти дворов по солдату поставлять, и чтобы был солдат тот и ростом велик, и телом бел, и лицом чист. И набрал он таких солдат много и всех обучил. И как кто ему в чем поперечит, сейчас посылает этих солдат и делает все, как ему вздумается. И стали его все бояться.

И житье ему было хорошее. Что только задумает и на что только глазами вскинет, то и его. Пошлет солдат, а те отберут и принесут и приведут все, что ему нужно.

Хорошо жил и Тарас-брюхан. Он свои деньги, что забрал от Ивана, не растерял, а большой прирост им сделал. Завел он у себя в царстве порядки хорошие. Деньги держал он у себя в сундуках, а с народу взыскивал деньги. Взыскивал он деньги и с души, и с водки, и с пива, и со свадьбы, и с похорон, и с проходу, и с проезду, и с лаптей, и с онуч, и с оборок. И что ни вздумает, все у него есть. За денежки к нему всего несут и работать идут, потому что всякому деньги нужны.

Не плохо жил и Иван-дурак. Как только похоронил тестя, снял он все царское платье — жене отдал в сундук спрятать,— опять надел посконную рубаху, портки и лапти обул и взялся за работу.

— Скучно,—говорит,—мне: брюхо расти стало, и еды и сна нет.

Привез отца с матерью и девку немую и стал опять работать.

Ему и говорят:

— Да ведь ты царь!

— Ну что ж,— говорит,— и царю жрать надо.

Пришел к нему министр, говорит:

— У нас,— говорит,— денег нет жалованье платить.

— Ну что ж, — говорит, — нет, так и не плати.

— Да они, — говорит, — служить не станут.

— Ну что ж,— говорит,— пускай,— говорит,— не служат, им свободнее работать будет; пускай навоз вывозят, они много его панавозили.

Пришли к Ивану судиться. Один говорит:

— Он у меня деньги украл.

А Иван говорит:

— Ну что ж! значит, ему нужно.

Узнали все, что Иван — дурак. Жена ему и говорит:

— Про тебя говорят, что ты дурак.

— Ну что ж,— говорит.

Подумала, подумала жена Иванова, а она тоже дура была.

— Что же мне,— говорит,— против мужа идти? Куда иголка, туда и нитка.

Посняла царское платье, положила в сундук, пошла к девке немой работе учиться. Научилась работать, стала мужу подсоблять.

И ушли из Иванова царства все умные, остались одни дураки. Денег ни у кого не было. Жили — работали, сами кормились и людей добрых кормили.

X

Ждал, ждал старый дьявол вестей от чертенят о том, как они трех братьев разорили,— нет вестей никаких. Пошел сам проведать; искал, искал, нигде не нашел, только три дыры отыскал. «Ну, думает, видно, не осилили — надо самому приниматься».

Пошел разыскивать, а братьев на старых местах уже нет. Нашел он их в разных царствах. Все три живут-царствуют. Обидно показалось старому дьяволу.

— Ну,— говорит,— возьмусь-ка я сам за дело.

Пошел он прежде всего к Семену-царю. Пошел он не в своем виде, а оборотился воеводой — приехал к Семену-царю.

— Слышал я,— говорит,— что ты, Семен-царь, воин большой, а я этому делу твердо научен, хочу тебе послужить.

Стал его расспрашивать Семен-царь, видит — человек умный, взял на службу.

Стал новый воевода Семена-царя научать, как сильное войско собрать.

— Первое дело — надо,— говорит,— больше солдат собрать, а то, — говорит, — у тебя в царстве много народа дурно гуляет. Надо, — говорит, — всех молодых без разбора забрить, тогда у тебя войска впятеро против прежнего будет. Второе дело — надо ружья и пушки новые завести. Я тебе такие ружья заведу, что будут сразу по сту пуль выпускать, как горохом будут сыпать. А пушки заведу такие, что они будут огнем жечь. Человека ли, лошадь ли, стену ли — все сожжет.

Послушался Семен-царь воеводы нового, велел всех подряд молодых ребят в солдаты брать, и заводы новые завел; наделал ружей, пушек новых и сейчас же на соседнего царя войной пошел. Только вышло навстречу войско, велел Семен-царь своим солдатам пустить по нем пулями и огнем из пушек; сразу перекалечил, пережег половину войска. Испугался соседний царь, покорился и царство свое отдал. Обрадовался Семен-царь.

— Теперь,— говорит,— я индейского царя завоюю.

А индейский царь услыхал про Семена-царя и перенял от него все его выдумки, да еще свои выдумал. Стал индейский царь не одних молодых ребят в солдаты брать, а и всех баб холостых в солдаты забрал, и стало у него войска еще больше, чем у Семена-царя, а ружья и пушки все от Семена-царя перенял, да еще придумал по воздуху летать и бомбы разрывные сверху кидать.

Пошел Семен-царь войной на индейского царя, думал, как и прежнего, повоевать, да — резала коса, да нарезалась. Не допустил царь индейский Семенова войска до выстрела, а послал своих баб по воздуху на Семеново войско разрывные бомбы кидать. Стали бабы сверху на Семеново войско, как буру на тараканов, бомбы посыпать; разбежалось все войско Семеново, и остался Семен-

царь один. Забрал индейский царь Семеново царство, а Семен-воин убежал куда глаза глядят.

Обделал этого брата старый дьявол и пошел к Тарасу-царю. Оборотился он в купца и поселился в Тарасовом царстве, стал заведенье заводить, стал денежки выпускать. Стал купец за всякую вещь дорого платить, и бросился весь народ к купцу деньги добывать. И завелось у народа денег так много, что все недоимки выплатили и в срок все подати подавать стали.

Обрадовался Тарас-царь. «Спасибо, думает, купцу, теперь у меня денег еще прибавится, житье мое еще лучше станет». И стал Тарас-царь новые затеи затевать, зачал себе новый дворец строить. Повестил народу, чтоб везли ему лес, камень и шли работать, назначил за все цены высокие. Думал Тарас-царь, что по-прежнему за его денежки повалит к нему народ работать. Глядь, весь лес и камень к купцу везут, и весь рабочий народ к нему валит. Прибавил Тарас-царь цену, а купец еще накинул. У Тараса-царя денег много, а у купца еще больше, и перебил купец царскую цену. Стал дворец царский; не строится. Затеян был у Тараса-царя сад. Пришла осень. Повещает Тарас-царь, чтоб народ шел к нему сад сажать,— не выходит никто, весь народ купцу пруд копает. Пришла зима. Задумал Тарас-царь мехов собольих купить на шубу новую. Посылает покупать, приходит посол, говорит:

— Нету соболей — все меха у купца, он дороже дал и из соболей ковер сделал.

Понадобилось Тарасу-царю себе жеребцов купить. Послал покупать, приходят послы: все жеребцы хорошие у купца, ему воду возят пруд наливать. Стали все дела царские, ничего ему не делают, а все делают купцу, а ему только купцовы деньги несут, за подати отдают.

И набралось у царя денег столько, что класть некуда, а житье плохое стало. Перестал уж царь затеи затевать; только бы уж как-нибудь прожить, и того не может. Во всем стесненье стало. Стали от него и повара, и кучера, и слуги к купцу отходить. Стало уж и еды недоставать. Пошлет на базар купить что — ничего нет: все купец перекупил, а ему только денежки за подати несут.

Рассердился Тарас-царь и выслал купца за границу. А купец на самой на границе сел — все то же делает: все

так же за купцовы денежки от царя тащат все к купцу. Совсем плохо царю стало, по целым дням не ест, да еще слух прошел, что купец хвалился, что он у царя и жену его купить хочет. Заробел царь Тарас и не знает, как быть.

Приезжает к нему Семен-воин и говорит:

— Поддержи,— говорит,— меня: меня индейский царь повоевал.

А Тарасу-царю самому уж узлом к гузну дошло.

— Я,— говорит,— сам два дни не ел.

XI

Обделал старый дьявол обоих братьев и пошел к Ивану. Оборотился старый дьявол в воеводу, пришел к Ивану и стал его уговаривать, чтоб он у себя войско завел.

— Царю,— говорит,— не годится без войска жить. Ты мне прикажи только, а я соберу из твоего народу солдат и войско заведу.

Отслушал его Иван.

— Ну что ж, — говорит, — заведи, да песни их научи играть половчее, я это люблю.

Стал старый дьявол по Иванову царству ходить, солдат по воле собирать. Объявил, чтоб шли все лбы брить,— каждому штоф водки и красная шапка будет.

Посмеялись дураки.

— Вино,— говорят,— у нас вольное, мы сами курим, а шапки нам бабы какие хочешь, хоть пестрые сошьют, да еще с махрами.

Так и не пошел никто. Приходит старый дьявол к Ивану.

— Нейдут,— говорит,— твои дураки охотой — надо их силóм пригонять.

— Ну что ж,— говорит,— пригоняй силóм.

И повестил старый дьявол, чтоб шли все дураки в солдаты записываться, а кто не пойдет, того Иван смерти придаст.

Пришли дураки к воеводе и говорят:

— Говоришь ты нам, что, коли мы в солдаты не пойдем, нас царь смерти предаст, а не сказываешь, что с нами в солдатстве будет. Сказывают, и солдат до смерти убивают.

— Да, не без того.

Услыхали это дураки, уперлись.

— Не пойдем, — говорят. — Уж лучше пускай дома смерти предадут. Ее и так не миновать.

— Дураки вы, дураки! — говорит старый дьявол. — Солдата еще убьют ли, нет ли, а не пойдешь — Иван-царь наверно смерти предаст.

Задумались дураки, пошли к царю Ивану-дураку спрашивать:

— Проявился,— говорят,— воевода, велит нам всем в солдаты идти. «Коли пойдете, говорит, в солдаты, там вас убьют ли, нет ли, а не пойдете, так вас царь Иван наверно смерти предаст». Правда ли это?

Засмеялся Иван.

— Как же,— говорит,— я один вас всех смерти предам? Кабы я не дурак был, я бы вам растолковал, а то я и сам не пойму.

— Так мы,— говорят,— не пойдем.

— Ну что ж, — говорит, — не ходите.

Пошли дураки к воеводе и отказались в солдаты идти.

Видит старый дьявол — не берет его дело; пошел к тараканскому царю, подделался.

— Пойдем, — говорит, — войной, завоюем Ивана-царя. У него только денег нет, а хлеба и скота и всякого добра много.

Пошел тараканский царь войною. Собрал войско большое, ружья, пушки наладил, вышел на границу, стал в Иваново царство входить.

Пришли к Ивану и говорят:

— На нас тараканский царь войной идет.

— Ну что ж,— говорит,— пускай идет.

Перешел тараканский царь с войском границу, послал передовых разыскивать Иваново войско. Искали, искали — нет войска. Ждать-пождать — не окажется ли где? И слуха нет про войско, не с кем воевать. Послал тараканский царь захватить деревни. Пришли солдаты в одну деревню — выскочили дураки, дуры, смотрят на солдат, дивятся. Стали солдаты отбирать у дураков хлеб, скотину; дураки отдают, и никто не обороняется. Пошли солдаты в другую деревню — все то же. Походили солдаты день, походили другой — везде все то же; всё отдают — никто не обороняется и зовут к себе жить.

— Коли вам, сердешные, — говорят, — на вашей стороне житье плохое, приходите к нам совсем жить.

Походили, походили солдаты, видят — нет войска; а все народ живет, кормится и людей кормит, и не обороняется, и зовет к себе жить.

Скучно стало солдатам, пришли к своему тараканскому царю.

— Не можем мы,— говорят,— воевать, отведи нас в другое место; добро бы война была, а это что—как кисель резать. Не можем больше тут воевать.

Рассердился тараканский царь, велел солдатам по всему царству пройти, разорить деревни, дома, хлеб сжечь, скотину перебить.

— Не послушаете,—говорит,— моего приказа, всех,— говорит,— вас расказню.

Испугались солдаты, начали по царскому указу делать. Стали дома, хлеб жечь, скотину бить. Все не обороняются дураки, только плачут. Плачут старики, плачут старухи, плачут малые ребята.

— За что, — говорят, — вы нас обижаете? Зачем, — говорят, — вы добро дурно губите? Коли вам нужны, вы лучше себе берите.

Гнусно стало солдатам. Не пошли дальше, и все войско разбежалось.

XII

Так и ушел старый дьявол — не пронял Ивана солдатами.

Оборотился старый дьявол в господина чистого и приехал в Иваново царство жить: хотел его, так же как Тараса-брюхана, деньгами пронять.

— Я, — говорит, — хочу вам добро сделать, уму-разуму научить. Я, — говорит, — у вас дом построю и заведенье заведу.

— Ну что ж, — говорят, — живи.

Переночевал господин чистый и наутро вышел на площадь, вынес мешок большой золота и лист бумаги и говорит:

— Живете вы,— говорит,— все, как свиньи,— хочу я вас научить, как жить надо. Стройте мне, — говорит, — дом по плану по этому. Вы работайте, а я показывать буду и золотые деньги вам буду платить.

И показал им золото. Удивились дураки: у них денег в заводе не было, а они друг дружке вещь за вещь меняли и работой платили. Подивились они на золото,

— Хороши,— говорят,— штучки.

И стали господину за золотые штучки вещи и работу менять. Стал старый дьявол, как и у Тараса, золото выпускать, и стали ему за золото всякие вещи менять и всякие работы работать. Обрадовался старый дьявол, думает: «Пошло мое дело на лад! Разорю теперь дурака, как и Тараса, и куплю его с потрохом со всем». Только забрались дураки золотыми деньгами, роздали всем бабам на ожерелья, все девки в косы вплели, и ребята уж на улице в штучки играть стали. У всех много стало, и не стали больше брать. А у господина чистого еще хоромы наполовину не отстроены и хлеба и скотины еще не запасено на год, и повещает господин, чтоб шли к нему работать, чтоб ему хлеб везли, скотину вели; за всякую вещь и за всякую работу золотых много давать будет.

Нейдет никто работать и не несут ничего. Забежит мальчик или девочка, яичко на золотой променяет, а то нет никого — и есть ему стало нечего. Проголодался господин чистый, пошел по деревне — себе на обед купить. Сунулся в один двор, дает золотой за курицу — не берет хозяйка.

— У меня,— говорит,— много и так.

Сунулся к бобылке — селедку купить, дает золотой.

— Не нужно мне, — говорит, — милый человек, у меня,— говорит,— детей нет, играть некому, а я и то три штучки для редкости взяла.

Сунулся к мужику за хлебом. Не взял и мужик денег:

— Мне не нужно,— говорит.— Нешто ради Христа,— говорит,— так погоди, я велю бабе отрезать.

Заплевал даже дьявол, убежал от мужика. Не то что взять ради Христа, а и слышать-то ему это слово — хуже ножа.

Так и не добыл хлеба. Забрались все. Куда ни пойдет старый дьявол, никто не дает ничего за деньги, а все говорят:

— Что-нибудь другое принеси, или приходи работать, или ради Христа возьми.

А у дьявола нет ничего, кроме денег, работать неохота; а ради Христа нельзя ему взять. Рассердился старый дьявол.

— Чего, — говорит, — вам еще нужно, когда я вам деньги даю? Вы за золото всего купите и всякого работника наймете.

Не слушают его дураки.

— Нет,— говорят,— нам не нужно: с нас платы и податей никаких нейдет — куда же нам деньги?

Лег, не ужинавши, спать старый дьявол.

Дошло это дело до Ивана-дурака. Пришли к нему, спрашивают:

— Что нам делать? Проявился у нас господин чистый: есть, пить любит сладко, одеваться любит чисто, а работать не хочет и Христа ради не просит и только золотые штучки всем дает. Давали ему прежде всего, пока не забрались, а теперь не дают больше. Что нам с ним делать? Как бы не помер с голода.

Отслушал Иван.

— Ну что ж,— говорит,— кормить надо. Пускай по дворам, как пастух, ходит.

Нечего делать, стал старый дьявол по дворам ходить.

Дошла очередь и до Иванова двора. Пришел старый дьявол обедать, а у Ивана девка немая обедать собирала. Обманывали ее часто те, кто поленивее. Не работамши, придут раньше к обеду, всю кашу поедят. И исхитрилась девка немая лодырей по рукам узнавать: у кого мозоли на руках, того сажает, а у кого нет, тому объедки дает. Полез старый дьявол за стол, а немая девка ухватила его за руки, посмотрела — нет мозолей, и руки чистые, гладкие, и когти длинные. Замычала немая и вытащила дьявола из-за стола.

А Иванова жена ему и говорит:

— Не взыщи, господин чистый, золовка у нас без мозолей на руках за стол не пускает. Вот, дай срок, люди поедят, тогда доедай, что останется.

Обиделся старый дьявол, что его у царя с свиньями кормить хотят. Стал Ивану говорить:

— Дурацкий,— говорит,— у тебя закон в царстве, чтобы всем людям руками работать. Это вы по глупости придумали. Разве одними руками люди работают? Ты думаешь, чем умные люди работают?

А Иван говорит:

— Где нам, дуракам, знать, мы все норовим больше руками да горбом.

— Это оттого, что вы дураки. А я, — говорит, — научу вас, как головой работать; тогда вы узнаете, что головой работать спорее, чем руками.

Удивился Иван.

— Ну,— говорит,— недаром нас дураками зовут!

И стал старый дьявол говорить:

— Только не легко,— говорит,— и головой работать. Вы вот мне есть не даете оттого, что у меня нет мозолей на руках, а того не знаете, что головой во сто раз труднее работать. Другой раз и голова трещит.

Задумался Иван.

— Зачем же ты,— говорит,— сердешный, так себя мучаешь? Разве легко, как голова затрещит? Ты бы уж лучше легкую делал работу — руками да горбом.

А дьявол говорит:

— Затем я себя и мучаю, что я вас, дураков, жалею. Кабы я себя не мучал, вы бы век дураками были. А я головой поработал, теперь и вас научу.

Подивился Иван.

— Научи, — говорит, — а то другой раз руки уморятся, так их головой переменить.

И обещался дьявол научить.

И повестил Иван по всему царству, что проявился господин чистый и будет всех учить, как головой работать, и что головой можно выработать больше, чем руками, — чтоб приходили учиться.

Была в Ивановом царстве каланча высокая построена, и на нее лестница прямая, а наверху вышка. И свел Иван туда господина, чтобы ему на виду быть.

Стал господин на каланчу и начал оттуда говорить. А дураки собрались смотреть. Дураки думали, что господин станет на деле показывать, как без рук головой работать. А старый дьявол только на словах учил, как не работамши прожить можно.

Не поняли ничего дураки. Посмотрели, посмотрели и разошлись по своим делам.

Простоял старый дьявол день на каланче, простоял другой — все говорил. Захотелось ему есть. А дураки и не догадались хлебца ему на каланчу принесть. Они думали, что если он головой может лучше рук работать, так уж хлеба-то себе шутя головой добудет. Простоял и другой день старый дьявол на вышке — все говорил. А народ подойдет, посмотрит-посмотрит и разойдется. Спрашивает и Иван:

— Ну, что господин, начал ли головой работать?

— Нет еще, — говорят, — все еще лопочет.

Простоял еще день старый дьявол на вышке и стал слабеть; пошатнулся раз и стукнулся головой об столб. Увидал один дурак, сказал Ивановой жене, а Иванова жена прибежала к мужу на пашню.

— Пойдем,— говорит,— смотреть: говорят, господин зачинает головой работать.

Подивился Иван.

— Ну? — говорит.

Завернул лошадь, пошел к каланче. Приходит к каланче, а старый дьявол уж вовсе с голоду ослабел, стал пошатываться, головой об столбы постукивать. Только подошел Иван, спотыкнулся дьявол, упал и загремел под лестницу торчмя головой — все ступеньки пересчитал.

— Ну,— говорит Иван,— правду сказал господин чистый, что другой раз и голова затрещит. Это не то что мозоли, от такой работы желваки на голове будут.

Свалился старый дьявол под лестницу и уткнулся головой в землю. Хотел Иван подойти посмотреть, много ли он работал, вдруг расступилась земля, и провалился старый дьявол сквозь землю, только дыра осталась. Почесался Иван.

— Ишь ты,— говорит,— пакость какая! Это опять он! Должно, батька тем — здоровый какой!

Живет Иван и до сих пор, и народ весь валит в его царство, и братья пришли к нему, и их он кормит. Кто придет скажет:

— Корми нас.

— Ну что ж,— говорит,— живите — у нас всего много.

Только один обычай у него и есть в царстве: у кого мозоли на руках — полезай за стол, а у кого нет — тому объедки.

МНОГО ЛИ ЧЕЛОВЕКУ ЗЕМЛИ НУЖНО

I

Приехала из города старшая сестра к меньшей в деревню. Старшая за купцом была в городе, а меньшая за мужиком в деревне. Пьют чай сестры, разговаривают. Стала старшая сестра чваниться — свою жизнь в городе выхвалять: как она в городе просторно и чисто живет и ходит, как она детей наряжает, как она сладко ест и пьет и как на катанья, гулянья и в театры ездит.

Обидно стало меньшей сестре, и стала она купеческую жизнь унижать, а свою крестьянскую возвышать.

— Не променяю я,— говорит,— своего житья на твое. Даром что серо живем, да страху не знаем. Вы и почище живете, да либо много наторгуете, либо вовсе проторгуетесь. И пословица живет: барышу наклад — большой брат. Бывает и то: нынче богат, а завтра под окнами находишься. А наше мужицкое дело вернее: у мужика живот тонок, да долог, богаты не будем, да сыты будем.

Стала старшая сестра говорить:

— Сытость-то какая — со свиньями да с телятами! Ни убранства, ни обращенья! Как ни трудись твой хозяин, как живете в навозе, так и помрете, и детям то же будет.

— А что ж,— говорит меньшая,— наше дело такое. Зато твердо живем, никому не кланяемся, никого не боимся. А вы в городу́ все в соблазнах живете; нынче хорошо, а завтра подвернется нечистый — глядь, и соблазнит хозяина твоего либо на карты, либо на вино, либо на кралю какую. И пойдет все прахом. Разве не бывает?

Слушал Пахом — хозяин — на печи, что бабы балакают.

— Правда это,— говорит,— истинная. Как наш брат сызмальства ее, землю-матушку, переворачивает, так дурь-то в голову и не пойдет. Одно горе — земли мало!

А будь земли вволю, так я никого, и самого черта, не боюсь!

Отпили бабы чай, побалакали еще об нарядах, убрали посуду, полегли спать.

А черт за печкой сидел, все слышал. Обрадовался он, что крестьянская жена на похвальбу мужа навела: похваляется, что, была б у него земля, его и черт не возьмет.

«Ладно, думает, поспорим мы с тобой; я тебе земли много дам. Землей тебя и возьму».

II

Жила рядом с мужиками барынька небольшая. Было у ней сто двадцать десятин земли. И жила прежде с мужиками смирно — не обижала. Да нанялся к ней солдат отставной в приказчики и стал донимать мужиков штрафами. Как ни бережется Пахом, а либо лошадь в овсы забежит, либо корова в сад забредет, либо телята в луга уйдут — за все штраф.

Расплачивается Пахом и домашних ругает и бьет. И много греха от этого приказчика принял за лето Пахом. Уж и рад был, что скотина на двор стала,— хоть и жалко корму, да страху нет.

Прошел зимой слух, что продает барыня землю и что ладит купить ее дворник с большой дороги. Услыхали мужики, ахнули. «Ну, думают, достанется земля дворнику, замучает штрафами хуже барыни. Нам без этой земли жить нельзя, мы все у ней в кругу». Пришли мужики к барыне миром, стали просить, чтоб не продавала дворнику, а им отдала. Обещали дороже заплатить. Согласилась барыня. Стали мужики ладить миром всю землю купить; сбирались и раз и два на сходки — не сошлось дело. Разбивает их нечистый, никак не могут согласиться. И порешили мужики порознь покупать, сколько кто осилит. Согласилась и на это барыня. Услыхал Пахом, что купил у барыни двадцать десятин сосед и она ему половину денег на года рассрочила. Завидно стало Пахому: «Раскупят, думает, всю землю, останусь я ни при чем». Стал с женой советовать.

— Люди покупают, надо,— говорит,— и нам купить десятин десяток. А то жить нельзя: одолел приказчик штрафами.

Обдумали, как купить. Было у них отложено сто рублей, да жеребенка продали, да пчел половину, да сына заложили в работники, да еще у свояка занял, и набралась половина денег.

Собрал Пахом деньги, облюбовал землю, пятнадцать десятин с лесочком, и пошел к барыне торговаться. Выторговал пятнадцать десятин, ударил по рукам и задаток дал. Поехали в город, купчую закрепили, деньги половину отдал, остальные в два года обязался выплатить.

И стал Пахом с землей. Занял Пахом семян, посеял покупную землю; родилось хорошо. В один год выплатил долг и барыне и свояку. И стал Пахом помещиком: свою землю пахал и сеял, на своей земле сено косил, со своей земли колья рубил и на своей земле скотину кормил. Выедет Пахом на свою вечную землю пахать или придет всходы и луга посмотреть — не нарадуется. И трава-то, ему кажется, растет, и цветы-то цветут на ней совсем иные. Бывало, проезжал по этой земле — земля как земля, а теперь совсем земля особенная стала.

III

Живет так Пахом, радуется. Все бы хорошо, только стали мужики у Пахома хлеб и луга травить. Честью просил, все не унимаются: то пастухи упустят коров в луга, то лошади из ночного на хлеба зайдут. И сгонял Пахом и прощал, все не судился, потом наскучило, стал в волостное жаловаться. И знает, что от тесноты, а не с умыслом делают мужики, а думает: «Нельзя же и спускать, этак они все вытравят. Надо поучить».

Поучил так судом раз, поучил другой, оштрафовали одного, другого. Стали мужики-соседи на Пахома сердце держать; стали другой раз и нарочно травить. Забрался какой-то ночью в лесок, десяток липок на лыки срезал. Проехал по лесу Пахом — глядь, белеется. Подъехал — лутошки брошены лежат, и пенушки торчат. Хоть бы из куста крайние срезал, одну оставил, а то подряд, злодей, все счистил. Обозлился Пахом: «Ах, думает, вызнать бы, кто это сделал; уж я бы ему выместил». Думал, думал, кто: «Больше некому, думает, как Семке». Пошел к Семке на двор искать, ничего не нашел, только поругались. И еще больше уверился Пахом, что Семен сделал. Подал

прошение. Вызвали на суд. Судили, судили — оправдали мужика: улик нет. Еще пуще обиделся Пахом; с старшиной и с судьями разругался.

— Вы,— говорит,— воров руку тянете. Кабы сами по правде жили, не оправляли бы воров.

Поссорился Пахом и с судьями и с соседями. Стали ему и красным петухом грозиться. Стало Пахому в земле жить просторней, а в миру теснее.

И прошел в то время слух, что идет народ на новые места. И думает Пахом: «Самому мне от своей земли идти незачем, а вот кабы из наших кто пошли, у нас бы просторнее стало. Я бы их землю на себя взял, себе в круг пригнал; житье бы лучше стало. А то все теснота».

Сидит раз Пахом дома, заходит мужик прохожий. Пустили ночевать мужика, покормили, разговорились — откуда, мол, бог несет? Говорит мужик, что идет снизу, из-за Волги, там в работе был. Слово за слово, рассказывает мужик, как туда народ селиться идет. Рассказывает, поселились там ихние, приписались в общество, и нарезали им по десять десятин на душу.

— А земля такая,— говорит,— что посеяли ржи, так солома — лошади не видать, а густая, что горстей пять — и сноп. Один мужик, — говорит, — совсем бедный, с одними руками пришел, а теперь шесть лошадей, две коровы.

Разгорелось у Пахома сердце. Думает: «Что ж тут в тесноте бедствовать, коли можно хорошо жить. Продам здесь и землю и двор; там я на эти деньги выстроюсь и заведенье все заведу. А здесь в этой тесноте — грех один. Только самому все путем вызнать надо».

Собрался на лето, пошел. До Самары плыл по Волге вниз на пароходе, потом пеший верст четыреста прошел. Дошел до места. Все так точно. Живут мужики просторно, по десять десятин земли на душу нарезано, и принимают в общество с охотой. А коли кто с денежками, покупай, кроме надельной, в вечную, сколько хочешь, по три рубля самой первой земли; сколько хочешь, купить можно!

Разузнал все Пахом, вернулся к осени домой, стал все распродавать. Продал землю с барышом, продал двор свой, продал скотину всю, выписался из общества, дождался весны и поехал с семьей на новые места.

IV

Приехал Пахом на новые места с семейством, приписался в большое село в общество. Попоил стариков, бумаги все выправил. Приняли Пахома, нарезали ему на пять душ надельной земли пятьдесят десятин в разных полях, кроме выгона. Построился Пахом, скотину завел. Земли у него одной душевой против прежнего втрое стало. И земля хлебородная. Житье против того, что на старине было, вдесятеро лучше. И пахотной земли и кормов вволю. Скотины сколько хочешь держи.

Сначала, покуда строился да заводился, хорошо показалось Пахому, да обжился — и на этой земле тесно показалось. Посеял первый год Пахом пшеницу на душевой — хороша уродилась. Разохотился он пшеницу сеять, а душевой земли мало. И какая есть — не годится. Пшеницу там на ковыльной или залежной земле сеют. Посеют год, два и запускают, пока опять ковылем прорастет. А на такую землю охотников много, на всех и не хватает. Тоже из-за нее споры; побогаче кто — хотят сами сеять, а бедняки отдают купцам за подати. Захотел Пахом побольше посеять. Поехал на другой год к купцу, купил земли на год. Посеял побольше — родилось хорошо; да далеко от села — верст за пятнадцать возить надо. Видит — в округе купцы-мужики хуторами живут, богатеют. «То ли дело,— думает Пахом,— коли бы тоже в вечность землицы купить да построить хутор. Все бы в кругу было». И стал подумывать Пахом, как бы земли в вечность купить.

Прожил так Пахом три года. Снимал землю, пшеницу сеял. Года вышли хорошие, и пшеница хороша рожалась, и деньги залежные завелись. Жить бы да жить, да скучно показалось Пахому каждый год в людях землю покупать, из-за земли воловодиться: где хорошенькая землица есть, сейчас налетят мужики, всю разберут; не поспел укупить, и не на чем сеять. А то купил на третий год с купцом пополам выгон у мужиков; и вспахали уж, да засудились мужики, так и пропала работа. «Кабы своя земля была, думает, никому бы не кланялся, и греха бы не было».

И стал Пахом разузнавать, где купить земли в вечность. И попал на мужика. Были куплены у мужика пятьсот десятин, да разорился он и продает задешево. Стал Пахом ладить с ним. Толковал, толковал — сладился за тысячу пятьсот рублей, половину денег обождать. Совсем уж было поладили, да заезжает раз к Пахому купец про-

езжий на двор покормить. Попили чайку, поговорили. Рассказывает купец, что едет он из дальних башкир. Там, рассказывает, купил у башкирцев земли тысяч пять десятин. И стало всего тысяча рублей. Стал расспрашивать Пахом. Рассказал купец.

— Только,— говорит,— стариков ублаготворил. Халатов, ковров раздарил рублей на сто, да цибик чаю, да попоил винцом, кто пьет. И по двадцать копеек за десятину взял. — Показывает купчую. — Земля, — говорит, — по речке, и степь вся ковыльная.

Стал расспрашивать Пахом, как и что.

— Земли,— говорит купец,— там не обойдешь и в год: все башкирская. А народ несмышленый, как бараны. Можно почти даром взять.

«Ну,— думает Пахом,— что ж мне за мои тысячу рублей пятьсот десятин купить да еще долг на шею забрать. А тут я за тысячу рублей чем завладаю!»

V

Расспросил Пахом, как проехать, и только проводил купца, собрался сам ехать. Оставил дом на жену, сам собрался с работником, поехал. Заехали в город, купили чаю цибик, подарков, вина — все, как купец сказал. Ехали, ехали, верст пятьсот отъехали. На седьмые сутки приехали на башкирскую кочевку. Все так, как купец говорил. Живут все в степи, над речкой, в кибитках войлочных. Сами не пашут и хлеба не едят. А в степи скотина ходит и лошади косяками. За кибитками жеребята привязаны, и к ним два раза в день маток пригоняют; кобылье молоко доят и из него кумыс делают. Бабы кумыс болтают и сыр делают, а мужики только и знают — кумыс и чай пьют, баранину едят да на дудках играют. Гладкие все, веселые, все лето празднуют. Народ совсем темный, и по-русски не знают, а ласковый.

Только увидали Пахома, повышли из кибиток башкирцы, обступили гостя. Нашелся переводчик. Сказал ему Пахом, что он об земле приехал. Обрадовались башкирцы, подхватили Пахома, свели его в кибитку хорошую, посадили на ковры, подложили под него подушек пуховых, сели кругом, стали угощать чаем, кумысом. Барана зарезали и бараниной накормили. Достал Пахом из тарантаса подарки, стал башкирцам раздавать. Одарил Пахом

башкирцев подарками и чай разделил. Обрадовались башкирцы. Лопотали, лопотали промеж себя, потом велели переводчику говорить.

— Велят тебе сказать,— говорит переводчик,— что они полюбили тебя и что у нас обычай такой — гостю всякое удовольствие делать и за подарки отдаривать. Ты нас одарил; теперь скажи, что тебе из нашего полюбится, чтоб тебя отдарить?

— Полюбилась мне,— говорит Пахом,— больше всего у вас земля. У нас,— говорит,— в земле теснота, да и земля выпаханная, а у вас земли много и земля хороша. Я такой и не видывал.

Передал переводчик. Поговорили, поговорили башкирцы. Не понимает Пахом, что они говорят, а видит, что веселы, кричат что-то, смеются. Затихли потом, смотрят на Пахома, а переводчик говорит:

— Велят, — говорит, — они тебе сказать, что за твое добро рады тебе сколько хочешь земли отдать. Только рукой покажи какую — твоя будет.

Поговорили они еще и что-то спорить стали. И спросил Пахом, о чем спорят. И сказал переводчик:

— Говорят одни, что надо об земле старшину спросить, а без него нельзя. А другие говорят, и без него можно.

VI

Спорят башкирцы, вдруг идет человек в шапке лисьей. Замолчали все и встали. И говорит переводчик:

— Это старшина самый.

Сейчас достал Пахом лучший халат и поднес старшине и еще чаю пять фунтов. Принял старшина и сел на первое место. И сейчас стали говорить ему что-то башкирцы. Слушал, слушал старшина, кивнул головой, чтоб они замолчали, и стал говорить Пахому по-русски.

— Что ж,— говорит,— можно. Бери, где полюбится. Земли много.

«Как же я возьму, сколько хочу,— думает Пахом.— Надо же как ни есть закрепить. А то скажут твоя, а потом отнимут».

— Благодарим вас, — говорит, — на добром слове. Земли ведь у вас много, а мне немножко надо. Только бы мне знать, какая моя будет. Уж как-нибудь все-таки отмерять да закрепить за мной надо. А то в смерти-животе бог

волен. Вы, добрые люди, даете, а придется — дети ваши отнимут.

— Правда твоя,—говорит старшина,—закрепить можно.

Стал Пахом говорить:

— Я вот слышал, у вас купец был. Вы ему тоже землицы подарили и купчую сделали; так и мне бы тоже.

Все понял старшина.

— Это все можно,— говорит.— У нас и писарь есть, и в город поедем, и все печати приложим.

— А цена какая будет? — говорит Пахом.

— Цена у нас одна: тысяча рублей за день.

Не понял Пахом.

— Какая же это мера — день? Сколько в ней десятин будет?

— Мы этого,— говорит,— не умеем считать. А мы за день продаем; сколько обойдешь в день, то и твое, а цена дню тысяча рублей.

Удивился Пахом.

— Да ведь это, — говорит, — в день обойти, земли много будет.

Засмеялся старшина.

— Вся твоя! — говорит. — Только один уговор: если назад не придешь в день к тому месту, с какого возьмешься, пропали твои деньги.

— А как же, — говорит Пахом, — отметить, где я пройду?

— А мы станем на место, где ты облюбуешь, мы стоять будем, а ты иди, делай круг; а с собой скребку возьми и, где надобно, замечай, на углах ямки рой, дернички клади, потом с ямки на ямку плугом проедем. Какой хочешь круг забирай, только до захода солнца приходи к тому месту, с какого взялся. Что обойдешь, все твое.

Обрадовался Пахом. Порешили наране выезжать. Потолковали, попили еще кумысу, баранины поели, еще чаю напились; стало дело к ночи. Уложили Пахома спать на пуховике, и разошлись башкирцы. Обещались завтра на зорьке собраться, до солнца на место выехать.

VII

Лег Пахом на пуховики, и не спится ему, все про землю думает. «Отхвачу, думает, палестину большую. Верст пятьдесят обойду в день-то. День-то нынче что год;

в пятидесяти верстах земли-то что́ будет. Какую похуже — продам или мужиков пущу, а любенькую отберу, сам на ней сяду. Плуга два быков заведу, человека два работников принайму; десятинок полсотни пахать буду, а на остальной скотину нагуливать стану».

Не заснул всю ночь Пахом. Перед зарей только забылся. Только забылся — и видит он сон. Видит он, что лежит будто он в этой самой кибитке и слышит — наружу гогочет кто-то. И будто захотелось ему посмотреть, кто такой смеется, и встал он, вышел из кибитки и видит — сидит тот самый старшина башкирский перед кибиткой, за живот ухватился обеими руками, закатывается, гогочет на что-то. Подошел он и спросил: «Чему смеешься?» И видит он, будто это не старшина башкирский, а купец намеднишний, что к ним заезжал, об земле рассказывал. И только спросил у купца: «Ты давно ли тут?» — а это уж и не купец, а тот самый мужик, что на старине снизу заходил. И видит Пахом, что будто и не мужик это, а сам дьявол, с рогами и с копытами, сидит, хохочет, а перед ним лежит человек босиком, в рубахе и портках. И будто поглядел Пахом пристальней, что за человек такой? И видит, что человек мертвый и что это — он сам. Ужаснулся Пахом и проснулся. Проснулся. «Чего не приснится»,— думает. Огляделся; видит в открытую дверь — уж бело становится, светать начинает. «Надо, думает, будить народ, пора ехать». Поднялся Пахом, разбудил работника в тарантасе, велел запрягать и пошел башкирцев будить.

— Пора,— говорит,— на степь ехать, отмерять.

Повставали башкирцы, собрались все, и старшина пришел. Зачали башкирцы опять кумыс пить, хотели Пахома угостить чаем, да не стал он дожидаться.

— Коли ехать, так ехать,— говорит,— пора.

VIII

Собрались башкирцы, сели — кто верхами, кто в тарантасы, поехали. А Пахом с работником на своем тарантасике поехали и с собой скребку взяли. Приехали в степь, заря занимается. Въехали на бугорок, по-башкирски — на шихан. Вылезли из тарантасов, послезали с лошадей, сошлись в кучку. Подошел старшина к Пахому, показал рукой.

— Вот, — говорит, — вся наша, что глазом окинешь. Выбирай любую.

Разгорелись глаза у Пахома: земля вся ковыльная, ровная как ладонь, черная как мак, а где лощинка — так разнотравье, трава по груди.

Снял старшина шапку лисью, поставил на землю.

— Вот,— говорит,— метка будет. Отсюда пойди, сюда приходи. Что обойдешь, все твое будет.

Вынул Пахом деньги, положил на шапку, снял кафтан, в одной поддевке остался, перепоясался потуже под брюхо кушаком, подтянулся, сумочку с хлебом за пазуху положил, баклажку с водой к кушаку привязал, подтянул голенища, взял скребку у работника, собрался идти. Думал, думал, в какую сторону взять, — везде хорошо. Думает: «Все одно: пойду на восход солнца». Стал лицом к солнцу, размялся, ждет, чтобы показалось оно из-за края. Думает: «Ничего времени пропускать не стану. Холодком и идти легче». Только брызнуло из-за края солнце, вскинул Пахом скребку на плечо и пошел в степь.

Пошел Пахом ни тихо, ни скоро. Отошел с версту; остановился, вырыл ямку и дернички друг на дружку положил, чтоб приметней было. Пошел дальше. Стал разминаться, стал и шагу прибавлять. Отошел еще, вырыл еще другую ямку.

Оглянулся Пахом. На солнце хорошо видно шихан, и народ стоит, и у тарантасов на колесах шины блестят. Угадывает Пахом, что верст пять прошел. Согреваться стал, снял поддевку, вскинул на плечо, пошел дальше. Отошел еще верст пять. Тепло стало. Взглянул на солнышко — уже время об завтраке.

«Одна упряжка прошла,— думает Пахом.— А их четыре в дню, рано еще заворачивать. Дай только разуюсь». Присел, разулся, сапоги за пояс, пошел дальше. Легко идти стало. Думает: «Дай пройду еще верст пяток, тогда влево загибать стану. Место-то хорошо очень, кидать жалко. Что дальше, то лучше». Пошел еще напрямик. Оглянулся — шихан уж чуть видно, и народ, как мураши, на нем чернеется, и чуть блестит что-то.

«Ну,— думает Пахом,— в эту сторону довольно забрал; надо загибать. Да и разопрел — пить хочется». Остановился, вырыл ямку побольше, положил дернички, отвязал баклажку, напился и загнул круто влево. Шел он, шел, трава пришла высокая, и жарко стало.

Стал Пахом уставать; поглядел он на солнышко, видит — самый обед. «Ну, думает, отдохнуть надо». Остановился Пахом, присел. Поел хлебца с водой, а ложиться не стал: думает — ляжешь, да и заснешь. Посидел немного, пошел дальше. Сначала легко пошел. От еды силы прибавилось. Да уж жарко очень стало, да и сон клонить стал; однако все идет, думает — час терпеть, а век жить.

Прошел еще и по этой стороне много, хотел уж загибать влево, да глядь — лощинка подошла сырая; жаль бросать. Думает: «Лен тут хорош уродится». Опять пошел прямо. Захватил лощинку, выкопал ямку за лощиной, загнул второй угол. Оглянулся Пахом на шихан: от тепла затуманилось, качается что-то в воздухе и сквозь мару чуть виднеются люди на шихане — верст пятнадцать до них будет. «Ну, — думает Пахом, — длинны стороны взял, надо эту покороче взять». Пошел третью сторону, стал шагу прибавлять. Посмотрел на солнце — уж оно к полднику подходит, а по третьей стороне всего версты две прошел. И до места все те же верст пятнадцать. «Нет, думает, хоть кривая дача будет, а надо прямиком поспевать. Не забрать бы лишнего. А земли и так уж много». Вырыл Пахом поскорее ямку и повернул прямиком к шихану.

IX

Идет Пахом прямо на шихан, и тяжело уж ему стало. Разопрел и ноги босиком изрезал и отбил, да и подкашиваться стали. Отдохнуть хочется, а нельзя — не поспеешь дойти до заката. Солнце не ждет, все спускается да спускается. «Ах, думает, не ошибся ли, не много ли забрал? Что, как не поспеешь?» Взглянет вперед на шихан, взглянет на солнце: до места далеко, а солнце уж недалеко от края.

Идет так Пахом, трудно ему, а все прибавляет да прибавляет шагу. Шел, шел — все еще далеко; побежал рысью. Бросил поддевку, сапоги, баклажку, шапку бросил, только скребку держит, ей попирается. «Ах, думает, позарился я, все дело погубил, не добегу до заката». И еще хуже ему от страха дух захватывает. Бежит Пахом, рубаха и портки от пота к телу липнут, во рту пересохло. В груди как мехи кузнечные раздуваются, а в сердце молотком бьет, и ноги как не свои — подламываются.

Жутко стало Пахому, думает: «Как бы не помереть с натуги».

Помереть боится, а остановиться не может. «Столько, думает, пробежал, а теперь остановиться — дураком назовут». Бежал, бежал, подбегает уж близко и слышит: визжат, гайкают на него башкирцы, и от крика ихнего у него еще пуще сердце разгорается. Бежит Пахом из последних сил, а солнце уж к краю подходит, в туман зашло; большое, красное, кровяное стало. Вот-вот закатываться станет. Солнце близко, да и до места уж вовсе не далеко. Видит уж Пахом, и народ на шихане на него руками махает, его подгоняют. Видит шапку лисью на земле и деньги на ней видит; видит и старшину, как он на земле сидит, руками за пузо держится. И вспомнился Пахому сон. «Земли, думает, много, да приведет ли бог на ней жить. Ох, погубил я себя, думает, не добегу».

Взглянул Пахом на солнце, а оно до земли дошло, уж краюшком заходить стало и дугой к краю вырезалось. Наддал из последних сил Пахом, навалился наперед телом, насилу ноги поспевают подставляться, чтоб не упасть. Подбежал Пахом к шихану, вдруг темно стало. Оглянулся — уж зашло солнце. Ахнул Пахом. «Пропали, думает, мои труды». Хотел уж остановиться, да слышит, гайкают всё башкирцы, и вспомнил он, что снизу ему кажет, что зашло, а с шихана не зашло еще солнце. Надулся Пахом, взбежал на шихан. На шихане еще светло. Взбежал Пахом, видит — шапка. Перед шапкой сидит старшина, гогочет, руками за пузо держится. Вспомнил Пахом сон, ахнул, подкосились ноги, и упал он наперед, руками до шапки достал.

— Ай, молодец! — закричал старшина.— Много земли завладел!

Подбежал работник Пахомов, хотел поднять его, а у него изо рта кровь течет, и он мертвый лежит.

Пощелкали языками башкирцы, пожалели.

Поднял работник скребку, выкопал Пахому могилу, ровно насколько он от ног до головы захватил — три аршина, и закопал его.

РАБОТНИК ЕМЕЛЬЯН И ПУСТОЙ БАРАБАН

Жил Емельян у хозяина в работниках. Идет раз Емельян по лугу на работу, глядь — прыгает перед ним лягушка; чуть-чуть не наступил на нее. Перешагнул через нее Емельян. Вдруг слышит: кличет его кто-то сзади. Оглянулся Емельян, видит — стоит красавица девица и говорит ему:

— Что ты, Емельян, не женишься?

— Как мне, девица милая, жениться? Я весь тут, нет у меня ничего, никто за меня не пойдет.

И говорит девица:

— Возьми меня замуж!

Полюбилась Емельяну девица.

— Я,— говорит,— с радостью, да где мы жить будем?

— Есть, — говорит девица, — о чем думать! Только бы побольше работать да поменьше спать — а то везде и одеты и сыты будем.

— Ну что ж, — говорит, — ладно. Женимся. Куда ж пойдем?

— Пойдем в город.

Пошел Емельян с девицей в город. Свела его девица в домишко небольшой, на краю. Женились и стали жить.

Ехал раз царь за город. Проезжает мимо Емельянова двора, и вышла Емельянова жена посмотреть царя. Увидал ее царь, удивился: «Где такая красавица родилась?» Остановил царь коляску, подозвал жену Емельяна, стал ее спрашивать:

— Кто,— говорит,— ты?

— Мужика Емельяна жена,— говорит.

— Зачем ты,— говорит,— такая красавица, за мужика пошла? Тебе бы царицей быть.

— Благодарю,— говорит,— на ласковом слове. Мне и за мужиком хорошо.

Поговорил с ней царь и поехал дальше. Вернулся во дворец. Не идет у него из головы Емельянова жена. Всю ночь не спал, все думал он, как бы ему у Емельяна жену отнять. Не мог придумать, как сделать. Позвал своих слуг, велел им придумать. И сказали слуги царские царю:

— Возьми ты,— говорят,— Емельяна к себе во дворец в работники. Мы его работой замучаем, жена вдовой останется, тогда ее взять можно будет.

Сделал так царь, послал за Емельяном, чтобы шел к нему в царский дворец, в дворники, и у него во дворе с женой жил.

Пришли послы, сказали Емельяну. Жена и говорит мужу:

— Что ж,— говорит,— иди. День работай, а ночью ко мне приходи.

Пошел Емельян. Приходит во дворец; царский приказчик и спрашивает его:

— Что ж ты один пришел, без жены?

— Что ж мне,— говорит,— ее водить: у нее дом есть.

Задали Емельяну на царском дворе работу такую, что двоим впору. Взялся Емельян за работу и не чаял все кончить. Глядь, раньше вечера все кончил. Увидал приказчик, что кончил, задал ему на завтра вчетверо.

Пришел Емельян домой. А дома у него все выметено, прибрано, печка истоплена, всего напечено, наварено. Жена сидит за станом, ткет, мужа ждет. Встретила жена мужа; собрала ужинать, накормила, напоила; стала его про работу спрашивать.

— Да что,— говорит,— плохо: не по силам уроки задают, замучают они меня работой.

— А ты,— говорит,— не думай об работе и назад не оглядывайся и вперед не гляди, много ли сделал и много ли осталось. Только работай. Все вовремя поспеет.

Лег спать Емельян. Наутро опять пошел. Взялся за работу, ни разу не оглянулся. Глядь — к вечеру все готово, засветло пришел домой ночевать.

Стали еще и еще набавлять работу Емельяну, и все к сроку кончает Емельян, ходит домой ночевать. Прошла неделя. Видят слуги царские, что не могут они черной работой донять мужика; стали ему хитрые работы задавать. И тем не могут донять. И плотницкую, и каменную,

и кровельную работу — что ни зададут,— все делает к сроку Емельян, к жене ночевать идет. Прошла другая неделя. Позвал царь своих слуг и говорит:

— Или я вас задаром хлебом кормлю? Две недели прошло, а все ничего я от вас не вижу. Хотели вы Емельяна работой замучать, а я из окна вижу, как он каждый день идет домой, песни поет. Или вы надо мной смеяться вздумали?

Стали царские слуги оправдываться.

— Мы,— говорят,— всеми силами старались его сперва черной работой замучать, да ничем не возьмешь его. Всякое дело как метлою метет, и устали в нем нет. Стали мы ему хитрые работы задавать, думали, у него ума не достанет; тоже не можем донять. Откуда что берется! До всего доходит, все делает. Не иначе как либо в нем самом, либо в жене его колдовство есть. Он нам и самим надоел. Хотим мы теперь ему такое дело задать, чтобы нельзя было ему сделать. Придумали мы ему велеть в один день собор построить. Призови ты Емельяна и вели ему в один день против дворца собор построить. А не построит он, тогда можно ему за ослушание голову отрубить.

Послал царь за Емельяном.

— Ну,— говорит,— вот тебе мой приказ: построй ты мне новый собор против дворца на площади, чтоб к завтрему к вечеру готово было. Построишь — я тебя награжу, а не построишь — казню.

Отслушал Емельян речи царские, повернулся, пошел домой. «Ну, думает, пришел мой конец теперь». Пришел домой к жене и говорит:

— Ну,— говорит,— собирайся, жена: бежать надо куда попало, а то ни за что пропадем.

— Что ж, — говорит, — так заробел, что бежать хочешь?

— Как же,— говорит,— не заробеть? Велел мне царь завтра в один день собор построить. А если не построю, грозится голову отрубить. Одно остается — бежать, пока время.

Не приняла жена этих речей.

— У царя солдат много, повсюду поймают. От него не уйдешь. А пока сила есть, слушаться надо.

— Да как же слушаться, когда не по силам?

— И... батюшка! не тужи, поужинай да ложись: наутро вставай пораньше, все успеешь.

Лег Емельян спать. Разбудила его жена.

— Ступай, — говорит, — скорей достраивай собор; вот тебе гвозди и молоток: там тебе на день работы осталось.

Пошел Емельян в город, приходит — точно, новый собор посередь площади стоит. Немного не кончен. Стал доделывать Емельян, где надо: к вечеру все исправил.

Проснулся царь, посмотрел из дворца, видит — собор стоит. Емельян похаживает, кое-где гвоздики приколачивает. И не рад царь собору, досадно ему, что не за что Емельяна казнить, нельзя его жену отнять.

Опять призывает царь своих слуг:

— Исполнил Емельян и эту задачу, не за что его казнить. Мала,— говорит,— и эта ему задача. Надо что похитрей выдумать. Придумайте, а то я вас прежде его расказню.

И придумали ему слуги, чтобы заказал он Емельяну реку сделать, чтобы текла река вокруг дворца, а по ней бы корабли плавали. Призвал царь Емельяна, приказал ему новое дело.

— Если ты, — говорит, — в одну ночь мог собор построить, так можешь ты и это дело сделать. Чтобы завтра было все по моему приказу готово. А не будет готово, голову отрублю.

Опечалился еще пуще Емельян, пришел к жене сумрачный.

— Что,— говорит жена,— опечалился, или еще новое что царь заказал?

Рассказал ей Емельян.

— Надо, — говорит, — бежать.

А жена говорит:

— Не убежишь от солдат, везде поймают. Надо слушаться.

— Да как слушаться-то?

— И...— говорит,— батюшка, ни о чем не тужи. Поужинай да спать ложись. А вставай пораньше, все будет к поре.

Лег Емельян спать. Поутру разбудила его жена.

— Иди,— говорит,— ко дворцу, все готово. Только у пристани, против дворца, бугорок остался; возьми заступ, сровняй.

Пошел Емельян; приходит в город; вокруг дворца река, корабли плавают. Подошел Емельян к пристани против дворца, видит — неровное место, стал ровнять.

Проснулся царь, видит — река, где не было; по реке корабли плавают, и Емельян бугорок заступом ровняет.

Ужаснулся царь; и не рад он и реке и кораблям, а досадно ему, что нельзя Емельяна казнить. Думает себе: «Нет такой задачи, чтоб он не сделал. Как теперь быть?»

Призвал слуг своих, стал с ними думать.

— Придумайте,— говорит,— мне такую задачу, чтобы не под силу было Емельяну. А то, что мы ни выдумывали, он все сделал, и нельзя мне у него жены отобрать.

Думали, думали придворные и придумали. Пришли к царю и говорят:

— Надо Емельяна позвать и сказать: поди туда — не знай куда, и принеси того — не знай чего. Тут уж ему нельзя будет отвертеться. Куда бы он ни пошел, ты скажешь, что он не туда пошел, куда надо; и чего бы он ни принес, ты скажешь, что не то принес, чего надо. Тогда его и казнить можно, и жену его взять.

Обрадовался царь.

— Это,— говорит,— вы умно придумали.

Послал царь за Емельяном и сказал ему:

— Поди туда — не знай куда, принеси того — не знай чего. А не принесешь, отрублю тебе голову.

Пришел Емельян к жене и говорит, что ему царь сказал. Задумалась жена.

— Ну,— говорит,— на его голову научили царя. Теперь умно делать надо.

Посидела, посидела, подумала жена и стала говорить мужу:

— Идти тебе надо далеко, к нашей бабушке к старинной, мужицкой, солдатской матери, надо ее милости просить. А получишь от нее штуку, иди прямо во дворец, и я там буду. Теперь уж мне их рук не миновать. Они меня силой возьмут, да только ненадолго. Если все сделаешь, как бабушка тебе велит, ты меня скоро выручишь.

Собрала жена мужа, дала ему сумочку и дала веретенце.

— Вот это, — говорит, — ей отдай. По этому она узнает, что ты мой муж.

Показала жена ему дорогу. Пошел Емельян, вышел за город, видит — солдаты учатся. Постоял, посмотрел Емельян. Поучились солдаты, сели отдохнуть. Подошел к ним Емельян и спрашивает:

— Не знаете ли, братцы, где идти туда — не знай куда, и как принести того — не знай чего?

Услыхали это солдаты и удивились.

— Кто,— говорят,— тебя послал искать?

— Царь,— говорит.

— Мы сами,— говорят,— вот с самого солдатства ходим туда — не знай куда, да не можем дойти, и ищем того — не знай чего, да не можем найти. Не можем тебе пособить.

Посидел Емельян с солдатами, пошел дальше. Шел, шел, приходит в лес. В лесу избушка. В избушке старая старуха сидит, мужицкая, солдатская мать, кудельку прядет, сама плачет и пальцы не во рту слюнями, а в глазах слезами мочит. Увидала старуха Емельяна, закричала на него:

— Чего пришел?

Подал ей Емельян веретенце и сказал, что его жена прислала. Сейчас помягчала старуха, стала спрашивать. И стал Емельян сказывать всю свою жизнь, как он на девице женился, как перешел в город жить, как его к царю в дворники взяли, как он во дворце служил, как собор построил и реку с кораблями сделал и как ему теперь царь велел идти туда — не знай куда, принести того — не знай чего.

Отслушала старушка и перестала плакать. Стала сама с собою бормотать:

— Дошло, видно, время. Ну, ладно,— говорит,— садись, сынок, поешь.

Поел Емельян, и стала старуха ему говорить:

— Вот тебе,— говорит,— клубок. Покати ты его перед собой и иди за ним, куда он катиться будет. Идти тебе будет далеко, до самого моря. Придешь к морю, увидишь город большой. Войди в город, просись в крайний двор ночевать. Тут и ищи того, что тебе нужно.

— Как же я, бабушка, его узнаю?

— А когда увидишь то, чего лучше отца, матери слушают, оно то и есть. Хватай и неси к царю. Принесешь к царю, он тебе скажет, что не то ты принес, что надо. А ты тогда скажи: «Коли не то, так разбить его надо»,— да ударь по штуке по этой, а потом снеси ее к реке, разбей и брось в воду. Тогда и жену вернешь, и мои слезы осушишь.

Простился с бабушкой, пошел Емельян, покатил клубок. Катил, катил— привел его клубок к морю. У моря город большой. С краю высокий дом. Попросился Емельян в дом ночевать. Пустили. Лег спать. Утром рано проснулся, слышит — отец поднялся, будит сына, посылает дров нарубить. И не слушается сын.

— Рано еще,— говорит,— успею.

Слышит — мать с печки говорит:

— Иди, сынок, у отца кости болят. Разве ему самому идти? Пора.

Только почмокал губами сын и опять заснул. Только заснул, вдруг загремело, затрещало что-то на улице. Вскочил сын, оделся и выбежал на улицу. Вскочил и Емельян, побежал за ним смотреть, что то такое гремит и чего сын лучше отца, матери послушался.

Выбежал Емельян, видит — ходит по улице человек, носит на пузе штуку круглую, бьет по ней палками. Она-то и гремит; ее-то сын и послушался. Подбежал Емельян, стал смотреть штуку. Видит: круглая, как кадушка, с обоих боков кожей затянута. Стал он спрашивать, как она зовется.

— Барабан,— говорят.

— А что же он — пустой?

— Пустой,— говорят.

Подивился Емельян и стал просить себе эту штуку. Не дали ему. Перестал Емельян просить, стал ходить за барабанщиком. Целый день ходил и, когда лег спать барабанщик, схватил у него Емельян барабан и убежал с ним. Бежал, бежал, пришел домой в свой город. Думал жену повидать, а ее уж нет. На другой день ее к царю увели.

Пошел Емельян во дворец, велел об себе доложить: пришел, мол, тот, что ходил туда — не знай куда, принес того — не знай чего. Царю доложили. Велел царь Емельяну завтра прийти. Стал просить Емельян, чтобы опять доложили.

— Я,— говорит,— нынче пришел, принес, что велел, пусть ко мне царь выйдет, а то я сам пойду.

Вышел царь.

— Где,— говорит,— ты был?

Он сказал.

— Не там,— говорит.— А что принес?

Хотел показать Емельян, да не стал смотреть царь.

— Не то,— говорит.

— А не то,— говорит,— так разбить ее надо, и черт с ней.

Вышел Емельян из дворца с барабаном и ударил по нем. Как ударил, собралось все войско царское к Емельяну. Емельяну честь отдают, от него приказа ждут. Стал на свое войско из окна царь кричать, чтобы они не шли за Емельяном. Не слушают царя, все за Емельяном идут.

Увидал это царь, велел к Емельяну жену вывести и стал просить, чтоб он ему барабан отдал.

— Не могу,— говорит Емельян.— Мне,— говорит,— его разбить велено и оскретки в реку бросить.

Подошел Емельян с барабаном к реке, и все солдаты за ним пришли. Пробил Емельян у реки барабан, разломал в щепки, бросил его в реку — и разбежались все солдаты. А Емельян взял жену и повел к себе в дом.

И с тех пор царь перестал его тревожить. И стал он жить-поживать, добро наживать, а худо — проживать.

ХОЛСТОМЕР

История лошади

Посвящается памяти М. А. Стаховича[1]

ГЛАВА I

Все выше и выше поднималось небо, шире расплывалась заря, белее становилось матовое серебро росы, безжизненнее становился серп месяца, звучнее — лес, люди начинали подниматься, и на барском конном дворе чаще и чаще слышалось фырканье, возня по соломе и даже сердитое визгливое ржанье столпившихся и повздоривших за что-то лошадей.

— Но-о! успеешь! проголодались! — сказал старый табунщик, отворяя скрипящие ворота.— Куда? — крикнул он, замахиваясь на кобылку, которая сунулась было в ворота.

Табунщик Нестер был одет в казакин, подпоясанный ремнем с набором, кнут у него был захлеснут через плечо, и хлеб в полотенце был за поясом. В руках он нес седло и уздечку.

Лошади нисколько не испугались и не оскорбились насмешливым тоном табунщика, они сделали вид, что им все равно, и неторопливо отошли от ворот, только одна старая караковая гривастая кобыла приложила ухо и быстро повернулась задом. При этом случае молодая кобылка, стоявшая сзади и до которой это вовсе не касалось, взвизгнула и поддала задом первой попавшейся лошади.

— Но-о! — еще громче и грознее закричал табунщик и направился в угол двора.

Из всех лошадей, находившихся на варке (их было около сотни), меньше всех нетерпения показывал пегий мерин, стоявший одиноко в углу под навесом и, прищу-

---

[1] Сюжет этот был задуман М. А. Стаховичем, автором «Ночного» и «Наездники», и передан автору А. А. Стаховичем. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

рив глаза, лизавший дубовую соху сарая. Неизвестно, какой вкус находил в этом пегий мерин, но выражение его было серьезно и задумчиво, когда он это делал.

— Балуй! — опять тем же тоном обратился к нему табунщик, подходя к нему и кладя на навоз подле него седло и залоснившийся потник.

Пегий мерин перестал лизать и, не шевелясь, долго смотрел на Нестера. Он не засмеялся, не рассердился, не нахмурился, а понес только всем животом и тяжело, тяжело вздохнул и отвернулся. Табунщик обнял его шею и надел уздечку.

— Что вздыхаешь? — сказал Нестер.

Мерин взмахнул хвостом, как будто говоря: «Так, ничего, Нестер». Нестер положил на него потник и седло, причем мерин приложил уши, выражая, должно быть, свое неудовольствие, но его только выбранили за это дрянью и стали стягивать подпруги. При этом мерин надулся, но ему всунули палец в рот и ударили коленом в живот, так что он должен был выпустить дух. Несмотря на то, когда зубом подтягивали трок, он еще раз приложил уши и даже оглянулся. Хотя он знал, что это не поможет, он все-таки считал нужным выразить, что ему это неприятно и всегда будет показывать это. Когда он был оседлан, он отставил оплывшую правую ногу и стал жевать удила, тоже по каким-то особенным соображениям, потому что пора ему было знать, что в удилах не может быть никакого вкуса.

Нестер по короткому стремени влез на мерина, размотал кнут, выпростал из-под колена казакин, уселся на седле особенной, кучерской, охотничьей, табунщичьей посадкой и дернул за поводья. Мерин поднял голову, изъявляя готовность идти, куда прикажут, но не тронулся с места. Он знал, что, прежде чем ехать, многое еще будут кричать, сидя на нем, приказывать другому табунщику Ваське и лошадям. Действительно, Нестер стал кричать: «Васька! а Васька! Маток выпустил, что ль? Куда ты, лешой! Но! Аль спишь. Отворяй, пущай наперед матки пройдут» — и т. д.

Ворота заскрипели, Васька, сердитый и заспанный, держа лошадь в поводу, стоял у вереи и пропускал лошадей. Лошади одна за одной, осторожно ступая по соломе и обнюхивая ее, стали проходить: молодые кобылки, стригуны, сосунчики и тяжелые матки, осторожно, по одной, в воротах пронося свои утробы. Молодые кобылки

теснились иногда по двое, по трое, кладя друг другу головы через спины, и торопились ногами в воротах, за что всякий раз получали бранные слова от табунщиков. Сосунчики бросались к ногам иногда чужих маток и звонко ржали, отзываясь на короткое гоготанье маток.

Молодая кобылка-шалунья, как только выбралась за ворота, загнула вниз и набок голову, взнесла задом и взвизгнула; но все-таки не посмела забежать вперед серой старой, осыпанной гречкой Жулдыбы, которая тихим, тяжелым шагом, с боку на бок переваливая брюхо, степенно шла, как всегда, впереди всех лошадей.

За несколько минут столь оживленный полный варок печально опустел; грустно торчали столбы под пустыми навесами, и виднелась одна измятая, унавоженная солома. Как ни привычна была эта картина опустения пегому мерину, она, должно быть, грустно подействовала на него. Он медленно, как бы кланяясь, опустил и поднял голову, вздохнул, насколько ему позволял стянутый трок, и, ковыляя своими погнутыми нерасходившимися ногами, побрел за табуном, унося на своей костлявой спине старого Нестера.

«Знаю: теперь, как выедем на дорогу, он станет высекать огонь и закурит свою деревянную трубочку в медной оправе и с цепочкой, — думал мерин. — Я рад этому, потому что рано поутру, с росой, мне приятен этот запах и напоминает много приятного; досадно только, что с трубочкой в зубах старик всегда раскуражится, что-то вообразит о себе и сядет боком, непременно боком; а мне больно с этой стороны. Впрочем, бог с ним, мне не в новости страдать для удовольствия других. Я даже стал уже находить какое-то лошадиное удовольствие в этом. Пускай его хорохорится, бедняк. Ведь только и храбриться ему одному, пока его никто не видит, пускай сидит боком»,— рассуждал мерин и, осторожно ступая покоробленными ногами, шел посередине дороги.

ГЛАВА II

Пригнав табун к реке, около которой должны были пастись лошади, Нестер слез и расседлал. Табун между тем уже медленно стал разбираться по не сбитому еще лугу, покрытому росой и паром, поднимавшимся одинаково от луга и от реки, огибавшей его.

Сняв уздечку с пегого мерина, Нестер почесал его под шеей, в ответ на что мерин, в знак благодарности и удовольствия, закрыл глаза. «Любит, старый пес!» — проговорил Нестер. Мерин же нисколько не любил этого чесанья и только из деликатности притворялся, что оно ему приятно, он помотал головой в знак согласия. Но вдруг, совершенно неожиданно и без всякой причины, Нестер, предполагая, может быть, что слишком большая фамильярность может дать ложные о своем значении мысли пегому мерину, Нестер без всякого приготовления оттолкнул от себя голову мерина и, замахнувшись уздой, очень больно ударил пряжкой узды мерина по сухой ноге и, ничего не говоря, пошел на бугорок к пню, около которого он сиживал обыкновенно.

Поступок этот хотя и огорчил пегого мерина, он не показал никакого вида и, медленно помахивая вылезшим хвостом и принюхиваясь к чему-то и только для рассеянья пощипывая траву, пошел к реке. Не обращая никакого вниманья на то, что выделывали вокруг него обрадованные утром молодые кобылки, стригунки и сосунчики, и зная, что здоровее всего, особенно в его лета, прежде напиться хорошенько натощак, а потом уже есть, он выбрал где поотложее и просторнее берег и, моча копыты и щетку ног, всунул храп в воду и стал сосать воду сквозь свои прорванные губы, поводить наполнявшимися боками и от удовольствия помахивать своим жидким пегим хвостом с оголенной репицею.

Бурая кобылка, забияка, всегда дразнившая старика и делавшая ему всякие неприятности, и тут по воде подошла к нему, как будто по своей надобности, но только с тем, чтобы намутить ему воду перед носом. Но пегий уж напился и, как будто не замечая умысла бурой кобылки, спокойно вытащил одну за другой свои увязшие ноги, отряхнул голову и, отойдя в сторонку от молодежи, принялся есть. На различные манеры отставляя ноги и не топча лишней травы, он, почти не разгибаясь, ел ровно три часа. Наевшись так, что брюхо у него повисло, как мешок на худых крутых ребрах, он установился ровно на всех четырех больных ногах так, чтобы было как можно менее больно, особенно правой передней ноге, которая была слабее всех, и заснул.

Бывает старость величественная, бывает гадкая, бывает жалкая старость. Бывает и гадкая и величественная вместе. Старость пегого мерина была именно такого рода.

Мерин был роста большого — не менее двух аршин трех вершков. Мастью он был вороно-пегий. Таким он был, но теперь вороные пятна стали грязно-бурого цвета. Пежина его составлялась из трех пятен: одно на голове с кривой, сбоку носа, лысиной и до половины шеи. Длинная и засоренная репьями грива была где белая, где буроватая. Другое пятно шло вдоль правого бока и до половины живота; третье пятно на крупе, захватывая верхнюю часть хвоста и до половины ляжек. Остаток хвоста был белесоватый, пестрый. Большая костлявая голова с глубокими впадинами над глазами и отвисшей, разорванной когда-то черной губой тяжело и низко висела на выгнутой от худобы, как будто деревянной шее. Из-за отвисшей губы виден был прикушенный на сторону черноватый язык и желтые остатки съеденных нижних зубов. Уши, из которых одно было разрезано, опускались низко по бокам и изредка только лениво поводились, чтобы спугивать липших мух. Один клок еще длинный от челки висел сзади за ухом, открытый лоб был углублен и шершав, на просторных салазках мешками висела кожа. На шее и голове жилы связались узлами, вздрагивавшими и дрожавшими при каждом прикосновении мухи. Выражение лица было строго-терпеливое, глубокомысленное и страдальческое. Передние ноги его были дугой согнуты в коленях, на обоих копытах были наплывы, и на одной, на которой пежина доходила до половины ноги, около колена была в кулак большая шишка. Задние ноги были свежее; но стерты на ляжках, видимо, давно, и шерсть уже не зарастала на этих местах. Все ноги казались несоразмерно длинны по худобе стана. Ребра, хотя и крутые, были так открыты и обтянуты, что шкура, казалось, присохла к лощинкам между ними. Холка и спина были испещрены старыми побоями, и сзади была еще свежая опухшая и гноящаяся болячка; черная репица хвоста с обозначавшимися на ней позвонками торчала длинная и почти голая. На буром крупе, около хвоста, была заросшая белыми волосами в ладонь рана, вроде укуса, другая рана-рубец видна была в передней лопатке. Задние коленки и хвост были нечисты от постоянного расстройства желудка. Шерсть по всему телу, хотя и короткая, стояла торчком. Но, несмотря на отвратительную старость этой лошади, невольно задумывался, взглянув на нее, а знаток сразу бы сказал, что это была в свое время замечательно хорошая лошадь.

Знаток сказал бы даже, что была только одна порода в России, которая могла дать такую широкую кость, такие громадные мослаки, такие копыты, такую тонкость кости ноги, такой постанов шеи, главное, такую кость головы, глаз — большой, черный и светлый, и такие породистые комки жил около головы и шеи, тонкую шкуру и волос. Действительно, было что-то величественное в фигуре этой лошади и в страшном соединении в ней отталкивающих признаков дряхлости, усиленной пестротой шерсти, и приемов и выражения самоуверенности и спокойствия сознательной красоты и силы.

Как живая развалина, он стоял одиноко посереди росистого луга, а недалеко от него слышались топот, фырканье, молодое ржанье, взвизгиванье рассыпавшегося табуна.

ГЛАВА III

Солнце уже выбралось выше леса и ярко блестело на траве и извивах реки. Роса обсыхала и собиралась каплями, кое-где, около болотца и над лесом, как дымок, расходился последний утренний пар. Тучки кудрявились, но ветру еще не было. За рекой щетинкой стояла зеленая, свертывавшаяся в трубку рожь, и пахло свежей зеленью и цветом. Кукушка куковала с прихрипываньем из леса, и Нестер, развалившись на спину, считал, сколько лет ему еще жить. Жаворонки поднимались над рожью и лугом. Запоздалый заяц попался между табуна и, выскочив на простор, сел у куста и прислушивался. Васька задремал, уткнув голову в траву, кобылки еще просторнее, обойдя его, рассыпались понизу. Старые, пофыркивая, прокладывали по росе светлый следок и все выбирали такое место, где бы никто не мешал им, но уж не ели, а только закусывали вкусными травками. Весь табун незаметно подвигался в одном направлении. И опять старая Жулдыба, степенно выступая впереди других, показывала возможность идти дальше. Молодая, в первый раз ожеребившаяся, вороная Мушка беспрестанно гоготала и, подняв хвост, фыркала на своего лиловенького сосунчика, который, дрожа коленами, ковылял около ней. Караковая холостая Ласточка, как атласная, гладкая и блестящая шерстью, опустив голову так, что черная шелковистая челка закрывала ей лоб и глаза, играла с травою, — щипнет

и бросит и стукнет мокрой от росы ногой с пушистой щеткой. Один из старших сосунчиков, должно быть воображая себе какую-нибудь игру, уже двадцать шесть раз подняв панашем коротенький кудрявый хвостик, обскакал кругом своей матки, которая спокойно щипала траву, успев уже привыкнуть к характеру своего сына, и только изредка косилась на него большим черным глазом. Один из самых маленьких сосунов, черный, головастый, с удивленно торчащей между ушами челкой и хвостиком, свернутым еще на ту сторону, на которую он был загнут в брюхе матери, уставив уши и тупые глаза, не двигаясь с места, пристально смотрел на сосуна, который скакал и пятился, неизвестно, завидуя или осуждая, зачем он это делает. Которые сосут, подталкивая носом, которые, неизвестно почему, несмотря па зовы матерей, бегут маленькой, неловкой рысцой прямо в противуположную сторону, как будто отыскивая что-то, и потом, неизвестно для чего, останавливаются и ржут отчаянно-пронзительным голосом; которые лежат боком вповалку, которые учатся есть траву, которые чешутся задней ногой за ухом. Две еще жеребые кобылы ходят отдельно и, медленно передвигая ноги, все еще едят. Видно, что их положение уважаемо другими, и никто из молодежи не решается подходить и мешать. Ежели и вздумает какая-нибудь шалунья подойти близко к ним, то одного движенья уха и хвоста достаточно, чтобы показать им всю неприличность их поведенья.

Стригунки, годовалые кобылки притворяются уж большими и степенными и редко подпрыгивают и сходятся с веселыми компаниями. Они чинно едят траву, выгибая свои лебединые стриженые шейки, и, как будто у них тоже есть хвосты, помахивают своими веничками. Так же, как большие, некоторые ложатся, катаются или чешут друг друга. Самая веселая компания составляется из двухлеток-трехлеток и холостых кобыл. Они ходят почти все вместе и отдельно веселой девичьей гурьбой. Между ними слышится топот, взвизгиванье, ржанье, брыканье. Они сходятся, кладут головы друг другу через плечи, обнюхиваются, прыгают и иногда, всхрапнув и подняв трубой хвост, полурысью, полутропотой гордо и кокетливо пробегают перед товарками. Первой красавицей и затейщицей между всей этой молодежью была шалунья бурая кобылка. Что она затевала, то делали и другие; куда она шла, туда за ней шла и вся гурьба красавиц. Шалунья была

в особенно игривом расположенье в это утро. Веселый стих нашел на нее так, как он находит и на людей. Еще на водопое, подшутив над стариком, она побежала вдоль по воде, притворилась, что испугалась чего-то, храпнула и во все ноги понеслась в поле, так что Васька должен был скакать за ней и за другими, увязавшимися за ней. Потом, поев немного, она начала валяться, потом дразнить старух тем, что заходила вперед их, потом отбила одного сосунка и начала бегать за ним, как будто желая укусить его. Мать испугалась и бросила есть, сосунчик кричал жалким голосом, но шалунья ничем даже не тронула его, а только попугала его и доставила зрелище товаркам, которые с сочувствием смотрели на ее проделки. Потом она затеяла вскружить голову чалой лошадке, на которой далеко за рекой по ржам проезжал мужичок с сохою. Она остановилась, гордо, несколько набок, подняла голову, встряхнулась и заржала сладким, нежным и протяжным голосом. И шалость, и чувство, и некоторая грусть выражались в этом ржанье. В нем было и желанье, и обещанье любви, и грусть по ней.

Вон дергач, в густом тростнике, перебегая с места на место, страстно зовет к себе свою подругу, вон и кукушка и перепел поют любовь, и цветы по ветру пересылают свою душистую пыль друг другу.

«И я и молода, и хороша, и сильна,— говорило ржанье шалуньи, — а мне не дано было по сей поры испытать сладость этого чувства, не только не дано испытать, но ни один любовник, ни один еще не видал меня».

И многозначащее ржанье грустно и молодо отозвалось низом и полем и издалека донеслось до чалой лошадки. Она подняла уши и остановилась. Мужик ударил ее лаптем, но чалая лошадка была очарована серебряным звуком далекого ржанья и заржала тоже. Мужик рассердился, дернул ее вожжами и ударил так лаптем по брюху, что она не успела докончить своего ржанья и пошла дальше. Но чалой лошадке стало сладко и грустно, и из далеких ржей долго еще долетали до табуна звуки начатого страстного ржанья и сердитого голоса мужика.

Ежели от одного звука этого голоса чалая лошадка могла ошалеть так, что забыла свою должность, что бы было с ней, ежели бы она видела всю красавицу шалунью, как она, насторожив уши, растопырив ноздри, втягивая в себя воздух и куда-то порываясь и дрожа всем своим молодым и красивым телом, звала ее.

Но шалунья долго не задумывалась над своими впечатленьями. Когда голос чалого замолк, она насмешливо поржала еще и, опустив голову, стала копать ногой землю, а потом пошла будить и дразнить пегого мерина. Пегий мерин был всегдашним мучеником и шутом этой счастливой молодежи. Он страдал от этой молодежи больше, чем от людей. Ни тем, ни другим он не делал зла. Людям он был нужен, но за что же мучали его молодые лошади?

ГЛАВА IV

Он был стар, они были молоды; он был худ, они были сыты; он был скучен, они были веселы. Стало быть, он был совсем чужой, посторонний, совсем другое существо, и нельзя было жалеть его. Лошади жалеют только самих себя и изредка только тех, в шкуре кого они себя легко могут представить. Но ведь не виноват же был пегий мерин в том, что он был стар и тощ и уродлив? ...Казалось бы, что нет. Но по-лошадиному он был виноват, и правы были всегда только те, которые были сильны, молоды и счастливы, те, у которых было все впереди, те, у которых от ненужного напряженья дрожал каждый мускул и колом поднимался хвост кверху. Может быть, что и сам пегий мерин понимал это и в спокойные минуты соглашался, что он виноват тем, что прожил уже жизнь, что ему надо платить за эту жизнь; но он все-таки был лошадь и не мог удерживаться часто от чувств оскорбленья, грусти и негодованья, глядя на всю эту молодежь, казнившую его за то самое, чему все они будут подлежать в конце жизни. Причиной безжалостности лошадей было тоже и аристократическое чувство. Каждая из них вела свою родословную по отцу или по матери от знаменитого Сметанки, пегий же был неизвестно какого рода; пегий был пришлец, купленный три года тому назад за восемьдесят рублей ассигнациями на ярманке.

Бурая кобылка, как будто прогуливаясь, подошла к самому носу пегого мерина и толкнула его. Он уж знал, что это такое, и, не открывая глаз, приложил уши и оскалился. Кобылка повернулась задом и сделала вид, что хочет ударить его. Он открыл глаза и отошел в другую сторону. Спать ему уже не хотелось, и он начал есть. Снова шалунья, сопутствуемая своими подругами, подошла к мерину. Двухлетняя лысая кобылка, очень глупая,

всегда подражавшая и во всем следовавшая за бурой, подошла с ней вместе и, как всегда поступают подражатели, начала пересаливать то самое, что делала зачинщица. Бурая кобылка обыкновенно подходила как будто по своему делу и проходила мимо самого носа мерина, не глядя на него, так что он решительно не знал, сердиться или нет, и это было действительно смешно. Она сделала это и теперь, но лысая, шедшая за ней и особенно развеселившаяся, уже прямо грудью ударила мерина. Он снова оскалил зубы, взвизгнул и с прытью, которую нельзя бы было ожидать от него, бросился за ней и укусил ее в ляжку. Лысенькая ударила всем задом и тяжело ударила старика по худым голым ребрам. Старик захрипел даже, хотел броситься еще, но потом раздумал и, тяжело вздохнув, отошел в сторону. Должно быть, вся молодежь табуна приняла за личное оскорбление дерзость, которую позволил себе пегий мерин в отношении лысой кобылки, и весь остальной день ему решительно не давали кормиться и ни на минуту не давали покоя, так что табунщик несколько раз унимал их и не мог понять, что с ними сделалось. Мерин так был обижен, что сам подошел к Нестеру, когда старик собрался гнать назад табун, и почувствовал себя счастливее и покойнее, когда его оседлали и сели на него.

Бог знает, о чем думал старик мерин, унося на своей спине старика Нестера. С горечью ли думал он о неотвязчивой и жестокой молодежи, или, с свойственной старикам презрительной и молчаливой гордостью, прощал своих обидчиков, только он ничем не проявил своих размышлений до самого дома.

В этот вечер к Нестеру приехали кумовья, и, прогоняя табун мимо дворовых изб, он заметил телегу с лошадью, привязанную к его крыльцу. Загнав табун, он так поторопился, что, не сняв седла, пустил на двор мерина и, крикнув Ваське, чтоб он расседлал табунного, запер ворота и пошел к кумовьям. Вследствие ли оскорбления, нанесенного лысой кобылке, Сметанкиной правнучке, «коростовой дрянью», купленной на конной и не знающей отца и матери, и оскорбленного поэтому аристократического чувства всего варка, или вследствие того, что мерин в высоком седле без седока представлял странно фантастическое для лошадей зрелище, только на варке произошло в эту ночь что-то необыкновенное. Все лошади, молодые и старые, с оскаленными зубами бегали за мерином, гоняя его по двору, раздавались звуки копыт об его

худые бока и тяжелое кряхтение. Мерин не мог более переносить этого, не мог более избегать ударов. Он остановился посередине двора, на лице его выразилось отвратительное слабое озлобление бессильной старости, потом отчаяние; он приложил уши, и вдруг что-то такое сделал, отчего все лошади вдруг затихли. Подошла самая старая кобыла Вязопуриха, понюхала мерина и вздохнула. Вздохнул и мерин.

. . . .

ГЛАВА V

Посередине освещенного луной двора стояла высокая худая фигура мерина с высоким седлом, с торчащей шишкой луки. Лошади неподвижно и в глубоком молчании стояли вокруг него, как будто они что-то новое, необыкновенное узнали от него. И точно, новое и неожиданное они узнали от него.

Вот что они узнали от него.

. . . .

НОЧЬ 1-Я

— Да, я сын Любезного первого и Бабы. Имя мое по родословной Мужик первый. Я Мужик первый по родословной, я Холстомер по-уличному, прозванный так толпою за длинный и размашистый ход, равного которому не было в России. По происхождению нет в мире лошади выше меня по крови. Я никогда бы не сказал вам этого. К чему? Вы бы никогда не узнали меня. Как не узнавала меня Вязопуриха, бывшая со мной вместе в Хреновом и теперь только признавшая меня. Вы бы и теперь не поверили мне, ежели бы не было свидетельства этой Вязопурихи. Я бы никогда не сказал вам этого. Мне не нужно лошадиное сожаление. Но вы хотели этого. Да, я тот Холстомер, которого отыскивают и не находят охотники, тот Холстомер, которого знал сам граф и сбыл с завода за то, что я обежал его любимца Лебедя.

. . . .

Когда я родился, я не знал, что такое значит *пегий,* я думал, что я лошадь. Первое замечание о моей шерсти, помню, глубоко поразило меня и мою мать. Я родился, должно быть, ночью, к утру я, уже облизанный матерью,

стоял на ногах. Помню, что мне все чего-то хотелось и все мне казалось чрезвычайно удивительно и вместе чрезвычайно просто. Денники у нас были в длинном теплом коридоре, с решетчатыми дверьми, сквозь которые все видно было. Мать подставляла мне соски, а я был так еще невинен, что тыкал носом то ей под передние ноги, то под комягу. Вдруг мать оглянулась на решетчатую дверь и, перенесши через меня ногу, посторонилась. Дневальный конюх смотрел к нам в денник через решетку.

— Ишь ты, Баба-то ожеребилась,— сказал он и стал отворять задвижку; он взошел по свежей постилке и обнял меня руками.— Глянь-ка, Тарас,— крикнул он,— пегой какой, ровно сорока.

Я рванулся от него и спотыкнулся на колени.

— Вишь, чертенок,— проговорил он.

Мать обеспокоилась, но не стала защищать меня и, только тяжело-тяжело вздохнув, отошла немного в сторону. Пришли конюха и стали смотреть меня. Один побежал объявить конюшему. Все смеялись, глядя на мои пежины, и давали мне разные странные названия. Не только я, но и мать не понимала значения этих слов. До сих пор между нами и всеми моими родными не было ни одного пегого. Мы не думали, чтоб в этом было что-нибудь дурное. Сложение же и силу мою и тогда все хвалили.

— Вишь, какой шустрый,— говорил конюх,— не удержишь.

Через несколько времени пришел конюший и стал удивляться на мой цвет, он даже казался огорченным.

— И в кого такая уродина,— сказал он,— генерал его теперь не оставит в заводе. Эх, Баба, посадила ты меня,— обратился он к моей матери.— Хоть бы лысого ожеребила, а то вовсе пегого!

Мать моя ничего не отвечала и, как всегда в подобных случаях, опять вздохнула.

— И в какого черта он уродился, точно мужик,— продолжал он,— в заводе нельзя оставить, срам, а хорош, очень хорош,— говорил и он, говорили и все, глядя на меня. Через несколько дней пришел и сам генерал посмотреть на меня, и опять все чему-то ужасались и бранили меня и мою мать за цвет моей шерсти. «А хорош, очень хорош»,— повторял всякий, кто только меня видел.

До весны мы жили в маточной все порознь, каждый при своей матери, только изредка, когда снег на крышах варков стал уже таять от солнца, нас с матерями стали

выпускать на широкий двор, устланный свежей соломой. Тут в первый раз я узнал всех своих родных, близких и дальних. Тут из разных дверей я видел, как выходили с своими сосунками все знаменитые кобылы того времени. Тут была старая Голанка, Мушка — Сметанкина дочь, Краснуха, верховая Доброхотиха, все знаменитости того времени, все собирались тут с своими сосунками, похаживали по солнышку, катались по свежей соломе и обнюхивали друг друга, как и простые лошади. Вид этого варка, наполненного красавицами того времени, я не могу забыть до сих пор. Вам странно думать и верить, что и я был молод и резов, но это так было. Тут была эта самая Вязопуриха, тогда еще годовалым стригунчиком — милой, веселой и резвой лошадкой; но, не в обиду будь ей сказано, несмотря на то, что она редкостью по крови теперь считается между вами, тогда она была из худших лошадей того приплода. Она сама вам подтвердит это.

Пестрота моя, так не нравившаяся людям, чрезвычайно понравилась всем лошадям; все окружили меня, любовались и заигрывали со мною. Я начал уже забывать слова людей о моей пестроте и чувствовал себя счастливым. Но скоро я узнал первое горе в моей жизни, и причиной его была мать. Когда уже начало таять, воробьи чирикали под навесом и в воздухе сильнее начала чувствоваться весна, мать моя стала переменяться в обращении со мною. Весь нрав ее изменился; то она вдруг без всякой причины начинала играть, бегая по двору, что совершенно не шло к ее почтенному возрасту; то задумывалась и начинала ржать; то кусала и брыкала в своих сестер-кобыл; то начинала обнюхивать меня и недовольно фыркать; то, выходя на солнце, клала свою голову через плечо своей двоюродной сестре Купчихе и долго задумчиво чесала ей спину и отталкивала меня от сосков. Один раз пришел конюший, велел надеть на нее недоуздок,— и ее повели из денника. Она заржала, я откликнулся ей и бросился за нею; но она и не оглянулась на меня. Конюх Тарас схватил меня в охапку, в то время как затворяли дверь за выведенной матерью. Я рванулся, сбил конюха в солому,— но дверь была заперта, и я только слышал все удалявшееся ржание матери. И в ржании этом я уже не слышал призыва, а слышал другое выражение. На ее голос далеко отозвался могущественный голос, как я после узнал, Доброго первого, который с двумя конюхами по сторонам шел на свидание с моею матерью. Я не

помню, как вышел Тарас из моего денника: мне было слишком грустно. Я чувствовал, что навсегда потерял любовь своей матери. И все оттого, что я пегий, думал я, вспоминая слова людей о своей шерсти, и такое зло меня взяло, что я стал биться об стены денника головой и коленями — и бился до тех пор, пока не вспотел и не остановился в изнеможении.

Через несколько времени мать вернулась ко мне. Я слышал, как она рысцой и непривычным ходом подбегала к нашему деннику, по коридору. Ей отворили дверь, я не узнал ее, как она помолодела и похорошела. Она обнюхала меня, фыркнула и начала гоготать. По всему выражению ее я видел, что она меня не любила. Она рассказывала мне про красоту Доброго и про свою любовь к нему. Свидания эти продолжались, и между мною и матерью отношения становились холоднее и холоднее.

Скоро нас выпустили на траву. С этой поры я узнал новые радости, которые мне заменили потерю любви моей матери. У меня были подруги и товарищи, мы вместе учились есть траву, ржать так же, как и большие, и, подняв хвосты, скакать кругами вокруг своих матерей. Это было счастливое время. Мне все прощалось, все меня любили, любовались мною и снисходительно смотрели на все, что бы я ни сделал. Это продолжалось недолго. Тут скоро случилось со мной ужасное. — Мерин вздохнул тяжело-тяжело и пошел прочь от лошадей.

Заря уже давно занялась. Заскрипели ворота, вошел Нестер. Лошади разошлись. Табунщик оправил седло на мерине и выгнал табун.

ГЛАВА VI

НОЧЬ 2-Я

Как только лошади были загнаны, они опять столпились вокруг пегого.

— В августе месяце нас разлучили с матерью,— продолжал пегий,— и я не чувствовал особенного горя. Я видел, что мать моя носила уже меньшого моего брата, знаменитого Усана, и я уже не был тем, чем был прежде. Я не ревновал, но я чувствовал, что становился холодней к ней. Кроме того, я знал, что, оставив мать, я поступлю в общее отделение жеребят, где мы стояли по двое и по трое,— и каждый день всей гурьбой молодежи выходили

на воздух. Я стоял в одном деннике с Милым. Милый был верховый, и впоследствии на нем ездил император, и его изображали на картинках и в статуях. Тогда он еще был простой сосунок, с глянцевитой нежной шерстью, лебединой шейкой и, как струнки, ровными и тонкими ногами. Он был всегда весел, добродушен и любезен; всегда был готов играть, лизаться и подшутить над лошадью или человеком. Мы с ним невольно подружились, живя вместе, и дружба эта продолжалась во все время нашей молодости. Он был весел и легкомыслен. Он тогда уже начинал любить, заигрывал с кобылками и смеялся над моей невинностью. И, на мое несчастье, я из самолюбия стал подражать ему; и очень скоро увлекся любовью. И эта ранняя склонность моя была причиной величайшей перемены моей судьбы. Случилось так, что я увлекся.

Вязопуриха была старше меня одним годом, мы с нею были особенно дружны; но под конец осени я заметил, что она начала дичиться меня... ...Но я не стану рассказывать всей этой несчастной истории моей первой любви, она сама помнит мое безумное увлечение, окончившееся для меня самой важной переменой в моей жизни. Табунщики бросились гонять ее и бить меня. Вечером меня загнали в особый денник; я ржал целую ночь, как будто предчувствуя события завтрашнего дня.

Наутро пришли в коридор моего денника генерал, конюший, конюха и табунщики, и начался страшный крик. Генерал кричал на конюшего, конюший оправдывался, что он не велел меня пускать, а что это самовольно сделали конюха. Генерал сказал, что он всех перепорет, а жеребчиков нельзя держать. Конюший обещался, что все исполнит. Они затихли и ушли. Я ничего не понимал, но я видел, что что-то такое замышлялось обо мне.

. . . .
. . . .

На другой день после этого я уже навеки перестал ржать, я стал тем, что я теперь. Весь свет изменился в моих глазах. Ничто мне не стало мило, я углубился в себя и стал размышлять. Сначала мне все было постыло. Я перестал даже пить, есть и ходить, а уж об игре и думать нечего. Иногда мне приходило в голову взбрыкнуть, поскакать, поржать; но сейчас же представлялся страшный вопрос: зачем? к чему? И последние силы пропадали.

Один раз меня проваживали вечером, в то время как табун гнали с поля. Я издалека еще увидал облако пыли

с неясными знакомыми очертаниями всех наших маток. Я услыхал веселое гоготанье и топот. Я остановился, несмотря на то, что веревка недоуздка, за который меня тянул конюх, резала мне затылок, и стал смотреть на приближающийся табун, как смотрят на всегда потерянное и невозвратимое счастие. Они приближались, и я различал по одной — все мне знакомые, красивые, величавые, здоровые и сытые фигуры. Кое-кто из них тоже оглянулся на меня. Я не чувствовал боль от дерганья недоуздка конюха. Я забылся и невольно, по старой памяти, заржал и побежал рысью; но ржание мое отозвалось грустно, смешно и нелепо. В табуне не засмеялись,— но я заметил, как многие из них из приличия отвернулись от меня. Им, видимо, и гадко, и жалко, и совестно, а главное — смешно было на меня. Им смешно было на мою тонкую невыразительную шею, большую голову (я похудел в это время), на мои длинные, неуклюжие ноги и на глупый аллюр рысцой, который я, по старой привычке, предпринял вокруг конюха. Никто не отозвался на мое ржание, все отвернулись от меня. Я вдруг все понял, понял, насколько я навсегда стал далек от всех их и не помню, как пришел домой за конюхом.

Я уже и прежде показывал склонность к серьезности и глубокомыслию, теперь же во мне сделался решительный переворот. Моя пежина, возбуждавшая такое странное презрение в людях, мое странное неожиданное несчастье и еще какое-то особенное положение мое на заводе, которое я чувствовал, но никак еще не мог объяснить себе, заставили меня углубиться в себя. Я задумывался над несправедливостью людей, осуждавших меня за то, что я пегий, я задумывался о непостоянстве материнской и вообще женской любви и зависимости ее от физических условий, и главное, я задумывался над свойствами той странной породы животных, с которыми мы так тесно связаны и которых мы называем людьми,— теми свойствами, из которых вытекала особенность моего положения на заводе, которую я чувствовал, но не мог понять. Значение этой особенности и свойств людских, на которых она была основана, открылось мне по следующему случаю.

Это было зимою во время праздников. Целый день мне не давали корму и не поили меня. Как я после узнал, это происходило потому, что конюх был пьян. В этот же день

конюший взошел ко мне, посмотрел, что нет корму, и начал ругать самыми дурными словами конюха, которого здесь не было, потом ушел. На другой день конюх с другим товарищем взошел в наш денник задавать нам сена, я заметил, что он особенно был бледен и печален; в особенности в выражении длинной спины его было что-то значительное и вызывающее сострадание. Он сердито бросил сено за решетку; я сунулся было головой через его плечо; но он кулаком так больно ударил меня по храпу, что я отскочил. Он еще ударил меня сапогом по животу.

— Кабы не этот коростовый,— сказал он,— ничего бы не было.

— А что? — спросил другой конюх.

— Небось графских не ходит проведывать, а *своего* жеребенка по два раза в день наведывает.

— Разве отдали ему пегого-то? — спросил другой.

— Продали, подарили ли, пес их ведает. Графских хоть всех голодом помори — ничего, а вот как смел *его* жеребенку корму не дать. Ложись,— говорит,— и ну бузовать. Христианства нет. Скотину жалчей человека, креста, видно, на нем нет, сам считал, варвар. Генерал так не парывал, всю спину исполосовал, видно, христианской души нет.

То, что они говорили о сечении и о христианстве, я хорошо понял,— но для меня совершенно было темно тогда, что такое значили слова: *своего, его* жеребенка, из которых я видел, что люди предполагали какую-то связь между мною и конюшим. В чем состояла эта связь, я никак не мог понять тогда. Только гораздо уже после, когда меня отделили от других лошадей, я понял, что это значило. Тогда же я никак не мог понять, что такое значило то, что *меня* называли собственностью человека. Слова: моя лошадь, относимые ко мне, живой лошади, казались мне так же странны, как слова: моя земля, мой воздух, моя вода.

Но слова эти имели на меня огромное влияние. Я не переставая думал об этом и только долго после самых разнообразных отношений с людьми понял, наконец, значение, которое приписывается людьми этим странным словам. Значение их такое: люди руководятся в жизни не делами, а словами. Они любят не столько возможность делать или не делать что-нибудь, сколько возможность говорить о разных предметах условленные между ними

слова. Таковые слова, считающиеся очень важными между ними, суть слова: мой, моя, мое, которые они говорят про различные вещи, существа и предметы, даже про землю, про людей и про лошадей. Про одну и ту же вещь они условливаются, чтобы только один говорил — *мое*. И тот, кто про наибольшее число вещей по этой условленной между ними игре говорит *мое*, тот считается у них счастливейшим. Для чего это так, я не знаю; но это так. Я долго прежде старался объяснить себе это какою-нибудь прямою выгодою; но это оказалось несправедливым.

Многие из тех людей, которые меня, например, называли своей лошадью, не ездили на мне, но ездили на мне совершенно другие. Кормили меня тоже не они, а совершенно другие. Делали мне добро опять-таки не они — те, которые называли меня своей лошадью, а кучера, коновалы и вообще сторонние люди. Впоследствии, расширив круг своих наблюдений, я убедился, что не только относительно нас, лошадей, понятие *мое* не имеет никакого другого основания, как низкий и животный людской инстинкт, называемый ими чувством или правом собственности. Человек говорит: «дом мой», и никогда не живет в нем, а только заботится о постройке и поддержании дома. Купец говорит: «моя лавка». «Моя лавка сукон», например,— и не имеет одежды из лучшего сукна, которое есть у него в лавке. Есть люди, которые землю называют своею, а никогда не видали этой земли и никогда по ней не проходили. Есть люди, которые других людей называют своими, а никогда не видали этих людей; и все отношение их к этим людям состоит в том, что они делают им зло. Есть люди, которые женщин называют своими женщинами или женами, а женщины эти живут с другими мужчинами. И люди стремятся в жизни не к тому, чтобы делать то, что они считают хорошим, а к тому, чтобы называть как можно больше вещей *своими*. Я убежден теперь, что в этом-то и состоит существенное различие людей от нас. И потому, не говоря уже о других наших преимуществах перед людьми, мы уже по одному этому смело можем сказать, что стоим в лестнице живых существ выше, чем люди: деятельность людей — по крайней мере, тех, с которыми я был в сношениях, руководима словами, наша же — делом. И вот это право говорить обо мне *моя* лошадь получил конюший и от этого высек

конюха. Это открытие сильно поразило меня и вместе с теми мыслями и суждениями, которые вызывала в людях моя пегая масть, и с задумчивостью, вызванною во мне изменою моей матери, заставило меня сделаться тем серьезным и глубокомысленным мерином, которым я есмь.

Я был трижды несчастлив: я был пегий, я был мерин, и люди вообразили себе обо мне, что я принадлежал не богу и себе, как это свойственно всему живому, а что я принадлежал конюшему.

Последствий того, что они вообразили себе это обо мне, было много. Первое из них уж было то, что меня держали отдельно, кормили лучше, чаще гоняли на корде и раньше запрягли. Меня запрягли в первый раз по третьему году. Я помню, как в первый раз сам конюший, который воображал, что я ему принадлежу, с толпою конюхов стали запрягать меня, ожидая от меня буйства или противодействия. Они скрянчили мне губу. Они обвили меня веревками, заводя в оглобли; они надели мне на спину широкий ременный крест и привязали его к оглоблям, чтоб я не бил задом; а я ожидал только случая показать свою охоту и любовь к труду.

Они удивлялись, что я пошел, как старая лошадь. Меня стали проезжать, и я стал упражняться в beганье рысью. С каждым днем я делал бо́льшие и бо́льшие успехи, так что чрез три месяца сам генерал и многие другие хвалили мой ход. Но странное дело,— именно потому, что они воображали себе, что я не свой, а конюшего, ход мой получал для них совсем другое значение.

Жеребцов, моих братьев, проезжали на бегу, вымеряли их пронос, выходили смотреть на них, ездили в золоченых дрожках, накидывали на них дорогие попоны. Я ездил в простых дрожках конюшего по его делам в Чесменку и другие хутора. Все это происходило оттого, что я был пегий, а главное потому, что я был, по их мнению, не графский, а собственность конюшего.

Завтра, если будем живы, я расскажу вам, какое главное последствие имело для меня это право собственности, которое воображал себе конюший.

Весь этот день лошади почтительно обращались с Холстомером. Но обращение Нестера было так же грубо. Чалый жеребеночек мужика, уже подходя к табуну, заржал, и бурая кобылка опять кокетничала.

ГЛАВА VII

НОЧЬ 3-Я

Народился месяц, и узенький серп его освещал фигуру Холстомера, стоявшего посередине двора. Лошади толпились около него.

— Главное удивительное последствие для меня того, что я был не графский, не божий, а конюшего,— продолжал пегий, — было то, что то, что составляет главную заслугу нашу,— резвый ход, сделалось причиной моего изгнания. Проезжали на кругу Лебедя, а конюший из Чесменки подъехал на мне и стал у круга. Лебедь прошел мимо нас. Он хорошо ехал, но он все-таки щеголял, не было в нем той спорости, которую я выработал в себе, того, чтобы мгновенно при прикосновении одной ноги отделялась другая и не тратилось бы ни малейшего усилия праздно, а всякое усилие двигало бы вперед. Лебедь прошел мимо нас. Я потянулся в круг, конюший не задержал меня. «А что, померять моего Пегаша?» — крикнул он, и когда Лебедь поравнялся другой раз, он пустил меня. У того уж была набрана скорость, и потому я отстал на первом заезде, но во второй я стал набирать на него, стал близиться к дрожкам, стал равняться обходить и обошел. Попытали другой раз — то же самое. Я был резвее. И это привело всех в ужас. Решили, чтобы скорее продать меня подальше, чтобы и слуху не было. «А то узнает граф — и беда!» Так говорили они. И меня продали барышнику в коренной. У барышника я пробыл недолго. Меня купил гусар, приезжавший за ремонтом. Все это было так несправедливо, так жестоко, что я был рад, когда меня вывели из Хреновой и навсегда разлучили со всем, что мне было родно и мило. Мне было слишком тяжело между ними. Им предстояли любовь, почести, свобода, мне — труд, унижения, унижения, труд, и до конца моей жизни! За что? За то, что я был пегий и что от этого я должен был сделаться чьею-то лошадью.

Дальше в этот вечер Холстомер не мог рассказывать. На варке случилось событие, переполошившее всех лошадей. Купчиха, жеребая запоздавшая кобыла, слушавшая сначала рассказ, вдруг повернулась и медленно отошла под сарай и там начала кряхтеть так громко, что все лошади обратили на нее внимание, потом она легла, потом опять встала, опять легла. Старые матки поняли, что с ней,

но молодежь пришла в волнение и, оставив мерина, окружила больную. К утру был новый жеребенок, качавшийся на ножках. Нестер кликнул конюшего, и кобылу с жеребенком отвели в денник, а лошадей погнали без нее.

ГЛАВА VIII

НОЧЬ 4-Я

Вечером, когда ворота затворили и все затихло, пегий продолжал так:

— Много наблюдений над людьми и лошадьми успел я сделать во время всех моих переходов из рук в руки. Дольше всего я был у двух хозяев: у князя, гусарского офицера, потом у старушки, жившей у Николы Явленного.

У гусарского офицера я провел лучшее время моей жизни.

Хотя он был причиной моей погибели, хотя он ничего и никого никогда не любил, я любил его и люблю его именно за это. Мне нравилось в нем именно то, что он был красив, счастлив, богат и потому никого не любил. Вы понимаете это наше высокое лошадиное чувство. Его холодность, его жестокость, моя зависимость от него придавали особенную силу моей любви к нему. Убей, загони меня, думал я, бывало, в наши хорошие времена, я тем буду счастливее.

Он купил меня у барышника, которому за восемьсот рублей продал меня конюший. Он купил меня за то, что ни у кого не было пегих лошадей. Это было мое лучшее время. У него была любовница. Я знал это потому, что каждый день возил его к ней и ее, и иногда возил их вместе. Любовница его была красавица, и он был красавец, и кучер у него был красавец. И я всех их любил за это. И мне было хорошо жить. Жизнь моя проходила так: с утра приходил конюх чистить меня, не сам кучер, а конюх. Конюх был молодой молодчик, взятый из мужиков. Он отворял дверь, выпускал пар лошадиный, выкидывал навоз, снимал попоны и начинал ерзать щеткой по телу и скребницей класть беловатые ряды плоти на избитый шипами канатник пола. Я шутливо покусывал его за рукав, я постукивал ногой. Потом подводили одного за другим к чану холодной воды, и малый любовался на гладкие своего труда пежины, на ногу, прямую, как стрела, с ши-

роким копытом, и на лоснящийся круп и спину, хоть спать ложись. За высокие решетки закладывали сено, всыпали овес в дубовые ясли. Приходил Феофан, старший кучер.

Хозяин и кучер были похожи. И тот и другой ничего не боялись и никого не любили, кроме себя, и за это все любили их. Феофан ходил в красной рубахе и плисовых штанах и поддевке. Я любил, когда он, бывало, в праздник, напомаженный, в поддевке, зайдет в конюшню и крикнет: «Ну, животина, забыла!» — и толканет рукояткой вилок меня по ляжке, но никогда не больно, а только для шутки. Я тотчас же понимал шутку и, прикладывая ухо, щелкал зубами.

Был у нас вороной жеребец из пары. Меня по ночам запрягали и с ним. Полкан этот не понимал шуток, а был просто зол, как черт. Я с ним рядом стоял, через стойло, и, бывало, серьезно грызся. Феофан не боялся его. Бывало, подойдет прямо, крикнет, кажется, убьет, — нет, мимо, и Феофан наденет оброть. Раз мы с ним в паре понесли вниз по Кузнецкому. Ни хозяин, ни кучер не испугались, оба смеялись, кричали на народ и сдерживали и поворачивали, так никого и не задавили.

В их службе я потерял лучшие свои качества и половину жизни. Тут меня и опоили и разбили на ноги. Но несмотря на то, это было лучшее время моей жизни. В двенадцать приходили, впрягали, мазали копыты, смачивали челку в гриву и вводили в оглобли.

Сани были камышовые плетеные, бархатные, сбруя с маленькими серебряными пряжечками, вожжи шелковые и одно время — филе. Запряжка была такая, что, когда все поводки, ремешки были прилажены и застегнуты, нельзя было разобрать, где кончается запряжка и начинается лошадь. Запрягут в сарае на развязке. Выйдет Феофан с задом шире плеч, в красном кушаке под мышки, оглядит запряжку, сядет, заправит кафтан, выставит ногу в стремя, пошутит что-нибудь всегда, привесит кнут, которым почти никогда не стегнет меня, только для порядка, и скажет: «Пущай!» И, играя каждым шагом, я трогаю из ворот, и кухарка, вышедшая выплеснуть помои, останавливается на пороге, и мужики, привезшие на двор дрова, таращат глаза. Выедет, проедет и станет. Выйдут лакеи, подъедут кучера, и пойдут разговоры. Всё ждут, часа три иногда стоим у подъезда, изредка проезжаем, заворачиваем и опять становимся.

Наконец зашумят в дверях, выбежит во фраке седой Тихон с брюшком: «Подавай!» Тогда не было этой глупой манеры говорить: «вперед», как будто я не знаю, что ездят не назад, а вперед. Чмокнет Феофан. Подъедет, и выходит торопливо-небрежно, как будто ничего удивительного нет ни в этих санях, ни в лошади, ни в Феофане, который изогнет спину и вытянет руки так, как их, кажется, держать долго нельзя, выйдет князь в кивере и шинели с бобровым седым воротником, закрывающим румяное, чернобровое красивое лицо, которое бы никогда закрывать не надо, выйдет, побрякивая саблей, шпорами и медными задниками калош, ступая по ковру, как будто торопясь и не обращая внимания на меня и на Феофана, то, на что смотрят и чем любуются все, кроме его. Чмокнет Феофан, я влягу в поводья, и честно, шагом подъедем, станем; я покошусь на князя, взмахну кровной головой и тонкой челкой. Князь в духе, иногда пошутит с Феофаном, Феофан ответит, чуть оборачивая красивую голову, и, не спуская рук, делает чуть заметное, понятное для меня движение вожжами, и раз-раз-раз, все шире и шире, содрогаясь каждым мускулом и кидая снег с грязью под передок, я еду. Тогда тоже не было нынешней глупой манеры кричать: «О!» — как будто у кучера болит что-нибудь, а непонятное: «Пади берегись!» — «Пади берегись!» — покрикивает Феофан, и народ сторонится, и останавливается, и шею кривит, оглядываясь на красавца мерина, красавца кучера и красавца барина.

Любил я перегнать рысака. Когда, бывало, мы издалека завидим с Феофаном упряжь, достойную нашего усилия, и мы, летя, как вихрь, медленно начинаем наплывать ближе и ближе, уж я кидаю грязь в спинку саней, равняюсь с седоком и над головой фыркаю ему, равняюсь с седелкой, с дугой, уж не вижу его и слышу только сзади себя все удаляющиеся его звуки. А князь, и Феофан, и я — мы все молчим и делаем вид, что мы просто едем по своему делу, что мы и не замечаем тех, которые попадаются нам на пути на плохих лошадях. Любил я перегнать, но любил я также встретиться с хорошим рысаком; один миг, звук, взгляд, и мы уж разъехались и опять одиноко летим, каждый в свою сторону.

Заскрипели ворота, и послышались голоса Нестера и Васьки.

НОЧЬ 5-Я

Погода начала изменяться. Было пасмурно, с утра и росы не было, но тепло, и комары липли. Как только табун загнали, лошади собрались вокруг пегого, и он так кончил свою историю:

— Счастливая жизнь моя кончилась скоро. Я прожил так только два года. В конце второй зимы случилось самое радостное для меня событие и вслед за ним самое большое мое несчастие. Это было на масленице, я повез князя на бег. На бегу ехали Атласный и Бычок. Не знаю, что он делал там в беседке, но знаю, что он вышел и велел Феофану въехать в круг. Помню, меня ввели в круг, поставили, и поставили Атласного. Атласный ехал с поддужным, я, как был, в городских санках. В завороте я его кинул; и хохот и рев восторга приветствовали меня.

Когда меня проваживали, за мной ходила толпа. И человек пять предлагали князю тысячи. Он только смеялся, показывая свои белые зубы.

— Нет,— говорил он,— то не лошадь, а друг, горы золота не возьму. До свиданья, господа,— расстегнул полость, сел.

— На Стожинку! — Это была квартира его любовницы. И мы полетели. Это был наш последний счастливый день.

Мы приехали к ней. Он называл ее своею. А она полюбила другого и уехала с ним. Он узнал это у нее на квартире. Было пять часов, и он, не отпрягая меня, поехал за ней. Чего никогда не было: меня стегали кнутом и пускали скакать. В первый раз я сделал сбой, и мне совестно стало, и я хотел поправиться; но вдруг я услыхал, князь кричал не своим голосом: «Валяй!» И свистнул кнут и резнул меня, и я поскакал, ударяя ногой в железо передка. Мы догнали ее за двадцать пять верст. Я довез его, но дрожал всю ночь и не мог ничего есть. Наутро мне дали воды. Я выпил и навек перестал быть той лошадью, какою я был. Я болел, меня мучали и калечили — лечили, как это называют люди. Сошли копыта, сделались наливы, и ноги согнулись, груди не стало и появилась вялость и слабость во всем. Меня продали барышнику. Он меня кормил морковью и еще чем-то и сделал из меня что-то совсем непохожее на меня, но такое, что могло обмануть незнающего. Ни силы, ни езды во мне уже не было. Кроме того, барышник мучал меня тем, что, как только

приходили покупатели, он входил в мой денник и начинал большим кнутом стегать и пугать меня, так что доводил до бешенства. Потом затирал рубцы от кнута и выводил. У барышника купила меня старушка. Ездила она все к Николе Явленному и секла кучера. Кучер плакал в моем стойле. И тут я узнал, что слезы имеют приятный соленый вкус. Потом старушка умерла. Приказчик ее взял меня в деревню и продал краснорядцу, потом я объелся пшеницы и еще хуже заболел. Меня продали мужику. Там я пахал, почти ничего не ел, и мне подрезали ногу сошниками. Я опять болел. Цыган выменял меня. Он мучал меня ужасно и, наконец, продал здешнему приказчику. И вот я здесь.

Все молчали. Стал накрапывать дождь.

ГЛАВА IX

Возвращаясь домой в следующий вечер, табун наткнулся на хозяина с гостем. Жулдыба, подходя к дому, покосилась на две мужские фигуры: один был молодой хозяин в соломенной шляпе, другой высокий, толстый, обрюзгший военный. Старуха покосилась на людей и, прижав, прошла подле него; остальные — молодежь — переполошились, замялись, особенно когда хозяин с гостем нарочно вошли в середину лошадей, что-то показывая друг другу и разговаривая.

— Вот эту я у Воейкова купил — серую в яблоках,— говорил хозяин.

— А эта молодая вороная белоножка чья? — хороша,— говорил гость. Они перебрали много лошадей, забегая и останавливая. Заметили и бурую кобылку.

— Это от верховых хреновских осталась у меня порода, — сказал хозяин.

Они не могли рассмотреть всех лошадей на ходу. Хозяин закричал Нестера, и старик, торопливо постукивая каблуками бока пегого, рысцой выбежал вперед. Пегий ковылял, припадая на одну ногу, но бежал так, что видно было, он ни в каком случае не стал бы роптать, даже ежели бы ему велели бежать так, насколько хватит силы, на край света. Он даже готов был бежать навскачь и даже покушался на это с правой ноги.

— Вот лучше этой кобылы — я смело могу сказать — нет лошади в России,— сказал хозяин, указывая на одну

из кобыл. Гость похвалил. Хозяин взволнованно заходил, забегал, показывал и рассказывал историю и породу каждой лошади. Гостю, очевидно, было скучно слушать хозяина, и он придумывал вопросы, чтобы было похоже, что и он интересуется этим.

— Да, да,— говорил он рассеянно.

— Ты взгляни,— говорил хозяин, не отвечая,— ноги взгляни... Дорого досталась, да уж у меня третьяк от нее и едет.

— Хорошо едет? — сказал гость.

Так перебрали почти всех лошадей, и показывать больше нечего было. И они замолчали.

— Ну что ж, пойдем?

— Пойдем.— Они пошли в ворота. Гость рад был, что кончилось показыванье и что пойдут домой, где можно поесть, попить, покурить, и видимо повеселел. Проходя мимо Нестера, который, сидя на пегом, ожидал еще приказаний, гость хлопнул большой жирной рукой по крупу пегого.

— Вот расписной-то! — сказал он.— Такой-то у меня был пегий, помнишь, я тебе рассказывал.

Хозяин услыхал, что говорят не об его лошадях, и не слушал, а, оглядываясь, продолжал смотреть на табун.

Вдруг над самым ухом его послышалось глупое, слабое, старческое ржание. Это заржал пегий, не кончил и, как будто сконфузился, оборвал. Ни гость, ни хозяин не обратили внимания на это ржанье и прошли домой. Холстомер узнал в обрюзгшем старике своего любимого хозяина, бывшего блестящего богача-красавца Серпуховского.

ГЛАВА X

. . . .
. . . .

Дождь продолжал моросить. На варке было пасмурно, а в барском доме было совсем другое. У хозяина был накрыт роскошный вечерний чай в роскошной гостиной. За чаем сидели хозяин, хозяйка и приезжий гость.

Хозяйка беременная, что очень заметно было по ее поднявшемуся животу, прямой, выгнутой позе, по полноте и в особенности по глазам, внутрь кротко и важно смотревшим большим глазам, сидела за самоваром.

Хозяин держал в руках ящик особенных десятилетних сигар, каких ни у кого не было, по его словам, и сбирался похвастать ими перед гостем. Хозяин был красавец лет двадцати пяти, свежий, холеный, расчесанный. Он дома был одет в свежую широкую, толстую пару, сделанную в Лондоне. На цепочке у него были крупные дорогие брелоки. Запонки рубашки были большие, тоже массивные, золотые, с бирюзой. Борода была à la Наполеон III, и мышиные хвостики были напомажены и торчали так, как только могли это произвести в Париже. На хозяйке было платье шелковой кисеи с большими пестрыми букетами, на голове большие золотые, какие-то особенные шпильки в густых русых, хоть и не вполне своих, но прекрасных волосах. На руках было много браслетов и колец, и всё дорогие. Самовар был серебряный, сервиз тоненький. Лакей, великолепный в своем фраке и белом жилете и галстуке, как статуя, стоял у двери, ожидая приказаний. Мебель была гнутая, изогнутая и яркая; обои темные, большими цветами. Около стола звенела серебряным ошейником левретка, необычайно тонкая, которую звали необычайно трудным аглицким именем, плохо выговариваемым обоими, не знавшими по-аглицки. В углу, в цветах, стояло фортепьяно incrusté [1]. От всего веяло новизной, роскошью и редкостностью. Все было очень хорошо, но на всем был особенный отпечаток излишка, богатства и отсутствия умственных интересов.

Хозяин был рысистый охотник, крепыш-сангвиник, один из тех, которые никогда не переводятся, ездят в собольих шубах, бросают дорогие букеты актрисам, пьют вино самое дорогое, с самой новой маркой, в самой дорогой гостинице, дают призы своего имени и содержат самую дорогую.

Приезжий, Никита Серпуховской, был человек лет за сорок, высокий, толстый, плешивый, с большими усами и бакенбардами. Он должен был быть очень красив. Теперь он опустился, видимо, физически, и морально, и денежно.

На нем было столько долгов, что он должен был служить, чтобы его не посадили в яму. Он теперь ехал в губернский город начальником коннозаводства. Ему выхлопотали это его важные родные. Он был одет в военный китель и синие штаны. Китель и штаны были такие, ка-

[1] с инкрустацией *(франц.)*.

ких бы никто себе не сделал, кроме богача, белье тоже, часы были тоже английские. Сапоги были на каких-то чудных, в палец толщины, подошвах.

Никита Серпуховской промотал в жизни состояние в два мильона и остался еще должен сто двадцать тысяч. От такого куска всегда остается размах жизни, дающий кредит и возможность почти роскошно прожить еще лет десять. Лет десять уж проходили, и размах кончался, и Никите становилось грустно жить. Он начинал уже попивать, то есть хмелеть от вина, чего прежде с ним не бывало. Пить же, собственно, он никогда не начинал и не кончал. Более же всего заметно было его падение в беспокойстве взглядов (глаза его начинали бегать) и нетвердости интонаций и движений. Это беспокойство поражало тем, что оно, очевидно, недавно пришло к нему, потому что видно было, что он долго привык всю жизнь никого и ничего не бояться и что теперь, недавно только, он дошел тяжелыми страданиями до этого страха, столь несвойственного его натуре. Хозяин и хозяйка замечали это, переглядывались так, что, видимо, понимая друг друга, откладывали только до постели подробное осуждение этого предмета и переносили бедного Никиту и даже ухаживали за ним. Вид счастья молодого хозяина унижал Никиту и заставлял его, вспоминая свое безвозвратное прошедшее, болезненно завидовать.

— Что, вам ничего сигары, Мари?— сказал он, обращаясь к даме тем особенным, неуловимым и приобретаемым только опытностью тоном — вежливым, приятельским, но не вполне уважительным, которым говорят люди, знающие свет, с содержанками, в отличие от жен. Не то чтобы он хотел оскорбить ее, напротив, теперь он, скорее, хотел подделаться к ней и ее хозяину, хотя ни за что сам себе не признался бы в этом. Но он уж привык говорить так с такими женщинами. Он знал, что она сама бы удивилась, даже оскорбилась бы, ежели бы он с ней обходился, как с дамой. Притом надо было удержать за собой известный оттенок почтительного тона для настоящей жены своего равного. Он обращался с такими дамами всегда уважительно, но не потому, чтобы он разделял так называемые убеждения, которые проповедуются в журналах (он никогда не читал этой дряни) о уважении к личности каждого человека, о ничтожности брака и т. д., а потому, что так поступают все порядочные люди, а он был порядочный человек, хотя и упавший.

Он взял сигару. Но хозяин неловко взял горсть сигар и предложил гостю.

— Нет, ты увидишь, как хороши. Возьми.

Никита отклонил рукой сигары, и в глазах его мелькнуло чуть заметно оскорбление и стыд.

— Спасибо.— Он достал сигарочницу.— Попробуй моих.

Хозяйка была чуткая. Она заметила это и поспешила заговорить с ним:

— Я очень люблю сигары. Я бы сама курила, если бы не все курили вокруг меня.

И она улыбнулась своей красивой, доброй улыбкой. Он улыбнулся в ответ ей нетвердо. Двух зубов у него не было.

— Нет, ты возьми эту,— продолжал нечуткий хозяин. — Другие, те послабее. Фриц, bringen Sie noch *eine* Kasten, — сказал он, — dort zwei [1].

Немец-лакей принес другой ящик.

— Ты какие больше любишь? Крепкие? Эти очень хороши. Ты возьми все,— продолжал он совать. Он, видимо, был рад, что было перед кем похвастаться своими редкостями, и ничего не замечал. Серпуховской закурил и поспешил продолжать начатый разговор.

— Так во сколько тебе пришелся Атласный? — сказал он.

— Дорог пришелся, не меньше пяти тысяч, но, по крайней мере, уж я обеспечен. Какие дети, я тебе скажу!

— Едут? — спросил Серпуховской.

— Хорошо едут. Нынче сын его взял три приза: в Туле, Москве и в Петербурге бежал с воейковским Вороным. Каналья наездник сбил четыре сбоя, а то бы за флагом оставил.

— Сыр он немного. Голандщины много, вот что я тебе скажу,— сказал Серпуховской.

— Ну а матки-то на что? Я тебе покажу завтра. Добрыню я дал три тысячи. Ласковую — две тысячи.

И опять хозяин начал перечислять свое богатство. Хозяйка видела, что Серпуховскому это тяжело и что он притворно слушает.

— Будете еще чай пить? — спросила она.

— Не буду,— сказал хозяин и продолжал рассказывать. Она встала, хозяин остановил ее, обнял и поцеловал.

---

[1] принесите еще один ящик, там два *(нем.)*.

Серпуховской начал было улыбаться, глядя на них и для них, ненатуральной улыбкой, но когда хозяин встал и, обняв ее, вышел с ней до портьеры — лицо Никиты вдруг изменилось, он тяжело вздохнул, и на обрюзгшем лице его вдруг выразилось отчаяние. Даже злоба была видна на нем.

ГЛАВА XI

Хозяин вернулся и, улыбаясь, сел против Никиты. Они помолчали.

— Да, ты говорил, у Воейкова купил,— сказал Серпуховской, как будто небрежно.

— Да — Атласного, ведь я говорил. Мне все хотелось кобыл у Дубовицкого купить. Да дрянь осталась.

— Он прогорел,— сказал Серпуховской и вдруг остановился и оглянулся кругом. Он вспомнил, что должен этому самому прогоревшему двадцать тысяч. И что если говорить про кого «прогорел», то уж, верно, про него говорят это. Он замолчал.

Оба опять долго молчали. Хозяин в голове перебирал, чем бы похвастаться перед гостем. Серпуховской придумывал, чем бы показать, что он не считает себя прогоревшим. Но у обоих мысли ходили туго, несмотря на то, что они старались подбодрять себя сигарами. «Что ж, когда выпить?» — думал Серпуховской. «Непременно надо выпить, а то с ним с тоски умрешь», — думал хозяин.

— Так как же ты долго здесь пробудешь? — сказал Серпуховской.

— Да еще с месяц. Что ж, поужинаем, что ль? Фриц, готово?

Они вышли в столовую. В столовой под лампой стоял стол, уставленный свечами и самыми необыкновенными вещами: сифоны, куколки на пробках, вино необыкновенное в графинах, необыкновенные закуски, водки. Они выпили, съели, еще выпили, еще съели, и разговор завязался. Серпуховской раскраснелся и стал говорить, не робея.

Они говорили про женщин. У кого какая: цыганка, танцовщица, француженка.

— Ну что ж, ты оставил Матье? — спросил хозяин. Это была содержанка, которая разорила Серпуховского.

— Не я, а она. Ах, брат, как вспомнишь, что просадил в своей жизни! Теперь я рад, как заведутся тысяча рублев, рад, право, как уеду от всех. В Москве не могу. Ах, что говорить.

Хозяину было скучно слушать Серпуховского. Ему хотелось говорить про себя — хвастаться. А Серпуховскому хотелось говорить про себя — про свое блестящее прошедшее. Хозяин налил ему вина и ждал, когда он кончит, чтобы рассказать ему про себя, как у него теперь устроен завод так, как ни у кого не был прежде. И что его Мари не только из-за денег, но сердцем любит его.

— Я тебе хотел сказать, что в моем заводе...— начал было он. Но Серпуховской перебил его.

— Было время, могу сказать,— начал он,— что я любил и умел пожить. Ты вот говоришь про езду, ну скажи, какая у тебя самая резвая лошадь?

Хозяин обрадовался случаю рассказать еще про завод, и он начал было; но Серпуховской опять перебил его.

— Да, да,— сказал он.— Ведь это у вас, у заводчиков, только для тщеславия, а не для удовольствий и для жизни. А у меня не так было. Вот я тебе говорил нынче, что у меня была ездовая лошадь, пегая, такие же пежины, как под твоим табунщиком. Ох, лошадь же была! Ты не мог знать; это было в сорок втором году, я только приехал в Москву; поехал к барышнику и вижу — пегий мерин. Ладов хороших. Мне понравился. Цена? Тысяча рублей. Мне понравился, я взял и стал ездить. Не было у меня, да и у тебя нет и не будет такой лошади. Лучше я не знал лошади ни ездой, ни силой, ни красотой. Ты мальчишка был тогда, ты не мог знать, но ты слышал, я думаю. Вся Москва знала его.

— Да, я слышал, — неохотно сказал хозяин, — но я хотел тебе сказать про своих...

— Так ты слышал. Я купил его так, без породы, без аттестата; потом уж я узнал. Мы с Воейковым добирались. Это был сын Любезного первого, Холстомер. Холсты меряет. Его за пежину отдали с Хреновского завода конюшему, а тот выхолостил и продал барышнику. Таких уж лошадей нет, дружок! Ах, время было. Ах ты, молодость! — пропел он из цыганской песни. Он начинал хмелеть.— Эх, хорошее было время. Мне было двадцать пять лет, у меня было восемьдесят тысяч серебром дохода тогда, ни одного седого волоса, все зубы как жемчуг. За что ни возьмусь, все удается; и все кончилось.

— Ну, тогда не было той резвости,— сказал хозяин, пользуясь перерывом.— Я тебе скажу, что мои первые лошади стали ходить без...

— Твои лошади! Да тогда резвее были.

— Как резвее?

— Резвее. Я так теперь помню, выехал я раз в Москве на бег на нем. Моих лошадей не было. Я не любил рысистых, у меня были кровные, Генерал, Шоле, Магомет. На пегом я ездил. Кучер у меня был славный малый, я любил его. Тоже спился. Так приехал я.— Серпуховской, когда, — говорят, — ты заведешь рысистых? — Мужиков-то ваших, черт их возьми, у меня извозчичий пегий всех ваших обежит. — Да вот не обегает. — Пари тысяча рублей. — Ударились. Пустили. На пять секунд обошел, тысячу рублей выиграл пари. Да это что. Я на кровных, на тройке, сто верст в три часа сделал. Вся Москва знает.

И Серпуховской начал врать так складно и так непрерывно, что хозяин не мог вставить ни одного слова и с унылым лицом сидел против него, только для развлечения подливая себе и ему вино в стаканы.

Стало уж светать. А они все сидели. Хозяину было мучительно скучно. Он встал.

— Спать — так спать,— сказал Серпуховской, вставая и шатаясь, и, отдуваясь, пошел в отведенную комнату.

Хозяин лежал с любовницей.

— Нет, он невозможен. Напился и врет не переставая.

— И за мной ухаживает.

— Я боюсь, будет просить денег.

Серпуховской лежал нераздетый на постели и отдувался.

«Кажется, я много врал, — подумал он. — Ну все равно. Вино хорошо, но свинья он большая. Купеческое что-то. И я свинья большая,— сказал он сам себе и захохотал.— То я содержал, то меня содержат. Да, Винклерша содержит — я у ней деньги беру. Так ему и надо, так ему и надо! Однако раздеться, сапоги не снимешь».

— Эй! Эй! — крикнул он, но человек, приставленный к нему, ушел давно спать.

Он сел, снял китель, жилет и штаны стоптал с себя кое-как, но сапог долго не мог стащить, брюхо мягкое мешало. Кое-как стащил один, другой — бился, бился, запыхался и устал. И так, с ногой в голенище, повалился и захрапел, наполняя всю комнату запахом табаку, вина и грязной старости.

ГЛАВА XII

Ежели Холстомер что еще вспоминал в эту ночь, то его развлек Васька. Кинул на него попону и поскакал, до утра он держал его у двери кабака с мужицкой лошадью. Они лизались. Утром он пошел в табун и все чесался.

«Что-то больно чешется»,— думал он.

Прошло пять дней. Позвали коновала. Он с радостью сказал:

— Короста. Позвольте цыганам продать.

— Зачем? Зарежьте, только чтобы нынче его не было.

Утро тихое, ясное. Табун пошел в поле. Холстомер остался. Пришел странный человек, худой, черный, грязный, в забрызганном чем-то черным кафтане. Это был драч. Он взял, не поглядев на него, повод оброти, надетой на Холстомера, и повел. Холстомер пошел спокойно, не оглядываясь, как всегда волоча ноги и цепляя задними по соломе. Выйдя за ворота, он потянулся к колодцу, но драч дернул и сказал: «Не к чему».

Драч и Васька, шедший сзади, пришли в лощинку за кирпичным сараем и, как будто что-то особенное было на этом самом обыкновенном месте, остановились, и драч, передав Ваське повод, снял кафтан, засучил рукава, достал из голенища нож и брусок, стал точить о брусок. Мерин потянулся к поводу, хотел от скуки пожевать его, но далеко было, он вздохнул и закрыл глаза. Губа его повисла, открылись съеденные желтые зубы и он стал задремывать под звуки точения ножа. Только подрагивала его больная с наплывом отставленная нога. Вдруг он почувствовал, что его взяли под салазки и поднимают кверху голову. Он открыл глаза. Две собаки были перед ним. Одна нюхала по направлению к драчу, другая сидела, глядя на мерина, как будто ожидая чего-то именно от него. Мерин взглянул на них и стал тереть скулою о руку, которая держала его.

«Лечить, верно, хотят,— подумал он.— Пускай!»

И точно, он почувствовал, что что-то сделали с его горлом. Ему стало больно, он вздрогнул, ботнул ногой, но удержался и стал ждать, что будет дальше. Дальше сделалось то, что что-то жидкое полилось большой струей ему на шею и грудь. Он вздохнул во все бока. И ему стало легче гораздо. Облегчилась вся тяжесть его жизни.

Он закрыл глаза и стал склонять голову — никто не держал ее. Потом стала склоняться шея, потом ноги задрожали, зашаталось все тело. Он не столько испугался, сколько удивился. Все так ново стало. Он удивился, рванулся вперед, вверх. Но вместо этого ноги, сдвинувшись с места, заплелись, он стал валиться на бок и, желая переступить, завалился вперед и на левый бок. Драч подождал, пока прекратились судороги, отогнал собак, подвинувшихся ближе, и потом, взяв за ногу и отворотив мерина на спину и велев Ваське держать за ногу, начал свежевать.

— Тоже лошадь была,— сказал Васька.

— Кабы посытее, хороша бы кожа была,— сказал драч.

Табун проходил вечером горой, и тем, которые шли с левого края, видно было что-то красное внизу, около чего возились хлопотливо собаки и перелетали воронья и коршуны. Одна собака, упершись лапами в стерву, мотая головой, отрывала с треском то, чтó зацепила. Бурая кобылка остановилась, вытянула голову и шею и долго втягивала в себя воздух. Насилу могли отогнать ее.

На заре в овраге старого леса, в заросшем низу на полянке, радостно выли головастые волченята. Их было пять: четыре почти равные, а один маленький, с головой больше туловища. Худая линявшая волчица, волоча полное брюхо с отвисшими сосками по земле, вышла из кустов и села против волченят. Волченята полукругом стали против нее. Она подошла к самому маленькому и, опустив полено и перегнув морду книзу, сделала несколько судорожных движений и, открыв зубастый зев, натужилась и выхаркнула большой кусок конины. Волченята побольше сунулись к ней, но она угрожающе двинулась к ним и предоставила все маленькому. Маленький, как бы гневаясь, рыча ухватил конину под себя и стал жрать. Так же выхаркнула волчица другому, и третьему, и всем пятерым и тогда легла против них, отдыхая.

Через неделю валялись у кирпичного сарая только большой череп и два мослака, остальное все было растаскано. На лето мужик, собиравший кости, унес и эти мослаки и череп и пустил их в дело.

Ходившее по свету, евшее и пившее мертвое тело Серпуховского убрали в землю гораздо после. Ни кожа, ни мясо, ни кости его никуда не пригодились. А как уже двадцать лет всем в великую тягость было его ходившее по свету мертвое тело, так и уборка этого тела в землю было только лишним затруднением для людей. Никому уж он давно был не нужен, всем уж давно он был в тягость, но все-таки мертвые, хоронящие мертвых, нашли нужным одеть это, тотчас же загнившее, пухлое тело в хороший мундир, в хорошие сапоги, уложить в новый хороший гроб, с новыми кисточками на четырех углах, потом положить этот новый гроб в другой, свинцовый, и свезти его в Москву и там раскопать давнишние людские кости и именно туда спрятать это гниющее, кишащее червями тело в новом мундире и вычищенных сапогах и засыпать все землею.

СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА

I

В большом здании судебных учреждений во время перерыва заседания по делу Мельвинских члены и прокурор сошлись в кабинете Ивана Егоровича Шебек, и зашел разговор о знаменитом красовском деле. Федор Васильевич разгорячился, доказывая неподсудность, Иван Егорович стоял на своем, Петр же Иванович, не вступив сначала в спор, не принимал в нем участия и просматривал только что поданные «Ведомости».

— Господа! — сказал он,— Иван Ильич-то умер.

— Неужели?

— Вот, читайте,— сказал он Федору Васильевичу, подавая ему свежий, пахучий еще номер.

В черном ободке было напечатано: «Прасковья Федоровна Головина с душевным прискорбием извещает родных и знакомых о кончине возлюбленного супруга своего, члена Судебной палаты, Ивана Ильича Головина, последовавшей 4-го февраля сего 1882 года. Вынос тела в пятницу, в час пополудни».

Иван Ильич был сотоварищ собравшихся господ, и все любили его. Он болел уже несколько недель; говорили, что болезнь его неизлечима. Место оставалось за ним, но было соображение о том, что в случае его смерти Алексеев может быть назначен на его место, на место же Алексеева — или Винников, или Штабель. Так что, услыхав о смерти Ивана Ильича, первая мысль каждого из господ, собравшихся в кабинете, была о том, какое значение может иметь эта смерть на перемещения или повышения самих членов или их знакомых.

«Теперь, наверно, получу место Штабеля или Винникова,— подумал Федор Васильевич.— Мне это и давно

обещано, а это повышение составляет для меня восемьсот рублей прибавки, кроме канцелярии».

«Надо будет попросить теперь о переводе шурина из Калуги,— подумал Петр Иванович.— Жена будет очень рада. Теперь уж нельзя будет говорить, что я никогда ничего не сделал для ее родных».

— Я так и думал, что ему не подняться,— вслух сказал Петр Иванович.— Жалко.

— Да что у него, собственно, было?

— Доктора не могли определить. То есть определяли, но различно. Когда я видел его последний раз, мне казалось, что он поправится.

— А я так и не был у него с самых праздников. Все собирался.

— Что, у него было состояние?

— Кажется, что-то очень небольшое у жены. Но что-то ничтожное.

— Да, надо будет поехать. Ужасно далеко жили они.

— То есть от вас далеко. От вас всё далеко.

— Вот не может мне простить, что я живу за рекой,— улыбаясь на Шебека, сказал Петр Иванович. И заговорили о дальности городских расстояний, и пошли в заседание.

Кроме вызванных этой смертью в каждом соображений о перемещениях и возможных изменениях по службе, могущих последовать от этой смерти, самый факт смерти близкого знакомого вызвал во всех, узнавших про нее, как всегда, чувство радости о том, что умер он, а не я.

«Каково, умер; а я вот нет»,— подумал или почувствовал каждый. Близкие же знакомые, так называемые друзья Ивана Ильича, при этом подумали невольно и о том, что теперь им надобно исполнить очень скучные обязанности приличия и поехать на панихиду и к вдове с визитом соболезнования.

Ближе всех были Федор Васильевич и Петр Иванович.

Петр Иванович был товарищем по училищу правоведения и считал себя обязанным Иваном Ильичом.

Передав за обедом жене известие о смерти Ивана Ильича и соображения о возможности перевода шурина в их округ, Петр Иванович, не ложась отдыхать, надел фрак и поехал к Ивану Ильичу.

У подъезда квартиры Ивана Ильича стояла карета и два извозчика. Внизу, в передней у вешалки прислонена была к стене глазетовая крышка гроба с кисточками

и начищенным порошком галуном. Две дамы в черном снимали шубки. Одна, сестра Ивана Ильича, знакомая, другая — незнакомая дама. Товарищ Петра Ивановича, Шварц, сходил сверху и, с верхней ступени увидав входившего, остановился и подмигнул ему, как бы говоря: «Глупо распорядился Иван Ильич; то ли дело мы с вами».

Лицо Шварца с английскими бакенбардами и вся худая фигура во фраке имела, как всегда, изящную торжественность, и эта торжественность, всегда противоречащая характеру игривости Шварца, здесь имела особенную соль. Так подумал Петр Иванович.

Петр Иванович пропустил вперед себя дам и медленно пошел за ними на лестницу. Шварц не стал сходить, а остановился наверху. Петр Иванович понял зачем: он, очевидно, хотел сговориться, где повинтить нынче. Дамы прошли на лестницу к вдове, а Шварц, с серьезно сложенными, крепкими губами и игривым взглядом, движением бровей показал Петру Ивановичу направо, в комнату мертвеца.

Петр Иванович вошел, как всегда это бывает, с недоумением о том, что ему там надо будет делать. Одно он знал, что креститься в этих случаях никогда не мешает. Насчет того, что нужно ли при этом и кланяться, он не совсем был уверен и потому выбрал среднее: войдя в комнату, он стал креститься и немножко как будто кланяться. Насколько ему позволяли движения рук и головы, он вместе с тем оглядывал комнату. Два молодые человека, один гимназист, кажется, племянники, крестясь, выходили из комнаты. Старушка стояла неподвижно. И дама с странно поднятыми бровями что-то ей говорила шепотом. Дьячок в сюртуке, бодрый, решительный, читал что-то громко с выражением, исключающим всякое противоречие; буфетный мужик Герасим, пройдя перед Петром Ивановичем легкими шагами, что-то посыпал по полу. Увидав это, Петр Иванович тотчас же почувствовал легкий запах разлагающегося трупа. В последнее свое посещение Ивана Ильича Петр Иванович видел этого мужика в кабинете; он исполнял должность сиделки, и Иван Ильич особенно любил его. Петр Иванович все крестился и слегка кланялся по серединному направлению между гробом, дьячком и образами на столе в углу. Потом, когда это движение крещения рукою показалось ему уже слишком

продолжительно, он приостановился и стал разглядывать мертвеца.

Мертвец лежал, как всегда лежат мертвецы, особенно тяжело, по-мертвецки, утонувши окоченевшими членами в подстилке гроба, с навсегда согнувшеюся головой на подушке, и выставлял, как всегда выставляют мертвецы, свой желтый восковой лоб с взлизами на ввалившихся висках и торчащий нос, как бы надавивший на верхнюю губу. Он очень переменился, еще похудел с тех пор, как Петр Иванович не видал его, но, как у всех мертвецов, лицо его было красивее, главное — значительнее, чем оно было у живого. На лице было выражение того, что то, что нужно было сделать, сделано, и сделано правильно. Кроме того, в этом выражении был еще упрек или напоминание живым. Напоминание это показалось Петру Ивановичу неуместным или, по крайней мере, до него не касающимся. Что-то ему стало неприятно, и потому Петр Иванович еще раз поспешно перекрестился и, как ему показалось, слишком поспешно, несообразно с приличиями, повернулся и пошел к двери. Шварц ждал его в проходной комнате, расставив широко ноги и играя обеими руками за спиной своим цилиндром. Один взгляд на игривую, чистоплотную и элегантную фигуру Шварца освежил Петра Ивановича. Петр Иванович понял, что он, Шварц, стоит выше этого и не поддается удручающим впечатлениям. Один вид его говорил: инцидент панихиды Ивана Ильича никак не может служить достаточным поводом для признания порядка заседания нарушенным, то есть что ничто не может помешать нынче же вечером щелконуть, распечатывая ее, колодой карт, в то время как лакей будет расставлять четыре необожженные свечи; вообще нет основания предполагать, чтобы инцидент этот мог помешать нам провести приятно и сегодняшний вечер. Он и сказал это шепотом проходившему Петру Ивановичу, предлагая соединиться на партию у Федора Васильевича. Но, видно, Петру Ивановичу была не судьба винтить нынче вечером. Прасковья Федоровна, невысокая, жирная женщина, несмотря на все старания устроить противное, все-таки расширявшаяся от плеч книзу, вся в черном, с покрытой кружевом головой и с такими же странно поднятыми бровями, как и та дама, стоявшая против гроба, вышла из своих покоев с другими дамами и, проводив их в дверь мертвеца, сказала:

— Сейчас будет панихида; пройдите.

Шварц, неопределенно поклонившись, остановился, очевидно, не принимая и не отклоняя этого предложения. Прасковья Федоровна, узнав Петра Ивановича, вздохнула, подошла к нему вплоть, взяла его за руку и сказала:

— Я знаю, что вы были истинным другом Ивана Ильича...— и посмотрела на него, ожидая от него соответствующие этим словам действия.

Петр Иванович знал, что как там надо было креститься, так здесь надо было пожать руку, вздохнуть и сказать: «Поверьте!» И он так и сделал. И, сделав это, почувствовал, что результат получился желаемый: что он тронут и она тронута.

— Пойдемте, пока там не началось; мне надо поговорить с вами,— сказала вдова.— Дайте мне руку.

Петр Иванович подал руку, и они направились во внутренние комнаты, мимо Шварца, который печально подмигнул Петру Ивановичу: «Вот те и винт! Уж не взыщите, другого партнера возьмем. Нешто впятером, когда отделаетесь», — сказал его игривый взгляд.

Петр Иванович вздохнул еще глубже и печальнее, и Прасковья Федоровна благодарно пожала ему руку. Войдя в ее обитую розовым кретоном гостиную с пасмурной лампой, они сели у стола: она на диван, а Петр Иванович на расстроившийся пружинами и неправильно подававшийся под его сиденьем низенький пуф. Прасковья Федоровна хотела предупредить его, чтобы он сел на другой стул, но нашла это предупреждение не соответствующим своему положению и раздумала. Садясь на этот пуф, Петр Иванович вспомнил, как Иван Ильич устраивал эту гостиную и советовался с ним об этом самом розовом с зелеными листьями кретоне. Садясь на диван и проходя мимо стола (вообще вся гостиная была полна вещиц и мебели), вдова зацепилась черным кружевом черной мантилии за резьбу стола. Петр Иванович приподнялся, чтобы отцепить, и освобожденный под ним пуф стал волноваться и подталкивать его. Вдова сама стала отцеплять свое кружево, и Петр Иванович опять сел, придавив бунтовавшийся под ним пуф. Но вдова не все отцепила, и Петр Иванович опять поднялся, и опять пуф забунтовал и даже щелкнул. Когда все это кончилось, она вынула чистый батистовый платок и стала плакать. Петра

же Ивановича охладил эпизод с кружевом и борьба с пуфом, и он сидел насупившись. Неловкое это положение перервал Соколов, буфетчик Ивана Ильича, с докладом о том, что место на кладбище то, которое назначила Прасковья Федоровна, будет стоить двести рублей. Она перестала плакать и, с видом жертвы взглянув на Петра Ивановича, сказала по-французски, что ей очень тяжело. Петр Иванович сделал молчаливый знак, выражавший несомненную уверенность в том, что это не может быть иначе.

— Курите, пожалуйста,— сказала она великодушным и вместе убитым голосом и занялась с Соколовым вопросом о цене места. Петр Иванович, закуривая, слышал, что она очень обстоятельно расспросила о разных ценах земли и определила ту, которую следует взять. Кроме того, окончив о месте, она распорядилась и о певчих. Соколов ушел.

— Я все сама делаю,— сказала она Петру Ивановичу, отодвигая к одной стороне альбомы, лежавшие на столе; и, заметив, что пепел угрожал столу, не мешкая подвинула Петру Ивановичу пепельницу и проговорила: — Я нахожу притворством уверять, что я не могу от горя заниматься практическими делами. Меня, напротив, если может что не утешить... а развлечь, то это заботы о нем же.— Она опять достала платок, как бы собираясь плакать, и вдруг, как бы пересиливая себя, встряхнулась и стала говорить спокойно:

— Однако у меня дело есть к вам.

Петр Иванович поклонился, не давая расходиться пружинам пуфа, тотчас же зашевелившимся под ним.

— В последние дни он ужасно страдал.

— Очень страдал? — спросил Петр Иванович.

— Ах, ужасно! Последние не минуты, а часы он не переставая кричал. Трое суток сряду он, не переводя голосу, кричал. Это было невыносимо. Я не могу понять, как я вынесла это; за тремя дверьми слышно было. Ах! что я вынесла!

— И неужели он был в памяти? — спросил Петр Иванович.

— Да,— прошептала она,— до последней минуты. Он простился с нами за четверть часа до смерти и еще просил увести Володю.

Мысль о страдании человека, которого он знал так близко, сначала веселым мальчиком, школьником, потом

взрослым партнером, несмотря на неприятное сознание притворства своего и этой женщины, вдруг ужаснула Петра Ивановича. Он увидал опять этот лоб, нажимавший на губу нос, и ему стало страшно за себя.

«Трое суток ужасных страданий и смерть. Ведь это сейчас, всякую минуту может наступить и для меня»,— подумал он, и ему стало на мгновение страшно. Но тотчас же, он сам не знал как, ему на помощь пришла обычная мысль, что это случилось с Иваном Ильичом, а не с ним и что с ним этого случиться не должно и не может; что, думая так, он поддается мрачному настроению, чего не следует делать, как это очевидно было по лицу Шварца. И, сделав это рассуждение, Петр Иванович успокоился и с интересом стал расспрашивать подробности о кончине Ивана Ильича, как будто смерть была такое приключение, которое свойственно только Ивану Ильичу, но совсем не свойственно ему.

После разных разговоров о подробностях действительно ужасных физических страданий, перенесенных Иваном Ильичом (подробности эти узнавал Петр Иванович только по тому, как мучения Ивана Ильича действовали на нервы Прасковьи Федоровны), вдова, очевидно, нашла нужным перейти к делу.

— Ах, Петр Иванович, как тяжело, как ужасно тяжело, как ужасно тяжело,— и она опять заплакала.

Петр Иванович вздыхал и ждал, когда она высморкается. Когда она высморкалась, он сказал:

— Поверьте...—и опять она разговорилась и высказала то, что было, очевидно, ее главным делом к нему; дело это состояло в вопросах о том, как бы по случаю смерти мужа достать денег от казны. Она сделала вид, что спрашивает у Петра Ивановича совета о пенсионе; но он видел, что она уже знает до мельчайших подробностей и то, чего он не знал: все то, что можно вытянуть от казны по случаю этой смерти; но что ей хотелось узнать, нельзя ли как-нибудь вытянуть еще побольше денег. Петр Иванович постарался выдумать такое средство, но, подумав несколько и из приличия побранив наше правительство за его скаредность, сказал, что, кажется, больше нельзя. Тогда она вздохнула и, очевидно, стала придумывать средство избавиться от своего посетителя. Он понял это, затушил папироску, встал, пожал руку и пошел в переднюю.

В столовой с часами, которым Иван Ильич так рад

был, что купил в брикабраке[1], Петр Иванович встретил священника и еще несколько знакомых, приехавших на панихиду, и увидал знакомую ему красивую барышню, дочь Ивана Ильича. Она была вся в черном. Талия ее, очень тонкая, казалась еще тоньше. Она имела мрачный, решительный, почти гневный вид. Она поклонилась Петру Ивановичу, как будто он был в чем-то виноват. За дочерью стоял с таким же обиженным видом знакомый Петру Ивановичу богатый молодой человек, судебный следователь, ее жених, как он слышал. Он уныло поклонился им и хотел пройти в комнату мертвеца, когда из-под лестницы показалась фигурка гимназистика-сына, ужасно похожего на Ивана Ильича. Это был маленький Иван Ильич, каким Петр Иванович помнил его в Правоведении. Глаза у него были и заплаканные и такие, какие бывают у нечистых мальчиков в тринадцать — четырнадцать лет. Мальчик, увидав Петра Ивановича, стал сурово и стыдливо морщиться. Петр Иванович кивнул ему головой и вошел в комнату мертвеца. Началась панихида — свечи, стоны, ладан, слезы, всхлипыванья. Петр Иванович стоял нахмурившись, глядя на ноги перед собой. Он не взглянул ни разу на мертвеца и до конца не поддался расслабляющим влияниям и один из первых вышел. В передней никого не было. Герасим, буфетный мужик, выскочил из комнаты покойника, перешвырял своими сильными руками все шубы, чтобы найти шубу Петра Ивановича, и подал ее.

— Что, брат Герасим? — сказал Петр Иванович, чтобы сказать что-нибудь.— Жалко?

— Божья воля. Все там же будем,— сказал Герасим, оскаливая свои белые, сплошные мужицкие зубы, и, как человек в разгаре усиленной работы, живо отворил дверь, кликнул кучера, подсадил Петра Ивановича и прыгнул назад к крыльцу, как будто придумывая, что бы ему еще сделать.

Петру Ивановичу особенно приятно было дохнуть чистым воздухом после запаха ладана, трупа и карболовой кислоты.

— Куда прикажете? — спросил кучер.

— Не поздно. Заеду еще к Федору Васильевичу.

И Петр Иванович поехал. И действительно, застал их при конце первого роббера, так что ему удобно было вступить пятым.

---

[1] антикварном магазине (от франц. bric-à-brac).

II

Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная и самая ужасная.

Иван Ильич умер сорока пяти лет, членом Судебной палаты. Он был сын чиновника, сделавшего в Петербурге по разным министерствам и департаментам ту карьеру, которая доводит людей до того положения, в котором хотя и ясно оказывается, что исполнять какую-нибудь существенную должность они не годятся, они все-таки по своей долгой и прошедшей службе и своим чинам не могут быть выгнаны и потому получают выдуманные фиктивные места и нефиктивные тысячи, от шести до десяти, с которыми они и доживают до глубокой старости.

Таков был тайный советник, ненужный член разных ненужных учреждений, Илья Ефимович Головин.

У него было три сына. Иван Ильич был второй сын. Старший делал такую же карьеру, как и отец, только по другому министерству, и уж близко подходил к тому служебному возрасту, при котором получается эта инерция жалованья. Третий сын был неудачник. Он в разных местах везде напортил себе и теперь служил по железным дорогам: и его отец, и братья, и особенно их жены не только не любили встречаться с ним, но без крайней необходимости и не вспоминали о его существовании. Сестра была за бароном Грефом, таким же петербургским чиновником, как и его тесть. Иван Ильич был le phenix de la famille [1], как говорили. Он был не такой холодный и аккуратный, как старший, и не такой отчаянный, как меньшой. Он был середина между ними — умный, живой, приятный и приличный человек. Воспитывался он вместе с меньшим братом в Правоведении. Меньшой не кончил и был выгнан из пятого класса, Иван же Ильич хорошо кончил курс. В Правоведении уже он был тем, чем он был впоследствии всю свою жизнь: человеком способным, весело-добродушным и общительным, но строго исполняющим то, что он считал своим долгом; долгом же он своим считал все то, что считалось таковым наивысше поставленными людьми. Он не был заискивающим ни мальчиком, ни потом взрослым человеком, но у него с самых молодых лет было то, что он, как муха к свету, тянулся к наивысше поставленным в свете людям, усвоивал себе

---

[1] гордость семьи *(франц.)*.

их приемы, их взгляды на жизнь и с ними устанавливал дружеские отношения. Все увлечения детства и молодости прошли для него, не оставив больших следов; он отдавался и чувственности и тщеславию, и — под конец, в высших классах — либеральности, но все в известных пределах, которые верно указывало ему его чувство.

Были в Правоведении совершены им поступки, которые прежде представлялись ему большими гадостями и внушали ему отвращение к самому себе в то время, как он совершал их; но впоследствии, увидав, что поступки эти были совершаемы и высоко стоящими людьми и не считались ими дурными, он не то что признал их хорошими, но совершенно забыл их и нисколько не огорчался воспоминаниями о них.

Выйдя из Правоведения десятым классом и получив от отца деньги на обмундировку, Иван Ильич заказал себе платье у Шармера, повесил на брелоки медальку с надписью: «respice finem» [1], простился с принцем и воспитателем, пообедал с товарищами у Донона и с новыми модными чемоданом, бельем, платьем, бритвенными и туалетными принадлежностями и пледом, заказанными и купленными в самых лучших магазинах, уехал в провинцию на место чиновника особых поручений губернатора, которое доставил ему отец.

В провинции Иван Ильич сразу устроил себе такое же легкое и приятное положение, каково было его положение в Правоведении. Он служил, делал карьеру и вместе с тем приятно и прилично веселился; изредка он ездил по поручению начальства в уезды, держал себя с достоинством и с высшими и с низшими и с точностью и неподкупной честностью, которой не мог не гордиться, исполнял возложенные на него поручения, преимущественно по делам раскольников.

В служебных делах он был, несмотря на свою молодость и склонность к легкому веселью, чрезвычайно сдержан, официален и даже строг; но в общественных он был часто игрив и остроумен и всегда добродушен, приличен и bon enfant [2], как говорил про него его начальник и начальница, у которых он был домашним человеком.

Была в провинции и связь с одной из дам, навязавшейся щеголеватому правоведу; была и модистка; были

---

[1] предвидь конец *(лат.)*.
[2] добрый малый *(франц.)*.

и попойки с приезжими флигель-адъютантами и поездки в дальнюю улицу после ужина; было и подслуживанье начальнику и даже жене начальника, но все это носило на себе такой высокий тон порядочности, что все это не могло быть называемо дурными словами: все это подходило только под рубрику французского изречения: il faut que jeunesse se passe[1]. Все происходило с чистыми руками, в чистых рубашках, с французскими словами и, главное, в самом высшем обществе, следовательно, с одобрением высоко стоящих людей.

Так прослужил Иван Ильич пять лет, и наступила перемена по службе. Явились новые судебные учреждения; нужны были новые люди.

И Иван Ильич стал этим новым человеком.

Ивану Ильичу предложено было место судебного следователя, и Иван Ильич принял его, несмотря на то, что место это было в другой губернии и ему надо было бросить установившиеся отношения и устанавливать новые. Ивана Ильича проводили друзья, сделали группу, поднесли ему серебряную папиросочницу, и он уехал на новое место.

Судебным следователем Иван Ильич был таким же comme il faut'ным, приличным, умеющим отделять служебные обязанности от частной жизни и внушающим общее уважение, каким он был чиновником особых поручений. Сама же служба следователя представляла для Ивана Ильича гораздо более интереса и привлекательности, чем прежняя. В прежней службе приятно было свободной походкой в шармеровском вицмундире пройти мимо трепещущих и ожидающих приема просителей и должностных лиц, завидующих ему, прямо в кабинет начальника и сесть с ним за чай с папиросою; но людей, прямо зависящих от его произвола, было мало. Такие люди были только исправники и раскольники, когда его посылали с поручениями; и он любил учтиво, почти по-товарищески обходиться с такими, зависящими от него, людьми, любил давать чувствовать, что вот он, могущий раздавить, дружески, просто обходится с ними. Таких людей тогда было мало. Теперь же, судебным следователем, Иван Ильич чувствовал, что все, все без исключения, самые важные, самодовольные люди — все у него в руках и что ему стоит только написать известные слова на бумаге с заголовком,

[1] молодость должна перебеситься *(франц.)*.

и этого важного, самодовольного человека приведут к нему в качестве обвиняемого или свидетеля, и он будет, если он не захочет посадить его, стоять перед ним и отвечать на его вопросы. Иван Ильич никогда не злоупотреблял этой своей властью, напротив, старался смягчать выражения ее; но сознание этой власти и возможность смягчать ее составляли для него главный интерес и привлекательность его новой службы. В самой же службе, именно в следствиях, Иван Ильич очень быстро усвоил прием отстранения от себя всех обстоятельств, не касающихся службы, и облечения всякого самого сложного дела в такую форму, при которой бы дело только внешним образом отражалось на бумаге и при котором исключалось совершенно его личное воззрение и, главное, соблюдалась бы вся требуемая формальность. Дело это было новое. И он был один из первых людей, выработавших на практике приложение уставов 1864 года.

Перейдя в новый город на место судебного следователя, Иван Ильич сделал новые знакомства, связи, по-новому поставил себя и принял несколько иной тон. Он поставил себя в некотором достойном отдалении от губернских властей, а избрал лучший круг из судейских и богатых дворян, живших в городе, и принял тон легкого недовольства правительством, умеренной либеральности и цивилизованной гражданственности. При этом, нисколько не изменив элегантности своего туалета, Иван Ильич в новой должности перестал пробривать подбородок и дал свободу бороде расти, где она хочет.

Жизнь Ивана Ильича и в новом городе сложилась очень приятно: фрондирующее против губернатора общество было дружное и хорошее; жалованья было больше, и немалую приятность в жизни прибавил тогда вист, в который стал играть Иван Ильич, имевший способность играть в карты весело, быстро соображая и очень тонко, так что в общем он всегда был в выигрыше.

После двух лет службы в новом городе Иван Ильич встретился с своей будущей женой. Прасковья Федоровна Михель была самая привлекательная, умная, блестящая девушка того кружка, в котором вращался Иван Ильич. В числе других забав и отдохновений от трудов следователя Иван Ильич установил игривые, легкие отношения с Прасковьей Федоровной.

Иван Ильич, будучи чиновником особых поручений, вообще танцевал; судебным же следователем он уже тан-

цевал как исключение. Он танцевал уже в том смысле, что хоть и по новым учреждениям и в пятом классе, но если дело коснется танцев, то могу доказать, что в этом роде я могу лучше других. Так, он изредка в конце вечера танцевал с Прасковьей Федоровной и преимущественно во время этих танцев и победил Прасковью Федоровну. Она влюбилась в него. Иван Ильич не имел ясного, определенного намерения жениться, но когда девушка влюбилась в него, он задал себе этот вопрос: «В самом деле, отчего же и не жениться?» — сказал он себе.

Девица Прасковья Федоровна была хорошего дворянского рода, недурна; было маленькое состояньице. Иван Ильич мог рассчитывать на более блестящую партию, но и эта была партия хорошая. У Ивана Ильича было его жалованье, у ней, он надеялся, будѐт столько же. Хорошее родство; она — милая, хорошенькая и вполне порядочная женщина. Сказать, что Иван Ильич женился потому, что он полюбил свою невесту и нашел в ней сочувствие своим взглядам на жизнь, было бы так же несправедливо, как и сказать то, что он женился потому, что люди его общества одобряли эту партию. Иван Ильич женился по обоим соображениям: он делал приятное для себя, приобретая такую жену, и вместе с тем делал то, что наивысше поставленные люди считали правильным.

И Иван Ильич женился.

Самый процесс женитьбы и первое время брачной жизни, с супружескими ласками, новой мебелью, новой посудой, новым бельем, до беременности жены прошло очень хорошо, так что Иван Ильич начинал уже думать, что женитьба не только не нарушит того характера жизни легкой, приятной, веселой и всегда приличной и одобряемой обществом, который Иван Ильич считал свойственным жизни вообще, но еще усугубит его. Но тут, с первых месяцев беременности жены, явилось что-то такое новое, неожиданное, неприятное, тяжелое и неприличное, чего нельзя было ожидать и от чего никак нельзя было отделаться.

Жена без всяких поводов, как казалось Ивану Ильичу, de gaité de coeur [1], как он говорил себе, начала нарушать приятность и приличие жизни: она без всякой причины ревновала его, требовала от него ухаживанья за собой,

---

[1] из каприза *(франц.)*.

придиралась ко всему и делала ему неприятные и грубые сцены.

Сначала Иван Ильич надеялся освободиться от неприятности этого положения тем самым легким и приличным отношением к жизни, которое выручало его прежде,— он пробовал игнорировать расположение духа жены, продолжал жить по-прежнему легко и приятно: приглашал к себе друзей составлять партию, пробовал сам уезжать в клуб или к приятелям. Но жена один раз с такой энергией начала грубыми словами ругать его и так упорно продолжала ругать его всякий раз, когда он не исполнял ее требований, очевидно, твердо решившись не переставать до тех пор, пока он не покорится, то есть не будет сидеть дома и не будет так же, как и она, тосковать, что Иван Ильич ужаснулся. Он понял, что супружеская жизнь — по крайней мере, с его женою — не содействует всегда приятностям и приличию жизни, а, напротив, часто нарушает их, и что поэтому необходимо оградить себя от этих нарушений. И Иван Ильич стал отыскивать средства для этого. Служба было одно, что импонировало Прасковье Федоровне, и Иван Ильич посредством службы и вытекающих из нее обязанностей стал бороться с женой, выгораживая свой независимый мир.

С рождением ребенка, попытками кормления и различными неудачами при этом, с болезнями действительными и воображаемыми ребенка и матери, в которых от Ивана Ильича требовалось участие, но в которых он ничего не мог понять, потребность для Ивана Ильича выгородить себе мир вне семьи стала еще более настоятельна.

По мере того как жена становилась раздражительнее и требовательнее, и Иван Ильич все более и более переносил центр тяжести своей жизни в службу. Он стал более любить службу и стал более честолюбив, чем он был прежде.

Очень скоро, не далее как через год после женитьбы, Иван Ильич понял, что супружеская жизнь, представляя некоторые удобства в жизни, в сущности есть очень сложное и тяжелое дело, по отношению которого, для того чтобы исполнять свой долг, то есть вести приличную, одобряемую обществом жизнь, нужно выработать определенное отношение, как и к службе.

И такое отношение к супружеской жизни выработал себе Иван Ильич. Он требовал от семейной жизни только тех удобств домашнего обеда, хозяйки, постели, которые

она могла дать ему, и, главное, того приличия внешних форм, которые определялись общественным мнением. В остальном же он искал веселой приятности и, если находил их, был очень благодарен; если же встречал отпор и ворчливость, то тотчас же уходил в свой отдельный, выгороженный им мир службы и в нем находил приятность.

Ивана Ильича ценили как хорошего служаку, и через три года сделали товарищем прокурора. Новые обязанности, важность их, возможность привлечь к суду и посадить всякого в острог, публичность речей, успех, который в этом деле имел Иван Ильич,— все это еще более привлекало его к службе.

Пошли дети. Жена становилась все ворчливее и сердитее, но выработанные Иваном Ильичом отношения к домашней жизни делали его почти непроницаемым для ее ворчливости.

После семи лет службы в одном городе Ивана Ильича перевели на место прокурора в другую губернию. Они переехали, денег было мало, и жене не понравилось то место, куда они переехали. Жалованье было хоть и больше прежнего, но жизнь была дороже; кроме того, умерло двое детей, и потому семейная жизнь стала еще неприятнее для Ивана Ильича.

Прасковья Федоровна во всех случавшихся невзгодах в этом новом месте жительства упрекала мужа. Большинство предметов разговора между мужем и женой, особенно воспитание детей, наводило на вопросы, по которым были воспоминания ссор, и ссоры всякую минуту готовы были разгораться. Оставались только те редкие периоды влюбленности, которые находили на супругов, но продолжались недолго. Это были островки, на которые они приставали на время, но потом опять пускались в море затаенной вражды, выражавшейся в отчуждении друг от друга. Отчуждение это могло бы огорчать Ивана Ильича, если бы он считал, что это не должно так быть, но он теперь уже признавал это положение не только нормальным, но и целью своей деятельности в семье. Цель его состояла в том, чтобы все больше и больше освобождать себя от этих неприятностей и придать им характер безвредности и приличия; и он достигал этого тем, что он все меньше и меньше проводил время с семьею, а когда был вынужден это делать, то старался обеспечивать свое положение присутствием посторонних лиц. Главное же

то, что у Ивана Ильича была служба. В служебном мире сосредоточился для него весь интерес жизни. И интерес этот поглощал его. Сознание своей власти, возможности погубить всякого человека, которого он захочет погубить, важность, даже внешняя, при его входе в суд и встречах с подчиненными, успех свой перед высшими и подчиненными и, главное, мастерство свое ведения дел, которое он чувствовал,— все это радовало его и вместе с беседами с товарищами, обедами и вистом наполняло его жизнь. Так что вообще жизнь Ивана Ильича продолжала идти так, как он считал, что она должна была идти: приятно и прилично.

Так прожил он еще семь лет. Старшей дочери было уже шестнадцать лет, еще один ребенок умер, и оставался мальчик-гимназист, предмет раздора. Иван Ильич хотел отдать его в Правоведение, а Прасковья Федоровна назло ему отдала в гимназию. Дочь училась дома и росла хорошо, мальчик тоже учился недурно.

III

Так шла жизнь Ивана Ильича в продолжение семнадцати лет со времени женитьбы. Он был уже старым прокурором, отказавшимся от некоторых перемещений, ожидая более желательного места, когда неожиданно случилось одно неприятное обстоятельство, совсем было нарушившее его спокойствие жизни. Иван Ильич ждал места председателя в университетском городе, но Гоппе забежал как-то вперед и получил это место. Иван Ильич раздражился, стал делать упреки и поссорился с ним и с ближайшим начальством; к нему стали холодны и в следующем назначении его опять обошли.

Это было в 1880 году. Этот год был самый тяжелый в жизни Ивана Ильича. В этом году оказалось, с одной стороны, что жалованья не хватает на жизнь; с другой — что все его забыли и что то, что казалось для него по отношению к нему величайшей, жесточайшей несправедливостью, другим представлялось совсем обыкновенным делом. Даже отец не считал своей обязанностью помогать ему. Он почувствовал, что все покинули его, считая его положение с 3500 жалованья самым нормальным и даже счастливым. Он один знал, что с сознанием тех несправедливостей, которые были сделаны ему, и с вечным пилени-

ем жены, и с долгами, которые он стал делать, живя сверх средств,— он один знал, что его положение далеко не нормально.

Летом этого года для облегчения средств он взял отпуск и поехал прожить с женой лето в деревне у брата Прасковьи Федоровны.

В деревне, без службы Иван Ильич в первый раз почувствовал не только скуку, но тоску невыносимую, и решил, что так жить нельзя и необходимо принять какие-нибудь решительные меры.

Проведя бессонную ночь, которую всю Иван Ильич проходил по террасе, он решил ехать в Петербург хлопотать и, чтобы наказать *их*, тех, которые не умели оценить его, перейти в другое министерство.

На другой день, несмотря на все отговоры жены и шурина, он поехал в Петербург.

Он ехал за одним: выпросить место в пять тысяч жалованья. Он уже не держался никакого министерства, направления или рода деятельности. Ему нужно только было место, место с пятью тысячами, по администрации, по банкам, по железным дорогам, по учреждениям императрицы Марии, даже таможни, но непременно пять тысяч и непременно выйти из министерства, где не умели оценить его.

И вот эта поездка Ивана Ильича увенчалась удивительным, неожиданным успехом. В Курске подсел в первый класс Ф. С. Ильин, знакомый, и сообщил свежую телеграмму, полученную курским губернатором, что в министерстве произойдет на днях переворот: на место Петра Ивановича назначают Ивана Семеновича.

Предполагаемый переворот, кроме своего значения для России, имел особенное значение для Ивана Ильича тем, что он, выдвигая новое лицо, Петра Петровича и, очевидно, его друга Захара Ивановича, был в высшей степени благоприятен для Ивана Ильича. Захар Иванович был товарищ и друг Ивану Ильичу.

В Москве известие подтвердилось. А приехав в Петербург, Иван Ильич нашел Захара Ивановича и получил обещание верного места в своем прежнем министерстве юстиции.

Через неделю он телеграфировал жене:

«Захар место Миллера при первом докладе получаю назначение».

Иван Ильич благодаря этой перемене лиц неожиданно получил в своем прежнем министерстве такое назначение, в котором он стал на две степени выше своих товарищей: пять тысяч жалованья и подъемных три тысячи пятьсот. Вся досада на прежних врагов своих и на все министерство была забыта, и Иван Ильич был совсем счастлив.

Иван Ильич вернулся в деревню веселый, довольный, каким он давно не был. Прасковья Федоровна тоже повеселела, и между ними заключилось перемирие. Иван Ильич рассказывал о том, как его все чествовали в Петербурге, как все те, которые были его врагами, были посрамлены и подличали теперь перед ним, как ему завидуют за его положение, в особенности о том, как все его сильно любили в Петербурге.

Прасковья Федоровна выслушивала это и делала вид, что она верит этому, и не противоречила ни в чем, а делала только планы нового устройства жизни в том городе, куда они переезжали. И Иван Ильич с радостью видел, что эти планы были его планы, что они сходятся и что опять его запнувшаяся жизнь приобретает настоящий, свойственный ей, характер веселой приятности и приличия.

Иван Ильич приехал на короткое время. 10 сентября ему надо было принимать должность и, кроме того, нужно было время устроиться на новом месте, перевезти все из провинции, прикупить, призаказать еще многое; одним словом, устроиться так, как это решено было в его уме, и почти что точно так же, как это решено было и в душе Прасковьи Федоровны.

И теперь, когда все устроилось так удачно и когда они сходились с женою в цели и, кроме того, мало жили вместе, они так дружно сошлись, как не сходились с первых лет женатой своей жизни. Иван Ильич было думал увезти семью тотчас же, но настояния сестры и зятя, вдруг сделавшимися особенно любезными и родственными к Ивану Ильичу и его семье, сделали то, что Иван Ильич уехал один.

Иван Ильич уехал, и веселое расположение духа, произведенное удачей и согласием с женой, одно усиливающее другое, все время не оставляло его. Нашлась квартира прелестная, то самое, о чем мечтали муж с женой. Широкие, высокие, в старом стиле приемные комнаты, удобный грандиозный кабинет, комнаты для жены и дочери, классная для сына — все как нарочно придумано

для них. Иван Ильич сам взялся за устройство, выбирал обои, подкупал мебель, особенно из старья, которому он придавал особенный комильфотный стиль, обивку, и все росло, росло и приходило к тому идеалу, который он составил себе. Когда он до половины устроился, его устройство превзошло его ожиданье. Он понял тот комильфотный, изящный и не пошлый характер, который примет все, когда будет готово. Засыпая, он представлял себе залу, какою она будет. Глядя на гостиную, еще не оконченную, он уже видел камин, экран, этажерку и эти стульчики разбросанные, эти блюды и тарелки по стенам и бронзы, когда они все станут по местам. Его радовала мысль, как он поразит Пашу и Лизаньку, которые тоже имеют к этому вкус. Они никак не ожидают этого. В особенности ему удалось найти и купить дешево старые вещи, которые придавали всему особенно благородный характер. Он в письмах своих нарочно представлял все хуже, чем есть, чтобы поразить их. Все это так занимало его, что даже новая служба его, любящего это дело, занимала меньше, чем он ожидал. В заседаниях у него бывали минуты рассеянности: он задумывался о том, какие карнизы на гардины, прямые или подобранные. Он так был занят этим, что сам часто возился, переставлял даже мебель и сам перевешивал гардины. Раз он влез на лесенку, чтобы показать непонимающему обойщику, как он хочет драпировать, оступился и упал, но, как сильный и ловкий человек, удержался, только боком стукнулся об ручку рамы. Ушиб поболел, но скоро прошел. Иван Ильич чувствовал себя все это время особенно веселым и здоровым. Он писал: чувствую, что с меня соскочило лет пятнадцать. Он думал кончить в сентябре, но затянулось до половины октября. Зато было прелестно, — не только он говорил, но ему говорили все, кто видели.

В сущности же, было то самое, что бывает у всех не совсем богатых людей, но таких, которые хотят быть похожими на богатых и потому только похожи друг на друга: штофы, черное дерево, цветы, ковры и бронзы, темное и блестящее,— все то, что все известного рода люди делают, чтобы быть похожими на всех людей известного рода. И у него было так похоже, что нельзя было даже обратить внимание; но ему все это казалось чем-то особенным. Когда он встретил своих на станции железной дороги, привез их в свою освещенную готовую квартиру и лакей в белом галстуке отпер дверь в убранную цветами

переднюю, а потом они вошли в гостиную, кабинет и ахали от удовольствия,— он был очень счастлив, водил их везде, впивал в себя их похвалы и сиял от удовольствия. В этот же вечер, когда за чаем Прасковья Федоровна спросила его, между прочим, как он упал, он засмеялся и в лицах представил, как он полетел и испугал обойщика.

— Я недаром гимнаст. Другой бы убился, а я чуть ударился вот тут; когда тронешь — больно, но уже проходит; просто синяк.

И они начали жить в новом помещении, в котором, как всегда, когда хорошенько обжились, недоставало только одной комнаты, и с новыми средствами, к которым, как всегда, только немножко — каких-нибудь пятьсот рублей — недоставало, и было очень хорошо. Особенно было хорошо первое время, когда еще не все было устроено и надо было еще устраивать: то купить, то заказать, то переставить, то наладить. Хоть и были некоторые несогласия между мужем и женой, но оба так были довольны и так много было дела, что все кончалось без больших ссор. Когда уже нечего было устраивать, стало немножко скучно и чего-то недоставать, но тут уже сделались знакомства, привычки, и жизнь наполнилась.

Иван Ильич, проведши утро в суде, возвращался к обеду, и первое время расположение его духа было хорошо, хотя и страдало немного именно от помещения. (Всякое пятно на скатерти, на штофе, оборванный снурок гардины раздражали его: он столько труда положил на устройство, что ему больно было всякое разрушение.) Но вообще жизнь Ивана Ильича пошла так, как, по его вере, должна была протекать жизнь: легко, приятно и прилично. Вставал он в девять, пил кофе, читал газету, потом надевал вицмундир и ехал в суд. Там уже был обмят тот хомут, в котором он работал; он сразу попадал в него. Просители, справки в канцелярии, сама канцелярия, заседания — публичные и распорядительные. Во всем этом надо было уметь исключать все то сырое, жизненное, что всегда нарушает правильность течения служебных дел: надо не допускать с людьми никаких отношений, помимо служебных, и повод к отношениям должен быть только служебный и самые отношения только служебные. Например, приходит человек и желает узнать что-нибудь. Иван Ильич как человек недолжностной и не может иметь никаких отношений к такому человеку; но если

есть отношение этого человека как к члену, такое, которое может быть выражено на бумаге с заголовком, — в пределах этих отношений Иван Ильич делает все, все решительно, что можно, и при этом соблюдает подобие человеческих дружелюбных отношений, то есть учтивость. Как только кончается отношение служебное, так кончается всякое другое. Этим умением отделять служебную сторону, не смешивая ее с своей настоящей жизнью, Иван Ильич владел в высшей степени и долгой практикой и талантом выработал его до такой степени, что он даже, как виртуоз, иногда позволял себе, как бы шутя, смешивать человеческое и служебное отношения. Он позволял это себе потому, что чувствовал в себе силу всегда, когда ему понадобится, опять выделить одно служебное и откинуть человеческое. Дело это шло у Ивана Ильича не только легко, приятно и прилично, но даже виртуозно. В промежутки он курил, пил чай, беседовал немножко о политике, немножко об общих делах, немножко о картах и больше всего о назначениях. И усталый, но с чувством виртуоза, отчетливо отделавшего свою партию, одну из первых скрипок в оркестре, возвращался домой. Дома дочь с матерью куда-нибудь ездили или у них был кто-нибудь; сын был в гимназии, готовил уроки с репетиторами и учился исправно тому, чему учат в гимназии. Все было хорошо. После обеда, если не было гостей, Иван Ильич читал иногда книгу, про которую много говорят, и вечером садился за дела, то есть читал бумаги, справлялся с законами,— сличал показания и подводил под законы. Ему это было ни скучно, ни весело. Скучно было, когда можно было играть в винт; но если не было винта — то это было все-таки лучше, чем сидеть одному или с женой. Удовольствия же Ивана Ильича были обеды маленькие, на которые он звал важных по светскому положению дам и мужчин, и такое времяпровождение с ними, которое было бы похоже на обыкновенное препровождение времени таких людей, так же как гостиная его была похожа на все гостиные.

Один раз у них был даже вечер, танцевали. И Ивану Ильичу было весело, и все было хорошо, только вышла большая ссора с женой из-за тортов и конфет: у Прасковьи Федоровны был свой план, а Иван Ильич настоял на том, чтобы взять все у дорогого кондитера, и взял много тортов, и ссора была за то, что торты остались, а счет кондитера был в сорок пять рублей. Ссора была большая

и неприятная, так что Прасковья Федоровна сказала ему: «Дурак, кисляй». А он схватил себя за голову и в сердцах что-то упомянул о разводе. Но самый вечер был веселый. Было лучшее общество, и Иван Ильич танцевал с княгинею Труфоновой, сестрою той, которая известна учреждением общества «Унеси ты мое горе». Радости служебные были радости самолюбия; радости общественные были радости тщеславия; но настоящие радости Ивана Ильича были радости игры в винт. Он признавался, что после всего, после каких бы то ни было событий, нерадостных в его жизни, радость, которая, как свеча, горела перед всеми другими,— это сесть с хорошими игроками и некрикунами-партнерами в винт, и непременно вчетвером (впятером уж очень больно выходить, хотя и притворяешься, что я очень люблю), и вести умную, серьезную игру (когда карты идут), потом поужинать и выпить стакан вина. А спать после винта, особенно когда в маленьком выигрыше (большой — неприятно). Иван Ильич ложился в особенно хорошем расположении духа.

Так они жили. Круг общества составлялся у них самый лучший, ездили и важные люди, и молодые люди.

Во взгляде на круг своих знакомых муж, жена и дочь были совершенно согласны и, не сговариваясь, одинаково оттирали от себя и освобождались от всяких разных приятелей и родственников, замарашек, которые разлетались к ним с нежностями в гостиную с японскими блюдами по стенам. Скоро эти друзья-замарашки перестали разлетаться, и у Головиных осталось общество одно самое лучшее. Молодые люди ухаживали за Лизанькой, и Петрищев, сын Дмитрия Ивановича Петрищева и единственный наследник его состояния, судебный следователь, стал ухаживать за Лизой, так что Иван Ильич уже поговаривал об этом с Прасковьей Федоровной: не свести ли их кататься на тройках или устроить спектакль. Так они жили. И все шло так, не изменяясь, и все было очень хорошо.

IV

Все были здоровы. Нельзя было назвать нездоровьем то, что Иван Ильич говорил иногда, что у него странный вкус во рту и что-то неловко в левой стороне живота.

Но случилось, что неловкость эта стала увеличиваться и переходить не в боль еще, но в сознание тяжести посто-

янной в боку и в дурное расположение духа. Дурное расположение духа это, все усиливаясь и усиливаясь, стало портить установившуюся было в семействе Головиных приятность легкой и приличной жизни. Муж с женой стали чаще и чаще ссориться, и скоро отпала легкость и приятность, и с трудом удерживалось одно приличие. Сцены опять стали чаще. Опять остались одни островки, и тех мало, на которых муж с женою могли сходиться без взрыва.

И Прасковья Федоровна теперь не без основания говорила, что у ее мужа тяжелый характер. С свойственной ей привычкой преувеличивать она говорила, что всегда и был такой ужасный характер, что надобно ее доброту, чтобы переносить это двадцать лет. Правда было то, что ссоры теперь начинались от него. Начинались его придирки всегда перед самым обедом и часто, именно когда он начинал есть, за супом. То он замечал, что что-нибудь из посуды испорчено, то кушанье не такое, то сын положил локоть на стол, то прическа дочери. И во всем он обвинял Прасковью Федоровну. Прасковья Федоровна сначала возражала и говорила ему неприятности, но он раза два во время начала обеда приходил в такое бешенство, что она поняла, что это болезненное состояние, которое вызывается в нем принятием пищи, и смирила себя; уже не возражала, а только торопила обедать. Смирение свое Прасковья Федоровна поставила себе в великую заслугу. Решив, что муж ее имеет ужасный характер и сделал несчастие ее жизни, она стала жалеть себя. И чем больше она жалела себя, тем больше ненавидела мужа. Она стала желать, чтоб он умер, но не могла этого желать, потому что тогда не было бы жалованья. И это еще более раздражало ее против него. Она считала себя страшно несчастной именно тем, что даже смерть его не могла спасти ее, и она раздражалась, скрывала это, и это скрытое раздражение ее усиливало его раздражение.

После одной сцены, в которой Иван Ильич был особенно несправедлив и после которой он и при объяснении сказал, что он точно раздражителен, но что это от болезни, она сказала ему, что если он болен, то надо лечиться, и потребовала от него, чтобы он поехал к знаменитому врачу.

Он поехал. Все было, как он ожидал; все было так, как всегда делается. И ожидание, и важность напускная, докторская, ему знакомая, та самая, которую он знал

в себе в суде, и постукиванье, и выслушиванье, и вопросы, требующие определенные вперед и, очевидно, ненужные ответы, и значительный вид, который внушал, что вы, мол, только подвергнитесь нам, а мы все устроим, — у нас известно и несомненно, как все устроить, все одним манером для всякого человека, какого хотите. Все было точно так же, как в суде. Как он в суде делал вид над подсудимыми, так точно над ним знаменитый доктор делал тоже вид.

Доктор говорил: то-то и то-то указывает, что у вас внутри то-то и то-то; но если это не подтвердится по исследованиям того-то и того-то, то у вас надо предположить то-то и то-то. Если же предположить то-то, тогда... и т. д. Для Ивана Ильича был важен только один вопрос: опасно ли его положение или нет? Но доктор игнорировал этот неуместный вопрос. С точки зрения доктора, вопрос этот был праздный и не подлежал обсуждению; существовало только взвешиванье вероятностей — блуждающей почки, хронического катара и болезни слепой кишки. Не было вопроса о жизни Ивана Ильича, а был спор между блуждающей почкой и слепой кишкой. И спор этот на глазах Ивана Ильича доктор блестящим образом разрешил в пользу слепой кишки, сделав оговорку о том, что исследование мочи может дать новые улики и что тогда дело будет пересмотрено. Все это было точь-в-точь то же, что делал тысячу раз сам Иван Ильич над подсудимыми таким блестящим манером. Так же блестяще сделал свое резюме доктор и торжествующе, весело даже, взглянув сверху очков на подсудимого. Из резюме доктора Иван Ильич вывел то заключение, что плохо, а что ему, доктору, да, пожалуй, и всем все равно, а ему плохо. И это заключение болезненно поразило Ивана Ильича, вызвав в нем чувство большой жалости к себе и большой злобы на этого равнодушного к такому важному вопросу доктора.

Но он ничего не сказал, а встал, положил деньги на стол и, вздохнув, сказал:

— Мы, больные, вероятно, часто делаем вам неуместные вопросы,— сказал он.— Вообще, это опасная болезнь или нет?..

Доктор строго взглянул на него одним глазом через очки, как будто говоря: подсудимый, если вы не будете оставаться в пределах ставимых вам вопросов, я буду

принужден сделать распоряжение об удалении вас из залы заседания.

— Я уже сказал вам то, что считал нужным и удобным,— сказал доктор.— Дальнейшее покажет исследование.— И доктор поклонился.

Иван Ильич вышел медленно, уныло сел в сани и поехал домой. Всю дорогу он не переставая перебирал все, что говорил доктор, стараясь все эти запутанные, неясные научные слова перевести на простой язык и прочесть в них ответ на вопрос: плохо — очень ли плохо мне, или еще ничего? И ему казалось, что смысл всего сказанного доктором был тот, что очень плохо. Все грустно показалось Ивану Ильичу на улицах. Извозчики были грустны, дома грустны, прохожие, лавки грустны. Боль же эта, глухая, ноющая боль, ни на секунду не перестающая, казалось, в связи с неясными речами доктора получала другое, более серьезное значение. Иван Ильич с новым тяжелым чувством теперь прислушивался к ней.

Он приехал домой и стал рассказывать жене. Жена выслушала, но в середине рассказа его вошла дочь в шляпке: она собиралась с матерью ехать. Она с усилием присела послушать эту скуку, но долго не выдержала, и мать не дослушала.

— Ну, я очень рада,— сказала жена,— так теперь ты, смотри ж, принимай аккуратно лекарство. Дай рецепт, я пошлю Герасима в аптеку.— И она пошла одеваться.

Он не переводил дыханья, пока она была в комнате, и тяжело вздохнул, когда она вышла.

— Ну что ж,— сказал он.— Может быть, и точно ничего еще...

Он стал принимать лекарства, исполнять предписания доктора, которые изменились по случаю исследования мочи. Но тут как раз так случилось, что в этом исследовании и в том, что должно было последовать за ним, вышла какая-то путаница. До самого доктора нельзя было добраться, а выходило, что делалось не то, что говорил ему доктор. Или он забыл, или соврал, или скрывал от него что-нибудь.

Но Иван Ильич все-таки точно стал исполнять предписания и в исполнении этом нашел утешение на первое время.

Главным занятием Ивана Ильича со времени посещения доктора стало точное исполнение предписаний доктора относительно гигиены и принимания лекарств и

прислушиванье к своей боли, ко всем своим отправлениям организма. Главными интересами Ивана Ильича стали людские болезни и людское здоровье. Когда при нем говорили о больных, об умерших, о выздоровевших, особенно о такой болезни, которая походила на его, он, стараясь скрыть свое волнение, прислушивался, расспрашивал и делал применение к своей болезни.

Боль не уменьшалась; но Иван Ильич делал над собой усилия, чтобы заставлять себя думать, что ему лучше. И он мог обманывать себя, пока ничего не волновало его. Но как только случалась неприятность с женой, неудача в службе, дурные карты в винте, так сейчас он чувствовал всю силу своей болезни; бывало, он переносил эти неудачи, ожидая, что вот-вот исправлю плохое, поборю, дождусь успеха, большого шлема. Теперь же всякая неудача подкашивала его и ввергала в отчаяние. Он говорил себе: вот только что я стал поправляться и лекарство начинало уже действовать, и вот это проклятое несчастие или неприятность... И он злился на несчастье или на людей, делавших ему неприятности и убивающих его, и чувствовал, как эта злоба убивает его; но не мог воздержаться от нее. Казалось бы, ему должно бы было быть ясно, что это озлобление его на обстоятельства и людей усиливает его болезнь и что поэтому ему надо не обращать внимания на неприятные случайности; но он делал совершенно обратное рассуждение: он говорил, что ему нужно спокойствие, следил за всем, что нарушало это спокойствие, и при всяком малейшем нарушении приходил в раздражение. Ухудшало его положение то, что он читал медицинские книги и советовался с докторами. Ухудшение шло так равномерно, что он мог себя обманывать, сравнивая один день с другим,— разницы было мало. Но когда он советовался с докторами, тогда ему казалось, что идет к худшему и очень быстро даже. И несмотря на это, он постоянно советовался с докторами.

В этот месяц он побывал у другой знаменитости: другая знаменитость сказала почти то же, что и первая, но иначе поставила вопросы. И совет с этой знаменитостью только усугубил сомнение и страх Ивана Ильича. Приятель его приятеля — доктор очень хороший — тот еще совсем иначе определил болезнь и, несмотря на то, что обещал выздоровление, своими вопросами и предположениями еще больше спутал Ивана Ильича и усилил его

сомнение. Гомеопат — еще иначе определил болезнь и дал лекарство, и Иван Ильич, тайно от всех, принимал его с неделю. Но после недели не почувствовав облегчения и потеряв доверие и к прежним лечениям и к этому, пришел в еще большее уныние. Раз знакомая дама рассказывала про исцеление иконами. Иван Ильич застал себя на том, что он внимательно прислушивался и поверял действительность факта. Этот случай испугал его. «Неужели я так умственно ослабел? — сказал он себе.— Пустяки! Все вздор, не надо поддаваться мнительности, а, избрав одного врача, строго держаться его лечения. Так и буду делать. Теперь кончено. Не буду думать и до лета строго буду исполнять лечение. А там видно будет. Теперь конец этим колебаниям!..» Легко было сказать это, но невозможно исполнить. Боль в боку все томила, все как будто усиливалась, становилась постоянной, вкус во рту становился все страннее, ему казалось, что пахло чем-то отвратительным у него изо рта, и аппетит и силы все слабели. Нельзя было себя обманывать: что-то страшное, новое и такое значительное, чего значительнее никогда в жизни не было с Иваном Ильичом, совершалось в нем. И он один знал про это, все же окружающие не понимали или не хотели понимать и думали, что все на свете идет по-прежнему. Это-то более всего мучило Ивана Ильича. Домашние — главное жена и дочь, которые были в самом разгаре выездов,— он видел, ничего не понимали, досадовали на то, что он такой невеселый и требовательный, как будто он был виноват в этом. Хотя они и старались скрывать это, он видел, что он им помеха, но что жена выработала себе известное отношение к его болезни и держалась его независимо от того, что́ он говорил и делал. Отношение это было такое:

— Вы знаете,— говорила она знакомым,— Иван Ильич не может, как все добрые люди, строго исполнять предписанное лечение. Нынче он примет капли и кушает, что велено, и вовремя ляжет; завтра вдруг, если я просмотрю, забудет принять, скушает осетрины (а ему не велено), да и засидится за винтом до часа.

— Ну, когда же? — скажет Иван Ильич с досадою.— Один раз у Петра Ивановича.

— А вчера с Шебеком.

— Все равно я не мог спать от боли...

— Да там уж отчего бы то ни было, только так ты никогда не выздоровеешь и мучаешь нас.

Внешнее, высказываемое другим и ему самому, отношение Прасковьи Федоровны было такое к болезни мужа, что в болезни этой виноват Иван Ильич и вся болезнь эта есть новая неприятность, которую он делает жене. Иван Ильич чувствовал, что это выходило у нее невольно, но от этого ему не легче было.

В суде Иван Ильич замечал или думал, что замечает, то же странное к себе отношение: то ему казалось, что к нему приглядываются, как к человеку, имеющему скоро опростать место; то вдруг его приятели начинали дружески подшучивать над его мнительностью, как будто то, что-то ужасное и страшное, неслыханное, что завелось в нем и не переставая сосет его и неудержимо влечет куда-то, есть самый приятный предмет для шутки. Особенно Шварц своей игривостью, жизненностью и комильфотностью, напоминавшими Ивану Ильичу его самого за десять лет назад, раздражал его.

Приходили друзья составить партию, садились. Сдавали, разминались новые карты, складывались бубны к бубнам, их семь. Партнер сказал: без козырей,— и поддержал две бубны. Чего ж еще? Весело, бодро должно бы быть — шлем. И вдруг Иван Ильич чувствует эту сосущую боль, этот вкус во рту, и ему что-то дикое представляется в том, что он при этом может радоваться шлему.

Он глядит на Михаила Михайловича, партнера, как он бьет по столу сангвинической рукой и учтиво и снисходительно удерживается от захватывания взяток, а подвигает их к Ивану Ильичу, чтобы доставить ему удовольствие собирать их, не утруждая себя, не протягивая далеко руку. «Что ж он думает, что я так слаб, что не могу протянуть далеко руку»,— думает Иван Ильич, забывает козырей и козыряет лишний раз по своим и проигрывает шлем без трех, и что ужаснее всего — это то, что он видит, как страдает Михаил Михайлович, а ему все равно. И ужасно думать, отчего ему все равно.

Все видят, что ему тяжело, и говорят ему: «Мы можем прекратить, если вы устали. Вы отдохните». Отдохнуть? Нет, он нисколько не устал, они доигрывают роббер. Все мрачны и молчаливы. Иван Ильич чувствует, что он напустил на них эту мрачность и не может ее рассеять. Они ужинают и разъезжаются, и Иван Ильич остается один с сознанием того, что его жизнь отравлена для него и

отравляет жизнь других и что отрава эта не ослабевает, а все больше и больше проникает все существо его.

И с сознанием этим, да еще с болью физической, да еще с ужасом надо было ложиться в постель и часто не спать от боли большую часть ночи. А наутро надо было опять вставать, одеваться, ехать в суд, говорить, писать, а если и не ехать, дома быть с теми же двадцатью четырьмя часами в сутках, из которых каждый был мучением. И жить так на краю погибели надо было одному, без одного человека, который бы понял и пожалел его.

V

Так шло месяц и два. Перед Новым годом приехал в их город его шурин и остановился у них. Иван Ильич был в суде. Прасковья Федоровна ездила за покупками. Войдя к себе в кабинет, он застал там шурина, здорового сангвиника, самого раскладывающего чемодан. Он поднял голову на шаги Ивана Ильича и поглядел на него секунду молча. Этот взгляд все открыл Ивану Ильичу. Шурин раскрыл рот, чтоб ахнуть, и удержался. Это движение подтвердило все.

— Что, переменился?

— Да... есть перемена.

И сколько Иван Ильич ни наводил после шурина на разговор о его внешнем виде, шурин отмалчивался. Приехала Прасковья Федоровна, шурин пошел к ней. Иван Ильич запер дверь на ключ и стал смотреться в зеркало — прямо, потом сбоку. Взял свой портрет с женою и сличил портрет с тем, что он видел в зеркале. Перемена была огромная. Потом он оголил руки до локтя, посмотрел, опустил рукава, сел на оттоманку и стал чернее ночи.

«Не надо, не надо»,— сказал он себе, вскочил, подошел к столу, открыл дело, стал читать его, но не мог. Он отпер дверь, пошел в залу. Дверь в гостиную была затворена. Он подошел к ней на цыпочках и стал слушать.

— Нет, ты преувеличиваешь,— говорила Прасковья Федоровна.

— Как преувеличиваю? Тебе не видно — он мертвый человек, посмотри его глаза. Нет света. Да что у него?

— Никто не знает. Николаев (это был другой доктор) сказал что-то, но я не знаю. Лещетицкий (это был знаменитый доктор) сказал напротив...

Иван Ильич отошел, пошел к себе, лег и стал думать: «Почка, блуждающая почка». Он вспомнил все то, что ему говорили доктора, как она оторвалась и как блуждает. И он усилием воображения старался поймать эту почку и остановить, укрепить ее; так мало нужно, казалось ему. «Нет, поеду еще к Петру Ивановичу». (Это был тот приятель, у которого был приятель доктор.) Он позвонил, велел заложить лошадь и собрался ехать.

— Куда ты, Jean? — спросила жена с особенно грустным и непривычно добрым выражением.

Это непривычное доброе озлобило его. Он мрачно посмотрел на нее.

— Мне надо к Петру Ивановичу.

Он поехал к приятелю, у которого был приятель доктор. И с ним к доктору. Он застал его и долго беседовал с ним.

Рассматривая анатомически и физиологически подробности о том, что, по мнению доктора, происходило в нем, он все понял.

Была одна штучка, маленькая штучка в слепой кишке. Все это могло поправиться. Усилить энергию одного органа, ослабить деятельность другого, произойдет всасывание, и все поправится. Он немного опоздал к обеду. Пообедал, весело поговорил, но долго не мог уйти к себе заниматься. Наконец он пошел в кабинет и тотчас же сел за работу. Он читал дела, работал, но сознание того, что у него есть отложенное важное задушевное дело, которым он займется по окончании, не оставляло его. Когда он кончил дела, он вспомнил, что это задушевное дело были мысли о слепой кишке. Но он не предался им, он пошел в гостиную к чаю. Были гости, говорили и играли на фортепиано, пели; был судебный следователь, желанный жених дочери. Иван Ильич провел вечер, по замечанию Прасковьи Федоровны, веселее других, но он не забывал ни на минуту, что у него есть отложенные важные мысли о слепой кишке. В одиннадцать часов он простился и пошел к себе. Он спал один со времени своей болезни, в маленькой комнатке у кабинета. Он пошел, разделся и взял роман Золя, но не читал его, а думал. И в его воображении происходило то желанное исправление слепой кишки. Всасывалось, выбрасывалось, восстановлялась правильная деятельность. «Да, это все так,— сказал он себе.— Только надо помогать природе». Он вспомнил о лекарстве, приподнялся, принял его, лег на спину, прислушиваясь к то-

му, как благотворно действует лекарство и как оно уничтожает боль. «Только равномерно принимать и избегать вредных влияний; я уже теперь чувствую несколько лучше, гораздо лучше». Он стал щупать бок, — на ощупь не больно. «Да, я не чувствую, право, уже гораздо лучше». Он потушил свечу и лег на бок... Слепая кишка исправляется, всасывается. Вдруг он почувствовал знакомую старую, глухую, ноющую боль, упорную, тихую, серьезную. Во рту та же знакомая гадость. Засосало сердце, помутилось в голове. «Боже мой, боже мой! — проговорил он. — Опять, опять, и никогда не перестанет». И вдруг ему дело представилось совсем с другой стороны. «Слепая кишка! Почка, — сказал он себе. — Не в слепой кишке, не в почке дело, а в жизни и... смерти. Да, жизнь была и вот уходит, уходит, и я не могу удержать ее. Да. Зачем обманывать себя? Разве не очевидно всем, кроме меня, что я умираю, и вопрос только в числе недель, дней — сейчас, может быть. То свет был, а теперь мрак. То я здесь был, а теперь туда! Куда?» Его обдало холодом, дыхание остановилось. Он слышал только удары сердца.

«Меня не будет, так что же будет? Ничего не будет. Так где же я буду, когда меня не будет? Неужели смерть? Нет, не хочу». Он вскочил, хотел зажечь свечку, пошарил дрожащими руками, уронил свечу с подсвечником на пол и опять повалился назад, на подушку. «Зачем? Все равно,— говорил он себе, открытыми глазами глядя в темноту.— Смерть. Да, смерть. И они никто не знают, и не хотят знать, и не жалеют. Они играют. (Он слышал дальние, из-за двери, раскат голоса и ритурнели.) Им все равно, а они также умрут. Дурачье. Мне раньше, а им после; и им то же будет. А они радуются. Скоты!» Злоба душила его. И ему стало мучительно, невыносимо тяжело. Не может же быть, чтоб все всегда были обречены на этот ужасный страх. Он поднялся.

«Что-нибудь не так; надо успокоиться, надо обдумать все сначала». И вот он начал обдумывать. «Да, начало болезни. Стукнулся боком, и все такой же я был, и нынче и завтра; немного ныло, потом больше, потом доктора, потом унылость, тоска, опять доктора; а я все шел ближе, ближе к пропасти. Сил меньше. Ближе, ближе. И вот я исчах, у меня света в глазах нет. И смерть, а я думаю о кишке. Думаю о том, чтобы починить кишку, а это смерть. Неужели смерть?» Опять на него нашел ужас, он запыхался, нагнулся, стал искать спичек, нада-

вил локтем на тумбочку. Она мешала ему и делала больно, он разозлился на нее, надавил с досадой сильнее и повалил тумбочку. И в отчаянии, задыхаясь, он повалился на спину, ожидая сейчас же смерти.

Гости уезжали в это время. Прасковья Федоровна провожала их. Она услыхала падение и вошла.

— Что ты?

— Ничего. Уронил нечаянно.

Она вышла, принесла свечу. Он лежал, тяжело и быстро-быстро дыша, как человек, который пробежал версту, остановившимися глазами глядя на нее.

— Что ты, Jean?

— Ниче...го. У...ро...нил.— «Что же говорить. Она не поймет», — думал он.

Она точно не поняла. Она подняла, зажгла ему свечу и поспешно ушла: ей надо было проводить гостью.

Когда она вернулась, он так же лежал навзничь, глядя вверх.

— Что тебе, или хуже?

— Да.

Она покачала головой, посидела.

— Знаешь, Jean, я думаю, не пригласить ли Лещетицкого на дом.

Это значит знаменитого доктора пригласить и не пожалеть денег. Он ядовито улыбнулся и сказал: «Нет». Она посидела, подошла и поцеловала его в лоб.

Он ненавидел ее всеми силами души в то время, как она целовала его, и делал усилия, чтобы не оттолкнуть ее.

— Прощай. Бог даст, заснешь.

— Да.

VI

Иван Ильич видел, что он умирает, и был в постоянном отчаянии.

В глубине души Иван Ильич знал, что он умирает, но он не только не привык к этому, но просто не понимал, никак не мог понять этого.

Тот пример силлогизма, которому он учился в логике Кизеветера: Кай — человек, люди смертны, потому Кай смертен, казался ему во всю его жизнь правильным только по отношению к Каю, но никак не к нему. То был Кай-человек, вообще человек, и это было совершенно справедливо; но он был не Кай и не вообще человек, а он

всегда был совсем, совсем особенное от всех других существо; он был Ваня с мама́, с папа́, с Митей и Володей, с игрушками, кучером, с няней, потом с Катенькой, со всеми радостями, горестями, восторгами детства, юности, молодости. Разве для Кая был тот запах кожаного полосками мячика, который так любил Ваня! Разве Кай целовал так руку матери и разве для Кая так шуршал шелк складок платья матери? Разве он бунтовал за пирожки в Правоведении? Разве Кай так был влюблен? Разве Кай так мог вести заседание?

И Кай точно смертен, и ему правильно умирать, но мне, Ване, Ивану Ильичу, со всеми моими чувствами, мыслями,— мне это другое дело. И не может быть, чтобы мне следовало умирать. Это было бы слишком ужасно.

Так чувствовалось ему.

«Если б и мне умирать, как Каю, то я так бы и знал это, так бы и говорил мне внутренний голос, но ничего подобного не было во мне; и я и все мои друзья — мы понимали, что это совсем не так, как с Каем. А теперь вот что! — говорил он себе.— Не может быть. Не может быть, а есть. Как же это? Как понять это?»

И он не мог понять и старался отогнать эту мысль, как ложную, неправильную, болезненную, и вытеснить ее другими, правильными, здоровыми мыслями. Но мысль эта, не только мысль, но как будто действительность, приходила опять и становилась перед ним.

И он призывал по очереди на место этой мысли другие мысли, в надежде найти в них опору. Он пытался возвратиться к прежним ходам мысли, которые заслоняли для него прежде мысль о смерти. Но — странное дело — все то, что прежде заслоняло, скрывало, уничтожало сознание смерти, теперь уже не могло производить этого действия. Последнее время Иван Ильич большей частью проводил в этих попытках восстановить прежние ходы чувства, заслонявшего смерть. То он говорил себе: «Займусь службой, ведь я жил же ею». И он шел в суд, отгоняя от себя всякие сомнения; вступал в разговоры с товарищами и садился, по старой привычке рассеянно, задумчивым взглядом окидывая толпу и обеими исхудавшими руками опираясь на ручки дубового кресла, так же, как обыкновенно, перегибаясь к товарищу, подвигая дело, перешептываясь, и потом, вдруг вскидывая глаза и прямо усаживаясь, произносил известные слова и начинал дело. Но вдруг в середине боль в боку, не обращая никакого

внимания на период развития дела начинала *свое* сосущее дело. Иван Ильич прислушивался, отгонял мысль о ней, но она продолжала свое, и *она* приходила и становилась прямо перед ним и смотрела на него, и он столбенел, огонь тух в глазах, и он начинал опять спрашивать себя: «Неужели только *она* правда?» И товарищи и подчиненные с удивлением и огорчением видели, что он, такой блестящий, тонкий судья, путался, делал ошибки. Он встряхивался, старался опомниться и кое-как доводил до конца заседание и возвращался домой с грустным сознанием, что не может по-старому судейское его дело скрыть от него то, что он хотел скрыть; что судейским делом он не может избавиться от *нее*. И что было хуже всего — это то, что *она* отвлекала его к себе не затем, чтобы он делал что-нибудь, а только для того, чтобы он смотрел на нее, прямо ей в глаза, смотрел на нее и, ничего не делая, невыразимо мучился.

И, спасаясь от этого состояния, Иван Ильич искал утешения, других ширм, и другие ширмы являлись и на короткое время как будто спасали его, но тотчас же опять не столько разрушались, сколько просвечивали, как будто *она* проникала через все, и ничто не могло заслонить ее.

Бывало, в это последнее время он войдет в гостиную, убранную им,— в ту гостиную, где он упал, для которой он,— как ему ядовито смешно было думать,— для устройства которой он пожертвовал жизнью, потому что он знал, что болезнь его началась с этого ушиба,— он входил и видел, что на лакированном столе был рубец, прорезанный чем-то. Он искал причину и находил ее в бронзовом украшении альбома, отогнутом на краю. Он брал альбом, дорогой, им составленный с любовью, и досадовал на неряшливость дочери и ее друзей,— то разорвано, то карточки перевернуты. Он приводил это старательно в порядок, загибал опять украшение.

Потом ему приходила мысль весь этот établissement [1] с альбомами переместить в другой угол, к цветам. Он звал лакея: или дочь, или жена приходили на помощь; они не соглашались, противоречили, он спорил, сердился; но все было хорошо, потому что он не помнил о *ней*, *ее* не видно было.

Но вот жена сказала, когда он сам передвигал: «Позволь, люди сделают, ты опять себе сделаешь вред»,

---

[1] устройство, сооружение *(франц.)*.

и вдруг *она* мелькнула через ширмы, он увидал *ее*. *Она* мелькнула, он еще надеется, что *она* скроется, но невольно он прислушался к боку,— там сидит все то же, все так же ноет, и он уже не может забыть, и *она* явственно глядит на него из-за цветов. К чему все?

«И правда, что здесь, на этой гардине, я, как на штурме, потерял жизнь. Неужели? Как ужасно и как глупо! Это не может быть! Не может быть, но есть».

Он шел в кабинет, ложился и оставался опять один с *нею*. С глазу на глаз с *нею*, а делать с *нею* нечего. Только смотреть на *нее* и холодеть.

VII

Как это сделалось на третьем месяце болезни Ивана Ильича, нельзя было сказать, потому что это делалось шаг за шагом, незаметно, но сделалось то, что и жена, и дочь, и сын его, и прислуга, и знакомые, и доктора, и, главное, он сам — знали, что весь интерес в нем для других состоит только в том, скоро ли, наконец, он опростает место, освободит живых от стеснения, производимого его присутствием, и сам освободится от своих страданий.

Он спал меньше и меньше; ему давали опиум и начали прыскать морфином. Но это не облегчало его. Тупая тоска, которую он испытывал в полуусыпленном состоянии, сначала только облегчала его как что-то новое, но потом она стала так же или еще более мучительна, чем откровенная боль.

Ему готовили особенные кушанья по предписанию врачей; но кушанья эти всё были для него безвкуснее и безвкуснее, отвратительнее и отвратительнее.

Для испражнений его тоже были сделаны особые приспособления, и всякий раз это было мученье. Мученье от нечистоты, неприличия и запаха, от сознания того, что в этом должен участвовать другой человек.

Но в этом самом неприятном деле и явилось утешение Ивану Ильичу. Приходил всегда выносить за ним буфетный мужик Герасим.

Герасим был чистый, свежий, раздобревший на городских харчах молодой мужик. Всегда веселый, ясный. Сначала вид этого, всегда чисто, по-русски одетого человека, делавшего это противное дело, смущал Ивана Ильича.

Один раз он, встав с судна и не в силах поднять панталоны, повалился на мягкое кресло и с ужасом смотрел на свои обнаженные, с резко обозначенными мускулами, бессильные ляжки.

Вошел в толстых сапогах, распространяя вокруг себя приятный запах дегтя от сапог и свежести зимнего воздуха, легкой сильной поступью Герасим, в посконном чистом фартуке и чистой ситцевой рубахе, с засученными на голых, сильных, молодых руках рукавами, и, не глядя на Ивана Ильича, — очевидно, сдерживая, чтобы не оскорбить больного, радость жизни, сияющую на его лице,— подошел к судну.

— Герасим,— слабо сказал Иван Ильич.

Герасим вздрогнул, очевидно, испугавшись, не промахнулся ли он в чем, и быстрым движением повернул к больному свое свежее, доброе, простое, молодое лицо, только что начинавшее обрастать бородой.

— Что изволите?

— Тебе, я думаю, неприятно это. Ты извини меня. Я не могу.

— Помилуйте-с.— И Герасим блеснул глазами и оскалил свои молодые белые зубы.— Отчего ж не потрудиться? Ваше дело больное.

И он ловкими, сильными руками сделал свое привычное дело и вышел, легко ступая. И через пять минут, так же легко ступая, вернулся.

Иван Ильич все так же сидел в кресле.

— Герасим,— сказал он, когда тот поставил чистое, обмытое судно, — пожалуйста, помоги мне, поди сюда. — Герасим подошел.— Подними меня. Мне тяжело одному, а Дмитрия я услал.

Герасим подошел; сильными руками, так же, как он легко ступал, обнял, ловко, мягко поднял и подержал, другой рукой подтянул панталоны и хотел посадить. Но Иван Ильич попросил его свести его на диван. Герасим, без усилия и как будто не нажимая, свел его, почти неся, к дивану и посадил.

— Спасибо. Как ты ловко, хорошо... все делаешь.

Герасим опять улыбнулся и хотел уйти. Но Ивану Ильичу так хорошо было с ним, что не хотелось отпускать.

— Вот что: подвинь мне, пожалуйста, стул этот. Нет, вот этот, под ноги. Мне легче, когда у меня ноги выше.

Герасим принес стул, поставил не стукнув, враз опустил его ровно до полу и поднял ноги Ивана Ильича

на стул; Ивану Ильичу показалось, что ему легче стало в то время, как Герасим высоко поднимал его ноги.

— Мне лучше, когда ноги у меня выше,— сказал Иван Ильич.— Подложи мне вон ту подушку.

Герасим сделал это. Опять поднял ноги и положил. Опять Ивану Ильичу стало лучше, пока Герасим держал его ноги. Когда он опустил их, ему показалось хуже.

— Герасим,— сказал он ему,— ты теперь занят?

— Никак нет-с,— сказал Герасим, выучившийся у городских людей говорить с господами.

— Тебе что делать надо еще?

— Да мне что ж делать? Все переделал, только дров наколоть на завтра.

— Так подержи мне так ноги повыше, можешь?

— Отчего же, можно. — Герасим поднял ноги выше, и Ивану Ильичу показалось, что в этом положении он совсем не чувствует боли.

— А дрова-то как же?

— Не извольте беспокоиться. Мы успеем.

Иван Ильич велел Герасиму сесть и держать ноги и поговорил с ним. И — странное дело — ему казалось, что ему лучше, пока Герасим держал его ноги.

С тех пор Иван Ильич стал иногда звать Герасима и заставлял его держать себе на плечах ноги и любил говорить с ним. Герасим делал это легко, охотно, просто и с добротой, которая умиляла Ивана Ильича. Здоровье, сила, бодрость жизни во всех других людях оскорбляла Ивана Ильича; только сила и бодрость жизни Герасима не огорчала, а успокаивала Ивана Ильича.

Главное мучение Ивана Ильича была ложь, — та, всеми почему-то признанная ложь, что он только болен, а не умирает, и что ему надо только быть спокойным и лечиться, и тогда что-то выйдет очень хорошее. Он же знал, что, что бы ни делали, ничего не выйдет, кроме еще более мучительных страданий и смерти. И его мучила эта ложь, мучило то, что не хотели признаться в том, что́ все знали и он знал, а хотели лгать над ним по случаю ужасного его положения и хотели и заставляли его самого принимать участие в этой лжи. Ложь, ложь эта, совершаемая над ним накануне его смерти, ложь, долженствующая низвести этот страшный торжественный акт его смерти до уровня всех их визитов, гардин, осетрины к обеду... была ужасно мучительна для Ивана Ильича. И — странно —

он много раз, когда они над ним проделывали свои штуки, был на волоске от того, чтобы закричать им: перестаньте врать, и вы знаете и я знаю, что я умираю, так перестаньте, по крайней мере, врать. Но никогда он не имел духа сделать этого. Страшный, ужасный акт его умирания, он видел, всеми окружающими его был низведен на степень случайной неприятности, отчасти неприличия (вроде того, как обходятся с человеком, который, войдя в гостиную, распространяет от себя дурной запах), тем самым «приличием», которому он служил всю свою жизнь; он видел, что никто не пожалеет его, потому что никто не хочет даже понимать его положения. Один только Герасим понимал это положение и жалел его. И потому Ивану Ильичу хорошо было только с Герасимом. Ему хорошо было, когда Герасим, иногда целые ночи напролет, держал его ноги и не хотел уходить спать, говоря: «Вы не извольте беспокоиться, Иван Ильич, высплюсь еще»; или когда он вдруг, переходя на «ты», прибавлял: «Кабы ты не больной, а то отчего же не послужить?» Один Герасим не лгал, по всему видно было, что он один понимал, в чем дело, и не считал нужным скрывать этого, и просто жалел исчахшего, слабого барина. Он даже раз прямо сказал, когда Иван Ильич отсылал его:

— Все умирать будем. Отчего же не потрудиться? — сказал он, выражая этим то, что он не тяготится своим трудом именно потому, что несет его для умирающего человека и надеется, что и для него кто-нибудь в его время понесет тот же труд.

Кроме этой лжи, или вследствие ее, мучительнее всего было для Ивана Ильича то, что никто не жалел его так, как ему хотелось, чтобы его жалели: Ивану Ильичу в иные минуты, после долгих страданий, больше всего хотелось, как ему ни совестно бы было признаться в этом,— хотелось того, чтоб его, как дитя больное, пожалел бы кто-нибудь. Ему хотелось, чтоб его приласкали, поцеловали, поплакали бы над ним, как ласкают и утешают детей. Он знал, что он важный член, что у него седеющая борода и что потому это невозможно; но ему все-таки хотелось этого. И в отношениях с Герасимом было что-то близкое к этому, и потому отношения с Герасимом утешали его. Ивану Ильичу хочется плакать, хочется, чтоб его ласкали и плакали над ним, и вот приходит товарищ, член Шебек, и, вместо того чтобы плакать и ласкаться, Иван Ильич делает серьезное, строгое, глубо-

комысленное лицо и по инерции говорит свое мнение о значении кассационного решения и упорно настаивает на нем. Эта ложь вокруг него и в нем самом более всего отравляла последние дни жизни Ивана Ильича.

VIII

Было утро. Потому только было утро, что Герасим ушел и пришел Петр-лакей, потушил свечи, открыл одну гардину и стал потихоньку убирать. Утро ли, вечер ли был, пятница, воскресенье ли было — все было все равно, все было одно и то же: ноющая, ни на мгновение не утихающая, мучительная боль; сознание безнадежно все уходящей, но все не ушедшей еще жизни; надвигающаяся все та же страшная ненавистная смерть, которая одна была действительность, и все та же ложь. Какие же тут дни, недели и часы дня?

— Не прикажете ли чаю?

«Ему нужен порядок, чтоб по утрам господа пили чай»,— подумал он и сказал только:

— Нет.

— Не угодно ли перейти на диван?

«Ему нужно привести в порядок горницу, и я мешаю, я — нечистота, беспорядок»,— подумал он и сказал только:

— Нет, оставь меня.

Лакей повозился еще. Иван Ильич протянул руку. Петр подошел услужливо.

— Что прикажете?

— Часы.

Петр достал часы, лежавшие под рукой, и подал.

— Половина девятого. Там не встали?

— Никак нет-с. Василий Иванович (это был сын) ушли в гимназию, а Прасковья Федоровна приказали разбудить их, если вы спросите. Прикажете?

— Нет, не надо. — «Не попробовать ли чаю?» — подумал он.— Да, чаю... принеси.

Петр пошел к выходу. Ивану Ильичу страшно стало оставаться одному. «Чем бы задержать его? Да, лекарство».— Петр, подай мне лекарство.— «Отчего же, может быть, еще поможет и лекарство». Он взял ложку, выпил. «Нет, не поможет. Все это вздор, обман,— решил он, как только почувствовал знакомый приторный и безнадежный вкус. — Нет, уж не могу верить. Но боль-то, боль-то

зачем, хоть на минуту затихла бы». И он застонал. Петр вернулся.— Нет, иди. Принеси чаю.

Петр ушел. Иван Ильич, оставшись один, застонал не столько от боли, как она ни была ужасна, сколько от тоски. «Все то же и то же, все эти бесконечные дни и ночи. Хоть бы скорее. Что скорее? Смерть, мрак. Нет, нет. Все лучше смерти!»

Когда Петр вошел с чаем на подносе, Иван Ильич долго растерянно смотрел на него, не понимая, кто он и что он. Петр смутился от этого взгляда. И когда Петр смутился, Иван Ильич очнулся.

— Да,— сказал он,— чай... хорошо, поставь. Только помоги мне умыться и рубашку чистую.

И Иван Ильич стал умываться. Он с отдыхом умыл руки, лицо, вычистил зубы, стал причесываться и посмотрел в зеркало. Ему страшно стало; особенно страшно было то, как волосы плоско прижимались к бледному лбу.

Когда переменяли ему рубашку, он знал, что ему будет еще страшнее, если он взглянет на свое тело, и не смотрел на себя. Но вот кончилось все. Он надел халат, укрылся пледом и сел в кресло к чаю. Одну минуту он почувствовал себя освеженным, но только что он стал пить чай, опять тот же вкус, та же боль. Он насильно допил и лег, вытянув ноги. Он лег и отпустил Петра.

Все то же. То капля надежды блеснет, то взбушуется море отчаяния, и все боль, все боль, все тоска и все одно и то же. Одному ужасно тоскливо, хочется позвать когонибудь, но он вперед знает, что при других еще хуже. «Хоть бы опять морфин — забыться бы. Я скажу ему, доктору, чтоб он придумал что-нибудь еще. Это невозможно, невозможно так».

Час, два проходит так. Но вот звонок в передней. Авось доктор. Точно, это доктор, свежий, бодрый, жирный, веселый, с тем выражением — что вот вы там чего-то напугались, а мы сейчас вам все устроим. Доктор знает, что это выражение здесь не годится, но он уже раз навсегда надел его и не может снять, как человек, с утра надевший фрак и едущий с визитами.

Доктор бодро, утешающе потирает руки.

— Я холоден. Мороз здоровый. Дайте обогреюсь,— говорит он с таким выражением, что как будто только надо немножко подождать, пока он обогреется, а когда обогреется, то уж все исправит.

— Ну что, как?

Иван Ильич чувствует, что доктору хочется сказать: «Как делишки?», но что и он чувствует, что так нельзя говорить, и говорит: «Как вы провели ночь?»

Иван Ильич смотрит на доктора с выражением вопроса: «Неужели никогда не станет тебе стыдно врать?» Но доктор не хочет понимать вопрос.

И Иван Ильич говорит:

— Все так же ужасно. Боль не проходит, не сдается. Хоть бы что-нибудь!

— Да, вот вы, больные, всегда так. Ну-с, теперь, кажется, я согрелся, даже аккуратнейшая Прасковья Федоровна ничего бы не имела возразить против моей температуры. Ну-с, здравствуйте.— И доктор пожимает руку.

И, откинув всю прежнюю игривость, доктор начинает с серьезным видом исследовать больного, пульс, температуру, и начинаются постукиванья, прослушиванья.

Иван Ильич знает твердо и несомненно, что все это вздор и пустой обман, но когда доктор, став на коленки, вытягивается над ним, прислоняя ухо то выше, то ниже, и делает над ним с значительнейшим лицом разные гимнастические эволюции, Иван Ильич поддается этому, как он поддавался, бывало, речам адвокатов, тогда как он уж очень хорошо знал, что они всё врут и зачем врут.

Доктор, стоя на коленках на диване, еще что-то выстукивал, когда зашумело в дверях шелковое платье Прасковьи Федоровны и послышался ее упрек Петру, что ей не доложили о приезде доктора.

Она входит, целует мужа и тотчас же начинает доказывать, что она давно уж встала и только по недоразумению ее не было тут, когда приехал доктор.

Иван Ильич смотрит на нее, разглядывает ее всю и в упрек ставит ей и белизну, и пухлость, и чистоту ее рук, шеи, глянец ее волос и блеск ее полных жизни глаз. Он всеми силами души ненавидит ее. И прикосновение ее заставляет его страдать от прилива ненависти к ней.

Ее отношение к нему и его болезни все то же. Как доктор выработал себе отношение к больным, которое он не мог уже снять, так она выработала одно отношение к нему — то, что он не делает чего-то того, что нужно, и сам виноват, и она любовно укоряет его в этом, — и не могла уже снять этого отношения к нему.

— Да ведь вот он не слушается! Не принимает вовремя. А главное — ложится в такое положение, которое, наверное, вредно ему — ноги кверху.

Она рассказала, как он заставляет Герасима держать себе ноги.

Доктор улыбнулся презрительно-ласково: «Что ж, мол, делать, эти больные выдумывают иногда такие глупости; но можно простить».

Когда осмотр кончился, доктор посмотрел на часы, и тогда Прасковья Федоровна объявила Ивану Ильичу, что уж как он хочет, а она нынче пригласила знаменитого доктора, и они вместе с Михаилом Даниловичем (так звали обыкновенного доктора) осмотрят и обсудят.

— Ты уж не противься, пожалуйста. Это я для себя делаю,— сказала она иронически, давая чувствовать, что она все делает для него и только этим не дает ему права отказать ей. Он молчал и морщился. Он чувствовал, что ложь эта, окружающая его, так путалась, что уж трудно было разобрать что-нибудь.

Она все над ним делала только для себя и говорила ему, что она делает для себя то, что она точно делала для себя как такую невероятную вещь, что он должен был понимать это обратно.

Действительно, в половине двенадцатого приехал знаменитый доктор. Опять пошли выслушиванья и значительные разговоры при нем и в другой комнате о почке, о слепой кишке и вопросы и ответы с таким значительным видом, что опять вместо реального вопроса о жизни и смерти, который уже теперь один стоял перед ним, выступил вопрос о почке и слепой кишке, которые что-то делали не так, как следовало, и на которые за это вот-вот нападут Михаил Данилович и знаменитость и заставят их исправиться.

Знаменитый доктор простился с серьезным, но не с безнадежным видом. И на робкий вопрос, который с поднятыми к нему блестящими страхом и надеждой глазами обратил Иван Ильич, есть ли возможность выздоровления, отвечал, что ручаться нельзя, но возможность есть. Взгляд надежды, с которым Иван Ильич проводил доктора, был так жалок, что, увидав его, Прасковья Федоровна даже заплакала, выходя из дверей кабинета, чтобы передать гонорар знаменитому доктору.

Подъем духа, произведенный обнадеживанием доктора, продолжался недолго. Опять та же комната, те же картины, гардины, обои, склянки и то же свое болящее, страдающее тело. И Иван Ильич начал стонать; ему сделали вспрыскиванье, и он забылся.

Когда он очнулся, стало смеркаться; ему принесли обедать. Он поел с усилием бульона; и опять то же, и опять наступающая ночь.

После обеда, в семь часов, в комнату его вошла Прасковья Федоровна, одетая как на вечер, с толстыми, подтянутыми грудями и с следами пудры на лице. Она еще утром напоминала ему о поездке их в театр. Была приезжая Сарра Бернар, и у них была ложа, которую он настоял, чтоб они взяли. Теперь он забыл про это, и ее наряд оскорбил его. Но он скрыл свое оскорбление, когда вспомнил, что он сам настаивал, чтоб они достали ложу и ехали, потому что это для детей воспитательное эстетическое наслаждение.

Прасковья Федоровна вошла довольная собою, но как будто виноватая. Она присела, спросила о здоровье, как он видел, для того только, чтоб спросить, но не для того, чтобы узнать, зная, что и узнавать нечего, и начала говорить то, что ей нужно было: что она ни за что не поехала бы, но ложа взята, и едут Элен и дочь и Петрищев (судебный следователь, жених дочери), и что невозможно их пустить одних. А что ей так бы приятнее было посидеть с ним. Только бы он делал без нее по предписанию доктора.

— Да, и Федор Петрович (жених) хотел войти. Можно? И Лиза.

— Пускай войдут.

Вошла дочь разодетая, с обнаженным молодым телом, тем телом, которое так заставляло страдать его. А она его выставляла. Сильная, здоровая, очевидно, влюбленная и негодующая на болезнь, страдания и смерть, мешающие ее счастью.

Вошел и Федор Петрович во фраке, завитой à la Capoul, с длинной жилистой шеей, обложенной плотно белым воротничком, с огромной белой грудью и обтянутыми сильными ляжками в узких черных штанах, с одной натянутой белой перчаткой на руке и с клаком.

За ним вполз незаметно и гимназистик в новеньком мундирчике, бедняжка, в перчатках и с ужасной синевой под глазами, значение которой знал Иван Ильич.

Сын всегда жалок был ему. И страшен был его испуганный и соболезнующий взгляд. Кроме Герасима, Ивану Ильичу казалось, что один Вася понимал и жалел.

Все сели, опять спросили о здоровье. Произошло молчание. Лиза спросила у матери о бинокле. Произошли пререкания между матерью и дочерью, кто куда его дел. Вышло неприятно.

Федор Петрович спросил у Ивана Ильича, видел ли он Сарру Бернар. Иван Ильич не понял сначала того, что у него спрашивали, а потом сказал:

— Нет; а вы уж видели?

— Да, в «Adrienne Lecouvreur».

Прасковья Федоровна сказала, что она особенно хороша в том-то. Дочь возразила. Начался разговор об изяществе и реальности ее игры, — тот самый разговор, который всегда бывает один и тот же.

В середине разговора Федор Петрович взглянул на Ивана Ильича и замолк. Другие взглянули и замолкли. Иван Ильич смотрел блестящими глазами пред собою, очевидно, негодуя на них. Надо было поправить это, но поправить никак нельзя было. Надо было как-нибудь прервать это молчание. Никто не решался, и всем становилось страшно, что вдруг нарушится как-нибудь приличная ложь, и ясно будет всем то, что есть. Лиза первая решилась. Она прервала молчанье. Она хотела скрыть то, что все испытывали, но проговорилась.

— Однако, *если ехать,* то пора,— сказала она, взглянув на свои часы, подарок отца, и чуть заметно, значительно о чем-то, им одним известном, улыбнулась молодому человеку и встала, зашумев платьем.

Все встали, простились и уехали.

Когда они вышли, Ивану Ильичу показалось, что ему легче: лжи не было,— она ушла с ними, но боль осталась. Все та же боль, все тот же страх делали то, что ничто не тяжеле, ничто не легче. Все хуже.

Опять пошли минута за минутой, час за часом, все то же, и все нет конца, и все страшнее неизбежный конец.

— Да, пошлите Герасима,— ответил он на вопрос Петра.

IX

Поздно ночью вернулась жена. Она вошла на цыпочках, но он услыхал ее: открыл глаза и поспешно закрыл опять. Она хотела услать Герасима и сама сидеть с ним. Он открыл глаза и сказал:

— Нет. Иди.
— Ты очень страдаешь?
— Все равно.
— Прими опиума.
Он согласился и выпил. Она ушла.
Часов до трех он был в мучительном забытьи. Ему казалось, что его с болью суют куда-то в узкий черный мешок и глубокий, и все дальше просовывают, и не могут просунуть. И это ужасное для него дело совершается с страданием. И он и боится, и хочет провалиться туда, и борется, и помогает. И вот вдруг он оборвался и упал, и очнулся. Все тот же Герасим сидит в ногах на постели, дремлет спокойно, терпеливо. А он лежит, подняв ему на плечи исхудалые ноги в чулках; свеча та же с абажуром, и та же непрекращающаяся боль.
— Уйди, Герасим,— прошептал он.
— Ничего, посижу-с.
— Нет, уйди.
Он снял ноги, лег боком на руку, и ему стало жалко себя. Он подождал только того, чтоб Герасим вышел в соседнюю комнату, и не стал больше удерживаться и заплакал, как дитя. Он плакал о беспомощности своей, о своем ужасном одиночестве, о жестокости людей, о жестокости бога, об отсутствии бога.
«Зачем ты все это сделал? Зачем привел меня сюда? За что, за что так ужасно мучаешь меня?..»
Он и не ждал ответа и плакал о том, что нет и не может быть ответа. Боль поднялась опять, но он не шевелился, не звал. Он говорил себе: «Ну еще, ну бей! Но за что? Что я сделал тебе, за что?»
Потом он затих, перестал не только плакать, перестал дышать и весь стал внимание: как будто он прислушивался не к голосу, говорящему звуками, но к голосу души, к ходу мыслей, поднимавшемуся в нем.
— Чего тебе нужно? — было первое ясное, могущее быть выражено словами понятие, которое он услышал.— Что тебе нужно? Чего тебе нужно? — повторил он себе.— Чего? — Не страдать. Жить,— ответил он.
И опять он весь предался вниманию такому напряженному, что даже боль не развлекала его.
— Жить? Как жить? — спросил голос души.
— Да, жить, как я жил прежде: хорошо, приятно.
— Как ты жил прежде, хорошо и приятно? — спросил голос. И он стал перебирать в воображении лучшие минуты

своей приятной жизни. Но — странное дело — все эти лучшие минуты приятной жизни казались теперь совсем не тем, чем казались они тогда. Все — кроме первых воспоминаний детства. Там, в детстве, было что-то такое действительно приятное, с чем можно бы было жить, если бы оно вернулось. Но того человека, который испытывал это приятное, уже не было: это было как бы воспоминание о каком-то другом.

Как только начиналось то, чего результатом был теперешний он, Иван Ильич, так все казавшиеся тогда радости теперь на глазах его таяли и превращались во что-то ничтожное и часто гадкое.

И чем дальше от детства, чем ближе к настоящему, тем ничтожнее и сомнительнее были радости. Начиналось это с Правоведения. Там было еще кое-что истинно хорошее: там было веселье, там была дружба, там были надежды. Но в высших классах уже были реже эти хорошие минуты. Потом, во время первой службы у губернатора, опять появились хорошие минуты: это были воспоминания о любви к женщине. Потом все это смешалось, и еще меньше стало хорошего. Далее еще меньше хорошего, и что дальше, то меньше.

Женитьба... так нечаянно, и разочарование, и запах изо рта жены, и чувственность, притворство! И эта мертвая служба, и эти заботы о деньгах, и так год, и два, и десять, и двадцать — и все то же. И что дальше, то мертвее. Точно равномерно я шел под гору, воображая, что иду на гору. Так и было. В общественном мнении я шел на гору, и ровно настолько из-под меня уходила жизнь... И вот готово, умирай!

Так что ж это? Зачем? Не может быть. Не может быть, чтоб так бессмысленна, гадка была жизнь? А если точно она так гадка и бессмысленна была, так зачем же умирать, и умирать страдая? Что-нибудь не так.

«Может быть, я жил не так, как должно?» — приходило ему вдруг в голову. «Но как же не так, когда я делал все как следует?» — говорил он себе и тотчас же отгонял от себя это единственное разрешение всей загадки жизни и смерти, как что-то совершенно невозможное.

«Чего ж ты хочешь теперь? Жить? Как жить? Жить, как ты живешь в суде, когда судебный пристав провозглашает: «Суд идет!..» Суд идет, идет суд, — повторил он себе. — Вот он, суд! Да я же не виноват! — вскрикнул он с злобой. — За что?» И он перестал плакать и, повернув-

шись лицом к стене, стал думать все об одном и том же: зачем, за что весь *этот ужас?*

Но сколько он ни думал, он не нашел ответа. И когда ему приходила, как она приходила ему часто, мысль о том, что все это происходит оттого, что он жил не так, он тотчас вспоминал всю правильность своей жизни и отгонял эту странную мысль.

X

Прошло еще две недели. Иван Ильич уже не вставал с дивана. Он не хотел лежать в постели и лежал на диване. И, лежа почти все время лицом к стене, он одиноко страдал все те же неразрешающиеся страдания и одиноко думал все ту же неразрешающуюся думу. Что это? Неужели правда, что смерть? И внутренний голос отвечал: да, правда. Зачем эти муки? И голос отвечал: а так, ни зачем. Дальше и кроме этого ничего не было.

С самого начала болезни, с того времени, как Иван Ильич в первый раз поехал к доктору, его жизнь разделилась на два противоположные настроения, сменявшие одно другое: то было отчаяние и ожидание непонятной и ужасной смерти, то была надежда и исполненное интереса наблюдение за деятельностью своего тела. То перед глазами была одна почка или кишка, которая на время отклонилась от исполнения своих обязанностей, то была одна непонятная ужасная смерть, от которой ничем нельзя избавиться.

Эти два настроения с самого начала болезни сменяли друг друга; но чем дальше шла болезнь, тем сомнительнее и фантастичнее становились соображения о почке и тем реальнее сознание наступающей смерти.

Стоило ему вспомнить о том, чем он был три месяца тому назад, и то, что он теперь; вспомнить, как равномерно он шел под гору,— чтобы разрушилась всякая возможность надежды.

В последнее время того одиночества, в котором он находился, лежа лицом к спинке дивана, того одиночества среди многолюдного города и своих многочисленных знакомых и семьи,— одиночества, полнее которого не могло быть нигде: ни на дне моря, ни в земле,— в последнее время этого страшного одиночества Иван Ильич жил только воображением в прошедшем. Одна за другой ему представлялись картины его прошедшего. Начиналось

всегда с ближайшего по времени и сводилось к самому отдаленному, к детству, и на нем останавливалось. Вспоминал ли Иван Ильич о вареном черносливе, который ему предлагали есть нынче, он вспоминал о сыром сморщенном французском черносливе в детстве, об особенном вкусе его и обилии слюны, когда дело доходило до косточки, и рядом с этим воспоминанием вкуса возникал целый ряд воспоминаний того времени: няня, брат, игрушки. «Не надо об этом... слишком больно», — говорил себе Иван Ильич и опять переносился в настоящее. Пуговица на спинке дивана и морщины сафьяна. «Сафьян дорог, непрочен; ссора была из-за него. Но сафьян другой был, и другая ссора, когда мы разорвали портфель у отца и нас наказали, а мама принесла пирожки». И опять останавливалось на детстве, и опять Ивану Ильичу было больно, и он старался отогнать и думать о другом.

И опять тут же, вместе с этим ходом воспоминания, у него в душе шел другой ход воспоминаний — о том, как усиливалась и росла его болезнь. То же, что дальше назад, то больше было жизни. Больше было и добра в жизни, и больше было и самой жизни. И то и другое сливалось вместе. «Как мучения всё идут хуже и хуже, так и вся жизнь шла все хуже и хуже»,— думал он. Одна точка светлая там, назади, в начале жизни, а потом все чернее и чернее и все быстрее и быстрее. «Обратно пропорционально квадратам расстояний от смерти»,— подумал Иван Ильич. И этот образ камня, летящего вниз с увеличивающейся быстротой, запал ему в душу. Жизнь, ряд увеличивающихся страданий, летит быстрее и быстрее к концу, страшнейшему страданию. «Я лечу...» Он вздрагивал, шевелился, хотел противиться; но уже он знал, что противиться нельзя, и опять усталыми от смотрения, но не могущими не смотреть на то, что было перед ним, глазами глядел на спинку дивана и ждал, — ждал этого страшного падения, толчка и разрушения. «Противиться нельзя, — говорил он себе. — Но хоть бы понять, зачем это? И того нельзя. Объяснить бы можно было, если бы сказать, что я жил не так, как надо. Но этого-то уже невозможно признать»,— говорил он сам себе, вспоминая всю законность, правильность и приличие своей жизни. «Этого-то допустить уж невозможно,— говорил он себе, усмехаясь губами, как будто кто-нибудь мог видеть эту его улыбку и быть обманутым ею. — Нет объяснения! Мучение, смерть... Зачем?»

XI

Так прошло две недели. В эти недели случилось желанное для Ивана Ильича и его жены событие: Петрищев сделал формальное предложение. Это случилось вечером. На другой день Прасковья Федоровна вошла к мужу, обдумывая, как объявить ему о предложении Федора Петровича, но в эту самую ночь с Иваном Ильичом свершилась новая перемена к худшему. Прасковья Федоровна застала его на том же диване, но в новом положении. Он лежал навзничь, стонал и смотрел перед собою остановившимся взглядом.

Она стала говорить о лекарствах. Он перевел свой взгляд на нее. Она не договорила того, что начала: такая злоба, именно к ней, выражалась в этом взгляде.

— Ради Христа, дай мне умереть спокойно,— сказал он.

Она хотела уходить, но в это время вошла дочь и подошла поздороваться. Он так же посмотрел на дочь, как и на жену, и на ее вопросы о здоровье сухо сказал ей, что он скоро освободит их всех от себя. Обе замолчали, посидели и вышли.

— В чем же мы виноваты? — сказала Лиза матери.— Точно мы это сделали! Мне жалко папа́, но за что же нас мучать?

В обычное время приехал доктор. Иван Ильич отвечал ему: «да, нет», не спуская с него озлобленного взгляда, и под конец сказал:

— Ведь вы знаете, что ничего не поможете, так оставьте.

— Облегчить страдания можем,— сказал доктор.

— И того не можете; оставьте.

Доктор вышел в гостиную и сообщил Прасковье Федоровне, что очень плохо и что одно средство — опиум, чтобы облегчить страдания, которые должны быть ужасны.

Доктор говорил, что страдания его физические ужасны, и это была правда; но ужаснее его физических страданий были его нравственные страдания, и в этом было главное его мучение.

Нравственные страдания его состояли в том, что в эту ночь, глядя на сонное, добродушное скуластое лицо Герасима, ему вдруг пришло в голову: а что, как и в самом деле вся моя жизнь, сознательная жизнь, была «не то».

Ему пришло в голову, что то, что ему представлялось прежде совершенной невозможностью, то, что он прожил свою жизнь не так, как должно было, что это могло быть правда. Ему пришло в голову, что те его чуть заметные поползновения борьбы против того, что наивысше поставленными людьми считалось хорошим, поползновения чуть заметные, которые он тотчас же отгонял от себя,— что они-то и могли быть настоящие, а остальное все могло быть не то. И его служба, и его устройства жизни, и его семья, и эти интересы общества и службы — все это могло быть не то. Он попытался защитить пред собой все это. И вдруг почувствовал всю слабость того, что он защищает. И защищать нечего было.

«А если это так,— сказал он себе,— и я ухожу из жизни с сознанием того, что погубил все, что мне дано было, и поправить нельзя, тогда что ж?» Он лег навзничь и стал совсем по-новому перебирать всю свою жизнь. Когда он увидал утром лакея, потом жену, потом дочь, потом доктора, — каждое их движение, каждое их слово подтверждало для него ужасную истину, открывшуюся ему ночью. Он в них видел себя, все то, чем он жил, и ясно видел, что все это было не то, все это был ужасный огромный обман, закрывающий и жизнь и смерть. Это сознание увеличило, удесятерило его физические страдания. Он стонал и метался и обдергивал на себе одежду. Ему казалось, что она душила и давила его. И за это он ненавидел их.

Ему дали большую дозу опиума, он забылся; но в обед началось опять то же. Он гнал всех от себя и метался с места на место.

Жена пришла к нему и сказала:

— Jean, голубчик, сделай это для меня (для меня?). Это не может повредить, но часто помогает. Что же, это ничего. И здоровые часто...

Он открыл широко глаза.

— Что? Причаститься? Зачем? Не надо! А впрочем...

Она заплакала.

— Да, мой друг? Я позову нашего, он такой милый.

— Прекрасно, очень хорошо,— проговорил он.

Когда пришел священник и исповедовал его, он смягчился, почувствовал как будто облегчение от своих сомнений и вследствие этого от страданий, и на него нашла минута надежды. Он опять стал думать о слепой кишке и возможности исправления ее. Он причастился со слезами на глазах.

Когда его уложили после причастия, ему стало на минуту легко, и опять явилась надежда на жизнь. Он стал думать об операции, которую предлагали ему. «Жить, жить хочу»,— говорил он себе. Жена пришла поздравить; она сказала обычные слова и прибавила:

— Не правда ли, тебе лучше?

Он, не глядя на нее, проговорил: да.

Ее одежда, ее сложение, выражение ее лица, звук ее голоса — все сказало ему одно: «Не то. Все то, чем ты жил и живешь,— есть ложь, обман, скрывающий от тебя жизнь и смерть». И как только он подумал это, поднялась его ненависть и вместе с ненавистью физические мучительные страдания и с страданиями сознание неизбежной, близкой погибели. Что-то сделалось новое: стало винтить, и стрелять, и сдавливать дыхание.

Выражение лица его, когда он проговорил «да», было ужасно. Проговорив это «да», глядя ей прямо в лицо, он необычайно для своей слабости быстро повернулся ничком и закричал:

— Уйдите, уйдите, оставьте меня!

XII

С этой минуты начался тот три дня не перестававший крик, который так был ужасен, что нельзя было за двумя дверями без ужаса слышать его. В ту минуту, как он ответил жене, он понял, что он пропал, что возврата нет, что пришел конец, совсем конец, а сомнение так и не разрешено, так и остается сомнением.

— У! Уу! У! — кричал он на разные интонации. Он начал кричать: «Не хочу!» — и так продолжал кричать на букву «у».

Все три дня, в продолжение которых для него не было времени, он барахтался в том черном мешке, в который просовывала его невидимая непреодолимая сила. Он бился, как бьется в руках палача приговоренный к смерти, зная, что он не может спастись; и с каждой минутой он чувствовал, что, несмотря на все усилия борьбы, он ближе и ближе становился к тому, что ужасало его. Он чувствовал, что мученье его и в том, что он всовывается в эту черную дыру, и еще больше в том, что он не может пролезть в нее. Пролезть же ему мешает признанье того, что жизнь его была хорошая. Это-то оправдание своей жизни

цепляло и не пускало его вперед и больше всего мучало его.

Вдруг какая-то сила толкнула его в грудь, в бок, еще сильнее сдавило ему дыхание, он провалился в дыру, и там, в конце дыры, засветилось что-то. С ним сделалось то, что бывало с ним в вагоне железной дороги, когда думаешь, что едешь вперед, а едешь назад, и вдруг узнаешь настоящее направление.

— Да, все было не то,— сказал он себе,— но это ничего. Можно, можно сделать «то». Что ж «то»?» — спросил он себя и вдруг затих.

Это было в конце третьего дня, за час до его смерти. В это самое время гимназистик тихонько прокрался к отцу и подошел к его постели. Умирающий все кричал отчаянно и кидал руками. Рука его попала на голову гимназистика. Гимназистик схватил ее, прижал к губам и заплакал.

В это самое время Иван Ильич провалился, увидал свет, и ему открылось, что жизнь его была не то, что надо, но что это можно еще поправить. Он спросил себя: что же «то», и затих, прислушиваясь. Тут он почувствовал, что руку его целует кто-то. Он открыл глаза и взглянул на сына. Ему стало жалко его. Жена подошла к нему. Он взглянул на нее. Она с открытым ртом и с неотертыми слезами на носу и щеке, с отчаянным выражением смотрела на него. Ему жалко стало ее.

«Да, я мучаю их,— подумал он.— Им жалко, но им лучше будет, когда я умру». Он хотел сказать это, но не в силах был выговорить. «Впрочем, зачем же говорить, надо сделать»,— подумал он. Он указал жене взглядом на сына и сказал:

— Уведи... жалко... и тебя...— Он хотел сказать еще «прости», но сказал «пропусти», и, не в силах уже будучи поправиться, махнул рукою, зная, что поймет тот, кому надо.

И вдруг ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, что вдруг все выходит сразу, и с двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон. Жалко их, надо сделать, чтобы им не больно было. Избавить их и самому избавиться от этих страданий. «Как хорошо и как просто,— подумал он.— А боль? — спросил он себя.— Ее куда? Ну-ка, где ты, боль?»

Он стал прислушиваться.

«Да, вот она. Ну что ж, пускай боль».

«А смерть? Где она?»

Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страха никакого не было, потому что и смерти не было.

Вместо смерти был свет.

— Так вот что! — вдруг вслух проговорил он.— Какая радость!

Для него все это произошло в одно мгновение, и значение этого мгновения уже не изменялось. Для присутствующих же агония его продолжалась еще два часа. В груди его клокотало что-то; изможденное тело его вздрагивало. Потом реже и реже стало клокотанье и хрипенье.

— Кончено! — сказал кто-то над ним.

Он услыхал эти слова и повторил их в своей душе. «Кончена смерть,— сказал он себе.— Ее нет больше».

Он втянул в себя воздух, остановился на половине вздоха, потянулся и умер.

КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА

А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. *(Матфея V, 28)*

Говорят ему ученики его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться.

Он же сказал им: не все вмещают слово сие: но кому дано.

Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые сделали себя сами скопцами для царства небесного. Кто может вместить, да вместит. *(Матфея XIX, 10, 11, 12)*

I

Это было ранней весной. Мы ехали вторые сутки. В вагон входили и выходили едущие на короткие расстояния, но трое ехало, так же как и я, с самого места отхода поезда: некрасивая и немолодая дама, курящая, с измученным лицом, в полумужском пальто и шапочке, ее знакомый, разговорчивый человек лет сорока, с аккуратными новыми вещами, и еще державшийся особняком небольшого роста господин с порывистыми движениями, еще не старый, но с очевидно преждевременно поседевшими курчавыми волосами и с необыкновенно блестящими глазами, быстро перебегавшими с предмета на предмет. Он был одет в старое от дорогого портного пальто с барашковым воротником и высокую барашковую шапку. Под пальто, когда он расстегивался, видна была поддевка и русская вышитая рубаха. Особенность этого господина состояла еще в том, что он изредка издавал странные звуки, похожие на откашливанье или на начатый и оборванный смех.

Господин этот во все время путешествия старательно избегал общения и знакомства с пассажирами. На заговариванья соседей он отвечал коротко и резко и или читал,

или, глядя в окно, курил, или, достав провизию из своего старого мешка, пил чай, или закусывал.

Мне казалось, что он тяготится своим одиночеством, и я несколько раз хотел заговорить с ним, но всякий раз, когда глаза наши встречались, что случалось часто, так как мы сидели наискоски друг против друга, он отворачивался и брался за книгу или смотрел в окно.

Во время остановки, перед вечером второго дня, на большой станции нервный господин этот сходил за горячей водой и заварил себе чай. Господин же с аккуратными новыми вещами, адвокат, как я узнал впоследствии, с своей соседкой, курящей дамой в полумужском пальто, пошли пить чай на станцию.

Во время отсутствия господина с дамой в вагон вошло несколько новых лиц и в том числе высокий бритый морщинистый старик, очевидно купец, в ильковой шубе и суконном картузе с огромным козырьком. Купец сел против места дамы с адвокатом и тотчас же вступил в разговор с молодым человеком, по виду купеческим приказчиком, вошедшим в вагон тоже на этой станции.

Я сидел наискоски и, так как поезд стоял, мог в те минуты, когда никто не проходил, слышать урывками их разговор. Купец объявил сначала о том, что он едет в свое имение, которое отстоит только на одну станцию; потом, как всегда, заговорили сначала о ценах, о торговле, говорили, как всегда, о том, как Москва нынче торгует, потом заговорили о Нижегородской ярманке. Приказчик стал рассказывать про кутежи какого-то известного обоим богача-купца на ярманке, но старик не дал ему договорить и стал сам рассказывать про былые кутежи в Кунавине, в которых он сам участвовал. Он, видимо, гордился своим участием в них и с видимой радостью рассказывал, как они вместе с этим самым знакомым сделали раз пьяные в Кунавине такую штуку, что ее надо было рассказать шепотом и что приказчик захохотал на весь вагон, а старик тоже засмеялся, оскалив два желтые зуба.

Не ожидая услышать ничего интересного, я встал, чтобы походить по платформе до отхода поезда. В дверях мне встретились адвокат с дамой, на ходу про что-то оживленно разговаривавшие.

— Не успеете,— сказал мне общительный адвокат,— сейчас второй звонок.

И точно, я не успел дойти до конца вагонов, как раздался звонок. Когда я вернулся, между дамой и адвока-

том продолжался оживленный разговор. Старый купец молча сидел напротив них, строго глядя перед собой и изредка неодобрительно жуя зубами.

— Затем она прямо объявила своему супругу,— улыбаясь, говорил адвокат в то время, как я проходил мимо него,— что она не может, да и не желает жить с ним, так как...

И он стал рассказывать далее что-то, чего я не мог расслышать. Вслед за мной прошли еще пассажиры, прошел кондуктор, вбежал артельщик, и довольно долго был шум, из-за которого не слышно было разговора. Когда все затихло и я опять услыхал голос адвоката, разговор, очевидно, с частного случая перешел уже на общие соображения.

Адвокат говорил о том, как вопрос о разводе занимал теперь общественное мнение в Европе и как у нас все чаще и чаще являлись такие же случаи. Заметив, что его голос один слышен, адвокат прекратил свою речь и обратился к старику.

— В старину этого не было, не правда ли? — сказал он, приятно улыбаясь.

Старик хотел что-то ответить, но в это время поезд тронулся, и старик, сняв картуз, начал креститься и читать шепотом молитву. Адвокат, отведя в сторону глаза, учтиво дожидался. Окончив свою молитву и троекратное крещение, старик надел прямо и глубоко свой картуз, поправился на месте и начал говорить.

— Бывало, сударь, и прежде, только меньше,— сказал он.— По нынешнему времени нельзя этому не быть. Уж очень образованны стали.

Поезд, двигаясь все быстрее и быстрее, погромыхивал на стычках, и мне трудно было расслышать, а интересно было, и я пересел ближе. Сосед мой, нервный господин с блестящими глазами, очевидно, тоже заинтересовался и, не вставая с места, прислушивался.

— Да чем же худо образование? — чуть заметно улыбаясь, сказала дама.— Неужели же лучше так жениться, как в старину, когда жених и невеста и не видали даже друг друга? — продолжала она, по привычке многих дам отвечая не на слова своего собеседника, а на те слова, которые она думала, что он скажет.— Не знали, любят ли, могут ли любить, а выходили за кого попало, да всю жизнь и мучались; так, по-вашему, это лучше? — говори-

ла она, очевидно обращая речь ко мне и к адвокату, но менее всего к старику, с которым говорила.

— Уж очень образованны стали,— повторил купец, презрительно глядя на даму и оставляя ее вопрос без ответа.

— Желательно бы знать, как вы объясняете связь между образованием и несогласием в супружестве,— чуть заметно улыбаясь, сказал адвокат.

Купец что-то хотел сказать, но дама перебила его.

— Нет, уж это время прошло,— сказала она. Но адвокат остановил ее:

— Нет, позвольте им выразить свою мысль.

— Глупости от образованья,— решительно сказал старик.

— Женят таких, которые не любят друг друга, а потом удивляются, что несогласно живут,— торопилась говорить дама, оглядываясь на адвоката и на меня и даже на приказчика, который, поднявшись с своего места и облокотившись на спинку, улыбаясь, прислушивался к разговору.— Ведь это только животных можно спаривать, как хозяин хочет, а люди имеют свои склонности, привязанности,— очевидно желая уязвить купца, говорила она.

— Напрасно так говорите, сударыня,— сказал старик,— животное скот, а человеку дан закон.

— Ну да как же жить с человеком, когда любви нет? — все торопилась дама высказывать свои суждения, которые, вероятно, ей казались очень новыми.

— Прежде этого не разбирали,— внушительным тоном сказал старик,— нынче только завелось это. Как что, она сейчас и говорит: «Я от тебя уйду». У мужиков па что, и то эта самая мода завелась. «На, говорит, вот тебе твои рубахи и портки, а я пойду с Ванькой, он кудрявей тебя». Ну вот и толкуй. А в женщине первое дело страх должен быть.

Приказчик посмотрел и на адвоката, и на даму, и на меня, очевидно удерживая улыбку и готовый и осмеять и одобрить речь купца, смотря по тому, как она будет принята.

— Какой же страх? — сказала дама.

— А такой: да боится своего му-у-ужа! Вот какой страх.

— Ну, уж это, батюшка, время прошло,—даже с некоторой злобой сказала дама.

— Нет, сударыня, этому времени пройти нельзя. Как

была она, Ева, женщина, из ребра мужнина сотворена, так и останется до скончания века, — сказал старик, так строго и победительно тряхнув головой, что приказчик тотчас же решил, что победа на стороне купца, и громко засмеялся.

— Да это вы, мужчины, так рассуждаете,— говорила дама, не сдаваясь и оглядываясь на нас,— сами себе дали свободу, а женщину хотите в терему держать. Сами небось себе все позволяете.

— Позволенья никто не дает, а только что от мужчины в доме ничего не прибудет, а женщина-жено — утлый сосуд,— продолжал внушать купец.

Внушительность интонаций купца, очевидно, побеждала слушателей, и дама даже чувствовала себя подавленной, но все еще не сдавалась.

— Да, но я думаю, вы согласитесь, что женщина — человек, и имеет чувства, как и мужчина. Ну что же ей делать, если она не любит мужа?

— Не любит! — грозно повторил купец, двинув бровями и губами.— Небось полюбит!

Этот неожиданный аргумент особенно понравился приказчику, и он издал одобрительный звук.

— Да нет, не полюбит,— заговорила дама,— а если любви нет, то ведь к этому нельзя же принудить.

— Ну, а как жена изменит мужу, тогда как? — сказал адвокат.

— Этого не полагается, — сказал старик, — за этим смотреть надо.

— А как случится, тогда как? Ведь бывает же.

— У кого бывает, а у нас не бывает, — сказал старик.

Все помолчали. Приказчик пошевелился, еще подвинулся и, видимо не желая отстать от других, улыбаясь, начал:

— Да-с, вот тоже у нашего молодца скандал один вышел. Тоже рассудить слишком трудно. Тоже попалась такая женщина, что распутевая. И пошла чертить. А малый степенный и с развитием. Сначала с конторщиком. Уговаривал он тоже добром. Не унялась. Всякие пакости делала. Его деньги стала красть. И бил он ее. Что ж, все хужела. С некрещеным, с евреем, с позволенья сказать, свела шашни. Что ж ему делать? Бросил ее совсем. Так и живет холостой, а она слоняется.

— Потому он дурак,— сказал старик.— Кабы он спервоначала не дал ей ходу, а укороту бы дал настоящую,

жила бы небось. Волю не давать надо сначала. Не верь лошади в поле, а жене в доме.

В это время пришел кондуктор спрашивать билеты до ближайшей станции. Старик отдал свой билет.

— Да-с, загодя укорачивать надо женский пол, а то все пропадет.

— Ну, а как же вы сами сейчас рассказывали, как женатые люди на ярманке в Кунавине веселятся? — сказал я, не выдержав.

— Эта статья особая,— сказал купец и погрузился в молчанье.

Когда раздался свисток, купец поднялся, достал из-под лавки мешок, запахнулся и, приподняв картуз, вышел на тормоз.

II

Только что старик ушел, поднялся разговор в несколько голосов.

— Старого завета папаша,—сказал приказчик.

— Вот Домострой живой,—сказала дама.— Какое дикое понятие о женщине и о браке!

— Да-с, далеки мы от европейского взгляда на брак,— сказал адвокат.

— Ведь главное то, чего не понимают такие люди,— сказала дама,— это то, что брак без любви не есть брак, что только любовь освящает брак и что брак истинный только тот, который освящает любовь.

Приказчик слушал и улыбался, желая запомнить для употребления сколько можно больше из умных разговоров.

В середине речи дамы позади меня послышался звук как бы прерванного смеха или рыдания, и, оглянувшись, мы увидали моего соседа, седого одинокого господина с блестящими глазами, который во время разговора, очевидно интересовавшего его, незаметно подошел к нам. Он стоял, положив руки на спинку сиденья, и, очевидно, очень волновался: лицо его было красно, и на щеке вздрагивал мускул.

— Какая же это любовь... любовь... любовь... освящает брак? — сказал он, запинаясь.

Видя взволнованное состояние собеседника, дама постаралась ответить ему как можно мягче и обстоятельнее.

— Истинная любовь... Есть эта любовь между мужчиной и женщиной, возможен и брак,— сказала дама.

— Да-с, но что разуметь под любовью истинной? — неловко улыбаясь и робея, сказал господин с блестящими глазами.

— Всякий знает, что такое любовь,— сказала дама, очевидно желая прекратить с ним разговор.

— А я не знаю,— сказал господин.— Надо определить, что вы разумеете...

— Как? очень просто,— сказала дама, но задумалась. — Любовь? Любовь есть исключительное предпочтение одного или одной перед всеми остальными,— сказала она.

— Предпочтение на сколько времени? На месяц? На два дни, на полчаса? — проговорил седой господин и засмеялся.

— Нет, позвольте, вы, очевидно, не про то говорите.

— Нет-с, я про то самое.

— Они говорят,— вступился адвокат, указывая на даму,— что брак должен вытекать, во-первых, из привязанности, любви, если хотите, и что если налицо есть таковая, то только в этом случае брак представляет из себя нечто, так сказать, священное. Затем, что всякий брак, в основе которого не заложены естественные привязанности — любовь, если хотите,— не имеет в себе ничего нравственно-обязательного. Так ли я понимаю? — обратился он к даме.

Дама движением головы выразила одобрение разъяснению своей мысли.

— Засим...— продолжал речь адвокат, но нервный господин с горевшими огнем теперь глазами, очевидно, с трудом удерживался и, не дав адвокату договорить, начал:

— Нет, я про то самое, про предпочтение одного или одной перед всеми другими, но я только спрашиваю: предпочтение на сколько времени?

— На сколько времени? надолго, на всю жизнь иногда,— сказала дама, пожимая плечами.

— Да ведь это только в романах, а в жизни никогда. В жизни бывает это предпочтение одного перед другими на года, что очень редко, чаще на месяцы, а то на недели, на дни, на часы,— говорил он, очевидно зная, что он удивляет всех своим мнением, и довольный этим.

— Ах, что вы! Да нет. Нет, позвольте,— в один голос

заговорили мы все трое. Даже приказчик издал какой-то неодобрительный звук.

— Да-с, я знаю,— перекрикивал нас седой господин,— вы говорите про то, что считается существующим, а я говорю про то, что есть. Всякий мужчина испытывает то, что вы называете любовью, к каждой красивой женщине.

— Ах, это ужасно, что вы говорите; но есть же между людьми то чувство, которое называется любовью и которое дается не на месяцы и годы, а на всю жизнь?

— Нет, нету. Если допустить даже, что мужчина и предпочел бы известную женщину на всю жизнь, то женщина-то, по всем вероятиям, предпочтет другого, и так всегда было и есть на свете,— сказал он и достал папиросочницу и стал закуривать.

— Но может быть и взаимность,— сказал адвокат.

— Нет-с, не может быть, — возразил он, — так же как не может быть, что в возу гороха две замеченные горошины легли бы рядом. Да кроме того, тут не невероятность одна, тут, наверное, пресыщение. Любить всю жизнь одну или одного — это все равно, что сказать, что одна свечка будет гореть всю жизнь, — говорил он, жадно затягиваясь.

— Но вы всё говорите про плотскую любовь. Разве вы не допускаете любви, основанной на единстве идеалов, на духовном сродстве? — сказала дама.

— Духовное сродство! Единство идеалов! — повторил он, издавая свой звук.— Но в таком случае незачем спать вместе (простите за грубость). А то вследствие единства идеалов люди ложатся спать вместе,— сказал он и нервно засмеялся.

— Но позвольте,— сказал адвокат,— факт противоречит тому, что вы говорите. Мы видим, что супружества существуют, что все человечество или большинство его живет брачной жизнью и многие честно проживают продолжительную брачную жизнь.

Седой господин опять засмеялся.

— То вы говорите, что брак основывается на любви, когда же я выражаю сомнение в существовании любви, кроме чувственной, вы мне доказываете существование любви тем, что существуют браки. Да брак-то в наше время один обман!

— Нет-с, позвольте,— сказал адвокат,— я говорю только, что существовали и существуют браки.

— Существуют. Да только отчего они существуют?

Они существовали и существуют у тех людей, которые в браке видят нечто таинственное, таинство, которое обязывает перед богом. У тех они существуют, а у нас их нет. У нас люди женятся, не видя в браке ничего, кроме совокупления, и выходит или обман, или насилие. Когда обман, то это легче переносится. Муж и жена только обманывают людей, что они в единобрачии, а живут в многоженстве и в многомужестве. Это скверно, но еще идет; но когда, как это чаще всего бывает, муж и жена приняли на себя внешнее обязательство жить вместе всю жизнь и со второго месяца уж ненавидят друг друга, желают разойтись и все-таки живут, тогда это выходит тот страшный ад, от которого спиваются, стреляются, убивают и отравляют себя и друг друга,— говорил он все быстрее, не давая никому вставить слова и все больше и больше разгорячаясь. Все молчали. Было неловко.

— Да, без сомнения, бывают критические эпизоды в супружеской жизни,— сказал адвокат, желая прекратить неприлично горячий разговор.

— Вы, как я вижу, узнали, кто я? — тихо и как будто спокойно сказал седой господин.

— Нет, я не имею удовольствия.

— Удовольствие небольшое. Я Позднышев, тот, с которым случился тот критический эпизод, на который вы намекаете, тот эпизод, что он жену убил,— сказал он, оглядывая быстро каждого из нас.

Никто не нашелся, что сказать, и все молчали.

— Ну, все равно,— сказал он, издавая свой звук.— Впрочем, извините! А!.. не буду стеснять вас.

— Да нет, помилуйте...— сам не зная, что «помилуйте», сказал адвокат.

Но Позднышев, не слушая его, быстро повернулся и ушел на свое место. Господин с дамой шептались. Я сидел рядом с Позднышевым и молчал, не умея придумать, что сказать. Читать было темно, и потому я закрыл глаза и притворился, что хочу заснуть. Так мы проехали молча до следующей станции.

На станции этой господин с дамой перешли в другой вагон, о чем они переговаривались еще раньше с кондуктором. Приказчик устроился на лавочке и заснул. Позднышев же все курил и пил заваренный еще на той станции чай.

Когда я открыл глаза и взглянул на него, он вдруг с решительностью и раздражением обратился ко мне:

— Вам, может быть, неприятно сидеть со мной, зная, кто я? Тогда я уйду.

— О нет, помилуйте.

— Ну, так не угодно ли? Только крепок.— Он налил мне чаю.

— Они говорят... И всё лгут...— сказал он.

— Вы про что? — спросил я.

— Да все про то же: про эту любовь ихнюю и про то, что это такое. Вы не хотите спать?

— Совсем не хочу.

— Так хотите, я вам расскажу, как я этой любовью самой был приведен к тому, что со мной было.

— Да, если вам не тяжело.

— Нет, мне тяжело молчать. Пейте ж чай. Или слишком крепок?

Чай действительно был как пиво, но я выпил стакан. В это время прошел кондуктор. Он проводил его молча злыми глазами и начал только тогда, когда тот ушел.

III

— Ну, так я расскажу вам... Да вы точно хотите?

Я повторил, что очень хочу. Он помолчал, потер руками лицо и начал:

— Коли рассказывать, то надо рассказывать все с начала: надо рассказать, как и отчего я женился и каким я был до женитьбы.

Жил я до женитьбы, как живут все, то есть в нашем кругу. Я помещик и кандидат университета и был предводителем. Жил до женитьбы, как все живут, то есть развратно, и, как все люди нашего круга, живя развратно, был уверен, что я живу, как надо. Про себя я думал, что я милашка, что я вполне нравственный человек. Я не был соблазнителем, не имел неестественных вкусов, не делал из этого главной цели жизни, как это делали многие из моих сверстников, а отдавался разврату степенно, прилично, для здоровья. Я избегал тех женщин, которые рождением ребенка или привязанностью ко мне могли бы связать меня. Впрочем, может быть, и были дети и были привязанности, но я делал, как будто их не было. И это-то я считал не только нравственным, но я гордился этим.

Он остановился, издал свой звук, как он делал всегда, когда ему приходила, очевидно, новая мысль.

— А ведь в этом-то и главная мерзость,— вскрикнул он.— Разврат ведь не в чем-нибудь физическом, ведь никакое безобразие физическое не разврат; а разврат, истинный разврат именно в освобождении себя от нравственных отношений к женщине, с которой входишь в физическое общение. А это-то освобождение я и ставил себе в заслугу. Помню, как я мучался раз, не успев заплатить женщине, которая, вероятно полюбив меня, отдалась мне. Я успокоился только тогда, когда послал ей деньги, показав этим, что я нравственно ничем не считаю себя связанным с нею. Вы не качайте головой, как будто вы согласны со мной,— вдруг крикнул он на меня.— Ведь я знаю эту штуку. Вы все, и вы, вы, в лучшем случае, если вы не редкое исключение, вы тех самых взглядов, каких я был. Ну, все равно, вы простите меня, — продолжал он, — но дело в том, что это ужасно, ужасно, ужасно!

— Что ужасно? — спросил я.

— Та пучина заблуждения, в которой мы живем относительно женщин и отношений к ним. Да-с, не могу спокойно говорить про это, и не потому, что со мной случился этот эпизод, как он говорил, а потому, что с тех пор, как случился со мной этот эпизод, у меня открылись глаза, и я увидал все совсем в другом свете. Все навыворот, все навыворот!..

Он закурил папироску и, облокотившись на свои колени, начал говорить.

В темноте мне не видно было его лицо, только слышен был из-за дребезжания вагона его внушительный и приятный голос.

IV

— Да-с, только перемучавшись, как я перемучался, только благодаря этому я понял, где корень всего, понял, что должно быть, и потому увидал весь ужас того, что есть.

Так изволите видеть, вот как и когда началось то, что привело меня к моему эпизоду. Началось это тогда, когда мне было невступно шестнадцать лет. Случилось это, когда я был еще в гимназии, а брат мой старший был студент первого курса. Я не знал еще женщин, но я, как и все несчастные дети нашего круга, уже не был невинным мальчиком: уже второй год я был развращен мальчишками; уже женщина, не какая-нибудь, а женщина, как сладкое нечто, женщина, всякая женщина, нагота

женщины уже мучала меня. Уединения мои были нечистые. Я мучался, как мучаются 0,99 наших мальчиков. Я ужасался, я страдал, я молился и падал. Я уже был развращен в воображении и в действительности, но последний шаг еще не был сделан мною. Я погибал один, но еще не налагая руки на другое человеческое существо. Но вот товарищ брата, студент, весельчак, так называемый добрый малый, то есть самый большой негодяй, выучивший нас и пить и в карты играть, уговорил после попойки ехать туда. Мы поехали. Брат тоже еще был невинен и пал в эту же ночь. И я, пятнадцатилетний мальчишка, осквернил себя самого и содействовал осквернению женщины, вовсе не понимая того, что я делал. Я ведь ни от кого от старших не слыхал, чтоб то, что я делал, было дурно. Да и теперь никто не услышит. Правда, есть это в заповеди, но заповеди ведь нужны только на то, чтобы отвечать на экзамене батюшке, да и то не очень нужны, далеко не так, как заповедь об употреблении ut в условных предложениях.

Так от тех старших людей, мнения которых я уважал, я ни от кого не слыхал, чтобы это было дурно. Напротив, я слыхал от людей, которых я уважал, что это было хорошо. Я слышал, что мои борьбы и страдания утишатся после этого, я слышал это и читал, слышал от старших, что для здоровья это будет хорошо; от товарищей же слышал, что в этом есть некоторая заслуга, молодечество. Так что вообще, кроме хорошего, тут ничего не виделось. Опасность болезней? Но и та ведь предвидена. Попечительное правительство заботится об этом. Оно следит за правильной деятельностью домов терпимости и обеспечивает разврат для гимназистов. И доктора за жалованье следят за этим. Так и следует. Они утверждают, что разврат бывает полезен для здоровья, они же и учреждают правильный, аккуратный разврат. Я знаю матерей, которые заботятся в этом смысле о здоровье сыновей. И наука посылает их в дома терпимости.

— Отчего же наука? — сказал я.

— Да кто же доктора? Жрецы науки. Кто развращает юношей, утверждая, что это нужно для здоровья? Они. А потом с ужасной важностью лечат сифилис.

— Да отчего же не лечить сифилис?

— А оттого, что если бы 0,01 тех усилий, которые положены на лечение сифилиса, были положены на искоренение разврата, сифилиса давно не было бы и помину.

А то усилия употреблены не на искоренение разврата, а на поощрение его, на обеспечение безопасности разврата. Ну, да не в том дело. Дело в том, что со мной, да и с 0,9, если не больше, не только нашего сословия, но всех, даже крестьян, случилось то ужасное дело, что я пал не потому, что я подпал естественному соблазну прелести известной женщины. Нет, никакая женщина не соблазнила меня, а я пал потому, что окружающая меня среда видела в том, что было падение, одни — самое законное и полезное для здоровья отправление, другие — самую естественную и не только простительную, но даже невинную забаву для молодого человека. Я и не понимал, что тут есть падение, я просто начал предаваться тем отчасти удовольствиям, отчасти потребностям, которые свойственны, как мне было внушено, известному возрасту, начал предаваться этому разврату, как я начал пить, курить. А все-таки в этом первом падении было что-то особенное и трогательное. Помню, мне тотчас же, там же, не выходя из комнаты, сделалось грустно, грустно, так что хотелось плакать, плакать о погибели своей невинности, о навеки погубленном отношении к женщине. Да-с, естественное, простое отношение к женщине было погублено навеки. Чистого отношения к женщине уж у меня с тех пор не было и не могло быть. Я стал тем, что называют блудником. А быть блудником есть физическое состояние, подобное состоянию морфиниста, пьяницы, курильщика. Как морфинист, пьяница, курильщик уже не нормальный человек, так и человек, познавший нескольких женщин для своего удовольствия, уже не нормальный, а испорченный навсегда человек — блудник. Как пьяницу и морфиниста можно узнать тотчас же по лицу, по приемам, точно так же и блудника. Блудник может воздерживаться, бороться; но простого, ясного, чистого отношения к женщине, братского, у него уже никогда не будет. По тому, как он взглянет, оглядит молодую женщину, сейчас можно узнать блудника. И я стал блудником и остался таким, и это-то и погубило меня.

V

— Да, так-с. Потом пошло дальше, дальше, были всякого рода отклонения. Боже мой! как вспомню я все мои мерзости в этом отношении, ужас берет! О себе, над которым товарищи смеялись за мою так называемую невин-

ность, я так вспоминаю. А как послышишь о золотой молодежи, об офицерах, о парижанах! И все эти господа и я, когда мы, бывало, тридцатилетние развратники, имеющие на душе сотни самых разнообразных ужасных преступлений относительно женщин, когда мы, тридцатилетние развратники, входим чисто-начисто вымытые, выбритые, надушенные, в чистом белье, во фраке или в мундире в гостиную или на бал — эмблема чистоты — прелесть!

Ведь вы подумайте, что бы должно быть и что есть. Должно бы быть то, что, когда в общество к моей сестре, дочери вступит такой господин, я, зная его жизнь, должен подойти к нему, отозвать в сторону и тихо сказать: «Голубчик, ведь я знаю, как ты живешь, как проводишь ночи и с кем. Тебе здесь не место. Здесь чистые, невинные девушки. Уйди!» Так должно бы быть; а есть то, что, когда такой господин является и танцует, обнимая ее, с моей сестрой, дочерью, мы ликуем, если он богат и с связями. Авось он удостоит после Ригольбош и мою дочь. Если даже и остались следы, нездоровье,— ничего. Нынче хорошо лечат. Как же, я знаю, несколько высшего света девушек выданы родителями с восторгом за сифилитиков. О! о мерзость! Да придет же время, что обличится эта мерзость и ложь!

И он несколько раз издал свои странные звуки и взялся за чай. Чай был страшно крепкий, не было воды, чтобы его разбавить. Я чувствовал, что меня волновали особенно выпитые мною два стакана. Должно быть, и на него действовал чай, потому что он становился все возбужденнее и возбужденнее. Голос его становился все более и более певучим и выразительным. Он беспрестанно менял позы, то снимал шапку, то надевал ее, и лицо его странно изменялось в той полутьме, в которой мы сидели.

— Ну, вот так я и жил до тридцати лет, ни на минуту не оставляя намерения жениться и устроить себе самую возвышенную, чистую семейную жизнь, и с этой целью приглядывался к подходящей для этой цели девушке,— продолжал он.— Я гваздался в гное разврата и вместе с тем разглядывал девушек, по своей чистоте достойных меня. Многих я забраковывал именно потому, что они были недостаточно чисты для меня; наконец я нашел такую, которую счел достойной себя. Это была одна из двух дочерей когда-то очень богатого, но разорившегося пензинского помещика.

В один вечер, после того как мы ездили в лодке и ночью, при лунном свете, ворочались домой и я сидел рядом с ней и любовался ее стройной фигурой, обтянутой джерси, и ее локонами, я вдруг решил, что это она. Мне показалось в этот вечер, что она понимает все, все, что я чувствую и думаю, а что чувствую я и думаю самые возвышенные вещи. В сущности же, было только то, что джерси было ей особенно к лицу, также и локоны, и что после проведенного в близости с нею дня захотелось еще большей близости.

Удивительное дело, какая полная бывает иллюзия того, что красота есть добро. Красивая женщина говорит глупости, ты слушаешь и не видишь глупости, а видишь умное. Она говорит, делает гадости, и ты видишь что-то милое. Когда же она не говорит ни глупостей, ни гадостей, а красива, то сейчас уверяешься, что она чудо как умна и нравственна.

Я вернулся в восторге домой и решил, что она верх нравственного совершенства и что потому-то она достойна быть моей женой, и на другой день сделал предложение.

Ведь что это за путаница! Из тысячи женящихся мужчин не только в нашем быту, но, к несчастью, и в народе, едва ли есть один, который бы не был женат уже раз десять, а то и сто или тысячу, как Дон-Жуан, прежде брака. (Есть теперь, правда, я слышу и наблюдаю, молодые люди чистые, чувствующие и знающие, что это не шутка, а великое дело. Помоги им бог! Но в мое время не было ни одного такого на десять тысяч.) И все знают это и притворяются, что не знают. Во всех романах до подробностей описаны чувства героев, пруды, кусты, около которых они ходят; но, описывая их великую любовь к какой-нибудь девице, ничего не пишется о том, что было с ним, с интересным героем, прежде: ни слова о его посещениях домов, о горничных, кухарках, чужих женах. Если же есть такие неприличные романы, то их не дают в руки, главное, тем, кому нужнее всего это знать,— девушкам. Сначала притворяются перед девушками в том, что того распутства, которое наполняет половину жизни наших городов и деревень даже, что этого распутства совсем нет. Потом так приучаются к этому притворству, что наконец, как англичане, сами начинают искренно верить, что мы все нравственные люди и живем в нравственном мире. Девушки же, те, бедные, верят в это совсем серьезно. Так верила и моя несчастная жена. Помню, как,

уже будучи женихом, я показал ей свой дневник, из которого она могла узнать хотя немного мое прошедшее, главное — про последнюю связь, которая была у меня и о которой она могла узнать от других и про которую я потому-то и чувствовал необходимость сказать ей. Помню ее ужас, отчаяние и растерянность, когда она узнала и поняла. Я видел, что она хотела бросить меня тогда. И отчего она не бросила!

Он издал свой звук, помолчал и отпил еще глоток чаю.

VI

— Нет, впрочем, так лучше, так лучше! — вскрикнул он.— Поделом мне! Но не в том дело. Я хотел сказать, что обмануты тут ведь только одни несчастные девушки. Матери же знают это, особенно матери, воспитанные своими мужьями, знают это прекрасно. И притворяясь, что верят в чистоту мужчин, они на деле действуют совсем иначе. Они знают, на какую удочку ловить мужчин для себя и для своих дочерей.

Ведь мы, мужчины, только не знаем, и не знаем потому, что не хотим знать, женщины же знают очень хорошо, что самая возвышенная, поэтическая, как мы ее называем, любовь зависит не от нравственных достоинств, а от физической близости и притом прически, цвета, покроя платья. Скажите опытной кокетке, задавшей себе задачу пленить человека, чем она скорее хочет рисковать: тем, чтобы быть в присутствии того, кого она прельщает, изобличенной во лжи, жестокости, даже распутстве, или тем, чтобы показаться при нем в дурно сшитом и некрасивом платье,— всякая всегда предпочтет первое. Она знает, что наш брат все врет о высоких чувствах — ему нужно только тело, и потому он простит все гадости, а уродливого, безвкусного, дурного тона костюма не простит. Кокетка знает это сознательно, но всякая невинная девушка знает это бессознательно, как знают это животные.

От этого эти джерси мерзкие, эти нашлепки на зады, эти голые плечи, руки, почти груди. Женщины, особенно прошедшие мужскую школу, очень хорошо знают, что разговоры о высоких предметах — разговорами, а что нужно мужчине тело и все то, что выставляет его в самом заманчивом свете; и это самое и делается. Ведь если

откинуть только ту привычку к этому безобразию, которая стала для нас второй природой, а взглянуть на жизнь наших высших классов как она есть, со всем ее бесстыдством, ведь это один сплошной дом терпимости. Вы не согласны? Позвольте, я докажу,— заговорил он, перебивая меня.— Вы говорите, что женщины в нашем обществе живут иными интересами, чем женщины в домах терпимости, а я говорю, что нет, и докажу. Если люди различны по целям жизни, по внутреннему содержанию жизни, то это различие непременно отразится и во внешности, и внешность будет различная. Но посмотрите на тех, на несчастных презираемых, и на самых высших светских барынь: те же наряды, те же фасоны, те же духи, то же оголение рук, плеч, грудей и обтягивание выставленного зада, та же страсть к камушкам, к дорогим, блестящим вещам, те же увеселения, танцы и музыка, пенье. Как те заманивают всеми средствами, так и эти. Никакой разницы. Строго определяя, надо только сказать, что проститутки на короткие сроки — обыкновенно презираемы, проститутки на долгие — уважаемы.

VII

— Да, так вот меня эти джерси, и локоны, и нашлепки поймали. Поймать же меня легко было, потому что я воспитан был в тех условиях, при которых, как огурцы на парах, выгоняются влюбляющиеся молодые люди. Ведь наша возбуждающая излишняя пища при совершенной физической праздности есть не что иное, как систематическое разжигание похоти. Удивляйтесь не удивляйтесь, а так. Ведь я сам этого до последнего времени ничего не видал. А теперь увидал. От этого-то меня и мучает то, что никто этого не знает, а говорят такие глупости, как вон та барыня.

Да-с, около меня нынче весной работали мужики на насыпи железной дороги. Обыкновенная пища малого из крестьян — хлеб, квас, лук; он жив, бодр, здоров, работает легкую полевую работу. Он поступает на железную дорогу, и харчи у него — каша и один фунт мяса. Но зато он и выпускает это мясо на шестнадцатичасовой работе с тачкой в тридцать пудов. И ему как раз так. Ну а мы, поедающие по два фунта мяса, дичи и всякие горячительные яства и напитки,— куда это идет? На чувственные

эксессы. И если идет туда, спасительный клапан открыт, все благополучно; но прикройте клапан, как я прикрывал его временно, и тотчас же получается возбуждение, которое, проходя через призму нашей искусственной жизни, выразится влюбленьем самой чистой воды, иногда даже платоническим. И я влюбился, как все влюбляются. И все было налицо: и восторги, и умиленье, и поэзия. В сущности же, эта моя любовь была произведением, с одной стороны, деятельности мамаши и портних, с другой — избытка поглощавшейся мной пищи при праздной жизни. Не будь, с одной стороны, катаний на лодках, не будь портних с талиями и т. п., а будь моя жена одета в нескладный капот и сиди она дома, а будь я, с другой стороны, в нормальных условиях человека, поглощающего пищи столько, сколько нужно для работы, и будь у меня спасительный клапан открыт,— а то он случайно прикрылся как-то на это время,— я бы не влюбился, и ничего бы этого не было.

VIII

— Ну, а тут так подошло: и мое состояние, и платье хорошо, и катанье на лодках удалось. Двадцать раз не удавалось, а тут удалось. Вроде как капкан. Я не смеюсь. Ведь теперь браки так и устраиваются, как капканы. Ведь естественно что? Девка созрела, надо ее выдать. Кажется, как просто, когда девка не урод и есть мужчины, желающие жениться. Так и делалось в старину. Вошла в возраст дева, родители устраивали брак. Так делалось, делается во всем человечестве: у китайцев, индейцев, магометан, у нас в народе; так делается в роде человеческом по крайней мере в 0,99 его части. Только в 0,01 или меньше нас, распутников, нашли, что это нехорошо, и выдумали новое. Да что же новое-то? А новое то, что девы сидят, а мужчины, как на базар, ходят и выбирают. А девки ждут и думают, но не смеют сказать: «Батюшка, меня! нет, меня. Не ее, а меня: у меня, смотри, какие плечи и другое». А мы, мужчины, похаживаем, поглядываем и очень довольны. «Знаю, мол, я не попадусь». Похаживают, посматривают, очень довольны, что это для них все устроено. Глядь, не поберегся,— хлоп, тут и есть!

— Так как же быть? — сказал я.— Что же, женщине делать предложение?

— Да уж я не знаю как; только если равенство, так равенство. Если нашли, что сватовство унизительно, то уж это в тысячу раз больше. Там права и шансы равны, а здесь женщина или раба на базаре, или привада в капкан. Скажите какой-нибудь матушке или самой девушке правду, что она только тем и занята, чтобы ловить жениха. Боже, какая обида! А ведь они все только это и делают, и больше им делать нечего. И что ведь ужасно — это видеть занятых этим иногда совершенно молоденьких бедных невинных девушек. И опять, если бы это открыто делалось, а то все обман. «Ах, происхождение видов, как это интересно! Ах, Лиза очень интересуется живописью! А вы будете на выставке? Как поучительно! А на тройках, а спектакль, а симфония? Ах, как замечательно! Моя Лиза без ума от музыки. А вы почему не разделяете эти убеждения? А на лодках!..» А мысль одна: «Возьми, возьми меня, мою Лизу! Нет, меня! Ну, хоть попробуй!..» О мерзость! ложь! — заключил он и, допив последний чай, принялся убирать чашки и посуду.

IX

— Да вы знаете,— начал он, укладывая в мешок чай и сахар, — то властованье женщин, от которого страдает мир, все это происходит от этого.

— Как властованье женщин? — сказал я.— Права, преимущества прав на стороне мужчин.

— Да, да, это, это самое, — перебил он меня. — Это самое, то, что я хочу сказать вам, это-то и объясняет то необыкновенное явление, что, с одной стороны, совершенно справедливо то, что женщина доведена до самой низкой степени унижения, с другой стороны — что она властвует. Точно так же как евреи, как они своей денежной властью отплачивают за свое угнетение, так и женщины. «А, вы хотите, чтобы мы были только торговцы. Хорошо, мы, торговцы, завладеем вами», — говорят евреи. «А, вы хотите, чтобы мы были только предмет чувственности, хорошо, мы, как предмет чувственности, и поработим вас», — говорят женщины. Не в том отсутствие прав женщины, что она не может вотировать или быть судьей — заниматься этими делами не составляет никаких прав,— а в том, чтобы в половом общении быть равной мужчине, иметь право пользоваться мужчиной

и воздерживаться от него по своему желанию, по своему желанию избирать мужчину, а не быть избираемой. Вы говорите, что это безобразно. Хорошо. Тогда чтоб и мужчина не имел этих прав. Теперь же женщина лишена того права, которое имеет мужчина. И вот, чтоб возместить это право, она действует на чувственность мужчины, через чувственность покоряет его так, что он только формально выбирает, а в действительности выбирает она. А раз овладев этим средством, она уже злоупотребляет им и приобретает страшную власть над людьми.

— Да где же эта особенная власть? — спросил я.

— Где власть? Да везде, во всем. Пройдите в каждом большом городе по магазинам. Миллионы тут, не оценишь положенных туда трудов людей, а посмотрите, в 0,9 этих магазинов есть ли хоть что-нибудь для мужского употребления? Вся роскошь жизни требуется и поддерживается женщинами. Сочтите все фабрики. Огромная доля их работает бесполезные украшения, экипажи, мебели, игрушки на женщин. Миллионы людей, поколения рабов гибнут в этом каторжном труде на фабриках только для прихоти женщин. Женщины, как царицы, в плену рабства и тяжелого труда держат 0,9 рода человеческого. А все оттого, что их унизили, лишили их равных прав с мужчинами. И вот они мстят действием на нашу чувственность, уловлением нас в свои сети. Да, все от этого. Женщины устроили из себя такое орудие воздействия на чувственность, что мужчина не может спокойно обращаться с женщиной. Как только мужчина подошел к женщине, так и подпал под ее дурман и ошалел. И прежде мне всегда бывало неловко, жутко, когда я видал разряженную даму в бальном платье, но теперь мне прямо страшно, я прямо вижу нечто опасное для людей и противузаконное, и хочется крикнуть полицейского, звать защиту против опасности, потребовать того, чтобы убрали, устранили опасный предмет.

Да, вы смеетесь! — закричал он на меня, — а это вовсе не шутка. Я уверен, что придет время, и, может быть, очень скоро, что люди поймут это и будут удивляться, как могло существовать общество, в котором допускались такие нарушающие общественное спокойствие поступки, как те прямо вызывающие чувственность украшения своего тела, которые допускаются для женщин в нашем обществе. Ведь это все равно, что расставить по гуляньям,

по дорожкам всякие капканы, — хуже! Отчего азартная игра запрещена, а женщины в проституточных, вызывающих чувственность нарядах не запрещены? Они опаснее в тысячу раз!

X

— Ну вот, так-то и меня поймали. Я был то, что называется влюблен. Я не только представлял ее себе верхом совершенства, я и себя за это время моего жениховства представлял тоже верхом совершенства. Ведь нет того негодяя, который, поискав, не нашел бы негодяев в каком-нибудь отношении хуже себя и который поэтому не мог бы найти повода гордиться и быть довольным собой. Так и я: я женился не на деньгах — корысть была ни при чем, не так, как большинство моих знакомых женились из-за денег или связей,— я был богат, она бедна. Это одно. Другое, чем я гордился, было то, что другие женились с намерением вперед продолжать жить в таком же многоженстве, в каком они жили до брака; я же имел твердое намерение держаться после свадьбы единобрачия, и не было пределов моей гордости перед собой за это. Да, свинья я был ужасная и воображал себе, что я ангел.

Время, пока я был женихом, продолжалось недолго. Без стыда теперь не могу вспомнить это время жениховства! Какая гадость! Ведь подразумевается любовь духовная, а не чувственная. Ну, если любовь духовная, духовное общение, то словами, разговорами, беседами должно бы выразиться это духовное общение. Ничего же этого не было. Говорить бывало, когда мы останемся одни, ужасно трудно. Какая-то это была сизифова работа. Только выдумаешь, что сказать, скажешь, опять надо молчать, придумывать. Говорить не о чем было. Все, что можно было сказать о жизни, ожидавшей нас, устройстве, планах, было сказано, а дальше что? Ведь если бы мы были животные, то так бы и знали, что говорить нам не полагается; а тут, напротив, говорить надо и нечего, потому что занимает не то, что разрешается разговорами. А при этом еще этот безобразный обычай конфет, грубого обжорства сладким и все эти мерзкие приготовления к свадьбе: толки о квартире, спальне, постелях, капотах, халатах, белье, туалетах. Ведь вы поймите, что если женятся по Домострою, как говорил этот старик, то пуховики, приданое, постель — все это только подробности, сопутствующие та-

инству. Но у нас, когда из десяти брачущихся едва ли есть один, который не только не верит в таинство, но не верит даже в то, что то, что он делает, есть некоторое обязательство, когда из ста мужчин едва ли один есть уже неженатый прежде и из пятидесяти один, который вперед не готовился бы изменять своей жене при всяком удобном случае, когда большинство смотрит на поездку в церковь только как на особенное условие обладания известной женщиной,— подумайте, какое ужасное значение получают при этом все эти подробности. Выходит, что дело-то все только в этом. Выходит что-то вроде продажи. Развратнику продают невинную девушку и обставляют эту продажу известными формальностями.

XI

— Так все женятся, так и я женился, и начался хваленый медовый месяц. Ведь название-то одно какое подлое! — с злобой прошипел он.— Я ходил раз в Париже по всем зрелищам и зашел смотреть по вывеске женщину с бородой и водяную собаку. Оказалось, что это было больше ничего, как мужчина декольте в женском платье, и собака, засунутая в моржовую кожу и плавающая в ванне с водой. Все было очень мало интересно; но когда я выходил, то меня учтиво провожал показыватель и, обращаясь к публике у входа, указывая на меня, говорил: «Вот спросите господина, стоит ли смотреть? Заходите, заходите, по франку с человека!» Мне совестно было сказать, что смотреть не стоит, и показывающий, вероятно, рассчитывал на это. Так, вероятно, бывает и с теми, которые испытали всю мерзость медового месяца и не разочаровывают других. Я тоже не разочаровывал никого, но теперь не вижу, почему не говорить правду. Даже считаю, что необходимо говорить об этом правду. Неловко, стыдно, гадко, жалко и, главное, скучно, до невозможности скучно! Это нечто вроде того, что я испытывал, когда приучался курить, когда меня тянуло рвать и текли слюни, а я глотал их и делал вид, что мне очень приятно. Наслажденье от куренья, так же как и от этого, если будет, то будет потом: надо, чтоб супруги воспитали в себе этот порок, для того чтоб получить от него наслажденье.

— Как порок? — сказал я.— Ведь вы говорите о самом естественном человеческом свойстве.

— Естественном? — сказал он.— Естественном? Нет, я скажу вам напротив, что я пришел к убеждению, что это не... естественно. Да, совершенно не... естественно. Спросите у детей, спросите у неразвращенной девушки. Моя сестра очень молодая вышла замуж за человека вдвое старше ее и развратника. Я помню, как мы были удивлены в ночь свадьбы, когда она, бледная и в слезах, убежала от него и, трясясь всем телом, говорила, что она ни за что, ни за что, что она не может даже сказать того, чего он хотел от нее.

Вы говорите: естественно! Естественно есть. И есть радостно, легко, приятно и не стыдно с самого начала; здесь же и мерзко, и стыдно, и больно. Нет, это неестественно! И девушка неиспорченная, я убедился, всегда ненавидит это.

— Как же,— сказал я,— как же бы продолжался род человеческий?

— Да вот как бы не погиб род человеческий! — сказал он злобно-иронически, как бы ожидая этого знакомого ему и недобросовестного возражения.— Проповедуй воздержание от деторождения во имя того, чтобы английским лордам всегда можно было обжираться,— это можно. Проповедуй воздержание от деторождения во имя того, чтобы больше было приятности, — это можно; а заикнись только о том, чтобы воздерживаться от деторождения во имя нравственности, — батюшки, какой крик: род человеческий как бы не прекратился оттого, что десяток-другой хочет перестать быть свиньями. Впрочем, извините. Мне неприятен этот свет, можно закрыть? — сказал он, указывая на фонарь.

Я сказал, что мне все равно, и тогда он поспешно, как все, что он делал, встал на сиденье и задернул шерстяной занавеской фонарь.

— Все-таки,— сказал я,— если бы все признали это для себя законом, род человеческий прекратился бы.

Он не сейчас ответил.

— Вы говорите, род человеческий как будет продолжаться? — сказал он, усевшись опять против меня и широко раскрыв ноги и низко опершись на них локтями. — Зачем ему продолжаться, роду-то человеческому? — сказал он.

— Как зачем? иначе бы нас не было.

— Да зачем нам быть?

— Как зачем? Да чтобы жить.

— А жить зачем? Если нет цели никакой, если жизнь для жизни нам дана, незачем жить. И если так, то Шопенгауэры и Гартманы, да и все буддисты совершенно правы. Ну, а если есть цель жизни, то ясно, что жизнь должна прекратиться, когда достигнется цель. Так оно и выходит,— говорил он с видимым волнением, очевидно очень дорожа своей мыслью.— Так оно и выходит. Вы заметьте! если цель человечества — благо, добро, любовь, как хотите; если цель человечества есть то, что сказано в пророчествах, что все люди соединятся воедино любовью, что раскуют копья на серпы и так далее, то ведь достижению этой цели мешает что? Мешают страсти. Из страстей самая сильная, и злая, и упорная — половая, плотская любовь, и потому если уничтожатся страсти и последняя, самая сильная из них, плотская любовь, то пророчество исполнится, люди соединятся воедино, цель человечества будет достигнута, и ему незачем будет жить. Пока же человечество живет, перед ним стоит идеал и, разумеется, идеал не кроликов или свиней, чтобы расплодиться как можно больше, и не обезьян или парижан, чтобы как можно утонченнее пользоваться удовольствиями половой страсти, а идеал добра, достигаемый воздержанием и чистотою. К нему всегда стремились и стремятся люди. И посмотрите, что выходит.

Выходит, что плотская любовь — это спасительный клапан. Не достигло теперь живущее поколение человечества цели, то не достигло оно только потому, что в нем есть страсти, и сильнейшая из них — половая. А есть половая страсть, и есть новое поколение, стало быть, и есть возможность достижения цели в следующем поколении. Не достигло и то, опять следующее, и так до тех пор, пока не достигнется цель, не исполнится пророчество, не соединятся люди воедино. А то ведь что бы вышло? Если допустить, что бог сотворил людей для достижения известной цели, и сотворил бы их или смертными, без половой страсти, или вечными. Если бы они были смертны, но без половой страсти, то вышло бы что? То, что они пожили бы и, не достигнув цели, умерли бы; а чтобы достигнуть цели, богу надо бы сотворять новых людей. Если же бы они были вечны, то положим (хотя это и труднее тем же людям, а не новым поколениям исправлять ошибки и приближаться к совершенству), положим, они бы

достигли после многих тысяч лет цели, но тогда зачем же они? Куда ж их деть? Именно так, как есть, лучше всего... Но, может быть, вам не нравится эта форма выражения, и вы эволюционист? То и тогда выходит то же самое. Высшая порода животных — людская, для того чтобы удержаться в борьбе с другими животными, должна сомкнуться воедино, как рой пчел, а не бесконечно плодиться; должна так же, как пчелы, воспитывать бесполых, то есть опять должна стремиться к воздержанию, а никак не к разжиганию похоти, к чему направлен весь строй нашей жизни.— Он помолчал.— Род человеческий прекратится? Да неужели кто-нибудь, как бы он ни смотрел на мир, может сомневаться в этом? Ведь это так же несомненно, как смерть. Ведь по всем учениям церковным придет конец мира, и по всем учениям научным неизбежно то же самое. Так что же странного, что по учению нравственному выходит то же самое?

Он долго молчал после этого, выпил еще чаю, докурил папироску и, достав из мешка новые, положил их в свою старую запачканную папиросочницу.

— Я понимаю вашу мысль, — сказал я, — нечто подобное утверждают шекеры.

— Да, да, и они правы,— сказал он.— Половая страсть, как бы она ни была обставлена, есть зло, страшное зло, с которым надо бороться, а не поощрять, как у нас. Слова Евангелия о том, что смотрящий на женщину с вожделением уже прелюбодействовал с нею, относятся не к одним чужим женам, а именно — и главное — к своей жене.

XII

— В нашем же мире как раз обратное: если человек еще думал о воздержании, будучи холостым, то, женившись, всякий считает, что теперь воздержание уже не нужно. Ведь эти отъезды после свадьбы, уединения, в которые с разрешения родителей отправляются молодые,— ведь это не что иное, как разрешение на разврат. Но нравственный закон сам за себя отплачивает, когда нарушаешь его. Сколько я ни старался устроить себе медовый месяц, ничего не выходило. Все время было гадко, стыдно и скучно. Но очень скоро стало еще мучительно тяжело. Началось это очень скоро. Кажется, на третий или на четвертый день я застал жену скучною, стал спрашивать,

о чем, стал обнимать ее, что, по-моему, было все, чего она могла желать, а она отвела мою руку и заплакала. О чем? Она не умела сказать. Но ей было грустно, тяжело. Вероятно, ее измученные нервы подсказали ей истину о гадости наших сношений; но она не умела сказать. Я стал допрашивать, она что-то сказала, что ей грустно без матери. Мне показалось, что это неправда. Я стал уговаривать ее, промолчав о матери. Я не понял, что ей просто было тяжело, а мать была только отговорка. Но она тотчас же обиделась за то, что я умолчал о матери, как будто не поверив ей. Она сказала мне, что видит, что я не люблю ее. Я упрекнул ее в капризе, и вдруг лицо ее совсем изменилось, вместо грусти выразилось раздражение, и она самыми ядовитыми словами начала упрекать меня в эгоизме и жестокости. Я взглянул на нее. Все лицо ее выражало полнейшую холодность и враждебность, ненависть почти ко мне. Помню, как я ужаснулся, увидав это. «Как? что? — думал я. — Любовь — союз душ, и вместо этого вот что! Да не может быть, да это не она!» Я попробовал было смягчить ее, но наткнулся на такую непреодолимую стену холодной, ядовитой враждебности, что не успел я оглянуться, как раздражение захватило и меня, и мы наговорили друг другу кучу неприятностей. Впечатление этой первой ссоры было ужасно. Я называл это ссорой, но это была не ссора, а это было только обнаружение той пропасти, которая в действительности была между нами. Влюбленность истощилась удовлетворением чувственности, и остались мы друг против друга в нашем действительном отношении друг к другу, то есть два совершенно чуждые друг другу эгоиста, желающие получить себе как можно больше удовольствия один через другого. Я называл ссорой то, что произошло между нами; но это была не ссора, а это было только вследствие прекращения чувственности обнаружившееся наше действительное отношение друг к другу. Я не понимал, что это холодное и враждебное отношение было нашим нормальным отношением, не понимал этого потому, что это враждебное отношение в первое время очень скоро опять закрылось от нас вновь поднявшеюся перегонной чувственностью, то есть влюблением.

И я подумал, что мы поссорились и помирились и что больше этого уже не будет. Но в этот же первый медовый месяц очень скоро наступил опять период пресыщения, опять мы перестали быть нужными друг другу, и

произошла опять ссора. Вторая ссора эта поразила меня еще больнее, чем первая. Стало быть, первая не была случайностью, а это так и должно быть и так и будет, думал я. Вторая ссора тем более поразила меня, что она возникла по самому невозможному поводу. Что-то такое из-за денег, которых я никогда не жалел и уж никак не мог жалеть для жены. Помню только, что она так как-то повернула дело, что какое-то мое замечание оказалось выражением моего желания властвовать над ней через деньги, на которых я утверждал будто бы свое исключительное право, что-то невозможное, глупое, подлое, несвойственное ни мне, ни ей. Я раздражился, стал упрекать ее в неделикатности, она меня,— и пошло опять. И в словах и в выражении ее лица и глаз я увидал опять ту же, прежде так поразившую меня, жестокую, холодную враждебность. С братом, с приятелями, с отцом, я помню, я ссорился, но никогда между нами не было той особенной, ядовитой злобы, которая была тут. Но прошло несколько времени, и опять эта взаимная ненависть скрылась под влюбленностью, то есть чувственностью, и я еще утешался мыслью, что эти две ссоры были ошибки, которые можно исправить. Но вот наступила третья, четвертая ссора, и я понял, что это не случайность, а что это так должно быть, так и будет, и я ужаснулся тому, что предстоит мне. При этом мучила меня еще та ужасная мысль, что это один я только так дурно, непохоже на то, что я ожидал, живу с женой, тогда как в других супружествах этого не бывает. Я не знал еще тогда, что это общая участь, но что все так же, как я, думают, что это их исключительное несчастие, скрывают это исключительное, постыдное свое несчастье не только от других, но и от самих себя, сами себе не признаются в этом.

Началось с первых дней и продолжалось все время, и все усиливаясь и ожесточаясь. В глубине души я с первых же недель почувствовал, что я *попался*, что вышло не то, чего я ожидал, что женитьба не только не счастье, но нечто очень тяжелое, но я, как и все, не хотел признаться себе (я бы не признался себе и теперь, если бы не конец) и скрывал не только от других, но от себя. Теперь я удивляюсь, как я не видал своего настоящего положения. Его можно бы уже видеть потому, что ссоры начинались из таких поводов, что невозможно бывало после, когда они кончались, вспомнить из-за чего. Рассудок не поспевал подделать под постоянно существующую

враждебность друг к другу достаточных поводов. Но еще поразительнее была недостаточность предлогов примиренья. Иногда бывали слова, объяснения, даже слезы, но иногда... ох! гадко и теперь вспомнить — после самых жестоких слов друг другу вдруг молча взгляды, улыбки, поцелуи, объятия... Фу, мерзость! Как я мог не видеть всей гадости этого тогда...

XIII

Взошли два пассажира и стали усаживаться на дальней лавочке. Он молчал, пока они усаживались, но как только они затихли, он продолжал, очевидно ни на минуту не теряя нити своей мысли.

— Ведь что, главное, погано,— начал он,— предполагается в теории, что любовь есть нечто идеальное, возвышенное, а на практике любовь ведь есть нечто мерзкое, свиное, про которое и говорить и вспоминать мерзко и стыдно. Ведь недаром же природа сделала то, что это мерзко и стыдно. А если мерзко и стыдно, то так и надо понимать. А тут, напротив, люди делают вид, что мерзкое и стыдное прекрасно и возвышенно. Какие были первые признаки моей любви? А те, что я предавался животным излишествам, не только не стыдясь их, но почему-то гордясь возможности этих физических излишеств, не думая при том нисколько не только о ее духовной жизни, но даже и об ее физической жизни. Я удивлялся, откуда бралось наше озлобление друг к другу, а дело было совершенно ясно: озлобление это было не что иное, как протест человеческой природы против животного, которое подавляло ее.

Я удивлялся нашей ненависти друг к другу. А ведь это и не могло быть иначе. Эта ненависть была не что иное, как ненависть взаимная сообщников преступления — и за подстрекательство и за участие в преступлении. Как же не преступление, когда она, бедная, забеременела в первый же месяц, а наша свиная связь продолжалась? Вы думаете, что я отступаю от рассказа? Нисколько! Это я все рассказываю вам, как я убил жену. На суде у меня спрашивают, чем, как я убил жену. Дурачье! думают, что я убил ее тогда, ножом, пятого октября. Я не тогда убил ее, а гораздо раньше. Так точно, как они теперь убивают, все, все...

— Да чем же? — спросил я.

— Вот это-то и удивительно, что никто не хочет знать того, что так ясно и очевидно, того, что должны знать и проповедовать доктора, но про что они молчат. Ведь дело ужасно просто. Мужчина и женщина сотворены так, как животное, так что после плотской любви начинается беременность, потом кормление, такие состояния, при которых для женщины, так же как и для ее ребенка, плотская любовь вредна. Женщин и мужчин равное число. Что же из этого следует? Кажется, ясно. И не нужно большой мудрости, чтобы сделать из этого тот вывод, который делают животные, то есть воздержание. Но нет. Наука дошла до того, что нашла каких-то лейкоцитов, которые бегают в крови, и всякие ненужные глупости, а этого не могла понять. По крайней мере, не слыхать, чтобы она говорила это.

И вот для женщины только два выхода: один — сделать из себя урода, уничтожить или уничтожать в себе по мере надобности способность быть женщиной, то есть матерью, для того чтобы мужчина мог спокойно и постоянно наслаждаться; или другой выход, даже не выход, а простое, грубое, прямое нарушение законов природы, который совершается во всех так называемых честных семьях. А именно тот, что женщина, наперекор своей природе, должна быть одновременно и беременной, и кормилицей, и любовницей, должна быть тем, до чего не спускается ни одно животное. И сил не может хватить. И оттого в нашем быту истерики, нервы, а в народе — кликуши. Вы заметьте, у девушек, у чистых, нет кликушества, только у баб, и у баб, живущих с мужьями. Так у нас. Точно так же и в Европе. Все больницы истеричных полны женщин, нарушающих закон природы. Но ведь кликуши и пациентки Шарко — это совсем увечные, а полукалек женщин полон мир. Ведь только подумать, какое великое дело совершается в женщине, когда она понесла плод или когда кормит родившегося ребенка. Растет то, что продолжает, заменяет нас. И это-то святое дело нарушается — чем же? — страшно подумать! И толкуют о свободе, правах женщин. Это все равно, что людоеды откармливали бы людей пленных на еду и вместе с тем уверяли бы, что они заботятся о их правах и свободе.

Все это было ново и поразило меня.

— Так как же? Если так, то,— сказал я,— выходит, что любить жену можно раз в два года, а мужчина...

— Мужчине необходимо,— подхватил он.— Опять милые жрецы науки уверили всех. Я бы им, этим волхвам, велел исполнять должность тех женщин, которые, по их мнению, необходимы мужчинам, что бы они тогда заговорили? Внушите человеку, что ему необходима водка, табак, опиум, и все это будет необходимо. Выходит, что бог не понимал того, что нужно, и потому, не спросившись у волхвов, дурно устроил. Извольте видеть, дело не сходится. Мужчине нужно и необходимо, так решили они, удовлетворять свою похоть, а тут замешалось деторождение и кормление детей, мешающие удовлетворению этой потребности. Как же быть-то? Обратиться к волхвам, они устроят. Они и придумали. Ох, когда это развенчаются эти волхвы с своими обманами? Пора! Дошло уже вот докуда, с ума сходят и стреляются, и все от этого. Да как же иначе? Животные как будто знают, что потомство продолжает их род, и держатся известного закона в этом отношении. Только человек этого знать не знает и не хочет. И озабочен только тем, чтобы иметь как можно больше удовольствия. И это кто же? Царь природы, человек. Ведь вы заметьте, животные сходятся только тогда, когда могут производить потомство, а поганый царь природы — всегда, только бы приятно. И мало того, возводит это обезьянье занятие в перл создания, в любовь. И во имя этой любви, то есть пакости, губит — что же? — половину рода человеческого. Из всех женщин, которые должны бы быть помощницами в движении человечества к истине и благу, он во имя своего удовольствия делает не помощниц, но врагов. Посмотрите, что тормозит повсюду движение человечества вперед? Женщины. А отчего они такие? А только от этого. Да-с, да-с, — повторил он несколько раз и стал шевелиться, доставать папиросы и курить, очевидно желая несколько успокоиться.

XIV

— Вот такой-то свиньей я и жил,— продолжал он опять прежним тоном.— Хуже же всего было то, что, живя этой скверной жизнью, я воображал, что потому, что я не соблазняюсь другими женщинами, что поэтому я живу честной семейной жизнью, что я нравственный человек и что я ни в чем не виноват, а что если у нас происходят ссоры, то виновата она, ее характер.

Виновата же была, разумеется, не она. Она была такая же, как и все, как большинство. Воспитана она была, как того требует положение женщины в нашем обществе, и поэтому как и воспитываются все без исключения женщины обеспеченных классов, и как они не могут не воспитываться. Толкуют о каком-то новом женском образовании. Всё пустые слова: образование женщины точно такое, какое должно быть при существующем не притворном, а истинном всеобщем взгляде на женщину.

И образование женщины будет всегда соответствовать взгляду на нее мужчины. Ведь все мы знаем, как мужчина смотрит на женщину: «Wein, Weiber und Gesang» [1], и так в стихах поэты говорят. Возьмите всю поэзию, всю живопись, скульптуру, начиная с любовных стихов и голых Венер и Фрин, вы видите, что женщина есть орудие наслаждения; она такова на Трубе, и на Грачевке, и на придворном бале. И заметьте хитрость дьявола: ну, наслажденье, удовольствие, так так бы и знать, что удовольствие, что женщина сладкий кусок. Нет, сначала рыцари уверяли, что они боготворят женщину (боготворят, а все-таки смотрят на нее как на орудие наслаждения). Теперь уже уверяют, что уважают женщину. Одни уступают ей место, поднимают ей платки; другие признают ее права на занимание всех должностей, на участие в правлении и т. д. Это всё делают, а взгляд на нее все тот же. Она орудие наслаждения. Тело ее есть средство наслаждения. И она знает это. Все равно как рабство. Рабство ведь есть не что иное, как пользованье одних подневольным трудом многих. И потому, чтобы рабства не было, надо, чтобы люди не желали пользоваться подневольным трудом других, считали бы это грехом или стыдом. А между тем возьмут отменят внешнюю форму рабства, устроят так, что нельзя больше совершать купчих на рабов, и воображают и себя уверяют, что рабства уже нет, и не видят и не хотят видеть того, что рабство продолжает быть, потому что люди точно так же любят и считают хорошим и справедливым пользоваться трудами других. А как скоро они считают это хорошим, то всегда найдутся люди, которые сильнее или хитрее других и сумеют это сделать. То же и с эмансипацией женщины. Рабство женщины ведь только в том, что люди желают и считают очень хорошим пользоваться ею как орудием наслаждения. Ну,

[1] Вино, женщины и песни *(нем.)*.

и вот освобождают женщину, дают ей всякие права, равные мужчине, но продолжают смотреть на нее как на орудие наслаждения, так воспитывают ее и в детстве и общественным мнением. И вот она все такая же приниженная, развращенная раба, и мужчина все такой же развращенный рабовладелец.

Освобождают женщину на курсах и в палатах, а смотрят на нее как на предмет наслаждения. Научите ее, как она научена у нас, смотреть так на самую себя, и она всегда останется низшим существом. Или она будет с помощью мерзавцев-докторов предупреждать зарождение плода, то есть будет вполне проститутка, спустившаяся не на ступень животного, но на ступень вещи, или она будет то, что она есть в большей части случаев,— больной душевно, истеричной, несчастной, какие они и есть, без возможности духовного развития.

Гимназии и курсы не могут изменить этого. Изменить это может только перемена взгляда мужчин на женщин и женщин самих на себя. Переменится это только тогда, когда женщина будет считать высшим положением положение девственницы, а не так, как теперь, высшее состояние человека — стыдом, позором. Пока же этого нет, идеал всякой девушки, какое бы ни было ее образование, будет все-таки тот, чтобы привлечь к себе как можно больше мужчин, как можно больше самцов, с тем чтобы иметь возможность выбора.

А то, что одна побольше знает математики, а другая умеет играть на арфе,— это ничего не изменит. Женщина счастлива и достигает всего, чего она может желать, когда она обворожит мужчину. И потому главная задача женщины — уметь обвораживать его. Так это было и будет. Так это в девичьей жизни в нашем мире, так продолжается и в замужней. В девичьей жизни это нужно для выбора, в замужней — для властвованья над мужем.

Одно, что прекращает или хоть подавляет на время это, это — дети, и то тогда, когда женщина не урод, то есть сама кормит. Но тут опять доктора.

С моей женой, которая сама хотела кормить и кормила следующих пятерых детей, случилось с первым же ребенком нездоровье. Доктора эти, которые цинически раздевали и ощупывали ее везде, за что я должен был их благодарить и платить им деньги,— доктора эти милые нашли, что она не должна кормить, и она на первое время лишена была того единственного средства, которое

могло избавить ее от кокетства. Кормила кормилица, то есть мы воспользовались бедностью, нуждой и невежеством женщины, сманили ее от ее ребенка к своему и за это одели ее в кокошник с галунами. Но не в этом дело. Дело в том, что в это самое время ее свободы от беременности и кормления в ней с особенной силой проявилось прежде заснувшее это женское кокетство. И во мне, соответственно этому, с особенной же силой проявились мучения ревности, которые не переставая терзали меня во все время моей женатой жизни, как они и не могут не терзать всех тех супругов, которые живут с женами, как я жил, то есть безнравственно.

XV

— Я во все время моей женатой жизни никогда не переставал испытывать терзания ревности. Но были периоды, когда я особенно резко страдал этим. И один из таких периодов был тот, когда после первого ребенка доктора запретили ей кормить. Я особенно ревновал в это время, во-первых, потому, что жена испытывала то свойственное матери беспокойство, которое должно вызывать беспричинное нарушение правильного хода жизни; во-вторых, потому, что, увидав, как она легко отбросила нравственную обязанность матери, я справедливо, хотя и бессознательно, заключил, что ей так же легко будет отбросить и супружескую, тем более что она была совершенно здорова и, несмотря на запрещение милых докторов, кормила следующих детей сама и выкормила прекрасно.

— Однако вы не любите докторов,— сказал я, заметив особенно злое выражение голоса всякий раз, как он упоминал только о них.

— Тут не дело любви и не любви. Они погубили мою жизнь, как они губили и губят жизнь тысяч, сотен тысяч людей, а я не могу не связывать следствия с причиной. Я понимаю, что им хочется, так же как и адвокатам и другим, наживать деньги, и я бы охотно отдал им половину своего дохода, и каждый, если бы понимал то, что они делают, охотно бы отдал им половину своего достатка, только чтобы они не вмешивались в вашу семейную жизнь, никогда бы близко не подходили к вам. Я ведь не собирал сведений, но я знаю десятки случаев — их пропасть,— в которых они убили то ребенка в утробе матери,

уверяя, что мать не может разродиться, а мать потом рожает прекрасно, то матерей под видом каких-то операций. Ведь никто не считает этих убийств, как не считали убийств инквизиции, потому что предполагалось, что это на благо человечества. Перечесть нельзя преступлений, совершаемых ими. Но все эти преступления ничто в сравнении с тем нравственным растлением материализма, которое они вносят в мир, особенно через женщин. Уж не говорю про то, что если только следовать их указаниям, то благодаря заразам везде, во всем, людям надо не идти к единению, а к разъединению: всем надо, по их учению, сидеть врозь и не выпускать изо рта спринцовки с карболовой кислотой (впрочем, открыли, что и она не годится). Но и это ничего. Яд главный — в развращении людей, женщин в особенности.

Нынче уж нельзя сказать: «Ты живешь дурно, живи лучше», — нельзя этого сказать ни себе, ни другому. А если дурно живешь, то причина в ненормальности нервных отправлений или т. п. И надо пойти к ним, а они пропишут на тридцать пять копеек в аптеке лекарства, и вы принимайте. Вы сделаетесь еще хуже, тогда еще лекарства и еще доктора. Отличная штука!

Но не в этом дело. Я только говорил про то, что она прекрасно сама кормила детей и что это ношение и кормление детей одно спасало меня от мук ревности. Если бы не это, все случилось бы раньше. Дети спасали меня и ее. В восемь лет у ней родилось пять человек детей. И всех она кормила сама.

— Где же они теперь, ваши дети? — спросил я.

— Дети? — испуганно переспросил он.

— Извините меня, может быть, вам тяжело вспоминать?

— Нет, ничего. Детей моих взяла моя свояченица и ее брат. Они не дали их мне. Я им отдал состояние, а их они мне не дали. Ведь я вроде сумасшедшего. Я теперь еду от них. Я видел их, но мне их не дадут. А то я воспитаю их так, что они не будут такими, как их родители. А надо, чтоб были такие же. Ну, да что делать! Понятно, что мне их не дадут и не поверят. Да я и не знаю, был ли бы я в силах воспитать их. Я думаю, нет. Я — развалина, калека. Одно во мне есть. Я знаю. Да, это верно, что я знаю то, что все не скоро еще узнают.

Да, дети живы и растут такими же дикарями, как и все вокруг них. Я видел их, три раза видел. Ничего я не

могу для них сделать. Ничего. Еду к себе теперь на юг. У меня там домик и садик.

Да, не скоро еще люди узнают то, что я знаю. Много ли железа и какие металлы в солнце и звездах — это скоро узнать можно; а вот то, что обличает наше свинство, это трудно, ужасно трудно...

Вы хоть слушаете, я и то благодарен.

XVI

— Вот вы напомнили про детей. Опять какое страшное лганье идет про детей. Дети — благословенье божие, дети — радость. Ведь это все ложь. Все это было когда-то, но теперь ничего подобного нет. Дети — мученье, и больше ничего. Большинство матерей так прямо и чувствуют и иногда нечаянно прямо так и говорят это. Спросите у большинства матерей нашего круга достаточных людей, они вам скажут, что от страха того, что дети их могут болеть и умирать, они не хотят иметь детей, не хотят кормить, если уж родили, для того чтобы не привязаться и не страдать. Наслажденье, которое доставляет им ребенок прелестью его, этих ручек, ножек, тельца всего, удовольствие, доставляемое ребенком,— меньше страданья, которое они испытывают — не говоря уже от болезни или потери ребенка, но от одного страха за возможность болезней и смерти. Взвесив выгоды и невыгоды, оказывается, что невыгодно и потому нежелательно иметь детей. Они это прямо, смело говорят, воображая, что эти чувства происходят в них от любви к детям, чувства хорошего и похвального, которым они гордятся. Они не замечают того, что этим рассуждением они прямо отрицают любовь, а утверждают только свой эгоизм. Для них меньше удовольствия от прелести ребенка, чем страданий от страха за него, и потому не надо того ребенка, которого они будут любить. Они жертвуют не собою для любимого существа, а имеющим быть любимым существом для себя.

Ясно, что это не любовь, а эгоизм. Но и осудить их, матерей достаточных семей, за этот эгоизм — не поднимается рука, когда вспомнишь все то, что они перемучаются от здоровья детей благодаря опять тем же докторам в нашей господской жизни. Как вспомню только, даже теперь, жизнь и состояние жены в первое время, когда было трое, четверо детей и она вся была поглощена ими,— ужас бе-

рет. Жизни нашей не было совсем. Это была какая-то вечная опасность, спасенье от нее, вновь наступившая опасность, вновь отчаянные усилия и вновь спасенье — постоянно такое положение, как на гибнущем корабле. Иногда мне казалось, что это нарочно делалось, что она прикидывалась беспокоящейся о детях, для того чтобы победить меня. Так это заманчиво, просто разрешало в ее пользу все вопросы. Мне казалось иногда, что все, что она в этих случаях делала и говорила,— она делала и говорила нарочно. Но нет, она сама страшно мучалась и казнилась постоянно с детьми, с их здоровьем и болезнями. Это была пытка для нее и для меня тоже. И нельзя ей было не мучаться. Ведь влечение к детям, животная потребность кормить, лелеять, защищать их — была, как она и есть у большинства женщин, но не было того, что есть у животных — отсутствия воображения и рассудка. Курица не боится того, что может случиться с ее цыпленком, не знает всех тех болезней, которые могут постигнуть его, не знает всех тех средств, которыми люди воображают, что они могут спасать от болезней и смерти. И дети для нее, для курицы, не мученье. Она делает для своих цыплят то, что ей свойственно и радостно делать; дети для нее радость. И когда цыпленок начинает болеть, ее заботы очень определенные: она греет, кормит его. И, делая это, знает, что она делает все, что нужно. Издохнет цыпленок, она не спрашивает себя, зачем он умер, куда он ушел, поквохчет, потом перестанет и продолжает жить по-прежнему. Но для наших несчастных женщин и для моей жены было не то. Уж не говоря о болезнях — как лечить, о том, как воспитывать, растить, она со всех сторон слышала и читала бесконечно разнообразные и постоянно изменяющиеся правила. Кормить так, тем; нет, не так, не тем, а вот этак; одевать, поить, купать, класть спать, гулять, воздух,— на все это мы, она преимущественно, узнавала всякую неделю новые правила. Точно со вчерашнего дня начали рожаться дети. А не так накормили, не так искупали, не вовремя, и заболел ребенок, и оказывается, что виновата она, сделала не то, что надо делать.

Это пока здоровье. И то мученье. Но уж если заболел, тогда кончено. Совершенный ад. Предполагается, что болезнь можно лечить и что есть такая наука и такие люди — доктора, и они знают. Не все, но самые лучшие знают. И вот ребенок болен, и надо попасть на этого самого

лучшего, того, который спасает, и тогда ребенок спасен; а не захватил этого доктора или живешь не в том месте, где живет этот доктор,— и ребенок погиб. И это не ее исключительная вера, а это вера всех женщин ее круга, и со всех сторон она слышит только это: у Екатерины Семеновны умерло двое, потому что не позвали вовремя Ивана Захарыча, а у Марьи Ивановны Иван Захарыч спас старшую девочку; а вот у Петровых вовремя, по совету доктора, разъехались по гостиницам — и остались живы, а не разъехались — и померли дети. А у той был слабый ребенок, переехали, по совету доктора, на юг — и спасли ребенка. Как же тут не мучаться и не волноваться всю жизнь, когда жизнь детей, к которым она животно привязана, зависит от того, что она вовремя узнает то, что скажет об этом Иван Захарыч. А что скажет Иван Захарыч, никто не знает, менее всего он сам, потому что он очень хорошо знает, что он ничего не знает и ничему помочь не может, а сам только виляет как попало, чтобы только не перестали верить, что он что-то знает. Ведь если бы она была совсем животное, она так бы не мучалась; если же бы она была совсем человек, то у ней была бы вера в бога, и она бы говорила и думала, как говорят верующие бабы: «Бог дал, бог и взял, от бога не уйдешь». Она бы думала, что жизнь и смерть как всех людей, так и ее детей, вне власти людей, а во власти только бога, и тогда бы она не мучалась тем, что в ее власти было предотвратить болезни и смерти детей, а она этого не сделала. А то для нее положение было такое: даны самые хрупкие, подверженные самым бесчисленным бедствиям, слабые существа. К существам этим она чувствует страстную, животную привязанность. Кроме того, существа эти поручены ей, а вместе с тем средства сохранения этих существ скрыты от нас и открыты совсем чужим людям, услуги и советы которых можно приобретать только за большие деньги, и то не всегда.

Вся жизнь с детьми и была для жены, а потому и для меня, не радость, а мука. Как же не мучаться? Она и мучалась постоянно. Бывало, только что успокоимся от какой-нибудь сцены ревности или просто ссоры и думаем пожить, почитать и подумать; только возьмешься за какое-нибудь дело, вдруг получается известие, что Васю рвет, или Маша сходила с кровью, или у Андрюши сыпь, ну и конечно, жизни уж нет. Куда скакать, за какими докторами, куда отделить? И начинаются клистиры, тем-

пературы, микстуры и доктора. Не успеет это кончиться, как начинается что-нибудь другое. Правильной, твердой семейной жизни не было. А было, как я вам говорил, постоянное спасение от воображаемых и действительных опасностей. Так ведь это теперь в большинстве семей. В моей же семье было особенно резко. Жена была чадолюбива и легковерна.

Так что присутствие детей не только не улучшало нашей жизни, но отравляло ее. Кроме того, дети — это был для нас новый повод к раздору. С тех пор как были дети и чем больше они росли, тем чаще именно сами дети были и средством и предметом раздора. Не только предметом раздора, но дети были орудием борьбы; мы как будто дрались друг с другом детьми. У каждого из нас был свой любимый ребенок — орудие драки. Я дрался больше Васей, старшим, а она Лизой. Кроме того, когда дети стали подрастать и определились их характеры, сделалось то, что они стали союзниками, которых мы привлекли каждый на свою сторону. Они страшно страдали от этого, бедняжки, но нам, в нашей постоянной войне, не до того было, чтобы думать о них. Девочка была моя сторонница, мальчик же старший, похожий на нее, ее любимец, часто был ненавистен мне.

XVII

— Ну-с, так и жили. Отношения становились все враждебнее и враждебнее. И, наконец, дошли до того, что уже не разногласие производило враждебность, но враждебность производила разногласие: что бы она ни сказала, я уж вперед был не согласен, и точно так же и она.

На четвертый год с обеих сторон решено было как-то само собой, что понять друг друга, согласиться друг с другом мы не можем. Мы перестали уже пытаться договориться до конца. О самых простых вещах, в особенности о детях, мы оставались неизменно каждый при своем мнении. Как я теперь вспоминаю, мнения, которые я отстаивал, были вовсе мне не так дороги, чтобы я не мог поступиться ими; но она была противного мнения, и уступить — значило уступить ей. А этого я не мог. Она тоже. Она, вероятно, считала себя всегда совершенно правой передо мной, а уж я в своих глазах был всегда свят

перед нею. Вдвоем мы были почти обречены на молчание или на такие разговоры, которые, я уверен, животные могут вести между собой: «Который час? Пора спать. Какой нынче обед? Куда ехать? Что написано в газете? Послать за доктором. Горло болит у Маши». Стоило на волосок выступить из этого до невозможного сузившегося кружка разговоров, чтобы вспыхнуло раздражение. Выходили стычки и выражения ненависти за кофе, скатерть, пролетку, за ход в винте,— всё дела, которые ни для того, ни для другого не могли иметь никакой важности. Во мне, по крайней мере, ненависть к ней часто кипела страшная! Я смотрел иногда, как она наливала чай, махала ногой или подносила ложку ко рту, шлюпала, втягивала в себя жидкость, и ненавидел ее именно за это, как за самый дурной поступок. Я не замечал тогда, что периоды злобы возникали во мне совершенно правильно и равномерно, соответственно периодам того, что мы называли любовью. Период любви — период злобы; энергический период любви — длинный период злобы, более слабое проявление любви — короткий период злобы. Тогда мы не понимали, что эта любовь и злоба были то же самое животное чувство, только с разных концов. Жить так было бы ужасно, если бы мы понимали свое положение; но мы не понимали и не видали его. В этом и спасенье и казнь человека, что, когда он живет неправильно, он может себя затуманивать, чтобы не видать бедственности своего положения. Так делали и мы. Она старалась забыться напряженными, всегда поспешными занятиями хозяйством, обстановкой, нарядами своими и детей, учением, здоровьем детей. У меня же было свое пьянство — пьянство службы, охоты, карт. Мы оба постоянно были заняты. Мы оба чувствовали, что чем больше мы заняты, тем злее мы можем быть друг к другу. «Тебе хорошо гримасничать,— думал я на нее,— а ты вот меня промучала сценами всю ночь, а мне заседанье». — «Тебе хорошо, — не только думала, но и говорила она, — а я всю ночь не спала с ребенком».

Так мы и жили, в постоянном тумане не видя того положения, в котором мы находились. И если бы не случилось того, что случилось, и я так же бы прожил еще до старости, я так бы и думал, умирая, что я прожил хорошую жизнь, не особенно хорошую, но и не дурную, такую, как все; я бы не понимал той бездны несчастья и той гнусной лжи, в которой я барахтался.

А мы были два ненавидящих друг друга колодника, связанных одной цепью, отравляющие жизнь друг другу и старающиеся не видать этого. Я еще не знал тогда, что 0,99 супружеств живут в таком же аду, как и я жил, и что это не может быть иначе. Тогда я еще не знал этого ни про других, ни про себя.

Удивительно, какие совпадения и в правильной и даже неправильной жизни! Как раз когда родителям жизнь становится невыносимой друг от друга, необходимы делаются и городские условия для воспитывания детей. И вот является потребность переезда в город.

Он замолчал и раза два издал свои странные звуки, которые теперь уже совсем похожи были на сдержанные рыдания. Мы подходили к станции.

— Который час? — спросил он.

Я взглянул, было два часа.

— Вы не устали? — спросил он.

— Нет, но вы устали.

— Меня душит. Позвольте, я пройдусь, выпью воды.

И он, шатаясь, пошел через вагон. Я сидел один, перебирая все, что он сказал мне, и так задумался, что и не заметил, как он вернулся из другой двери.

XVIII

— Да, я все увлекаюсь,— начал он.— Много я передумал, на многое я смотрю по-иному, и все это хочется сказать. Ну, и стали жить в городе. В городе несчастным людям жить лучше. В городе человек может прожить сто лет и не хватиться того, что он давно умер и сгнил. Разбираться с самим собой некогда, все занято. Дела, общественные отношения, здоровье, искусства, здоровье детей, их воспитание. То надо принимать тех и этих, ехать к тем и этим; то надо посмотреть эту, послушать этого или эту. Ведь в городе во всякий данный момент есть одна, а то сразу две, три знаменитости, которые нельзя никак пропустить. То надо лечить себя, того или этого, то учителя, репетиторы, гувернантки, а жизнь пустым-пустешенька. Ну, так мы и жили и меньше чувствовали боль от сожития. Кроме того, первое время было чудесное занятие — устройство в новом городе, на новой квартире, и еще занятие — переездов из города в деревню и из деревни в город.

Прожили одну зиму, и в другую зиму случилось еще следующее никому не заметное, кажущееся ничтожным обстоятельство, но такое, которое и произвело все то, что произошло. Она была нездорова, и мерзавцы не велели ей рожать и научили средству. Мне это было отвратительно. Я боролся против этого, но она с легкомысленным упорством настояла на своем, и я покорился; последнее оправдание свиной жизни — дети — было отнято, и жизнь стала еще гаже.

Мужику, работнику, дети нужны, хотя и трудно ему выкормить, но они ему нужны, и потому его супружеские отношения имеют оправдание. Нам же, людям, имеющим детей, еще дети не нужны, они — лишняя забота, расход, сонаследники, они тягость. И оправдания свиной жизни для нас уж нет никакого. Или мы искусственно избавляемся от детей, или смотрим на детей как на несчастье, последствие неосторожности, что еще гаже. Оправданий нет. Но мы так нравственно пали, что мы даже не видим надобности в оправдании. Большинство теперешнего образованного мира предается этому разврату без малейшего угрызения совести.

Нечему угрызать, потому что совести в нашем быту нет никакой, кроме, если можно так назвать, совести общественного мнения и уголовного закона. А тут и та и другая не нарушаются: совеститься перед обществом нечего, *все* это делают: и Марья Павловна и Иван Захарыч. А то что ж разводить нищих или лишать себя возможности общественной жизни? Совеститься перед уголовным законом или бояться его тоже нечего. Это безобразные девки и солдатки бросают детей в пруды и колодцы; тех, понятно, надо сажать в тюрьму, а у нас все делается своевременно и чисто.

Так прожили мы еще два года. Средство мерзавцев, очевидно, начинало действовать; она физически раздобрела и похорошела, как последняя красота лета. Она чувствовала это и занималась собой. В ней сделалась какая-то вызывающая красота, беспокоящая людей. Она была во всей силе тридцатилетней нерожающей, раскормленной и раздраженной женщины. Вид ее наводил беспокойство. Когда она проходила между мужчинами, она притягивала к себе их взгляды. Она была как застоявшаяся, раскормленная запряженная лошадь, с которой сняли узду. Узды не было никакой, как нет никакой у 0,99 наших женщин. И я чувствовал это, и мне было страшно.

XIX

Он вдруг приподнялся и пересел к самому окну.

— Извините меня,— проговорил он и, устремив глаза в окно, молча просидел так минуты три. Потом он тяжело вздохнул и опять сел против меня. Лицо его стало совсем другое, глаза жалкие, и какая-то странная почти улыбка морщила его губы.— Я устал немножко, но я расскажу. Еще времени много, не рассветало еще. Да-с,— начал он опять, закурив папиросу.— Она пополнела с тех пор, как перестала рожать, и болезнь эта — страдание вечное о детях — стала проходить; не то что проходить, но она как будто очнулась от пьянства, опомнилась и увидала, что есть целый мир божий с его радостями, про который она забыла, но в котором она жить не умела, мир божий, которого она совсем не понимала. «Как бы не пропустить! Уйдет время, не воротишь!» Так мне представляется, что она думала или скорее чувствовала, да и нельзя ей было думать и чувствовать иначе: ее воспитали в том, что есть в мире только одно достойное внимания— любовь. Она вышла замуж, получила кое-что из этой любви, но не только далеко не то, что обещалось, что ожидалось, но и много разочарований, страданий и тут же неожиданную муку — детей! Мука эта истомила ее. И вот благодаря услужливым докторам она узнала, что можно обойтись и без детей. Она обрадовалась, испытала это и ожила опять для одного того, что она знала,— для любви. Но любовь с огаженным и ревностью и всякой злостью мужем была уже не то. Ей стала представляться какая-то другая, чистенькая, новенькая любовь, по крайней мере, я так думал про нее. И вот она стала оглядываться, как будто ожидая чего-то. Я видел это и не мог не тревожиться. Сплошь да рядом стало случаться то, что она, как и всегда, разговаривая со мной через посредство других, то есть говоря с посторонними, но обращая речь ко мне, выражала смело, совсем не думая о том, что она час тому назад говорила противоположное, выражала полусерьезно, что материнская забота — это обман, что не стоит того — отдавать свою жизнь детям, когда есть молодость и можно наслаждаться жизнью. Она занималась детьми меньше, не с таким отчаянием, как прежде, но больше и больше занималась собой, своей наружностью, хотя она и скрывала это, и своими удовольствиями, и даже усовершенствованием себя. Она опять с увлечением взялась за

фортепиано, которое прежде было совершенно брошено. С этого все и началось.

Он опять повернулся к окну устало смотревшими глазами, но тотчас же опять, видимо сделав над собою усилие, продолжал:

— Да-с, явился этот человек.— Он замялся и раза два произвел носом свои особенные звуки.

Я видел, что ему мучительно было называть этого человека, вспоминать, говорить о нем. Но он сделал усилие и, как будто порвав то препятствие, которое мешало ему, решительно продолжал:

— Дрянной он был человечек, на мои глаза, на мою оценку. И не потому, какое он значение получил в моей жизни, а потому, что он действительно был такой. Впрочем, то, что он был плох, служило только доказательством того, как невменяема была она. Не он, так другой, это должно было быть.— Он опять замолчал.— Да-с, это был музыкант, скрипач; не профессиональный музыкант, а полупрофессиональный, полуобщественный человек.

Отец его — помещик, сосед моего отца. Он — отец — разорился, и дети — три было мальчика — все устроились; один только, меньшой этот, отдан был к своей крестной матери в Париж. Там его отдали в консерваторию, потому что был талант к музыке, и он вышел оттуда скрипачом и играл в концертах. Человек он был...— Очевидно, желая сказать что-то дурное про него, он воздержался и быстро сказал: — Ну, уж там я не знаю, как он жил, знаю только, что в этот год он явился в Россию и явился ко мне.

Миндалевидные влажные глаза, красные улыбающиеся губы, нафиксатуаренные усики, прическа последняя, модная, лицо пошло-хорошенькое, то, что женщины называют недурен, сложения слабого, хотя и не уродливого, с особенно развитым задом, как у женщины, как у готтентотов, говорят. Они, говорят, тоже музыкальны. Лезущий в фамильярность насколько возможно, но чуткий и всегда готовый остановиться при малейшем отпоре, с соблюдением внешнего достоинства и с тем особенным парижским оттенком ботинок с пуговками и ярких цветов галстука и другого, что усвоивают себе иностранцы в Париже и что по своей особенности, новизне, всегда действует на женщин. В манерах деланная, внешняя веселость. Манера, знаете, про все говорить намеками и отрывками,

как будто вы все это знаете, помните и можете сами дополнить.

Вот он-то с своей музыкой был причиной всего. Ведь на суде было представлено дело так, что все случилось из ревности. Ничуть не бывало, то есть не то, что ничуть не бывало, а то, да не то. На суде так и решено было, что я обманутый муж и что я убил, защищая свою поруганную честь (так ведь это называется по-ихнему). И от этого меня оправдали. Я на суде старался выяснить смысл дела, но они понимали так, что я хочу реабилитировать честь жены.

Отношения ее с этим музыкантом, какие бы они ни были, для меня это не имеет смысла, да и для нее тоже. Имеет же смысл то, что я вам рассказал, то есть мое свинство. Все произошло оттого, что между нами была та страшная пучина, о которой я вам говорил, то страшное напряжение взаимной ненависти друг к другу, при которой первого повода было достаточно для произведения кризиса. Ссоры между нами становились в последнее время чем-то страшным и были особенно поразительны, сменяясь тоже напряженной животной страстностью.

Если бы явился не он, то другой бы явился. Если бы не предлог ревности, то другой. Я настаиваю на том, что все мужья, живущие так, как я жил, должны или распутничать, или разойтись, или убить самих себя или своих жен, как я сделал. Если с кем этого не случилось, то это особенно редкое исключение. Я ведь, прежде чем кончить, как я кончил, был несколько раз на краю самоубийства, а она тоже отравлялась.

XX

— Да, это так было, и недолго перед тем.

Живы мы как будто в перемирье, и нет никаких причин нарушать его; вдруг начинается разговор о том, что такая-то собака на выставке получила медаль, говорю я. Она говорит: «Не медаль, а похвальный отзыв». Начинается спор. Начинается перепрыгиванье с одного предмета на другой, попреки: «Ну, да это давно известно, всегда так: ты сказал...» — «Нет, я не говорил».— «Стало быть, я лгу!..» Чувствуешь, что вот-вот начнется та страшная ссора, при которой хочется себя или ее убить. Знаешь, что сейчас начнется, и боишься этого, как огня, и потому

хотел бы удержаться, но злоба охватывает все твое существо. Она в том же, еще худшем положении, нарочно перетолковывает всякое твое слово, придавая ему ложное значение; каждое же ее слово пропитано ядом; где только она знает, что мне больнее всего, туда-то она и колет. Дальше, больше. Я кричу: «Молчи!» — или что-то в этом роде. Она выскакивает из комнаты, бежит в детскую. Я стараюсь удержать ее, чтобы договорить и доказать, и схватываю ее за руку. Она прикидывается, что сделал ей больно, и кричит: «Дети, ваш отец бьет меня!» Я кричу: «Не лги!» — «Ведь это уж не в первый раз!» — кричит она, или что-нибудь подобное. Дети бросаются к ней. Она успокаивает их. Я говорю: «Не притворяйся!» Она говорит: «Для тебя все притворство; ты убьешь человека и будешь говорить, что он притворяется. Теперь я поняла тебя. Ты этого-то и хочешь!» — «О, хоть бы ты издохла!» — кричу я. Помню я, как ужаснули меня эти страшные слова. Я никак не ожидал, чтобы я мог сказать такие страшные, грубые слова, и удивляюсь тому, что они могли выскочить из меня. Я кричу эти страшные слова и убегаю в кабинет, сажусь и курю. Слышу, что она выходит в переднюю и собирается уезжать. Я спрашиваю куда. Она не отвечает. «Ну, и черт с ней», — говорю я себе, возвращаюсь в кабинет, опять ложусь и курю. Тысячи разных планов о том, как отомстить ей и избавиться от нее и как поправить все это и сделать так, как будто бы ничего не было, приходят мне в голову. Я все это думаю и курю, курю, курю. Думаю убежать от нее, скрыться, уехать в Америку. Дохожу до того, что мечтаю о том, как я избавлюсь от нее и как это будет прекрасно, как сойдусь с другой, прекрасной женщиной, совсем новой. Избавлюсь тем, что она умрет, или тем, что разведусь, и придумываю, как это сделать. Вижу, что я путаюсь, что я не то думаю, что нужно, но и для того, чтобы не видеть, что я не то думаю, что нужно, для этого-то курю.

А жизнь дома идет. Приходит гувернантка, спрашивает: «Где madame? когда вернется?» Лакей спрашивает, подавать ли чай. Прихожу в столовую; дети, в особенности старшая Лиза, которая уж понимает, вопросительно и недоброжелательно смотрит на меня. Пьем молча чай. Ее все нет. Проходит весь вечер, ее нет, и два чувства сменяются в душе: злоба к ней за то, что она мучает меня и всех детей своим отсутствием, которое кончится же тем, что она приедет, и страх того, что она не приедет и что-

нибудь сделает над собой. Я бы поехал за ней. Но где искать ее? У сестры? Но это глупо приехать спрашивать. Да и бог с ней; если она хочет мучать, пускай сама мучается. А то ведь она этого и ждет. И в следующий раз будет еще хуже. А что, как она не у сестры, а что-нибудь делает или уже сделала над собой?.. Одиннадцать, двенадцать, час. Не иду в спальню, глупо одному там лежать и ждать, и тут же ложусь. Хочу чем-нибудь заняться, написать письма, читать; ничего не могу. Сижу один в кабинете, мучаюсь, злюсь и прислушиваюсь. Три, четыре часа — ее все нет. К утру засыпаю. Просыпаюсь — ее нет.

Все в доме идет по-старому, но все в недоуменье и все вопросительно и укоризненно смотрят на меня, предполагая, что все это от меня. А во мне все та же борьба — злобы за то, что она меня мучает, и беспокойства за нее.

Около одиннадцати приезжает ее сестра послом от нее. И начинается обычное: «Она в ужасном положении. Ну что же это!» — «Да ведь ничего не случилось». Я говорю про невозможность ее характера и говорю, что я ничего не сделал.

— Да ведь не может же это так оставаться,— говорит сестра.

— Все ее дело, а не мое,— говорю я.— Я первого шага не сделаю. Разойтись, так разойтись.

Свояченица уезжает ни с чем. Я смело сказал, говоря с ней, что не сделаю первого шага, но как она уехала и я вышел и увидел детей жалких, испуганных, я уже готов делать первый шаг. И рад бы его сделать, но не знаю как. Опять хожу, курю, выпиваю за завтраком водки и вина и достигаю того, чего бессознательно желаю: не вижу глупости, подлости своего положения.

Около трех приезжает она. Встречая меня, она ничего не говорит. Я воображаю, что она смирилась, начинаю говорить о том, что я был вызван ее укоризнами. Она с тем же строгим и страшно измученным лицом говорит, что она приехала не объясняться, а взять детей, что жить вместе мы не можем. Я начинаю говорить, что виноват не я, что она вывела меня из себя. Она строго, торжественно смотрит на меня и потом говорит:

— Не говори больше, ты раскаешься.

Я говорю, что терпеть не могу комедий. Тогда она вскрикивает что-то, чего я не разбираю, и убегает в свою комнату. И за ней звенит ключ: она заперлась. Я толка-

юсь, нет ответа, и я с злостью отхожу. Через полчаса Лиза прибегает в слезах.

— Что? что-нибудь сделалось?

— Мамы не слышно.

Идем. Я дергаю изо всех сил дверь. Задвижка плохо задвинута, и обе половинки отворяются. Я подхожу к кровати. Она в юбках и высоких ботинках лежит неловко на кровати без чувств. На столике пустая склянка с опиумом. Приводим в чувство. Еще слезы и, наконец, примирение. И не примирение: в душе у каждого та же старая злоба друг против друга с прибавкой еще раздражения за ту боль, которая сделана этой ссорой и которую всю каждый ставит на счет другого. Но надо же как-нибудь кончить все это, и жизнь идет по-старому. Так, такие-то ссоры и хуже бывали беспрестанно, то раз в неделю, то раз в месяц, то каждый день. И все одно и то же. Один раз я уже взял заграничный паспорт — ссора продолжалась два дня,— но потом опять полуобъяснение, полупримирение — и я остался.

XXI

— Так вот в таких-то мы были отношениях, когда явился этот человек. Приехал в Москву этот человек — фамилия его Трухачевский — и явился ко мне. Это было утром. Я принял его. Были мы когда-то на «ты». Он попытался серединными фразами между «ты» и «вы» удержаться на «ты», но я прямо дал тон на «вы», и он тотчас же подчинился. Он мне очень не понравился с первого взгляда. Но, странное дело, какая-то странная, роковая сила влекла меня к тому, чтобы не оттолкнуть его, не удалить, а, напротив, приблизить. Ведь что могло быть проще того, чтобы поговорить с ним холодно, проститься, не знакомя с женою. Но нет, я, как нарочно, заговорил об его игре, сказал, что мне говорили, что он бросил скрипку. Он сказал, что, напротив, он играет теперь больше прежнего. Он стал вспоминать о том, что я играл прежде. Я сказал, что не играю больше, но что жена моя хорошо играет.

Удивительное дело! Мои отношения к нему в первый день, в первый час моего свиданья с ним были такие, какие они могли быть только после того, что случилось. Что-то было напряженное в моих отношениях с ним:

я замечал всякое слово, выражение, сказанное им или мною, и приписывал им важность.

Я представил его жене. Тотчас же зашел разговор о музыке, и он предложил свои услуги играть с ней. Жена, как и всегда это последнее время, была очень элегантна и заманчива, беспокояще красива. Он, видимо, понравился ей с первого взгляда. Кроме того, она обрадовалась тому, что будет иметь удовольствие играть со скрипкой, что́ она очень любила, так что нанимала для этого скрипача из театра, и на лице ее выразилась эта радость. Но, увидав меня, она тотчас же поняла мое чувство и изменила свое выражение, и началась эта игра взаимного обманыванья. Я приятно улыбался, делая вид, что мне очень приятно. Он, глядя на жену так, как смотрят все блудники на красивых женщин, делал вид, что его интересует только предмет разговора, именно то, что уже совсем не интересовало его. Она старалась казаться равнодушной, но знакомое ей мое фальшиво-улыбающееся выражение ревнивца и его похотливый взгляд, очевидно, возбуждали ее. Я видел, что с первого же свиданья у ней особенно заблестели глаза, и, вероятно вследствие моей ревности, между ним и ею тотчас же установился как бы электрический ток, вызывающий одинаковость выражений, взглядов и улыбок. Она краснела — и он краснел, она улыбалась — он улыбался. Поговорили о музыке, о Париже, о всяких пустяках. Он встал, чтоб уезжать, и, улыбаясь, со шляпой на подрагивающей ляжке стоял, глядя то на нее, то на меня, как бы ожидая, что мы сделаем. Помню я эту минуту именно потому, что в эту минуту я мог не позвать его, и тогда ничего бы не было. Но я взглянул на него, на нее. «И не думай, чтоб я ревновал тебя»,—мысленно сказал я ей,— «или чтоб я боялся тебя»,— мысленно сказал я ему и пригласил его привозить как-нибудь вечером скрипку, чтобы играть с женой. Она с удивлением взглянула на меня, вспыхнула и, как будто испугавшись, стала отказываться, говорила, что она недостаточно хорошо играет. Этот отказ ее еще более раздражил меня, и я еще больше настаивал. Помню то странное чувство, с которым я смотрел на его затылок, белую шею, отделявшуюся от черных, расчесанных на обе стороны волос, когда он своей подпрыгивающей, какой-то птичьей походкой выходил от нас. Я не мог не признаться себе, что присутствие этого человека мучало меня. «От меня зависит,— думал я,— сделать так, чтобы никогда не

видать его». Но сделать так — значило признаться, что я боюсь его. Нет, я не боюсь его! Это было бы слишком унизительно, говорил я себе. И тут же, в передней, зная, что жена слышит меня, я настоял на том, чтобы он нынче же вечером приехал со скрипкой. Он обещал мне и уехал.

Вечером он приехал со скрипкой, и они играли. Но игра долго не ладилась, не было тех нот, которые им были нужны, а которые были, жена не могла играть без приготовлений. Я очень любил музыку и сочувствовал их игре, устраивал ему пюпитр, переворачивал страницы. И кое-что они сыграли, какие-то песни без слов и сонатку Моцарта. Он играл превосходно, и у него было в высшей степени то, что называется тоном. Кроме того, тонкий, благородный вкус, совсем несвойственный его характеру.

Он был, разумеется, гораздо сильнее жены и помогал ей и вместе с тем учтиво хвалил ее игру. Он держал себя очень хорошо. Жена казалась заинтересованной только одной музыкой и была очень проста и естественна. Я же, хотя и притворялся заинтересованным музыкой, весь вечер не переставая мучался ревностью.

С первой минуты как он встретился глазами с женой, я видел, что зверь, сидящий в них обоих, помимо всех условий положения и света, спросил: «Можно?» — и ответил: «О да, очень». Я видел, что он никак не ожидал встретить в моей жене, в московской даме, такую привлекательную женщину, и был очень рад этому. Потому что сомнения в том, что она согласна, у него не было никакого. Весь вопрос был в том, чтобы только не помешал несносный муж. Если бы я был чист, я бы не понимал этого, но я, так же как и большинство, думал так про женщин, пока я не был женат, и потому читал в его душе как по-писаному. Мучался я особенно тем, что я видел несомненно, что ко мне у ней не было другого чувства, кроме постоянного раздражения, только изредка прерываемого привычной чувственностью, а что этот человек, и по своей внешней элегантности и новизне, и, главное, по несомненному большому таланту к музыке, по сближению, возникающему из совместной игры, по влиянию, производимому на впечатлительные натуры музыкой, особенно скрипкой, что этот человек должен был не то что нравиться, а несомненно без малейшего колебания должен был победить, смять, перекрутить ее, свить из нее

веревку, сделать из нее все, что захочет. Я этого не мог не видеть, и я страдал ужасно. Но, несмотря на то или, может быть, вследствие этого, какая-то сила против моей воли заставляла меня быть особенно не только учтивым, но ласковым с ним. Для жены ли, или для него я это делал, чтоб показать, что я не боюсь его, для себя ли, чтоб обмануть самого себя,— не знаю, только я не мог с первых же сношений моих с ним быть прост. Я должен был, для того чтобы не отдаться желанию сейчас же убить его, ласкать его. Я поил его за ужином дорогим вином, восхищался его игрой, с особенной ласковой улыбкой говорил с ним и позвал его в следующее воскресенье обедать и еще играть с женою. Я сказал, что позову кое-кого из моих знакомых, любителей музыки, послушать его. Да так и кончилось.

И Позднышев в сильном волнении переменил положение и издал свой особенный звук.

— Странное дело, как действовало на меня присутствие этого человека,— начал он опять, очевидно делая усилие, для того чтобы быть спокойным.— Возвращаюсь с выставки домой на второй или на третий день после этого, вхожу в переднюю и вдруг чувствую, что-то тяжелое, как камень, наваливается мне на сердце, и не могу дать себе отчета, что́ это. Это что-то было то, что, проходя через переднюю, я заметил что-то напоминавшее его. Только в кабинете я дал себе отчет в том, что́ это было, и вернулся в переднюю, чтобы проверить себя. Да, я не ошибся: это была его шинель. Знаете, модная шинель. (Все, что его касалось, хотя я и не отдавал себе в том отчета, я замечал с необыкновенной внимательностью.) Спрашиваю, — так и есть, он тут. Прохожу не через гостиную, а через классную, в залу. Лиза, дочь, сидит за книжкой, и няня с маленькой у стола вертит какой-то крышкой. Дверь в залу затворена, и слышу оттуда равномерное arpeggio и голос его и ее. Прислушиваюсь, но не могу разобрать. Очевидно, звуки на фортепиано нарочно для того, чтобы заглушить их слова, поцелуи, может быть. Боже мой! что тут поднялось во мне! Как вспомню только про того зверя, который жил во мне тогда, ужас берет. Сердце вдруг сжалось, остановилось и потом заколотило, как молотком. Главное чувство, как и всегда, во всякой злости, было — жалость к себе. «При детях, при няне!» — думал я. Должно быть, я был страшен, потому что и Лиза

смотрела на меня странными глазами. «Что ж мне делать? — спросил я себя.— Войти? Я не могу, я бог знает что сделаю». Но не могу и уйти. Няня глядит на меня так, как будто она понимает мое положение. «Да нельзя не войти»,— сказал я себе и быстро отворил дверь. Он сидел за фортепиано, делал эти arpeggio своими изогнутыми кверху большими белыми пальцами. Она стояла в углу рояля над раскрытыми нотами. Она первая увидала или услыхала и взглянула на меня. Испугалась ли она и притворилась, что не испугалась, или точно не испугалась, но она не вздрогнула, не пошевелилась, а только покраснела, и то после.

— Как я рада, что ты пришел; мы не решили, что играть в воскресенье,— сказала она таким тоном, которым не говорила бы со мной, если бы мы были одни. Это и то, что она сказала «мы» про себя и его, возмутило меня. Я молча поздоровался с ним.

Он пожал мне руку и тотчас же с улыбкой, которая мне прямо казалась насмешливой, начал объяснять мне, что он принес ноты для приготовления к воскресенью и что вот между ними несогласие, что играть: более трудное и классическое, именно Бетховенскую сонату со скрипкой, или маленькие вещицы? Все было так естественно и просто, что нельзя было ни к чему придраться, а вместе с тем я был уверен, что все это было неправда, что они сговаривались о том, как обмануть меня.

Одно из самых мучительнейших отношений для ревнивцев (а ревнивцы все в нашей общественной жизни) — это известные светские условия, при которых допускается самая большая и опасная близость между мужчиной и женщиной. Надо сделаться посмешищем людей, если препятствовать близости на балах, близости докторов с своей пациенткой, близости при занятиях искусством, живописью, а главное — музыкой. Люди занимаются вдвоем самым благородным искусством, музыкой; для этого нужна известная близость, и близость эта не имеет ничего предосудительного, и только глупый, ревнивый муж может видеть тут что-либо нежелательное. А между тем все знают, что именно посредством этих самых занятий, в особенности музыкой, и происходит большая доля прелюбодеяний в нашем обществе. Я, очевидно, смутил их тем смущением, которое выражалось во мне: я долго ничего не мог сказать. Я был как перевернутая бутылка, из которой вода не идет оттого, что она слишком полна,

Я хотел изругать, выгнать его, но я чувствовал, что я должен был опять быть любезным и ласковым с ним. Я так и сделал. Я сделал вид, что одобряю все, и опять по тому странному чувству, которое заставляло меня обращаться с ним с тем большей лаской, чем мучительнее мне было его присутствие, я сказал ему, что полагаюсь на его вкус и ей советую то же. Он побыл настолько еще, насколько нужно было, чтобы сгладить неприятное впечатление, когда я вдруг с испуганным лицом вошел в комнату и замолчал,— и уехал, притворяясь, что теперь решили, что играть завтра. Я же был вполне уверен, что в сравнении с тем, что занимало их, вопрос о том, что играть, был для них совершенно безразличен.

Я с особенной учтивостью проводил его до передней (как не провожать человека, который приехал с тем, чтобы нарушить спокойствие и погубить счастье целой семьи!). Я жал с особенной лаской его белую, мягкую руку.

XXII

— Целый день этот я не говорил с ней, не мог. Близость ее вызывала во мне такую ненависть к ней, что я боялся себя. За обедом она при детях спросила меня о том, когда я еду. Мне надо было на следующей неделе ехать на съезд в уезд. Я сказал когда. Она спросила, не нужно ли мне чего на дорогу. Я не сказал ничего и молча просидел за столом и молча же ушел в кабинет. Последнее время она никогда не приходила ко мне в комнату, особенно в это время. Лежу в кабинете и злюсь. Вдруг знакомая походка. И в голову мне приходит страшная, безобразная мысль о том, что она, как жена Урии, хочет скрыть уже совершенный грех свой и что она затем в такой неурочный час идет ко мне. «Неужели она идет ко мне?» — думал я, слушая ее приближающиеся шаги. Если ко мне, то я прав, значит. И в душе поднимается невыразимая ненависть к ней. Ближе, ближе шаги. Неужели не пройдет мимо, в залу? Нет, дверь скрипнула, и в дверях ее высокая, красивая фигура, и в лице, в глазах — робость и заискивание, которое она хочет скрыть, но которое я вижу и значение которого я знаю. Я чуть не задохнулся, так долго я удерживал дыханье, и, продолжая глядеть на нее, схватился за папиросочницу и стал закуривать.

— Ну что это, к тебе придешь посидеть, а ты закуриваешь,— и она села близко ко мне на диван, прислоняясь ко мне.

Я отстранился, чтоб не касаться ее.

— Я вижу, что ты недоволен тем, что я хочу играть в воскресенье,— сказала она.

— Я нисколько не недоволен,— сказал я.

— Разве я не вижу?

— Ну, поздравляю тебя, что ты видишь. Я же ничего не вижу, кроме того, что ты ведешь себя, как кокотка...

— Да если ты хочешь браниться, как извозчик, то я уйду.

— Уходи, только знай, что если тебе не дорога честь семьи, то мне не ты дорога (черт с тобой), но честь семьи.

— Да что, что?

— Убирайся, ради бога убирайся!

Притворялась она, что не понимает, о чем, или действительно не понимала, но только она обиделась и рассердилась. Она встала, но не ушла, а остановилась посередине комнаты.

— Ты решительно стал невозможен,— начала она.— Это такой характер, с которым ангел не уживется, — и, как всегда, стараясь уязвить меня как можно больнее, она напомнила мне мой поступок с сестрой (это был случай с сестрой, когда я вышел из себя и наговорил сестре своей грубости; она знала, что это мучит меня, и в это место кольнула меня).— После этого меня уж ничто не удивит от тебя,— сказала она.

«Да, оскорбить, унизить, опозорить и поставить меня же в виноватых»,— сказал я себе, и вдруг меня охватила такая страшная злоба к ней, какой я никогда еще не испытывал.

Мне в первый раз захотелось физически выразить эту злобу. Я вскочил и двинулся к ней; но в ту же минуту, как я вскочил, я помню, что я сознал свою злобу и спросил себя, хорошо ли отдаться этому чувству, и тотчас же ответил себе, что это хорошо, что это испугает ее, и тотчас же, вместо того чтобы противиться этой злобе, я еще стал разжигать ее в себе и радоваться тому, что она больше и больше разгорается во мне.

— Убирайся, или я тебя убью! — закричал я, подойдя к ней и схватив ее за руку. Я сознательно усиливал интонации злости своего голоса, говоря это. И должно быть,

я был страшен, потому что она так заробела, что даже не имела силы уйти, а только говорила:

— Вася, что ты, что с тобой?

— Уходи! — заревел я еще громче.— Только ты можешь довести меня до бешенства. Я не отвечаю за себя!

Дав ход своему бешенству, я упивался им, и мне хотелось еще что-нибудь сделать необыкновенное, показывающее высшую степень этого моего бешенства. Мне страшно хотелось бить, убить ее, но я знал, что этого нельзя, и потому, чтобы все-таки дать ход своему бешенству, схватил со стола пресс-папье, еще раз прокричав: «Уходи!» — швырнул его оземь мимо нее. Я очень хорошо целил мимо. Тогда она пошла из комнаты, но остановилась в дверях. И тут же, пока еще она видела (я сделал это для того, чтобы она видела), я стал брать со стола вещи, подсвечники, чернильницу, и бросать оземь их, продолжая кричать:

— Уйди! убирайся! Я не отвечаю за себя!

Она ушла — и я тотчас же перестал.

Через час ко мне пришла няня и сказала, что у жены истерика. Я пришел; она рыдала, смеялась, ничего не могла говорить и вздрагивала всем телом. Она не притворялась, но была истинно больна.

К утру она успокоилась, и мы помирились под влиянием того чувства, которое мы называли любовью.

Утром, когда после примирения я признался ей, что ревновал ее к Трухачевскому, она нисколько не смутилась и самым естественным образом засмеялась. Так странна даже ей казалась, как она говорила, возможность увлечения к такому человеку.

— Разве к такому человеку возможно в порядочной женщине что-нибудь, кроме удовольствия, доставляемого музыкой? Да если хочешь, я готова никогда не видать его. Даже в воскресенье, хотя и позваны все. Напиши ему, что я нездорова, и кончено. Одно противно, что кто-нибудь может подумать, главное он сам, что он опасен. А я слишком горда, чтобы позволить думать это.

И она ведь не лгала, она верила в то, что говорила; она надеялась словами этими вызвать в себе презрение к нему и защитить им себя от него, но ей не удалось это. Все было направлено против нее, в особенности эта проклятая музыка. Так все и кончилось, и в воскресенье собрались гости, и они опять играли.

XXIII

— Я думаю, что излишне говорить, что я был очень тщеславен: если не быть тщеславным в обычной нашей жизни, то ведь нечем жить. Ну, и в воскресенье я со вкусом занялся устройством обеда и вечера с музыкой. Я сам накупил вещей для обеда и позвал гостей.

К шести часам собрались гости, и явился и он во фраке с бриллиантовыми запонками дурного тона. Он держал себя развязно, на все отвечал поспешно с улыбочкой согласия и понимания, знаете, с тем особенным выражением, что все, что вы сделаете или скажете, есть то самое, чего он ожидал. Все, что было в нем непорядочного, все это я замечал теперь с особенным удовольствием, потому что это все должно было успокоить меня и показывать, что он стоял для моей жены на такой низкой ступени, до которой, как она и говорила, она не могла унизиться. Я теперь уже не позволял себе ревновать. Во-первых, я перемучался уже этой мукой, и мне надо было отдохнуть; во-вторых, я хотел верить уверениям жены и верил им. Но, несмотря на то, что я не ревновал, я все-таки был ненатурален с ним и с нею и во время обеда и первую половину вечера, пока не началась музыка. Я все еще следил за движениями и взглядами их обоих.

Обед был как обед, скучный, притворный. Довольно рано началась музыка. Ах, как я помню все подробности этого вечера; помню, как он принес скрипку, отпер ящик, снял вышитую ему дамой покрышку, достал и стал строить. Помню, как жена села с притворно-равнодушным видом, под которым я видел, что она скрывала большую робость — робость преимущественно перед своим умением,— с притворным видом села за рояль, и начались обычные la на фортепиано, пиччикато скрипки, установка нот. Помню потом, как они взглянули друг на друга, оглянулись на усаживавшихся и потом сказали что-то друг другу, и началось. Он взял первый аккорд. У него сделалось серьезное, строгое, симпатичное лицо, и, прислушиваясь к своим звукам, он осторожными пальцами дернул по струнам, и рояль ответил ему. И началось...

Он остановился и несколько раз сряду произвел свои звуки. Хотел начать говорить, но засопел носом и опять остановился.

— Они играли Крейцерову сонату Бетховена. Знаете ли вы первое престо? Знаете?! — вскрикнул он.— У!..

Страшная вещь эта соната. Именно эта часть. И вообще страшная вещь музыка. Что это такое? Я не понимаю. Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что она делает? Говорят, музыка действует возвышающим душу образом,— вздор, неправда! Она действует, страшно действует, я говорю про себя, но вовсе не возвышающим душу образом. Она действует ни возвышающим, ни принижающим душу образом, а раздражающим душу образом. Как вам сказать? Музыка заставляет меня забывать себя, мое истинное положение, она переносит меня в какое-то другое, не свое положение: мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, чего я, собственно, не чувствую, что я понимаю то, чего не понимаю, что могу то, чего не могу. Я объясняю это тем, что музыка действует, как зевота, как смех: мне спать не хочется, но я зеваю, глядя на зевающего, смеяться не о чем, но я смеюсь, слыша смеющегося.

Она, музыка, сразу, непосредственно переносит меня в то душевное состояние, в котором находился тот, кто писал музыку. Я сливаюсь с ним душою и вместе с ним переношусь из одного состояния в другое, но зачем я это делаю, я не знаю. Ведь тот, кто писал хоть бы Крейцерову сонату,— Бетховен, ведь он знал, почему он находился в таком состоянии,— это состояние привело его к известным поступкам, и потому для него это состояние имело смысл, для меня же никакого. И потому музыка только раздражает, не кончает. Ну, марш воинственный сыграют, солдаты пройдут под марш, и музыка дошла; сыграли плясовую, я проплясал, музыка дошла; ну, пропели мессу, я причастился, тоже музыка дошла, а то только раздражение, а того, что надо делать в этом раздражении,— нет. И оттого музыка так страшно, так ужасно иногда действует. В Китае музыка государственное дело. И это так и должно быть. Разве можно допустить, чтобы всякий, кто хочет, гипнотизировал бы один другого или многих и потом бы делал с ними что хочет. И главное, чтобы этим гипнотизером был первый попавшийся безнравственный человек.

А то страшное средство в руках кого попало. Например, хоть бы эту Крейцерову сонату, первое престо. Разве можно играть в гостиной среди декольтированных дам это престо? Сыграть и потом похлопать, а потом есть мороженое и говорить о последней сплетне. Эти вещи можно играть только при известных, важных, значительных

обстоятельствах, и тогда, когда требуется совершить известные, соответствующие этой музыке важные поступки. Сыграть и сделать то, на что настроила эта музыка. А то несоответственное ни месту, ни времени вызывание энергии, чувства, ничем не проявляющегося, не может не действовать губительно. На меня, по крайней мере, вещь эта подействовала ужасно; мне как будто открылись совсем новые, казалось мне, чувства, новые возможности, о которых я не знал до сих пор. Да вот как, совсем не так, как я прежде думал и жил, а вот как, как будто говорилось мне в душе. Что такое было то новое, что я узнал, я не мог себе дать отчета, но сознание этого нового состояния было очень радостно. Всё те же лица, и в том числе и жена и он, представлялись совсем в другом свете.

После этого престо они доиграли прекрасное, но обыкновенное, не новое andante с пошлыми варьяциями и совсем слабый финал. Потом еще играли по просьбе гостей то «Элегию» Эрнста, то еще разные вещицы. Все это было хорошо, но все это не произвело на меня и 0,01 того впечатления, которое произвело первое. Все это происходило уже на фоне того впечатления, которое произвело первое. Мне было легко, весело весь вечер. Жену же я никогда не видал такою, какою она была в этот вечер. Эти блестящие глаза, эта строгость, значительность выражения, пока она играла, и эта совершенная растаянность какая-то, слабая, жалкая и блаженная улыбка после того, как они кончили. Я все это видел, но не приписывал этому никакого другого значения, кроме того, что она испытывала то же, что и я, что и ей, как и мне, открылись, как будто вспомнились новые, неиспытанные чувства. Вечер кончился благополучно, и все разъехались.

Зная, что я должен был через два дня ехать на съезд, Трухачевский, прощаясь, сказал, что он надеется в свой другой приезд повторить еще удовольствие нынешнего вечера. Из этого я мог заключить, что он не считал возможным бывать у меня без меня, и это было мне приятно. Оказывалось, что так как я не вернусь до его отъезда, то мы с ним больше не увидимся.

Я в первый раз с истинным удовольствием пожал ему руку и благодарил его за удовольствие. Он также совсем простился с женой. И их прощанье показалось мне самым натуральным и приличным. Все было прекрасно. Мы оба с женою были очень довольны вечером.

XXIV

— Через два дня я уехал в уезд в самом хорошем, спокойном настроении простившись с женой. В уезде всегда бывало пропасть дела и совсем особенная жизнь, особенный мирок. Два дня я по десяти часов проводил в присутствии. На другой день мне в присутствие принесли письмо от жены. Я тут же прочел его. Она писала о детях, о дяде, о нянюшке, о покупках и между прочим, как о вещи самой обыкновенной, о том, что Трухачевский заходил, принес обещанные ноты и обещал играть еще, но что она отказалась. Я не помнил, чтобы он обещал принести ноты: мне казалось, что он тогда простился совсем, и потому это неприятно поразило меня. Но дела было столько, что некогда было подумать, и я только вечером, вернувшись на квартиру, перечел письмо. Кроме того, что Трухачевский без меня был еще раз, весь тон письма показался мне натянутым. Бешеный зверь ревности зарычал в своей конуре и хотел выскочить, но я боялся этого зверя и запер его скорей. «Какое мерзкое чувство эта ревность! — сказал я себе.— Что может быть естественнее того, что она пишет?»

И я лег в постель и стал думать о делах, предстоящих на завтра. Мне всегда долго не спалось во время этих съездов, на новом месте, но тут я заснул очень скоро. И как это бывает, знаете, вдруг толчок электрический, и просыпаешься. Так я проснулся, и проснулся с мыслью о ней, о моей плотской любви к ней, и о Трухачевском, и о том, что между нею и им все кончено. Ужас и злоба стиснули мне сердце. Но я стал образумливать себя. «Что за вздор,— говорил я себе,— нет никаких оснований, ничего нет и не было. И как я могу так унижать ее и себя, предполагая такие ужасы. Что-то вроде наемного скрипача, известный за дрянного человека, и вдруг женщина почтенная, уважаемая мать семейства, *моя* жена! Что за нелепость!» — представлялось мне с одной стороны. «Как же этому не быть?» — представлялось мне с другой. Как же могло не быть то самое простое и понятное, во имя чего я женился на ней, то самое, во имя чего я с нею жил, чего одного в ней нужно было и мне и чего поэтому нужно было и другим и этому музыканту. Он человек неженатый, здоровый (помню, как он хрустел хрящом

в котлетке и обхватывал жадно красными губами стакан с вином), сытый, гладкий, и не только без правил, но, очевидно, с правилами о том, чтобы пользоваться теми удовольствиями, которые представляются. И между ними связь музыки, самой утонченной похоти чувств. Что же может удержать его? Ничто. Все, напротив, привлекает его. Она? Да кто она? Она тайна, как была, так и есть. Я не знаю ее. Знаю ее только как животное. А животное ничто не может, не должно удержать.

Только теперь я вспомнил их лица в тот вечер, когда они после Крейцеровой сонаты сыграли какую-то страстную вещицу, не помню кого, какую-то до похабности чувственную пьесу. «Как я мог уехать? — говорил я себе, вспоминая их лица.— Разве не ясно было, что между ними все совершилось в этот вечер? и разве не видно было, что уже в этот вечер между ними не только не было никакой преграды, но что они оба, главное она, испытывали некоторый стыд после того, что случилось с ними?» Помню, как она слабо, жалобно и блаженно улыбалась, утирая пот с раскрасневшегося лица, когда я подошел к фортепиано. Они уже тогда избегали смотреть друг на друга, и только за ужином, когда он наливал ей воды, они взглянули друг на друга и чуть улыбнулись. Я с ужасом вспомнил теперь этот перехваченный мною их взгляд с чуть заметной улыбкой. «Да, все кончено»,— говорил мне один голос, и тотчас же другой голос говорил совсем другое. «Это что-то нашло на тебя, этого не может быть»,— говорил этот другой голос. Мне жутко стало лежать в темноте, я зажег спичку, и мне как-то страшно стало в этой маленькой комнатке с желтыми обоями. Я закурил папироску и, как всегда бывает, когда вертишься в одном и том же кругу неразрешающихся противоречий,— куришь, и я курил одну папироску за другой, для того чтобы затуманить себя и не видать противоречий.

Я не заснул всю ночь, и в пять часов, решив, что не могу оставаться более в этом напряжении и сейчас же поеду, я встал, разбудил сторожа, который мне прислуживал, и послал его за лошадьми. В заседание я послал записку о том, что я по экстренному делу вызван в Москву; потому прошу, чтобы меня заменил член. В восемь часов я сел в тарантас и поехал.

XXV

Вошел кондуктор и, заметив, что свеча наша догорела, потушил ее, не вставляя новой. На дворе начинало светать. Позднышев молчал, тяжело вздыхая все время, пока в вагоне был кондуктор. Он продолжал свой рассказ, только когда вышел кондуктор и в полутемном вагоне послышался только треск стекол двигающегося вагона и равномерный храп приказчика. В полусвете зари мне совсем уже не видно его было. Слышен был только его все более и более взволнованный, страдающий голос.

— Ехать надо было тридцать пять верст на лошадях и восемь часов по чугунке. На лошадях ехать было прекрасно. Была морозная осенняя пора с ярким солнцем. Знаете, эта пора, когда шипы выпечатываются на масленой дороге. Дороги гладкие, свет яркий и воздух бодрящий. В тарантасе ехать было хорошо. Когда рассвело и я поехал, мне стало легче. Глядя на лошадей, на поля, на встречных, забывал, куда я еду. Иногда мне казалось, что я просто еду и что ничего того, что вызвало меня, ничего этого не было. И мне особенно радостно бывало так забываться. Когда же я вспоминал, куда я еду, я говорил себе: «Тогда видно будет, не думай». На середине дороги сверх того случилось событие, задержавшее меня в дороге и еще больше развлекшее меня: тарантас сломался, и надо было чинить его. Поломка эта имела большое значение тем, что она сделала то, что я приехал в Москву не в пять часов, как я рассчитывал, а в двенадцать часов и домой — в первом часу, так как я не попал на курьерский, а должен был уже ехать на пассажирском. Поездка за телегой, починка, расплата, чай на постоялом дворе, разговоры с дворником — все это еще больше развлекло меня. Сумерками все было готово, и я опять поехал, и ночью еще лучше было ехать, чем днем. Был молодой месяц, маленький мороз, еще прекрасная дорога, лошади, веселый ямщик, и я ехал и наслаждался, почти совсем не думая о том, что меня ожидает, или именно потому особенно наслаждался, что знал, что меня ожидает, и прощался с радостями жизни. Но это спокойное состояние мое, возможность подавлять свое чувство кончилось поездкой на лошадях. Как только я вошел в вагон, началось совсем другое. Этот восьмичасовой переезд в вагоне был для меня что-то ужасное, чего я не забуду во всю жизнь. Оттого ли, что, сев в вагон, я живо представил себя уже

приехавшим, или оттого, что железная дорога так возбуждающе действует на людей, но только, с тех пор как я сел в вагон, я уже не мог владеть своим воображением, и оно не переставая с необычайной яркостью начало рисовать мне разжигающие мою ревность картины, одну за другой и одну циничнее другой, и все о том же, о том, что происходило там, без меня, как она изменяла мне. Я сгорал от негодования, злости и какого-то особенного чувства упоения своим унижением, созерцая эти картины, и не мог оторваться от них; не мог не смотреть на них, не мог стереть их, не мог не вызывать их. Мало того, чем более я созерцал эти воображаемые картины, тем более я верил в их действительность. Яркость, с которой представлялись мне эти картины, как будто служила доказательством тому, что то, что я воображал, было действительность. Какой-то дьявол, точно против моей воли, придумывал и подсказывал мне самые ужасные соображения. Давнишний разговор с братом Трухачевского вспомнился мне, и я с каким-то восторгом раздирал себе сердце этим разговором, относя его к Трухачевскому и моей жене.

Это было очень давно, но я вспомнил это. Брат Трухачевского, я помню, раз на вопрос о том, посещает ли он публичные дома, сказал, что порядочный человек не станет ходить туда, где можно заболеть, да и грязно и гадко, когда всегда можно найти порядочную женщину. И вот он, его брат, нашел мою жену. «Правда, она уже не первой молодости, зуба одного нет сбоку и есть пухлость некоторая,— думал я за него,— но что же делать, надо пользоваться тем, что есть».— «Да, он делает снисхождение ей, что берет ее своей любовницей,— говорил я себе.— Притом она безопасна».— «Нет, это невозможно! Что я думаю! — ужасаясь, говорил я себе.— Ничего, ничего подобного нет. И нет даже никаких оснований что-нибудь предполагать подобное. Разве она не говорила мне, что ей унизительна даже мысль о том, что я могу ревновать к нему? Да, но она лжет, все лжет!» — вскрикивал я — и начиналось опять... Пассажиров в нашем вагоне было только двое — старушка с мужем, оба очень неразговорчивые, и те вышли на одной из станций, и я остался один. Я был как зверь в клетке: то я вскакивал, подходил к окнам, то, шатаясь, начинал ходить, стараясь подогнать вагон; но вагон со всеми лавками и стеклами все точно так же подрагивал, вот как наш...

И Позднышев вскочил и сделал несколько шагов и опять сел.

— Ох, боюсь я, боюсь я вагонов железной дороги, ужас находит на меня. Да, ужасно! — продолжал он.— Я говорил себе: «Буду думать о другом. Ну, положим, о хозяине постоялого двора, у которого я пил чай». Ну вот, в глазах воображения возникает дворник с длинной бородой и его внук — мальчик одних лет с моим Васей. Мой Вася! Он увидит, как музыкант целует его мать. Что сделается в его бедной душе? Да ей что! Она любит... И опять поднималось то же. Нет, нет... Ну, буду думать об осмотре больницы. Да, как вчера больной жаловался на доктора. А доктор с усами, как у Трухачевского. И как он нагло... Они оба обманывали меня, когда говорил, что он уезжает. И опять начиналось. Все, о чем я думал, имело связь с ним. Я страдал ужасно. Страдание главное было в неведении, в сомнениях, в раздвоении, в незнании того, что — любить или ненавидеть надо ее. Страдания были так сильны, что, я помню, мне пришла мысль, очень понравившаяся мне, выйти на путь, лечь на рельсы под вагон и кончить. Тогда, по крайней мере, не будешь больше колебаться, сомневаться. Одно, что мешало это сделать, была жалость к себе, тотчас же непосредственно за собой вызывавшая ненависть к ней. К нему же было какое-то странное чувство и ненависти и сознания своего унижения и его победы, но к ней страшная ненависть. «Нельзя покончить с собой и оставить ее; надо, чтоб она пострадала хоть сколько-нибудь, хоть поняла бы, что я страдал», — говорил я себе. Я выходил на всех станциях, чтобы развлекаться. На одной станции я в буфете увидал, что пьют, и тотчас же сам выпил водки. Рядом со мной стоял еврей и тоже пил. Он разговорился, и я, чтобы только не оставаться одному в своем вагоне, пошел с ним в его грязный, накуренный и забрызганный шелухой от семечек вагон третьего класса. Там я сел с ним рядом, и он много что-то болтал и рассказывал анекдоты. Я слушал его, но не мог понимать того, что он говорит, потому что продолжал думать о своем. Он заметил это и стал требовать к себе внимания; тогда я встал и ушел опять в свой вагон. «Надо обдумать,— говорил я себе,— правда ли то, что я думаю, и есть ли основание мне мучаться». Я сел, желая спокойно обдумать, но тотчас же вместо спокойного обдумыванья началось опять то же: вместо

рассуждений — картины и представления. «Сколько раз я так мучался,— говорил я себе (я вспоминал прежние подобные припадки ревности), — и потом все кончалось ничем. Так и теперь, может быть, даже наверное, я найду ее спокойно спящею; она проснется, обрадуется мне, и по словам, по взгляду я почувствую, что ничего не было и что все это вздор. О, как хорошо бы это!» — «Но нет, это слишком часто было, и теперь этого уже не будет»,— говорил мне какой-то голос, и опять начиналось. Да, вот где была казнь! Не в сифилитическую больницу я сводил бы молодого человека, чтобы отбить у него охоту от женщин, но в душу к себе, посмотреть на тех дьяволов, которые раздирали ее! Ведь ужасно было то, что я признавал за собой несомненное, полное право над ее телом, как будто это было мое тело, и вместе с тем чувствовал, что владеть я этим телом не могу, что оно не мое и что она может распоряжаться им как хочет, а хочет распорядиться им не так, как я хочу. И я ничего не могу сделать ни ему, ни ей. Он, как Ванька-ключничек перед виселицей, споет песенку о том, как в сахарные уста было поцеловано и прочее. И верх его. А с ней еще меньше я могу что-нибудь сделать. Если она не сделала, но хочет, а я знаю, что хочет, то еще хуже: уж лучше бы сделала, чтоб я знал, чтоб не было неизвестности. Я не мог бы сказать, чего я хотел. Я хотел, чтоб она не желала того, что она должна желать. Это было полное сумасшествие!

XXVI

— На предпоследней станции, когда кондуктор пришел обирать билеты, я, собрав свои вещи, вышел на тормоз, и сознание того, что близко, вот оно решение, еще усилило мое волнение. Мне стало холодно, и я стал дрожать челюстями так, что стучал зубами. Я машинально с толпой вышел из вокзала, взял извозчика, сел и поехал. Я ехал, оглядывая редких прохожих, и дворников, и тени, бросаемые фонарями и моей пролеткой то спереди, то сзади, ни о чем не думая. Отъехав с полверсты, мне стало холодно ногам, и я подумал о том, что снял в вагоне шерстяные чулки и положил их в сумку. Где сумка? тут ли? Тут. А где корзина? Я вспомнил, что я забыл совсем о багаже, но, вспомнив и достав расписку, решил, что не стоит возвращаться за этим, и поехал дальше.

Сколько я ни стараюсь вспомнить теперь, я никак не могу вспомнить моего тогдашнего состояния: что я думал? чего хотел? ничего не знаю. Помню только, что у меня было сознание того, что готовится что-то страшное и очень важное в моей жизни. Оттого ли произошло то важное, что я так думал, или оттого, что предчувствовал,— не знаю. Может быть и то, что после того, что случилось, все предшествующие минуты в моем воспоминании получили мрачный оттенок. Я подъехал к крыльцу. Был первый час. Несколько извозчиков стояло у крыльца, ожидая седоков по освещенным окнам (освещенные окна были в нашей квартире, в зале и гостиной). Не отдавая себе отчета в том, почему есть еще свет так поздно в наших окнах, я в том же состоянии ожидания чего-то страшного взошел на лестницу и позвонил. Лакей, добрый, старательный и очень глупый Егор, отворил. Первое, что бросилось в глаза, в передней была на вешалке рядом с другим платьем его шинель. Я бы должен был удивиться, но не удивился, точно я ждал этого. «Так и есть»,— сказал я себе. Когда я спросил Егора, кто здесь, и он назвал мне Трухачевского, я спросил, есть ли еще кто-нибудь. Он сказал:

— Никого-с.

Помню, как он ответил мне это с такой интонацией, как будто желал порадовать меня и рассеять сомнения, что есть еще кто. «Никого-с. Так, так»,— как будто говорил я себе.

— А дети?

— Слава богу, здоровы. Давно спят-с.

Я не мог продохнуть и не мог остановить трясущихся челюстей. «Да, стало быть, не так, как я думал: то прежде я думал — несчастье, а оказывалось все хорошо, по-старому. Теперь же вот не по-старому, а вот оно все то, что я представлял себе и думал, что только представлял, а вот оно все в действительности. Вот оно все...»

Я чуть было не зарыдал, но тотчас же дьявол подсказал: «Ты плачь, сентиментальничай, а они спокойно разойдутся, улик не будет, и ты век будешь сомневаться и мучаться». И тотчас чувствительность над собой исчезла, и явилось странное чувство — вы не поверите — чувство радости, что кончится теперь мое мученье, что теперь я могу наказать ее, могу избавиться от нее, что я могу дать волю моей злобе. И я дал волю моей злобе — я сделался зверем, злым и хитрым зверем.

— Не надо, не надо,— сказал я Егору, хотевшему идти в гостинную,— а ты вот что: ты поди, скорее возьми извозчика и поезжай; вот квитанция, получи вещи. Ступай.

Он пошел по коридору за своим пальто. Боясь, что он спугнет их, я проводил его до его каморки и подождал, пока он оделся. В гостиной, за другой комнатой, слышен был говор и звук ножей и тарелок. Они ели и не слыхали звонка. «Только бы не вышли теперь»,— думал я. Егор надел свое пальто с астраханским барашком и вышел. Я выпустил его и запер за ним дверь, и мне стало жутко, когда я почувствовал, что остался один и что мне надо сейчас действовать. Как — я еще не знал. Я знал только, что теперь все кончено, что сомнений в ее невинности не может быть и что я сейчас накажу ее и кончу мои отношения с нею.

Прежде еще были у меня колебания, я говорил себе: «А может быть, это неправда, может быть, я ошибаюсь»,— теперь уж этого не было. Все было решено бесповоротно. Тайно от меня, одна с ним, ночью! Это уже совершенное забвение всего. Или еще хуже: нарочно такая смелость, дерзость в преступлении, чтобы дерзость эта служила признаком невинности. Все ясно. Сомнения нет. Я боялся только одного, как бы они не разбежались, не придумали еще нового обмана и не лишили меня тем и очевидности улики, и возможности наказать. И с тем, чтоб скорее застать их, я на цыпочках пошел в залу, где они сидели, не через гостиную, а через коридор и детскую.

В первой детской мальчики спали. Во второй детской няня зашевелилась, хотела проснуться, и я представил себе то, что она подумает, узнав все, и такая жалость к себе охватила меня при этой мысли, что я не мог удержаться от слез, и, чтобы не разбудить детей, выбежал на цыпочках в коридор и к себе в кабинет, повалился на свой диван и зарыдал.

«Я — честный человек, я — сын своих родителей, я — всю жизнь мечтавший о счастье семейной жизни, я — мужчина, никогда не изменявший ей... И вот! пять человек детей, и она обнимает музыканта, оттого что у него красные губы! Нет, это не человек! Это сука, это мерзкая сука! Рядом с комнатой детей, в любви к которым она притворялась всю свою жизнь. И писать мне то, что она писала! И так нагло броситься на шею! Да что я знаю? может быть, все время это так было. Может быть, она

давно с лакеями прижила всех детей, которые считаются моими. И завтра я бы приехал, и она в своей прическе, с своей этой талией и ленивыми грациозными движениями (я увидал все ее привлекательное ненавистное лицо) встретила бы меня, и зверь этот ревности навеки сидел бы у меня в сердце и раздирал бы его. Няня что подумает, Егор. И бедная Лизочка! Она уже понимала что-то. И эта наглость! и эта ложь! и эта животная чувственность, которую я так знаю»,— говорил я себе.

Я хотел встать, но не мог. Сердце так билось, что я не мог устоять на ногах. Да, я умру от удара. Она убьет меня. Ей это и надо. Что ж, ей убить? Да нет, это бы ей было слишком выгодно, и этого удовольствия я не доставлю ей. Да, и я сижу, а они там едят и смеются, и... Да, несмотря на то, что она была уж не первой свежести, он не побрезгал ею: все-таки она была недурна, главное же, по крайней мере, было безопасно для его драгоценного здоровья. «И зачем я не задушил ее тогда»,— сказал я себе, вспомнив ту минуту, когда я неделю тому назад выталкивал ее из кабинета и потом колотил вещи. Мне живо вспомнилось то состояние, в котором я был тогда; не только вспомнилось, но я ощутил ту же потребность бить, разрушать, которую я ощущал тогда. Помню, как мне захотелось действовать, и всякие соображения, кроме тех, которые нужны были для действия, выскочили у меня из головы. Я вступил в то состояние зверя или человека под влиянием физического возбуждения во время опасности, когда человек действует точно, неторопливо, но и не теряя ни минуты, и все только с одною определенною целью.

XXVII

— Первое, что я сделал, я снял сапоги и, оставшись в чулках, подошел к стене над диваном, где у меня висели ружья и кинжалы, и взял кривой дамасский кинжал, ни разу не употреблявшийся и страшно острый. Я вынул его из ножен. Ножны, я помню, завалились за диван, и помню, что я сказал себе: «Надо после найти их, а то пропадут». Потом я снял пальто, которое все время было на мне, и, мягко ступая в одних чулках, пошел туда.

И подкравшись тихо, я вдруг отворил дверь. Помню выражение их лиц. Я помню это выражение, потому что выражение это доставило мне мучительную радость. Это

было выражение ужаса. Этого-то мне и надо было. Я никогда не забуду выражение отчаянного ужаса, которое выступило в первую секунду на обоих их лицах, когда они увидали меня. Он сидел, кажется, за столом, но, увидав или услыхав меня, вскочил на ноги и остановился спиной к шкафу. На его лице было одно очень несомненное выражение ужаса. На ее лице было то же выражение ужаса, но с ним вместе было и другое. Если бы оно было одно, может быть, не случилось бы того, что случилось; но в выражении ее лица было, по крайней мере показалось мне в первое мгновенье, было еще огорченье, недовольство тем, что нарушили ее увлечение любовью и ее счастье с ним. Ей как будто ничего не нужно было, кроме того, чтобы ей не мешали быть счастливой теперь. То и другое выражение только мгновение держалось на их лицах. Выражение ужаса в его лице тотчас же сменилось выражением вопроса: можно лгать или нет? Если можно, то надо начинать. Если нет, то начнется еще что-то другое. Но что? Он вопросительно взглянул на нее. На ее лице выражение досады и огорчения сменилось, как мне показалось, когда она взглянула на него, заботою о нем.

На мгновенье я остановился в дверях, держа кинжал за спиною. В это же мгновение он улыбнулся и до смешного равнодушным тоном начал:

— А мы вот музицировали...

— Вот не ждала,— в то же время начала и она, покоряясь его тону.

Но ни тот, ни другой не договорили: то же самое бешенство, которое я испытывал неделю тому назад, овладело мной. Опять я испытал эту потребность разрушения, насилия и восторга бешенства и отдался ему.

Оба не договорили... Началось то другое, чего он боялся, что разрывало сразу все, что они говорили. Я бросился к ней, все еще скрывая кинжал, чтобы он не помешал мне ударить ее в бок под грудью. Я выбрал это место с самого начала. В ту минуту, как я бросился к ней, он увидал, и, чего я никак не ждал от него, он схватил меня за руку и крикнул:

— Опомнитесь, что вы! Люди!

Я вырвал руку и молча бросился к нему. Его глаза встретились с моими, он вдруг побледнел как полотно, до губ, глаза сверкнули как-то особенно, и, чего я тоже никак не ожидал, он шмыгнул под фортепиано, в дверь. Я бросился было за ним, но на левой руке моей повисла

тяжесть. Это была она. Я рванулся. Она еще тяжелее повисла и не выпускала. Неожиданная эта помеха, тяжесть и ее отвратительное мне прикосновение еще больше разожгли меня. Я чувствовал, что я вполне бешеный и должен быть страшен, и радовался этому. Я размахнулся изо всех сил левой рукой и локтем попал ей в самое лицо. Она вскрикнула и выпустила мою руку. Я хотел бежать за ним, но вспомнил, что было бы смешно бежать в чулках за любовником своей жены, а я не хотел быть смешон, а хотел быть страшен. Несмотря на страшное бешенство, в котором я находился, я помнил все время, какое впечатление я произвожу на других, и даже это впечатление отчасти руководило мною. Я повернулся к ней. Она упала на кушетку и, схватившись рукою за расшибленные мною глаза, смотрела на меня. В лице ее были страх и ненависть ко мне, к врагу, как у крысы, когда поднимают мышеловку, в которую она попалась. Я, по крайней мере, ничего не видел в ней, кроме этого страха и ненависти ко мне. Это был тот самый страх и ненависть ко мне, которые должна была вызвать любовь к другому. Но еще, может быть, я удержался бы и не сделал бы того, что я сделал, если бы она молчала. Но она вдруг начала говорить и хватать меня рукой за руку с кинжалом.

— Опомнись! Что ты? Что с тобой? Ничего нет, ничего, ничего... Клянусь!

Я бы и еще помедлил, но эти последние слова ее, по которым я заключил обратное, то есть, что все было, вызвали ответ. И ответ должен был быть соответствен тому настроению, в которое я привел себя, которое все шло crescendo [1] и должно было продолжать так же возвышаться. У бешенства есть тоже свои законы.

— Не лги, мерзавка! — завопил я и левой рукой схватил ее за руку, но она вырвалась. Тогда все-таки я, не выпуская кинжала, схватил ее левой рукой за горло, опрокинул навзничь и стал душить. Какая жесткая шея была... Она схватилась обеими руками за мои руки, отдирая их от горла, и я как будто этого-то и ждал, изо всех сил ударил ее кинжалом в левый бок, ниже ребер.

Когда люди говорят, что они в припадке бешенства не помнят того, что они делают,— это вздор, неправда. Я все помнил и ни на секунду не переставал помнить. Чем

---

[1] нарастая *(итал.)*.

сильнее я разводил сам в себе пары своего бешенства, тем ярче разгорался во мне свет сознания, при котором я не мог не видеть всего того, что я делал. Всякую секунду я знал, что я делаю. Не могу сказать, чтобы я знал вперед, что я буду делать, но в ту секунду, как я делал, даже, кажется, несколько вперед, я знал, что я делаю, как будто для того, чтоб возможно было раскаяться, чтоб я мог себе сказать, что я мог остановиться. Я знал, что я ударяю ниже ребер и что кинжал войдет. В ту минуту, как я делал это, я знал, что я делаю нечто ужасное, такое, какого я никогда не делал и которое будет иметь ужасные последствия. Но сознание это мелькнуло как молния, и за сознанием тотчас же следовал поступок. И поступок сознавался с необычайной яркостью. Я слышал и помню мгновенное противодействие корсета и еще чего-то и потом погружение ножа в мягкое. Она схватилась руками за кинжал, обрезала их, но не удержала. Я долго потом, в тюрьме, после того как нравственный переворот совершился во мне, думал об этой минуте, вспоминал, что мог, и соображал. Помню на мгновение, только на мгновение, предварявшее поступок, страшное сознание того, что я убиваю и убил женщину, беззащитную женщину, мою жену. Ужас этого сознания я помню и потому заключаю и даже вспоминаю смутно, что, воткнув кинжал, я тотчас же вытащил его, желая поправить сделанное и остановить. Я секунду стоял неподвижно, ожидая, что будет, можно ли поправить. Она вскочила на ноги, вскрикнула:

— Няня! он убил меня!

Услыхавшая шум няня стояла в дверях. Я все стоял, ожидая и не веря. Но тут из-под ее корсета хлынула кровь. Тут только я понял, что поправить нельзя, и тотчас же решил, что и не нужно, что я этого самого и хочу и это самое и должен был сделать. Я подождал, пока она упала и няня с криком: «Батюшки!» — подбежала к ней, и тогда только бросил кинжал прочь и пошел из комнаты.

«Не надо волноваться, надо знать, что я делаю»,— сказал я себе, не глядя на нее и няню. Няня кричала, звала девушку. Я прошел коридором и, послав девушку, пошел в свою комнату. «Что теперь надо делать?» — спросил я себя и тотчас же понял что. Войдя в кабинет, я прямо подошел к стене, снял с нее револьвер, осмотрел его — он был заряжен — и положил на стол. Потом достал ножны из-за дивана и сел на диван.

Долго я сидел так. Я ничего не думал, ничего не вспоминал. Я слышал, что там что-то возились. Слышал, как приехал кто-то, потом еще кто-то. Потом слышал и видел, как Егор внес мою привезенную корзину в кабинет. Точно кому-нибудь это нужно!

— Слышал ты, что случилось? — сказал я.— Скажи дворнику, чтобы дали знать в полицию.

Он ничего не сказал и ушел. Я встал, запер дверь и, достав папироски и спичку, стал курить. Я не докурил папироски, как меня схватил и повалил сон. Я спал, верно, часа два. Помню, я видел во сне, что мы дружны с ней, поссорились, но миримся, и что немножко что-то мешает, но мы дружны. Меня разбудил стук в дверь. «Это полиция,— подумал я, просыпаясь.— Ведь я убил, кажется. А может быть, это она, и ничего не было». В дверь еще постучались. Я ничего не отвечал, решая вопрос: было это или не было? Да, было. Я вспомнил сопротивление корсета и погружение ножа, и мороз пробежал по спине. «Да, было. Да, теперь надо и себя»,— сказал я себе. Но я говорил это и знал, что я не убью себя. Однако я встал и взял опять в руки револьвер. Но странное дело: помню, как прежде много раз я был близок к самоубийству, как в тот день даже, на железной дороге, мне это легко казалось, легко именно потому, что я думал, как я этим поражу ее. Теперь я никак не мог не только убить себя, но и подумать об этом. «Зачем я это сделаю?» — спрашивал я себя, и ответа не было. В дверь постучались еще. «Да, прежде надо узнать, кто это стучится. Успею еще». Я положил револьвер и покрыл его газетой. Я подошел к двери и отодвинул задвижку. Это была сестра жены, добрая, глупая вдова.

— Вася! что это? — сказала она, и всегда готовые у ней слезы полились.

— Что надо? — грубо спросил я. Я видел, что совсем не надо было и незачем было быть с ней грубым, но я не мог придумать никакого другого тона.

— Вася, она умирает! Иван Федорович сказал.— Иван Федорович это был доктор, ее доктор, советчик.

— Разве он здесь? — спросил я, и вся злоба на нее поднялась опять.— Ну так что ж?

— Вася, поди к ней. Ах, как это ужасно,— сказала она.

«Пойти к ней?» — задал я себе вопрос. И тотчас же ответил, что надо пойти к ней, что, вероятно, всегда так

делается, что когда муж, как я, убил жену, то непременно надо идти к ней. «Если так делается, то надо идти,— сказал я себе.— Да если нужно будет, всегда успею»,— подумал я о своем намерении застрелиться и пошел за нею. «Теперь будут фразы, гримасы, но я не поддамся им»,— сказал я себе.

— Постой,— сказал я сестре,— глупо без сапог, дай я надену хоть туфли.

XXVIII

— И удивительное дело! Опять, когда я вышел из комнаты и пошел по привычным комнатам, опять во мне явилась надежда, что ничего не было, но запах этой докторской гадости — йодоформ, карболка — поразил меня. Нет, все было. Проходя по коридору мимо детской, я увидал Лизоньку. Она смотрела на меня испуганными глазами. Мне показалось даже, что тут были все пятеро детей, и все смотрели на меня. Я подошел к двери, и горничная изнутри отворила мне и вышла. Первое, что бросилось мне в глаза, было ее светло-серое платье на стуле, все черное от крови. На нашей двуспальной постели, на моей даже постели — к ней был легче подход — лежала она с поднятыми коленями. Она лежала очень отлого на одних подушках в расстегнутой кофте. На месте раны было что-то наложено. В комнате был тяжелый запах йодоформа. Прежде и больше всего поразило меня ее распухшее и синеющее по отекам лицо, часть носа и под глазом. Это было последствие удара моего локтем, когда она хотела удерживать меня. Красоты не было никакой, а что-то гадкое показалось мне в ней. Я остановился у порога.

— Подойди, подойди к ней,— говорила мне сестра.

«Да, верно, она хочет покаяться»,— подумал я. «Простить? Да, она умирает и можно простить ее»,— думал я, стараясь быть великодушным. Я подошел вплоть. Она с трудом подняла на меня глаза, из которых один был подбитый, и с трудом, с запинками проговорила:

— Добился своего, убил...— И в лице ее, сквозь физические страдания и даже близость смерти, выразилась та же старая, знакомая мне холодная животная ненависть.— Детей... я все-таки тебе... не отдам... Она (ее сестра) возьмет...

О том же, что было главным для меня, о своей вине, измене, она как бы считала нестоящим упоминать,

— Да, полюбуйся на то, что ты сделал,— сказала она, глядя в дверь, и всхлипнула. В двери стояла сестра с детьми. — Да, вот что ты сделал.

Я взглянул на детей, на ее с подтеками разбитое лицо и в первый раз забыл себя, свои права, свою гордость, в первый раз увидал в ней человека. И так ничтожно мне показалось все то, что оскорбляло меня,— вся моя ревность, и так значительно то, что я сделал, что я хотел припасть лицом к ее руке и сказать: «Прости!» — но не смел.

Она молчала, закрыв глаза, очевидно не в силах говорить дальше. Потом изуродованное лицо ее задрожало и сморщилось. Она слабо оттолкнула меня.

— Зачем все это было? Зачем?

— Прости меня,— сказал я.

— Прости? Все это вздор!.. Только бы не умереть!.. — вскрикнула она, приподнялась, и лихорадочно блестящие глаза ее устремились на меня.— Да, ты добился своего!.. Ненавижу!.. Ай! Ах! — очевидно, в бреду, пугаясь чего-то, закричала она.— Ну, убивай, убивай, я не боюсь... Только всех, всех, и его. Ушел, ушел!

Бред продолжался все время. Она не узнавала никого. В тот же день, к полдню, она померла. Меня прежде этого, в восемь часов, отвели в часть и оттуда в тюрьму. И там, просидев одиннадцать месяцев, дожидаясь суда, я обдумал себя и свое прошедшее и понял его. Начал понимать я на третий день. На третий день меня водили туда...

Он что-то хотел сказать и, не в силах будучи удержать рыдания, остановился. Собравшись с силами, он продолжал:

— Я начал понимать только тогда, когда увидал ее в гробу... — Он всхлипнул, но тотчас же торопливо продолжал: — Только тогда, когда я увидал ее мертвое лицо, я понял все, что я сделал. Я понял, что я, я убил ее, что от меня сделалось то, что она была живая, движущаяся, теплая, а теперь стала неподвижная, восковая, холодная и что поправить этого никогда, нигде, ничем нельзя. Тот, кто не пережил этого, тот не может понять... У! у! у!..— вскрикнул он несколько раз и затих.

Мы долго сидели молча. Он всхлипывал и трясся молча передо мной.

— Ну, простите...

Он отвернулся от меня и прилег на лавке, закрывшись пледом. На той станции, где мне надо было выходить,— это было в восемь часов утра,— я подошел к нему, чтобы проститься. Спал ли он, или притворялся, но он не шевелился. Я тронул его рукой. Он открылся, и видно было, что он не спал.

— Прощайте,— сказал я, подавая ему руку.

Он подал мне руку и чуть улыбнулся, но так жалобно, что мне захотелось плакать.

— Да, простите,— повторил он то же слово, которым заключил и весь рассказ.

ДЬЯВОЛ

А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.

Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну.

И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну *(Матфея V, 28, 29, 30)*.

I

Евгения Иртенева ожидала блестящая карьера. Все у него было для этого. Прекрасное домашнее воспитание, блестящее окончание курса на юридическом факультете Петербургского университета, связи по недавно умершему отцу с самым высшим обществом и даже начало службы в министерстве под покровительством министра. Было и состояние, даже большое состояние, но сомнительное. Отец жил за границей и в Петербурге, давая по шести тысяч сыновьям — Евгению и старшему, Андрею, служившему в кавалергардах, и сам проживал с матерью очень много. Только летом он приезжал на два месяца в именье, но не занимался хозяйством, предоставляя все заевшемуся управляющему, тоже не занимавшемуся именьем, но к которому он имел полное доверие.

После смерти отца, когда братья стали делиться, оказалось, что долгов было так много, что поверенный по делам советовал даже, оставив за собой именье бабки, которое ценили в сто тысяч, отказаться от наследства. Но сосед по именью, помещик, имевший дела с стариком Иртеневым, то есть имевший вексель на него и приезжав-

ший для этого в Петербург, говорил, что, несмотря на долги, дела можно поправить и удержать еще большое состояние. Стоило только продать лес, отдельные куски пустоши и удержать главное золотое дно — Семеновское с четырьмя тысячами десятин чернозема, сахарным заводом и двумястами десятин заливных лугов, если посвятить себя этому делу и, поселившись в деревне, умно и расчетливо хозяйничать.

И вот Евгений, съездив весною (отец умер постом) в именья и осмотрев все, решил выйти в отставку, поселиться с матерью в деревне и заняться хозяйством с тем, чтобы удержать главное именье. С братом, с которым не был особенно дружен, он сделался так: обязался ему платить ежегодно четыре тысячи или единовременно восемьдесят тысяч, за которые брат отказывался от своей доли наследства.

Так он и сделал и, поселившись с матерью в большом доме, горячо и осторожно вместе с тем взялся за хозяйство.

Обыкновенно думают, что самые обычные консерваторы — это старики, а новаторы — это молодые люди. Это не совсем справедливо. Самые обычные консерваторы — это молодые люди. Молодые люди, которым хочется жить, но которые не думают и не имеют времени подумать о том, как надо жить, и которые поэтому избирают себе за образец ту жизнь, которая была.

Так было и с Евгением. Поселившись теперь в деревне, его мечта и идеал были в том, чтобы воскресить ту форму жизни, которая была не при отце — отец был дурной хозяин, но при деде. И теперь и в доме, и в саду, и в хозяйстве он, разумеется, с изменениями, свойственными времени, старался воскресить общий дух жизни деда — все на широкую ногу, довольство всех вокруг и порядок и благоустройство, а для того чтоб устроить эту жизнь, дела было очень много: нужно было и удовлетворять требованиям кредиторов и банков и для того продавать земли и отсрочивать платежи, нужно было и добывать деньги, для того чтобы продолжать вести, где наймом, где работниками, огромное хозяйство в Семеновском с четырьмя тысячами десятин запашки и сахарным заводом; нужно было и в доме и в саду делать так, чтобы не похоже было на запущение и упадок.

Работы было много, но и сил было много у Евгения — сил и физических и духовных. Ему было двадцать шесть

лет, он был среднего роста, сильного сложения с развитыми гимнастикой мускулами, сангвиник с ярким румянцем во всю щеку, с яркими зубами и губами и с негустыми, мягкими и вьющимися волосами. Единственный физический изъян его была близорукость, которую он сам развил себе очками, и теперь уже не мог ходить без пенсне, которое уже прокладывало черточки наверху горбинки его носа. Таков он был физически, духовный же облик его был такой, что чем больше кто знал его, тем больше любил. Мать и всегда любила его больше всех, теперь же, после смерти мужа, сосредоточила на нем не только всю свою нежность, но всю свою жизнь. Но не одна мать так любила его. Товарищи его с гимназии и университета всегда особенно не только любили, но уважали его. На всех посторонних он всегда действовал так же. Нельзя было не верить тому, что он говорил, нельзя было предполагать обман, неправду при таком открытом, честном лице и, главное, глазах.

Вообще вся его личность много помогала ему в его делах. Кредитор, который отказал бы другому, верил ему. Приказчик, староста, мужик, который сделал бы гадость, обманул бы другого, забывал обмануть под приятным впечатлением общения с добрым, простым и, главное, открытым человеком.

Был конец мая. Кое-как Евгений наладил дело в городе об освобождении пустоши от залога, чтобы продать ее купцу, и занял деньги у этого же купца на то, чтобы обновить инвентарь, то есть лошадей, быков, подводы. И, главное, на то, чтобы начать необходимую постройку хутора. Дело наладилось. Возили лес, плотники уже работали, и навоз возили на восьмидесяти подводах, но все до сих пор висело на ниточке.

II

В середине этих забот случилось обстоятельство хотя и не важное, но в то время помучавшее Евгения. Он жил свою молодость, как живут все молодые, здоровые, неженатые люди, то есть имел сношения с разного рода женщинами. Он был не развратник, но и не был, как он сам себе говорил, монахом. А предавался этому только настолько, насколько это было необходимо для физического здоровья и умственной свободы, как он говорил. Началось

это с шестнадцати лет. И до сих пор шло благополучно. Благополучно в том смысле, что он не предался разврату, не увлекся ни разу и не был ни разу болен. Была у него в Петербурге сначала швея, потом она испортилась, и он устроился иначе. И эта сторона была так обеспечена, что не смущала его.

Но вот в деревне он жил второй месяц и решительно не знал, как ему быть. Невольное воздержание начинало действовать на него дурно. Неужели ехать в город из-за этого? И куда? Как? Это одно тревожило Евгения Ивановича, а так как он был уверен, что это необходимо и что ему нужно, ему действительно становилось нужно, и он чувствовал, что он не свободен и что он против воли провожает каждую молодую женщину глазами.

Он считал нехорошим у себя в своей деревне сойтись с женщиной или девкой. Он знал по рассказам, что и отец его и дед в этом отношении совершенно отделились от других помещиков того времени и дома не заводили у себя никогда никаких шашен с крепостными, и решил, что этого он не сделает; но потом, все более и более чувствуя себя связанным и с ужасом представляя себе то, что с ним может быть в городишке, и сообразив, что теперь не крепостные, он решил, что можно и здесь. Только бы сделать это так, чтобы никто не знал, и не для разврата, а только для здоровья, так говорил он себе. И когда он решил это, ему стало еще беспокойнее; говоря с старостой, с мужиками, с столяром, он невольно наводил разговор на женщин и, если разговор заходил о женщинах, то задерживал на этом. На женщин же он приглядывался больше и больше.

III

Но решить дело самому с собой было одно, привести же его в исполнение было другое. Самому подойти к женщине невозможно. К какой? где? Надо через когонибудь, но к кому обратиться?

Случилось ему раз зайти напиться в лесную караулку. Сторожем был бывший охотник отца. Евгений Иванович разговорился с ним, и сторож стал рассказывать старинные истории про кутежи на охоте. И Евгению Ивановичу пришло в голову, что хорошо бы было здесь, в караулке или в лесу, устроить это. Он только не знал как, и возь-

мется ли за это старый Данила. «Может быть, он ужаснется от такого предложения, и я осрамлюсь, а может, очень просто согласится». Так он думал, слушая рассказы Данилы. Данила рассказывал, как они стояли в отъезжем поле у дьячихи и как Пряничникову он привел бабу.

«Можно»,— подумал Евгений.

— Ваш батюшка, царство небесное, этими глупостями не займался.

«Нельзя»,— подумал Евгений, но, чтобы исследовать, сказал:

— Как же ты такими делами нехорошими занимался?

— А что же тут худого? И она рада и мой Федор Захарыч довольны-предовольны. Мне рубль. Ведь как же и быть ему-то? Тоже живая кость. Чай вино пьет.

«Да, можно сказать»,— подумал Евгений и тотчас же приступил.

— А знаешь,— он почувствовал, как он багрово покраснел,— знаешь, Данила, я измучался.— Данила улыбнулся.— Я все-таки не монах — привык.

Он чувствовал, что глупо все, что он говорит, но радовался, потому что Данила одобрял.

— Что ж, вы бы давно сказали, это можно,— сказал он.— Вы только скажите какую.

— Ах, право, мне все равно. Ну, разумеется, чтоб не безобразная была и здоровая.

— Понял! — откусил Данила. Он подумал.— Ох, хороша штучка есть,— начал он. Опять Евгений покраснел.— Хороша штучка. Изволите видеть, выдали ее по осени,— Данила стал шептать,— а он ничего не может сделать. Ведь это на охотника что стоит.

Евгений сморщился даже от стыда.

— Нет, нет,— заговорил он.— Мне совсем не то нужно. Мне, напротив (что могло быть напротив?), мне, напротив, надо, чтобы только здоровая, да поменьше хлопот — солдатка или эдак...

— Знаю. Это, значит, Степаниду вам предоставить. Муж в городу, все равно как солдатка. А бабочка хорошая, чистая. Будете довольны. Я и то ей намесь говорю — пойди, а она...

— Ну, так когда же?

— Да хоть завтра. Я вот пойду за табаком и зайду, а в обед приходите сюда али за огород к бане. Никого нет. Да и в обед весь народ спит.

— Ну, хорошо.

Страшное волнение охватило Евгения, когда он поехал домой. «Что такое будет? Что такое крестьянка? Что-нибудь вдруг безобразное, ужасное. Нет, они красивы,— говорил он себе, вспоминая тех, на которых он заглядывался.— Но что я скажу, что я сделаю?»

Целый день он был не свой. На другой день в двенадцать часов он пошел к караулке. Данила стоял в дверях и молча значительно кивнул головой к лесу. Кровь прилила к сердцу Евгения, он почувствовал его и пошел к огороду. Никого. Подошел к бане. Никого. Заглянул туда, вышел и вдруг услыхал треск сломленной ветки. Он оглянулся, она стояла в чаще за овражком. Он бросился туда через овраг. В овраге была крапива, которой он не заметил. Он острекался и, потеряв с носу пенсне, вбежал на противуположный бугор. В белой вышитой занавеске, красно-бурой паневе, красном ярком платке, с босыми ногами, свежая, твердая, красивая, она стояла и робко улыбалась.

— Тут кругом тропочка, обошли бы,— сказала она.— А мы давно. Голомя́.

Он подошел к ней и, оглядываясь, коснулся ее.

Через четверть часа они разошлись, он нашел пенсне и зашел к Даниле и в ответ на вопрос его: «Довольны ль, барин?» — дал ему рубль и пошел домой.

Он был доволен. Стыд был только сначала. Но потом прошел. И все было хорошо. Главное, хорошо, что ему теперь легко, спокойно, бодро. Ее он хорошенько даже не рассмотрел. Помнил, что чистая, свежая, недурная и простая, без гримас. «Чья бишь она? — говорил он себе.— Печникова он сказал? Какая же это Печникова? [1] Ведь их два двора. Должно быть, Михайлы-старика сноха. Да, верно его. У него ведь сын живет в Москве, спрошу у Данилы когда-нибудь».

С этих пор устранилась эта важная прежде неприятность деревенской жизни — невольное воздержание. Свобода мысли Евгения уже не нарушалась, и он мог свободно заниматься своими делами.

А дело, которое взял на себя Евгений, было очень нелегкое: иногда ему казалось, что он не выдержит и кончится тем, что все-таки придется продать именье, все труды его пропадут, и, главное, что окажется, что не

---

[1] В дальнейшем вместо фамилии Печников фамилия Пчельников.

выдержал, не сумел доделать того, за что взялся. Это больше всего тревожило его. Не успевал он заткнуть кое-как одной дыры, как раскрывалась новая, неожиданная.

Во все это время все оказывались новые и новые, неизвестные прежде долги отца. Видно было, что отец в последнее время брал где попало. Во время раздела в мае Евгений думал, что он знает, наконец, все. Но вдруг в середине лета он получил письмо, из которого оказывалось, что был еще долг вдове Есиповой в двенадцать тысяч. Векселя не было, была простая расписка, которую можно было, по словам поверенного, оспаривать. Но Евгению и в голову не могло прийти отказаться от уплаты действительного долга отца только потому, что можно было оспаривать документ. Ему надо было узнать только наверное, действительный ли это был долг.

— Мама! что такое Есипова Калерия Владимировна? — спросил он у матери, когда они, по обыкновению, сошлись за обедом.

— Есипова? Да это воспитанница дедушки. А что?

Евгений рассказал матери про письмо.

— Удивляюсь, как ей не совестно. Твой папа ей сколько передавал.

— Но должны мы ей?

— То есть как тебе сказать? Долгу нет, папа по своей бесконечной доброте...

— Да, но папа считал это долгом.

— Не могу я тебе сказать. Не знаю. Знаю, что тебе и так тяжело.

Евгений видел, что Марья Павловна сама не знала, как сказать, и как бы выпытывала его.

— Из этого я вижу, что надо платить,— сказал сын.— Я завтра поеду к ней и поговорю, нельзя ли отсрочить.

— Ах, как мне жалко тебя. Но, знаешь, лучше. Ты ей скажи, что она должна подождать,— говорила Марья Павловна, очевидно успокоенная и гордая решением сына.

Положение Евгения было особенно трудно оттого еще, что мать, жившая с ним, совсем не понимала его положения. Она всю жизнь привыкла жить так широко, что не могла представить себе даже того положения, в котором был сын, то есть того, что нынче-завтра дела могли устроиться так, что у них ничего не останется и сыну придется все продать и жить и содержать мать одной службой, которая в его положении могла ему дать много-много две

тысячи рублей. Она не понимала, что спастись от этого положения можно только урезкой расходов во всем, и потому не могла понять, зачем Евгений так стеснялся в мелочах, в расходах на садовников, кучеров, на прислугу и стол даже. Кроме того, как большинство вдов, она питала к памяти покойника чувства благоговения, далеко не похожие на те, которые она имела к нему, пока он был жив, и не допускала мысли о том, что то, что делал или завел покойник, могло быть худо и изменено.

Евгений поддерживал с большим напряжением и сад, и оранжерею с двумя садовниками, и конюшню с двумя кучерами. Марья же Павловна наивно думала, что не жалуясь на стол, который готовил старик повар, и на то, что дорожки в парке не все были чищены, и что вместо лакеев был один мальчик, что она делает все, что может мать, жертвующая собой для своего сына. Так и в этом новом долге, в котором Евгений видел для себя почти что добивающий удар всем его предприятиям, Мария Павловна видела только случай, выказавший благородство Евгения. Марья Павловна не беспокоилась очень о матерьяльном положении Евгения еще и потому, что она была уверена, что он сделает блестящую партию, которая поправит все. Партию же он мог сделать самую блестящую. Она знала десяток семей, которые счастливы были отдать за него дочь. И она желала как можно скорее устроить это.

IV

Евгений сам мечтал о женитьбе, но только не так, как мать: мысль о том, чтобы сделать из женитьбы средство поправления своих дел, была отвратительна ему. Жениться он хотел честно, по любви. Он и приглядывался к девушкам, которых встречал и знал, прикидывал себя к ним, но судьба его не решалась. Между тем, чего он никак не ожидал, сношения его с Степанидой продолжались и получили даже характер чего-то установившегося. Евгений так был далек от распутства, так тяжело было ему делать это тайное — он чувствовал — нехорошее дело, что он никак не устраивался и даже после первого свиданья надеялся совсем больше не видать Степаниды; но оказалось, что через несколько времени на него опять нашло беспокойство, которое приписывал этому. И беспокойство на этот раз уже не было безличное; а ему пред-

ставлялись именно те самые черные, блестящие глаза, тот же грудной голос, говорящий «голомя́», тот же запах чего-то свежего и сильного и та же высокая грудь, поднимающая занавеску, и все это в той же ореховой и кленовой чаще, облитой ярким светом. Как ни совестно было, он опять обратился к Даниле. И опять назначилось свидание в полдень в лесу. В этот раз Евгений больше рассмотрел ее, и все показалось ему в ней привлекательно. Он попробовал поговорить с ней, спросил о муже. Действительно, это был Михайлин сын, он жил в кучерах в Москве.

— Ну что же, как же ты...— Евгений хотел спросить, как она изменяет ему.

— Чего как же? — спросила она. Она, очевидно, была умна и догадлива.

— Ну как же вот ты ко мне ходишь?

— Вона,— весело проговорила она.— Он, я чай, там гуляе. Что ж мне-то?

Очевидно, она сама на себя напускала развязность, ухарство. И это показалось мило Евгению. Но все-таки он не назначил ей сам свиданья. Даже когда она предложила, чтобы сходиться помимо Данилы, к которому она как-то недоброжелательно относилась, Евгений не согласился. Он надеялся, что это свидание было последнее. Она ему нравилась. Он думал, что ему необходимо такое общение и что дурного в этом нет ничего; но в глубине души у него был судья более строгий, который не одобрял этого и надеялся, что это в последний раз, если же не надеялся, то, по крайней мере, не хотел участвовать в этом деле и приготавливать себе это в другой раз.

Так и шло все лето, в продолжение которого он виделся с ней раз десять и всякий раз через Данилу. Было один раз, что ей нельзя было прийти, потому что приехал муж, и Данила предложил другую. Евгений с отвращением отказался. Потом муж уехал, и свиданья продолжались по-старому, сначала через Данилу, а потом уже прямо он назначал время, и она приходила с бабой Прохоровой, так как одной нельзя ходить бабе. Один раз, в самое назначенное время свиданья, к Марье Павловне приехало семейство с той девушкой, которую она сватала Евгению, и Евгений никак не мог вырваться. Как только он мог уйти, он пошел как будто на гумно и в обход тропинкой в лес на место свиданья. Ее не было. Но на обычном месте все, покуда могла достать рука, все было переломано;

черемуха, орешень, даже молодой кленок в кол толщиною. Это она ждала, волновалась и сердилась и, играючи, оставляла ему память. Он постоял, постоял и пошел к Даниле просить его вызвать ее на завтра. Она пришла и была такая же, как всегда.

Так прошло лето. Свиданья всегда назначались в лесу и один раз только, уж перед осенью, в гуменном сарае на их задворках. Евгению и в голову не приходило, чтобы эти отношения его имели какое-нибудь для него значение. Об ней же он и не думал. Давал ей деньги, и больше ничего. Он не знал и не думал о том, что по всей деревне уж знали про это и завидовали ей, что ее домашние брали у ней деньги и поощряли ее и что ее представление о грехе, под влиянием денег и участия домашних, совсем уничтожилось. Ей казалось, что если люди завидуют, то то, что она делает, хорошо.

«Просто для здоровья надо же,— думал Евгений.— Положим, нехорошо, и, хотя никто не говорит, все или многие знают. Баба, с которой она ходит, знает. А знает, верно, рассказала и другим. Но что же делать? Скверно я поступаю,— думал Евгений,— да что делать, ну да ненадолго».

Главное, что смущало Евгения, то это был муж. Сначала ему почему-то представлялось, что муж ее должен быть плох, и это как бы оправдывало его отчасти. Но он увидал мужа и был поражен. Это был молодчина и щеголь, уж никак не хуже, а наверно лучше его. При первом свидании он сказал ей, что видел мужа и что он полюбовался им, какой он молодчина.

— Другого такого нет в деревне, — с гордостью сказала она.

Это удивило Евгения. Мысль о муже с тех пор еще более мучила его. Случилось ему раз быть у Данилы, и Данила, разговорившись, прямо сказал ему:

— А Михайла намедни спрашивал меня, правда ли, что барин с сына женой живет. Я сказал, не знаю. Да и то, говорю, лучше с барином, чем с мужиком.

— Ну, что ж он?

— Да ничего, говорит: погоди ж, дознаюсь, я ей задам.

«Ну да если бы муж вернулся, я бы бросил»,— думал Евгений. Но муж жил в городе, и отношения пока продолжались. «Когда надо будет, оборву, и ничего не останется», — думал он.

И ему казалось это несомненным, потому что в продолжение лета много разных вещей очень сильно занимали его: и устройство нового хутора, и уборка, и постройка, и, главное, уплата долга и продажа пустоши. Все это были предметы, которые поглощали его всего, о которых он думал, ложась и вставая. Все это была настоящая жизнь. Сношения же — он даже не называл это связью — с Степанидой было нечто совсем незаметное. Правда, что, когда приступало желание видеть ее, оно приступало с такой силой, что он ни о чем другом не мог думать, но это продолжалось недолго, устраивалось свиданье, и он опять забывал ее на недели, иногда на месяц.

Осенью Евгений часто ездил в город и там сблизился с семейством Анненских. У Анненских была дочь, только что вышедшая институтка. И тут, к великому огорчению Марьи Павловны, случилось то, что Евгений, как она говорила, продешевил себя, влюбился в Лизу Анненскую и сделал ей предложение.

С тех пор сношения с Степанидой прекратились.

V

Почему Евгений выбрал Лизу Анненскую, нельзя объяснить, как никогда нельзя объяснить, почему мужчина выбирает ту, а не другую женщину. Причин было пропасть и положительных и отрицательных. Причиной было и то, что она не была очень богатая невеста, каких сватала ему мать, и то, что она была наивна и жалка в отношениях к своей матери, и то, что она не была красавица, обращающая на себя внимание, и не была дурна. Главное же было то, что сближение с ней началось в такой период, когда Евгений был зрел к женитьбе. Он влюбился потому, что знал, что женится.

Лиза Анненская сначала только нравилась Евгению, но когда он решил, что она будет его женою, он почувствовал к ней чувство гораздо более сильное, он почувствовал, что он влюблен.

Лиза была высокая, тонкая, длинная. Длинное было в ней все: и лицо, и нос не вперед, но вдоль по лицу, и пальцы, и ступни. Цвет лица у ней был очень нежный, белый, желтоватый, с нежным румянцем, волосы длинные, русые, мягкие и вьющиеся, и прекрасные, ясные, кроткие, доверчивые глаза. Эти глаза особенно поразили

Евгения. И когда он думал о Лизе, он видел всегда перед собой эти ясные, кроткие, доверчивые глаза.

Такова она была физически; духовно же он ничего не знал про нее, а только видел эти глаза. И эти глаза, казалось, говорили ему все, что ему нужно было знать. Смысл же этих глаз был такой.

Еще с института, с пятнадцати лет, Лиза постоянно влюблялась во всех привлекательных мужчин и была оживлена и счастлива только тогда, когда была влюблена. Вышедши из института, она точно так же влюблялась во всех молодых мужчин, которых встречала, и, разумеется, влюбилась в Евгения, как только узнала его. Эта-то ее влюбленность и давала ее глазам то особенное выражение, которое так пленило Евгения.

В эту же зиму в одно и то же время она уже была влюблена в двух молодых людей и краснела и волновалась не только когда они входили в комнату, но когда произносили их имя. Но потом, когда ее мать намекнула ей, что Иртенев, кажется, имеет серьезные виды, влюбленье ее в Иртенева усилилось так, что она стала почти равнодушной к двум прежним, но когда Иртенев стал бывать у них, на бале, собрании, танцевал с ней больше, чем с другими, и, очевидно, желал узнать только, любит ли она его, тогда влюбленье ее в Иртенева сделалось чем-то болезненным, она видела его во сне и наяву в темной комнате, и все другие исчезли для нее. Когда же он сделал предложение и их благословили, когда она поцеловалась с ним и стали жених с невестой, тогда у ней не стало других мыслей, кроме него, других желаний, кроме того, чтобы быть с ним, чтобы любить его и быть им любимой. Она и гордилась им, и умилялась перед ним и перед собой и своей любовью, и вся млела и таяла от любви к нему. Чем больше он узнавал ее, тем больше и он любил ее. Он никак не ожидал встретить такую любовь, и эта любовь усиливала еще его чувство.

VI

Перед весной он приехал в Семеновское посмотреть и распорядиться по хозяйству, а главное по дому, где шло убранство для женитьбы.

Марья Павловна была недовольна выбором сына, но только потому, что партия эта не была так блестяща, как

она могла бы быть, и потому, что Варвара Алексеевна, будущая теща, не нравилась ей. Добрая ли она была, или злая, она не знала и не решила, но то, что она была не порядочная женщина, не comme il faut, не леди, как говорила себе Марья Павловна, это она увидала с первого знакомства, и это огорчало ее. Огорчало за то, что она ценила эту порядочность по привычке, знала, что Евгений очень чуток на это, и предвидела для него много огорчений от этого. Девушка же ей нравилась. Нравилась, главное, потому, что она нравилась Евгению. Надо было любить ее. И Марья Павловна готова была на это, и совершенно искренно.

Евгений застал мать радостной, довольной. Она устраивала все в доме и сама собиралась уехать, как только он привезет молодую жену. Евгений уговаривал ее оставаться. И вопрос оставался нерешенным. Вечером, по обыкновению, после чая Марья Павловна делала пасьян. Евгений сидел, помогая ей. Это было время самых задушевных разговоров. Окончив один пасьян и не начиная новый, Марья Павловна взглянула на Евгения и, несколько заминаясь, начала так:

— А я хотела тебе сказать, Женя. Разумеется, я не знаю, но вообще я хотела посоветовать о том, что перед женитьбой надо непременно покончить все свои холостые дела, так чтобы ничего уже не могло беспокоить и тебя и, помилуй бог, жену. Ты меня понимаешь?

И действительно, Евгений сейчас же понял, что Марья Павловна намекала на его сношения с Степанидой, которые прекратились с самой осени, и, как всегда одинокие женщины, приписывали этим сношениям гораздо большее значение, чем то, которое они имели. Евгений покраснел, и не от стыда столько, сколько от досады, что добрая Марья Павловна суется — правда, любя,— но все-таки суется туда, куда ей не надо и чего она не понимает и не может понимать. Он сказал, что у него ничего нет такого, что бы нужно было скрывать, и что он именно так себя вел всегда, чтобы ничто не могло помешать его женитьбе.

— Ну и прекрасно, дружок. Ты, Геня, не обижайся на меня,— сказала Марья Павловна, конфузясь.

Но Евгений видел, что она не кончила и не сказала то, что хотела. Так и вышло. Немного погодя она стала рассказывать о том, как без него ее просили крестить у... Пчельниковых.

Теперь Евгений вспыхнул уже не от досады и даже не от стыда, а от какого-то странного чувства сознания важности того, что ему сейчас скажут, сознания невольного, совершенно несогласного с его рассуждением. Так и вышло то, чего он ожидал. Марья Павловна, как будто не имея никаких других целей, кроме разговора, рассказала, что нынешний год родятся все мальчики, видно, к войне. И у Васиных, и у Пчельникова молодая бабочка первым — тоже мальчик. Марья Павловна хотела рассказать это незаметно, но ей самой сделалось стыдно, когда она увидала краску на лице сына и его нервные снимание, пощелкивание и надевание пенсне и поспешное закуриванье папиросы. Она замолчала. Он тоже молчал и не мог придумать, чем бы перервать это молчание. Так что оба поняли, что поняли друг друга.

— Да, главное, в деревне надо справедливость, чтоб не было любимцев, как у дяди твоего.

— Маменька, — сказал вдруг Евгений, — я знаю, к чему вы это говорите. Вы напрасно тревожитесь. Для меня моя будущая семейная жизнь такая святыня, которой я ни в каком случае не нарушу. А то, что было в моей холостой жизни, то все кончено совсем. И я никогда не входил ни в какие связи, и никто не имеет на меня никаких прав.

— Ну, я рада,— сказала мать.— Я знаю твои благородные мысли.

Евгений принял эти слова матери как следующую ему дань и замолчал.

На другое утро он поехал в город, думая о невесте, обо всем на свете, но только не о Степаниде. Но как будто нарочно, чтобы напомнить ему, он, подъезжая к церкви, стал встречать народ, шедший и ехавший оттуда. Он встретил Матвея-старика с Семеном, ребят, молодых девок, а вот две бабы, одна постарше и одна нарядная, в ярко-красном платке, и что-то знакомое. Баба идет легко, бодро, и на руке ребенок. Он поравнялся, баба старшая поклонилась по-старинному, остановившись, а молодайка с ребенком только нагнула голову, и из-под платка блеснули знакомые улыбающиеся, веселые глаза.

«Да, это она, но все кончено, и нечего смотреть на нее. И ребенок, может быть, мой,— мелькнуло ему в голове.— Нет, вздор какой. Муж был, она к нему ходила». Он не стал высчитывать даже. Так у него решено было, что это

было нужно для здоровья, он платил деньги, и больше ничего; связи какой-нибудь между им и ею нет, не было, не может и не должно быть. Он не то чтобы заминал голос совести, нет, прямо совесть ничего не говорила ему. И он не вспомнил о ней ни разу после разговора матери и встречи. И ни разу после и не встречал ее.

На красную горку Евгений обвенчался в городе и тотчас же с молодой женой уехал в деревню. Дом был устроен, как обыкновенно устраивают для молодых. Марья Павловна хотела уехать, но Евгений, а главное — Лиза упросили ее остаться. Только она перешла во флигель.

И так началась для Евгения новая жизнь.

VII

Первый год семейной жизни был трудный год для Евгения. Труден он был тем, что дела, которые он откладывал кое-как во время сватовства, теперь, после женитьбы, все вдруг обрушились на него.

Выпутаться из долгов оказалось невозможным. Дача была продана, самые кричащие долги покрыты, но все еще оставались долги, и денег не было. Именье принесло хороший доход, но нужно было послать брату и издержать на свадьбу, так что денег не было, и завод не мог идти, и надо было его остановить. Одно средство выпутаться состояло в том, чтобы употребить деньги жены. Лиза, поняв положение мужа, сама потребовала этого. Евгений согласился, но только с тем, чтобы сделать купчую на половину именья на имя жены. Так он и сделал. Разумеется, не для жены, которую это оскорбляло, а для тещи.

Эти дела с разными переменами, то успех, то неуспех, было одно, что отравляло жизнь Евгения в этот первый год. Другое было нездоровье жены. В этот же первый год, семь месяцев после женитьбы, осенью, с Лизой случилась беда. Она выехала в шарабане встречать мужа, возвращавшегося из города, смирная лошадь заиграла, она испугалась, выпрыгнула. Прыжок был относительно счастливый,— она могла зацепиться за колесо,— но она была уже беременна, и в ту же ночь у нее начались боли, и она выкинула и долго не могла справиться после выкидыша. Потеря ожидаемого ребенка, болезнь жены, связанное с этим расстройство жизни и, главное, присутствие тещи,

приехавшей тотчас же, как заболела Лиза,— все это сделало для Евгения год этот еще более тяжелым.

Но, несмотря на эти тяжелые обстоятельства, к концу первого года Евгений чувствовал себя очень хорошо. Во-первых, его задушевная мысль восстановить упавшее состояние, возобновить дедовскую жизнь в новых формах, хотя с трудом и медленно, но приводилась в исполнение. Теперь уже речи не могло быть о продаже за долги всего имения. Имение главное, хотя и переписанное на имя жены, было спасено, и если только свекла будет выходна и цены хороши, то к будущему году положение нужды и напряжения может замениться совершенным довольством. Это было одно.

Другое было то, что, как ни много он ожидал от своей жены, он никак не ожидал найти в ней то, что он нашел: это было не то, чего он ожидал, но это было гораздо лучше. Умилений, восторгов влюбленных, хотя он и старался их устраивать, не выходило или выходило очень слабо; но выходило совсем другое, то, что не только веселее, приятнее, но легче стало жить. Он не знал, отчего это происходит, но это было так.

Происходило же это оттого, что ею было решено тотчас же после обрученья, что из всех людей в мире есть один Евгений Иртенев выше, умнее, чище, благороднее всех, и потому обязанность всех людей служить и делать приятное этому Иртеневу. Но так как всех нельзя заставить это делать, то надо по мере сил делать это самой. Так она и делала, и потому все ее силы душевные всегда были направлены на то, чтобы узнать, угадать то, что он любит, и потом делать это самое, что бы это ни было и как бы трудно это ни было.

И в ней было то, что составляет главную прелесть общения с любящей женщиной, в ней было благодаря любви к мужу ясновиденье его души. Она чуяла — ему казалось, часто лучше его самого — всякое состояние его души, всякий оттенок его чувства и соответственно этого поступала, стало быть никогда не оскорбляла его чувства, а всегда умеряла тяжелые чувства и усиливала радостные. Но не только чувства, мысли его она понимала. Самые чуждые ей предметы по сельскому хозяйству, по заводу, по оценке людей она сразу понимала и не только могла быть ему собеседником, но часто, как он сам говорил ей, полезным, незаменимым советчиком. На вещи, людей, на все в мире она смотрела только его глазами.

Она любила свою мать, но, увидав, что Евгению бывало неприятно вмешательство в их жизнь тещи, она сразу стала на сторону мужа и с такой решительностью, что он должен был укрощать ее.

Сверх всего этого, в ней было пропасть вкуса, такта и, главное, тишины. Все, что она делала, она делала незаметно, заметны были только результаты дела, то есть всегда и во всем чистота, порядок и изящество. Лиза тотчас же поняла, в чем состоял идеал жизни ее мужа, и старалась достигнуть и достигала в устройстве и порядке дома того самого, чего он желал. Недоставало детей, но и на это была надежда. Зимой они съездили в Петербург к акушеру, и он уверил их, что она совсем здорова и может иметь детей.

И это желание сбылось. К концу года она опять забеременела.

Одно, что не то что отравляло, но угрожало их счастью, была ее ревность — ревность, которую она сдерживала, не показывала, но от которой она часто страдала. Не только Евгений не мог никого любить, потому что не было на свете женщин, достойных его (о том, что была ли она достойна его, или нет, она никогда не спрашивала себя), но и ни одна женщина поэтому не могла сметь любить его.

VIII

Жили они так: он вставал, как всегда, рано и шел по хозяйству, на завод, где производились работы, иногда в поле. К десяти часам он приходил к кофею. Кофе пили на террасе Марья Павловна, дядюшка, который жил у них, и Лиза. После разговоров, часто очень оживленных, за кофе, расходились до обеда. В два обедали. И после ходили гулять или ездили кататься. Вечером, когда он приходил из конторы, пили поздно чай, и иногда он читал вслух, она работала, или музицировали, или разговаривали, когда бывали гости. Когда он уезжал по делам, он писал и получал от нее письма каждый день. Иногда она сопутствовала ему, и это бывало особенно весело. В именины его и ее собирались гости, и ему приятно было видеть, как она умела все устроить так, что всем было хорошо. Он видел, да и слышал, что все любуются ею, молодой, милой хозяйкой, и еще больше любил ее за это. Все шло прекрасно. Беременность она носила легко, и они

оба, хотя и сами робея, начинали загадывать о том, как они будут воспитывать ребенка. Способ воспитания, приемы, все это решал Евгений, и она только желала покорно исполнить его волю. Евгений же начитался медицинских книг и имел намерение воспитывать ребенка по всем правилам науки. Она, разумеется, соглашалась на все и готовилась, сшивала конверты теплые и холодные и устраивала качку. Так наступил второй год их женитьбы и вторая весна.

IX

Это было под Троицын день. Лиза была на пятом месяце и, хотя и береглась, была весела и подвижна. Обе матери, ее и его, жили в доме под предлогом карауления и оберегания ее и только тревожили ее своими пикировками. Евгений занимался особенно горячо хозяйством, новой обработкой в больших размерах свеклы.

Под Троицын день Лиза решила, что надо сделать хорошую очистку дома, которой не делали со святой, и позвала в помощь прислуге двух поденных баб, чтоб вымыть полы, окна, и выбить мебель и ковры, и надеть чехлы. С раннего утра пришли бабы, поставили чугуны воды и принялись за работу. Одна из двух баб была Степанида, которая только что отняла своего мальчика и напросилась через конторщика, к которому она бегала теперь, в поломойки. Ей хотелось хорошенько рассмотреть новую барыню. Степанида жила по-старому одна, без мужа, и шалила, как она шалила прежде с стариком Данилой, поймавшим ее с дровами, потом с барином, теперь с молодым малым — конторщиком. Об барине она вовсе и не думала. «У него теперь жена есть, — думала она. — А лестно посмотреть барыню, ее заведенье, хорошо, говорят, убрано».

Евгений, с тех пор как встретил ее с ребенком, не видал ее. На поденную она не ходила, так как была с ребенком, а он редко проходил по деревне. В это утро, накануне Троицына дня, Евгений рано, в пятом часу, встал и уехал на паровое поле, где должны были рассыпать фосфориты, и вышел из дома, пока еще бабы не входили в него, а возились у печи с котлами.

Веселый, довольный и голодный, Евгений возвращался к завтраку. Он слез с лошади у калитки и, отдав ее проходившему садовнику, постегивая хлыстом высокую тра-

ву, повторяя, как это часто бывает, произнесенную фразу, шел к дому. Фраза, которую он повторял, была: «Фосфориты оправдают»,— что, перед кем — он не знал и не думал.

На лужку колотили ковер. Мебель была вынесена.

«Матушки! какую Лиза затеяла перечистку. Фосфориты оправдают. Вот так хозяйка. Хозяюшка! Да, хозяюшка,— сказал он сам себе, живо представив себе ее в белом капоте, с сияющим от радости лицом, какое у нее почти всегда было, когда он смотрел на нее.— Да, надо переменить сапоги, а то фосфориты оправдают, то есть пахнет навозом, а хозяюшка-то-с в таком положении. Отчего в таком положении? Да, растет там в ней маленький Иртенев новый,— подумал он.— Да, фосфориты оправдают». И, улыбаясь своим мыслям, ткнул рукой дверь в свою комнату.

Но не успел он надавить на дверь, как она сама отворилась, и нос с носом он столкнулся с шедшей ему навстречу с ведром, подоткнутой, босоногой и с высоко засученными рукавами бабой. Он посторонился, чтобы пропустить бабу, она тоже посторонилась, поправляя верхом мокрой руки сбившийся платок.

— Иди, иди, я не пойду, коли вы...— начал было Евгений и вдруг, узнав ее, остановился.

Она, улыбаясь глазами, весело взглянула на него. И, обдернув паневу, вышла из двери.

«Что за вздор?.. Что такое?.. Не может быть», — хмурясь и отряхиваясь, как от мухи, говорил себе Евгений, недовольный тем, что он заметил ее. Он был недоволен тем, что заметил ее, а вместе с тем не мог оторвать от ее покачивающегося ловкой, сильной походкой босых ног тела, от ее рук, плеч, красивых складок рубахи и красной паневы, высоко подоткнутой над ее белыми икрами.

«Да что же я смотрю,— сказал он себе, опуская глаза, чтоб не видать ее.— Да, надо взойти все-таки, взять сапоги другие». И он повернулся назад к себе в комнату; но не успел пройти пяти шагов, как, сам не зная как и по чьему приказу, опять оглянулся, чтобы еще раз увидать ее. Она заходила за угол и в то же мгновение тоже оглянулась на него.

«Ах, что я делаю,— вскрикнул он в душе.— Она может подумать. Даже наверно она уже подумала».

Он вошел в свою мокрую комнату. Другая баба, старая, худая, была там и мыла еще. Евгений прошел на

цыпочках через грязные лужи к стенке, где стояли сапоги, и хотел выходить, когда баба тоже вышла.

«Эта вышла, и придет та, Степанида — одна»,— вдруг начал в нем рассуждать кто-то.

«Боже мой! Что я думаю, что я делаю!» Он схватил сапоги и побежал с ними в переднюю, там надел их, обчистился и вышел на террасу, где уж сидели обе мамаши за кофе. Лиза, очевидно, ждала его и вошла на террасу из другой двери вместе с ним.

«Боже мой, если бы она, считающая меня таким честным, чистым, невинным, если бы она знала!» — подумал он.

Лиза, как всегда, с сияющим лицом встретила его. Но нынче она что-то особенно показалась ему бледной, желтой и длинной, слабой.

X

За кофеем, как и часто случалось, шел тот особенный дамский разговор, в котором логической связи не было никакой, но который, очевидно, чем-то связывался, потому что шел беспрерывно.

Обе дамы пикировались, и Лиза искусно лавировала между ними.

— Мне так досадно, что не успели вымыть твою комнату до твоего приезда,— сказала она мужу.— А так хочется все перебрать.

— Ну как ты, спала после меня?

— Да, я спала, мне хорошо.

— Как может быть хорошо женщине в ее положении в эту невыносимую жару, когда окна на солнце,— сказала Варвара Алексеевна, ее мать.— И без жалузи или маркиз. У меня всегда маркизы.

— Да ведь здесь тень с десяти часов,— сказала Марья Павловна.

— От этого и лихорадка. От сырости,— сказала Варвара Алексеевна, не замечая того, что она говорит прямо противное тому, что говорила сейчас. — Мой доктор говорил всегда, что нельзя никогда определить болезнь, не зная характера больной. А уж он знает, потому что это первый доктор, и мы платим ему сто рублей. Покойный муж не признавал докторов, но для меня никогда он ничего не жалел.

— Как же может мужчина жалеть для женщины, когда жизнь ее и ребенка зависит, может быть...

— Да, когда есть средства, то жена может не зависеть от мужа. Хорошая жена покоряется мужу,— сказала Варвара Алексеевна,— но только Лиза слишком еще слаба после своей болезни.

— Да нет, мама, я себя прекрасно чувствую. Что ж кипяченых сливок вам не подали?

— Мне не надо. Я могу и с сырыми.

— Я спрашивала у Варвары Алексеевны. Она отказалась,— сказала Марья Павловна, как будто оправдываясь.

— Да нет, я не хочу нынче.— И, как будто чтоб прекратить неприятный разговор и великодушно уступая, Варвара Алексеевна обратилась к Евгению: — Ну что, рассыпали фосфориты?

Лиза побежала за сливками.

— Да я не хочу, не хочу.

— Лиза! Лиза! тише,— сказала Марья Павловна.— Ей вредны эти быстрые движения.

— Ничего не вредно, если есть спокойствие душевное, — сказала, как будто на что-то намекая, Варвара Алексеевна, хотя и сама знала, что слова ее не могли ни на что намекать.

Лиза вернулась со сливками. Евгений пил свой кофе и угрюмо слушал. Он привык к этим разговорам, но нынче его особенно раздражала бессмысленность его. Ему хотелось обдумать то, что случилось с ним, а этот лепет мешал ему. Напившись кофе, Варвара Алексеевна так и ушла не в духе. Остались одни Лиза, Евгений и Марья Павловна. И разговор шел простой и приятный. Но чуткая любовью Лиза тотчас же заметила, что что-то мучает Евгения, и спросила его, не было ли чего неприятного. Он не приготовился к этому вопросу и немного замялся, отвечая, что ничего. И этот ответ еще больше заставил задуматься Лизу. Что что-то мучало и очень мучало его, ей было так же очевидно, как то, что муха попала в молоко, но он не говорил, что же это такое было.

XI

После завтрака все разошлись. Евгений, по заведенному порядку, пошел к себе в кабинет. Он не стал ни читать, ни писать письма, а сел и стал курить одну папиросу

за другою, думая. Его страшно удивило и огорчило это неожиданно проявившееся в нем скверное чувство, от которого он считал себя свободным, с тех пор как женился. Он ни разу с тех пор не испытывал этого чувства ни к ней, к той женщине, которую он знал, ни к какой бы то ни было женщине, кроме как к своей жене. Он в душе много раз радовался этому своему освобождению, и вот вдруг эта случайность, такая, казалось бы, ничтожная, открыла ему то, что он не свободен. Его мучало теперь не то, что он опять подчинился этому чувству, что он желает ее,— этого он и думать не хотел,— а то, что чувство это живо в нем и что надо стоять настороже против него. В том, что он подавит это чувство, в душе его не было и сомнения.

У него было одно неотвеченное письмо и бумага, которую надо было составить. Он сел за письменный стол и взялся за работу. Окончив ее и совсем забыв то, что его встревожило, он вышел, чтобы пройти на конюшню. И опять как на беду, по несчастной ли случайности, или нарочно, только он вышел на крыльцо, из-за угла вышла красная панева и красный платок и, махая руками и перекачиваясь, прошла мимо него. Мало того, что прошла, она пробежала, миновав его, как бы играючи, и догнала товарку.

Опять яркий полдень, крапива, зады Даниловой караулки и в тени кленов ее улыбающееся лицо, кусающее листья, восстали в его воображении.

«Нет, это невозможно так оставить»,— сказал он себе и, подождав того, чтобы бабы скрылись из виду, пошел в контору. Был самый обед, и он надеялся застать еще приказчика. Так и случилось. Приказчик только что проснулся. Он стоял в конторе, потягиваясь, зевал, глядя на скотника, что-то ему говорившего.

— Василий Николаевич!

— Что прикажете?

— Мне поговорить с вами.

— Что прикажете?

— Да вот кончите.

— Разве не принесешь? — сказал Василий Николаевич скотнику.

— Тяжело, Василий Николаевич.

— Что это? — спросил Евгений.

— Да отелилась в поле корова. Ну ладно, я сейчас

велю запрячь лошадь. Вели Николаю Лысуху запрячь, хоть в дроги.

Скотник ушел.

— Вот видите ли, — краснея и чувствуя это, начал Евгений.— Вот видите ли, Василий Николаевич. Тут, пока я был холостой, были у меня грехи... Вы, может быть, слышали...

Василий Николаевич улыбался глазами и, очевидно жалея барина, сказал:

— Это насчет Степашки?

— Ну да. Так вот что. Пожалуйста, пожалуйста, не берите вы ее на поденную в дом... Вы понимаете, неприятно очень мне...

— Да это, видно, Ваня-конторщик распорядился.

— Так пожалуйста... Ну так как же, рассыпят остальное? — сказал Евгений, чтобы скрыть свой конфуз.

— Да вот поеду сейчас.

Так и кончилось это. И Евгений успокоился, надеясь, что как он прожил год, не видав ее, так будет и теперь. «Кроме того, Василий скажет Ивану-конторщику, Иван скажет ей, и она поймет, что я не хочу этого», — говорил себе Евгений и радовался тому, что он взял на себя и сказал Василью, как ни трудно это было ему. «Да все лучше, все лучше, чем это сомнение, этот стыд». Он содрогался при одном воспоминании об этом преступлении мыслью.

XII

Нравственное усилие, которое он сделал, чтобы, преодолев стыд, сказать Василью Николаевичу, успокоило Евгения. Ему казалось, что теперь все кончено. И Лиза тотчас же заметила, что он совсем спокоен и даже радостнее обыкновенного. «Верно, его огорчала эта пикировка между мамашами. В самом деле, тяжело, в особенности ему с его чувствительностью и благородством, слышать всегда эти недружелюбные и дурного тона намеки на что-то»,— думала Лиза.

Следующий день был Троицын. Погода была прекрасная, и бабы, по обыкновению, проходя в лес завивать венки, подошли к барскому дому и стали петь и плясать. Марья Павловна и Варвара Алексеевна вышли в нарядных платьях с зонтиками на крыльцо и подошли к хороводу. С ними же вместе вышел в китайском сюртучке

обрюзгший блудник и пьяница дядюшка, живший это лето у Евгения.

Как всегда, был один пестрый, яркий цветами кружок молодых баб и девок центром всего, а вокруг него с разных сторон, как оторвавшиеся и вращающиеся за ним планеты и спутники, то девчата, держась рука с рукой, шурша новым ситцем расстегаев, то малые ребята, фыркающие чему-то и бегающие взад и вперед друг за другом, то ребята взрослые, в синих и черных поддевках и картузах и красных рубахах, с неперестающим плеваньем шелухи семечек, то дворовые или посторонние, издалека поглядывающие на хоровод. Обе барыни подошли к самому кругу и вслед за ними Лиза, в голубом платье и таких же лентах на голове, с широкими рукавами, из которых виднелись ее длинные белые руки с угловатыми локтями.

Евгению не хотелось выходить, но смешно было скрываться. Он вышел тоже с папиросой на крыльцо, раскланялся с ребятами и мужиками и заговорил с одним из них. Бабы между тем орали во всю мочь плясовую и подщелкивали и подхлопывали в ладони и плясали.

— Барыня зовут,— сказал малый, подходя к не слыхавшему зова жены Евгению. Лиза звала его посмотреть на пляску, на одну из плясавших баб, которая ей особенно нравилась. Это была Степаша. Она была в желтом расстегае, и в плисовой безрукавке, и в шелковом платке, широкая, энергическая, румяная, веселая. Должно быть, она хорошо плясала. Он ничего не видал.

— Да, да,— сказал он, снимая и надевая пенсне.— Да, да,— говорил он. «Стало быть, нельзя мне избавиться от нее»,— думал он.

Он не смотрел на нее, потому что боялся ее привлекательности, и именно от этого то, что он мельком видел в ней, казалось ему особенно привлекательным. Кроме того, он видел по блеснувшему ее взгляду, что она видит его и видит то, что он любуется ею. Он постоял, сколько нужно было для приличия, и, увидав, что Варвара Алексеевна подозвала ее и что-то нескладно, фальшиво, называя ее милочкой, говорила с ней, повернулся и отошел. Он отошел и вернулся в дом. Он ушел, чтобы не видать ее, но, войдя на верхний этаж, он, сам не зная как и зачем, подошел к окну и все время, пока бабы были у крыльца, стоял у окна и смотрел, смотрел на нее, упивался ею.

Он сбежал, пока никто не мог его видеть, и пошел тихим шагом на балкон и, на балконе закурив папиросу, как будто гуляя, пошел в сад по тому направлению, по которому она пошла. Он не сделал двух шагов по аллее, как за деревьями мелькнула плисовая безрукавка на розовом расстегае и красный платок. Она шла куда-то с другой бабой. «Куда-то они шли?»

И вдруг страстная похоть обожгла его, как рукой схватила за сердце. Евгений, как будто по чьей-то чуждой ему воле, оглянулся и пошел к ней.

— Евгений Иваныч, Евгений Иваныч! Я к вашей милости,— заговорил сзади голос, и Евгений, увидав старика Самохина, который рыл у него колодец, очнулся и, быстро повернувшись, пошел к Самохину. Разговаривая с ним, он повернулся боком и увидал, что они с бабой прошли вниз, очевидно к колодцу или под предлогом колодца, и потом, побыв там недолго, побежали к хороводу.

XIII

Поговорив с Самохиным, Евгений вернулся в дом убитый, точно совершивший преступление. Во-первых, она поняла его, она думала, что он хочет видеть ее, и она желает этого. Во-вторых, эта другая баба — эта Анна Прохорова,—очевидно, знает про это.

Главное же то, что он чувствовал, что он побежден, что у него нет своей воли, есть другая сила, двигающая им; что нынче он спасся только по счастью, но не нынче, так завтра, так послезавтра он все-таки погибнет.

«Да, погибнет,— он иначе не понимал этого,— изменить своей молодой, любящей жене в деревне с бабой, на виду всех, разве это не была погибель, страшная погибель, после которой нельзя было жить больше? Нет, надо, надо принять меры».

«Боже мой, боже мой! Что же мне делать? Неужели я так и погибну? — говорил он себе.— Разве нельзя принять мер? Да надо же что-нибудь сделать. Не думать об ней,— приказывал он себе.— Не думать!» — и тотчас же он начинал думать, и видел ее перед собой, и видел кленовую тень.

Он вспомнил, что читал про старца, который от соблазна перед женщиной, на которую должен был наложить руку, чтоб лечить ее, положил другую руку на

жаровню и сжег пальцы. Он вспомнил это. «Да, я готов сжечь пальцы лучше, чем погибнуть». И он, оглянувшись, что никого нет в комнате, зажег спичку и положил палец в огонь. «Ну, думай о ней теперь», — иронически обратился он к себе. Ему стало больно, он отдернул закопченный палец, бросил спичку и сам засмеялся над собой. «Какой вздор. Не это надо делать. А надо принять меры, чтобы не видать ее — уехать самому или ее удалить. Да, удалить! Предложить ее мужу денег, чтоб он уехал в город или в другое село. Узнают, будут говорить про это. Ну что же, все лучше, чем эта опасность. Да, надо сделать это»,— говорил он себе и все, не спуская глаз, смотрел на нее. «Куда это она пошла?» — вдруг спросил он себя. Она, как ему показалось, видела его у окна и теперь, взглянув на него, взялась рука с рукой с какой-то бабой, пошла к саду, бойко размахивая рукой. Сам не зная зачем, почему, все ради своих мыслей, он пошел в контору.

Василий Николаевич, в нарядном сертуке, напомаженный, сидел за чаем с женой и гостьей в ковровом платке.

— Как бы мне, Василий Николаевич, поговорить.

— Можно. Пожалуйте. Мы отпили.

— Нет, пойдемте со мной лучше.

— Сейчас, только дай картуз возьму. Ты, Таня, самовар-то прикрой,—сказал Василий Николаевич, весело выходя.

Евгению показалось, что он был выпивши, но что же делать; может, это к лучшему, он участливее взойдет в его положение.

— Я, Василий Николаевич, опять о том же,— сказал Евгений,— об этой женщине.

— Так что же. Я приказал, чтоб отнюдь не брать.

— Да нет, я вообще вот что думаю и вот о чем хотел с вами посоветоваться. Нельзя ли их удалить, все семейство удалить?

— Куда ж их удалишь? — недовольно и насмешливо, как показалось Евгению, сказал Василий.

— Да я так думал, что дать им денег или даже земли в Колтовском, только бы не было ее тут.

— Да как же удалишь? Куда он пойдет с своего кореня? Да и на что вам? Что она вам мешает?

— Ах, Василий Николаевич, вы поймите, что жене это ужасно будет узнать.

— Да кто же ей скажет?

— Да как же жить под этим страхом? Да и вообще это тяжело.

— И чего вы беспокоитесь, право? Кто старое помянет, тому глаз вон. А кто богу не грешен, царю не виноват?

— Все-таки лучше бы удалить. Вы не можете поговорить с мужем?

— Да нечего говорить. Эх, Евгений Иванович, что вы это? И все прошло и забылось. Чего не бывает? А кто же теперь про вас скажет худое? Ведь вы в виду.

— Но вы все-таки скажите.

— Хорошо, я поговорю.

Хотя он и знал вперед, что из этого ничего не выйдет, разговор этот несколько успокоил Евгения. Он, главное, почувствовал, что он от волнения преувеличил опасность.

Разве он шел на свидание с ней? Оно и невозможно. Он просто шел пройтись по саду, а она случайно выбежала туда.

XIV

В этот же самый Троицын день, после обеда, Лиза, гуляя по саду и выходя из него на луг, куда повел ее муж, чтобы показать клевер, переходя маленькую канавку, оступилась и упала. Она упала мягко на бок, но охнула, и в лице ее муж увидал не только испуг, но боль. Он хотел поднять ее, но она отвела его руку.

— Нет, погоди немного, Евгений,— сказала она, слабо улыбаясь и снизу как-то, как ему показалось, с виноватым видом глядя на него.— Просто нога подвернулась.

— Вот я всегда говорю,— заговорила Варвара Алексеевна.— Разве можно в таком положении прыгать через канавы?

— Да нет же, мама, ничего. Я сейчас встану.

Она встала с помощью мужа, но в ту же минуту она побледнела, и на лице ее выразился испуг.

— Да, мне нехорошо,— и она шепнула что-то матери.

— Ах, боже мой, что наделали! Я говорила не ходить,— кричала Варвара Алексеевна.— Погодите, я пришлю людей. Ей не надо ходить. Ее надо снести.

— Ты не боишься, Лиза? Я снесу тебя,— сказал Евгений, обхватив ее левой рукой.— Обойми мне шею. Вот так.

И он, нагнувшись, подхватил ее под ноги правой рукой и поднял. Никогда он не мог забыть после это страдальческое и вместе блаженное выражение, которое было на ее лице.

— Тебе тяжело, милый,— говорила она, улыбаясь.— Мама-то бежит, скажи ей!

И она пригнулась к нему и поцеловала. Ей, очевидно, хотелось, чтобы и мама видела, как он несет ее.

Евгений крикнул Варваре Алексеевне, чтоб она не торопилась, что он донесет. Варвара Алексеевна остановилась и начала кричать еще пуще.

— Ты уронишь ее, непременно уронишь. Хочешь погубить ее. Нет в тебе совести.

— Да я прекрасно несу.

— Не хочу я, не могу я видеть, как ты моришь мою дочь.— И она забежала за угол аллеи.

— Ничего, это пройдет,— говорила Лиза, улыбаясь.

— Да только бы не было последствий, как тот раз.

— Нет, я не об этом. Это ничего, а я о мама́. Ты устал, отдохни.

Но хотя ему и тяжело было, Евгений с гордой радостью донес свою ношу до дому и не передал ее горничной и повару, которых нашла и выслала им навстречу Варвара Алексеевна. Он донес ее до спальни и положил на постель.

— Ну, ты поди,— сказала она и, притянув к себе его руку, поцеловала ее.— Мы с Аннушкой справимся.

Марья Павловна прибежала тоже из флигеля. Лизу раздели и уложили в постель. Евгений сидел в гостиной с книгой в руке, дожидаясь. Варвара Алексеевна прошла мимо него с таким укоризненным, мрачным видом, что ему сделалось страшно.

— Ну что? — спросил он.

— Что? Что же спрашивать? То самое, чего вы хотели, вероятно, заставляя жену прыгать через рвы.

— Варвара Алексеевна! — вскрикнул он.— Это невыносимо. Если вы хотите мучать людей и отравлять им жизнь,— он хотел сказать: то поезжайте куда-нибудь в другое место, но удержался.— Как вам не больно это?

— Теперь поздно.

И она, победоносно встряхнув чепцом, прошла в дверь.

Падение действительно было дурное. Нога подвернулась неловко, и была опасность того, что опять будет выкидыш. Все знали, что делать ничего нельзя, что надо

только лежать спокойно, но все-таки решили послать за доктором.

«Многоуважаемый Николай Семенович,— написал Евгений врачу,— вы так всегда добры были к нам, что, надеюсь, не откажете приехать помочь жене. Она в...» и т. д. Написав письмо, он пошел в конюшню распорядиться лошадьми и экипажем. Надо было приготовить одних лошадей, чтобы привезти, других — увезти. Где хозяйство не на большую ногу, все это не сразу можно устроить, а надо обдумать. Наладив все сам и отправив кучера, он вернулся домой в десятом часу. Жена лежала и говорила, что ей прекрасно и ничего не болит; но Варвара Алексеевна сидела за лампой, заслоненной от Лизы нотами, и вязала большое красное одеяло с таким видом, который ясно говорил, что после того, что было, миру быть не может. «А что бы кто ни делал, я, по крайней мере, исполнила свою обязанность».

Евгений видел это, но чтобы сделать вид, что он не замечает, старался иметь веселый и беспечный вид, рассказывал, как он собрал лошадей и как кобыла Кавушка отлично пошла на левой пристяжке.

— Да, разумеется, самое время выезжать лошадей, когда нужна помощь. Вероятно, и доктора также свалят в канаву,— сказала Варвара Алексеевна, из-под пенсне взглядывая на вязанье, подводя его под самую лампу.

— Да ведь надо же было кого-нибудь послать. А я сделал как лучше.

— Да я очень хорошо помню, как меня мчали ваши лошади под поезд.

Это была ее давнишняя выдумка, и теперь Евгений имел неосторожность сказать, что это не совсем так было.

— Недаром я всегда говорю, и князю сколько раз говорила, что тяжелее всего жить с людьми неправдивыми, неискренними; я все перенесу, но только не это.

— Ведь если кому больнее всех, то уж, верно, мне,— сказал Евгений.

— Да это и видно.

— Что?

— Ничего, я петли считаю.

Евгений стоял в это время у постели, и Лиза смотрела на него и одной из влажных рук, лежавших сверх одеяла, поймала его руку и пожала. «Переноси ее для меня. Ведь она не помешает нам любить друг друга»,— говорил ее взгляд.

— Не буду. Это так,— прошептал он и поцеловал ее влажную длинную руку и потом милые глаза, которые закрывались, пока он целовал их.

— Неужели опять то же? — сказал он.— Как ты чувствуешь?

— Страшно сказать, чтоб не ошибиться, но чувство у меня такое, что он жив и будет жив,— сказала она, глядя на свой живот.

— Ах, страшно, страшно и думать.

Несмотря на настояния Лизы, чтоб он ушел, Евгений провел ночь с нею, засыпая только одним глазом и готовый служить ей. Но ночь она провела хорошо и, если бы не было послано за доктором, может быть и встала бы.

К обеду приехал доктор и, разумеется, сказал, что, хотя повторные явления и могут вызывать опасения, но, собственно говоря, положительного указания нет, но так как нет и противупоказания, то можно, с одной стороны, полагать, с другой же стороны, тоже можно полагать. И потому надо лежать, и хотя я и не люблю прописывать, но все-таки это принимать и лежать. Кроме того, доктор прочел еще Варваре Алексеевне лекцию о женской анатомии, причем Варвара Алексеевна значительно кивала головой. Получив гонорар, как и обыкновенно в самую заднюю часть ладони, доктор уехал, а больная осталась лежать на неделю.

XV

Большую часть времени Евгений проводил у постели жены, служил ей, говорил с ней, читал с ней и, что было труднее всего, без ропота переносил нападки Варвары Алексеевны и даже сумел из этих нападок сделать предмет шутки.

Но он не мог сидеть дома. Во-первых, жена посылала его, говоря, что он заболеет, если будет сидеть все с нею, а во-вторых, хозяйство все шло так, что на каждом шагу требовало его присутствия. Он не мог сидеть дома, а был в поле, в лесу, в саду, на гумне, и везде не мысль только, а живой образ Степаниды преследовал его так, что он редко только забывал про нее. Но это было бы ничего; он, может быть, сумел бы преодолеть это чувство, но хуже всего было то, что он прежде жил, месяцами не видя ее, теперь же беспрестанно видел и встречал ее. Она, очевидно, поняла, что он хочет возобновить сношения с нею,

и старалась попадаться ему. Ни им, ни ею не было сказано ничего, и оттого и он и она не шли прямо на свиданье, а старались только сходиться.

Место, где можно было сойтись, это был лес, куда бабы ходили с мешками за травой для коров. И Евгений знал это и потому каждый день проходил мимо этого леса. Каждый день он говорил себе, что он не пойдет, и каждый день кончалось тем, что он направлялся к лесу и, услыхав звук голосов, останавливаясь за кустом, с замиранием сердца выглядывал, не она ли это.

Зачем ему нужно было знать, не она ли это? Он не знал. Если бы это была она и одна, он не пошел бы к ней,— так он думал,— он убежал бы; но ему нужно было видеть ее. Один раз он встретил ее: в то время как он входил в лес, она выходила из него с другими двумя бабами и тяжелым мешком, полным травы, на спине. Немного раньше — и он бы, может быть, столкнулся с нею в лесу. Теперь же ей невозможно было на виду других баб вернуться к нему в лес. Но, несмотря на сознаваемую им эту невозможность, он долго, рискуя обратить этим на себя внимание других баб, стоял за кустом орешника. Разумеется, она не вернулась, но он простоял здесь долго. И боже мой, с какой прелестью рисовало ему ее его воображение. И это было не один раз, а пятый, шестой раз. И что дальше, то сильнее. Никогда она так привлекательна не казалась ему. Да и не то что привлекательна; никогда она так вполне не владела им.

Он чувствовал, что терял волю над собой, становился почти помешанным. Строгость его к себе не ослаблялась ни на волос; напротив, он видел всю мерзость своих желаний, даже поступков, потому что хождение его по лесу был поступок. Он знал, что стоило ему столкнуться с ней где-нибудь близко, в темноте, если бы можно прикоснуться к ней, и он отдастся своему чувству. Он знал, что только стыд перед людьми, перед ней и перед собой держал его. И он знал, что он искал условий, в которых бы не был заметен этот стыд,— темноты или такого прикосновения, при котором стыд этот заглушится животной страстью. И потому он знал, что он мерзкий преступник, и презирал и ненавидел себя всеми силами души. Он ненавидел себя потому, что все еще не сдавался. Каждый день он молился богу о том, чтобы он подкрепил, спас его от погибели, каждый день он решал, что отныне он не сделает ни одного шага, не оглянется на нее, забудет ее.

Каждый день он придумывал средства, чтобы избавиться от этого наваждения, и употреблял эти средства.

Но все было напрасно.

Одно из средств было постоянное занятие; другое было усиленная физическая работа и пост; третье было представление себе ясное того стыда, который обрушится на его голову, когда все узнают это — жена, теща, люди. Он все это делал, и ему казалось, что он побеждает, но приходило время, полдень, время прежних свиданий и время, когда он ее встретил за травой, и он шел в лес.

Так прошли мучительные пять дней. Он только видал ее издалека, но ни разу не сошелся с нею.

XVI

Лиза понемногу поправлялась, ходила и беспокоилась той переменой, которая произошла в ее муже и которой она не понимала.

Варвара Алексеевна уехала на время, из чужих гостил только дядюшка. Марья Павловна, как всегда, была дома.

В таком полусумасшедшем состоянии находился Евгений, когда случились, как это часто бывает после июньских гроз, июньские проливные дожди, продолжавшиеся два дня. Дожди отбили от всех работ. Даже навоз бросили возить от сырости и грязи. Народ сидел по домам. Пастухи мучались с скотиной и, наконец, пригнали ее домой. Коровы и овцы ходили по выгону и разбегались по усадьбам. Бабы, босые и покрытые платками, шлепая по грязи, бросились разыскивать разбежавшихся коров. Ручьи текли везде по дорогам, все листья, вся трава были полны водой, из желобов текли, не умолкая, ручьи в пузырящиеся лужи. Евгений сидел дома с женой, которая была особенно скучна нынче. Она несколько раз допрашивала Евгения о причине его недовольства, он с досадой отвечал, что ничего нет. И она перестала спрашивать, но огорчилась.

Они сидели после завтрака в гостиной. Дядюшка рассказывал сотый раз свои выдумки про своих великосветских знакомых. Лиза вязала кофточку и вздыхала, жалуясь на погоду и на боль в пояснице. Дядюшка посоветовал ей лечь, а сам попросил вина. В доме Евгению было

ужасно скучно. Все было слабое, скучающее. Он читал книгу и курил, но ничего не понимал.

— Да, надо пройтись посмотреть терки, вчера привезли, — сказал он. Он встал и пошел.

— Ты возьми зонтик.

— Да нет, у меня кожан. Да и я только до варков.

Он надел сапоги, кожан и пошел к заводу; но не прошел он двадцати шагов, как навстречу ему попалась она в высоко над белыми икрами подоткнутой паневе. Она шла, придерживая руками шаль, которой были закутаны ее голова и плечи.

— Что ты? — спросил он, в первую минуту не узнав ее. Когда он узнал, было уже поздно. Она остановилась и, улыбаясь, долго поглядела на него.

— Теленку ищу. Куда же это вы в ненастье-то? — сказала она, точно каждый день видала его.

— Приходи в шалаш,— вдруг, сам не зная как, сказал он. Точно кто-то другой из него сказал эти слова.

Она закусила платок, кивнула глазами и побежала туда, куда шла, — в сад, к шалашу, а он продолжал свой путь с намереньем завернуть за сиреневым кустом и идти туда же.

— Барин,— послышался ему сзади голос.— Барыня зовут, на минутку просят зайти.

Это был Миша, их слуга.

«Боже мой, второй раз ты спасаешь меня»,— подумал Евгений и тотчас же вернулся. Жена напоминала ему, что он обещал в обед снести лекарство больной женщине, так вот она просила его взять его.

Пока собирали лекарство, прошло минут пять. Потом, выйдя с лекарством, он не решился идти в шалаш, чтобы его не увидали из дома. Но как только вышел из вида, он тотчас повернул и пошел к шалашу. Он уже видел в воображении своем ее посередине шалаша, весело улыбающуюся; но ее не было, и в шалаше ничего не было, что бы доказывало, что она была. Он уже подумал, что она не приходила и не слыхала и не поняла его слов. Он пробурчал их себе под нос, как бы боясь, чтобы она услыхала их. «Или, может быть, и не хотела прийти? И с чего он выдумал, что она так и бросится к нему? У нее есть свой муж; только я один такой мерзавец, что у меня жена, и хорошая, а я бегаю за чужою». Так он думал, сидя в шалаше, протекшем в одном месте и капающем с своей соломы. «А что бы за счастье было, если бы она пришла.

Одни здесь в этот дождь. Хоть бы раз опять обнять ее, а потом будь что будет. Ах да, — вспомнил он, — если была, то по следам можно найти». Он взглянул на землю пробитой к шалашу и не заросшей травой тропинки, и свежий след босой ноги, еще покатившейся, был на ней. «Да, она была. Но теперь кончено. Прямо, где ни увижу, пойду к ней. Ночью пойду к ней». Он долго сидел в шалаше и вышел из него измученный и убитый. Он снес лекарство, вернулся домой и лег у себя в комнате, дожидаясь обеда.

XVII

Перед обедом Лиза пришла к нему и, все придумывая, что бы могло быть причиною его неудовольствия, стала говорить ему, что она боится, что ему неприятно, что ее хотят везти в Москву родить, и что она решила, что останется здесь. И ни за что не поедет в Москву. Он знал, как она боялась и самих родов, и того, чтобы не родить нехорошего ребенка, и потому не мог не умилиться, видя, как легко она всем жертвовала из любви к нему. Все было так хорошо, радостно, чисто в доме; а в душе его было грязно, мерзко, ужасно. Весь вечер Евгений мучался тем, что он знал, что, несмотря на свое искреннее отвращение к своей слабости, несмотря на твердое намерение перервать, завтра будет то же самое.

— Нет, это невозможно,— говорил он себе, ходя взад и вперед по своей комнате. — Ведь должно же быть какое-нибудь средство против этого. Боже мой! что делать?

Кто-то на иностранный манер постучался в дверь. Это, он знал, был дядюшка.

— Взойдите,— сказал он.

Дядюшка пришел самопроизвольно послом от жены.

— Ты знаешь ли, что в самом деле я замечаю в тебе перемену, — сказал он, — и Лизу, я понимаю, как это мучает. Я понимаю, что тебе тяжело оставлять все начатое и прекрасное дело, но что ты хочешь, que veux tu? Я бы советовал вам ехать. Покойней будет и тебе и ей. И знаешь ли, мой совет ехать в Крым. Климат акушер там прекрасный, и в самый виноградный сезон вы попадете.

— Дядюшка,— вдруг заговорил Евгений,— можете вы соблюсти мой секрет, ужасный для меня секрет, постыдный секрет?

— Помилуй, неужели ты сомневаешься во мне?

— Дядюшка! Вы можете мне помочь. Не то что помочь, спасти меня,— сказал Евгений. И мысль о том, что он откроет свою тайну дядюшке, которого он не уважал, мысль о том, что он покажется ему в самом невыгодном свете, унизится перед ним, была ему приятна. Он чувствовал себя мерзким, виноватым, и ему хотелось наказать себя.

— Говори, мой друг, ты знаешь, как я тебя полюбил,— заговорил дядюшка, видимо очень довольный и тем, что есть секрет, и что секрет постыдный, и что секрет этот ему сообщат, и что он может быть полезен.

— Прежде всего я должен сказать, что я мерзавец и негодяй, подлец, именно подлец.

— Ну, что ты,— надуваясь горлом, начал дядюшка.

— Да как же не мерзавец, когда я, Лизин муж, Лизин! — надо ведь знать ее чистоту, любовь,— когда я, ее муж, хочу изменить ей с бабой?

— То есть отчего же ты хочешь? Ты не изменил ей?

— Да, то есть все равно что изменил, потому что это не от меня зависело. Я готов был. Мне помешали, а то я теперь бы... теперь бы. Я не знаю, что бы я сделал.

— Но позволь, ты объясни мне...

— Ну, да вот. Когда я был холостым, я имел глупость войти в сношения с женщиной здесь, из нашей деревни. То есть, как я встречался с ней в лесу, в поле...

— И хорошенькая? — сказал дядюшка.

Евгений поморщился от этого вопроса, но ему так нужна была помощь внешняя, что он как будто не слышал его и продолжал:

— Ну, я думал, что это так, что я перерву и все кончится. Я и перервал еще до женитьбы и почти год и не видал и не думал о ней,— Евгению самому странно было себя слушать, слушать описание своего состояния, — потом вдруг, уж я не знаю отчего,— право, иногда веришь в привороты,— я увидал ее, и червь залез мне в сердце — гложет меня. Я ругаю себя, понимая весь ужас своего поступка, то есть того, который я всякую минуту могу сделать, и сам иду на это, и если не сделал, то только бог меня спасал. Вчера я шел к ней, когда Лиза позвала меня.

— Как, в дождь?

— Да, я измучался, дядюшка, и решил открыться вам и просить вашей помощи.

— Да, разумеется, в своем именье это нехорошо.

Узнают. Я понимаю, что Лиза слаба, надо жалеть ее, но зачем в своем именье?

Опять Евгений постарался не слыхать того, что говорил дядюшка, и приступил скорее к сущности дела.

— Да вы спасите меня от себя. Я вас вот о чем прошу. Нынче мне помешали случайно, но завтра, в другой раз мне не помешают. И она знает теперь. Не пускайте меня одного.

— Да, положим,— сказал дядюшка.— Но неужели ты так влюблен?

— Ах, совсем не то. Это не то, это какая-то сила ухватила меня и держит. Я не знаю, что делать. Может быть, я окрепну, тогда...

— Ну вот и выходит по-моему,— сказал дядюшка.— Поедемте-ка в Крым.

— Да, да, поедемте, а пока я буду с вами, буду говорить вам.

XVIII

То, что Евгений доверил дядюшке свою тайну и, главное, те мучения совести и стыда, которые он пережил после того дождливого дня, отрезвили его. Поездка в Ялту была решена через неделю. В эту неделю Евгений ездил в город доставать денег на поездку, распоряжался из дома и конторы по хозяйству, опять стал весел и близок с женою и стал нравственно оживать.

Так, ни разу после того дождливого дня не видав Степаниду, он уехал с женою в Крым. В Крыму они провели прекрасно два месяца. Евгению было столько новых впечатлений, что все прежнее стерлось, ему казалось, совсем из его воспоминания. В Крыму они встретили прежних знакомых и особенно сблизились с ними; кроме того, сделали новые знакомства. Жизнь в Крыму для Евгения была постоянным праздником и, кроме того, еще была поучительна и полезна для него. Они сблизились там с бывшим губернским предводителем их же губернии, с умным, либеральным человеком, который полюбил Евгения и образовывал его и привлек на свою сторону. В конце августа Лиза родила прекрасную, здоровую девочку, и родила неожиданно очень легко.

В сентябре Иртеневы поехали домой уже сам-четверт, с ребенком и кормилицей, так как Лиза не могла кормить. Совершенно свободный от прежних ужасов, Евге-

ний вернулся к себе совсем новым и счастливым человеком. Пережив все то, что переживают мужья при родах, он еще сильнее полюбил жену. Чувство к ребенку, когда он его брал на руки, было смешное, новое, очень приятное, точно щекотное чувство. Еще новое в его жизни теперь было то, что, кроме занятий хозяйством, в его душе благодаря сближению с Думчиным (бывший предводитель) возник новый интерес земский, отчасти честолюбивый, отчасти сознания долга. В октябре должно было быть экстренное собрание, в котором его должны были выбрать. Приехав домой, он раз съездил в город, другой раз к Думчину.

О мучениях соблазна и борьбы он забыл и думать и с трудом мог восстановить их в своем воображении. Это представлялось ему чем-то вроде припадка сумасшествия, которому он подвергся.

До такой степени теперь он чувствовал себя свободным от этого, что он даже не побоялся спросить при первом случае, когда они остались одни, у приказчика. Так как он уж говорил с ним об этом, ему не совестно было спросить.

— Ну что, Пчельников Сидор все не живет дома? — спросил он.

— Нет, все в городе.

— А баба его?

— Да пустая бабенка! Теперь с Зиновеем путается. Совсем заболталась.

«Ну и прекрасно,— подумал Евгений.— Как удивительно мне все равно и как я изменился».

XIX

Совершилось все, чего желал Евгений. Именье осталось за ним, завод пошел, выход свекловицы был прекрасный, и доход ожидался большой; жена благополучно родила, и теща уехала, и его выбрали единогласно.

Евгений после избрания возвращался домой из города. Его поздравляли, он должен был благодарить. И он обедал и выпил бокалов пять шампанского. Совсем новые планы жизни теперь представились ему. Он ехал домой и думал о них. Было бабье лето. Прекрасная дорога, яркое солнце. Подъезжая к дому, Евгений думал о том, как

он вследствие этого избрания займет в народе именно то положение, о котором он всегда мечтал, то есть такое, в котором он в состоянии будет служить ему не одним производством, которое дает работу, но прямым влиянием. Он представлял себе, как об нем через три года будут судить его же и другие крестьяне. «Вот и этот»,— думал он, проезжая в это время по деревне и глядя на мужика и бабу, которые шли ему поперек дороги с полным ушатом. Они остановились, пропуская тарантас. Мужик был старик Пчельников, баба была Степанида. Евгений взглянул на нее, узнал ее и с радостью почувствовал, что он остался совершенно спокойным. Она была все так же миловидна, но его это не тронуло нисколько. Он приехал домой. Жена встретила на крыльце. Был чудный вечер.

— Ну что, можно поздравить? — сказал дядюшка.

— Да, выбрали.

— Ну и прекрасно. Спрыснуть надо.

На другое утро Евгений поехал по хозяйству, которое он запустил. На хуторе молотилка новая работала. Рассматривая ее работу, Евгений ходил между баб, стараясь не замечать их, но как он ни старался, он раза два заметил черные глаза и красный платок Степаниды, носившей солому. Раза два он покосился на нее и почувствовал, что опять что-то, но не мог дать себе отчета. Только на другой день, когда он опять поехал на гумно хутора и пробыл там два часа, чего совсем не нужно было, не переставая глазами ласкать знакомый красивый образ молодой женщины, он почувствовал, что он погиб, погиб совсем, безвозвратно. Опять эти мученья, опять весь этот ужас и страх. И нет спасенья.

То, чего он ожидал, то и случилось с ним. На другой день вечером, он, сам не зная как, очутился у ее задворков, против ее сенного сарая, где один раз осенью у них было свиданье. Он, как будто гуляя, остановился тут, закуривая папироску. Баба-соседка увидала его, и он, проходя назад, услыхал, как она говорила кому-то:

— Иди, дожидается, сейчас умереть, стоит. Иди, дура!

Он видел, как баба — она — побежала к сараю, но ему нельзя уже было вернуться, потому что его встретил мужик, и он пошел домой.

XX

Когда он пришел в гостиную, все ему показалось дико и неестественно. Утром он встал еще бодрый, с решением бросить, забыть, не позволять себе думать. Но, сам не замечая как, он все утро не только не интересовался делами, но старался освобождаться от них. То, что прежде важно было, радовало его, было теперь ничтожно. Он бессознательно старался освободиться от дел. Ему казалось, что нужно освободиться для того, чтобы обсудить, обдумать. И он освободился и остался один. Но как только остался один, так он пошел бродить в сад, в лес. И все места эти были загажены воспоминаниями, воспоминаниями, захватывающими его. И он почувствовал, что он ходит в саду и говорит себе, что обдумывает что-то, а он ничего не обдумывает, а безумно, безосновательно ждет ее, ждет того, что она каким-то чудом поймет, как он желает ее, и возьмет и придет сюда или куда-нибудь туда, где никто не увидит, или ночью, когда не будет луны, и никто, даже она сама, не увидит, в такую ночь она придет, и он коснется ее тела...

«Да, вот и перервал, когда захотел,— говорил он себе.— Да, вот и для здоровья сошелся с чистой, здоровой женщиной! Нет, видно, нельзя так играть с ней. Я думал, что я ее взял, а она взяла меня, взяла и не пустила. Ведь я думал, что я свободен, а я не был свободен. Я обманывал себя, когда женился. Все было вздор, обман. С тех пор как я сошелся с ней, я испытал новое чувство, настоящее чувство мужа. Да, мне надо было жить с ней.

Да, две жизни возможны для меня; одна та, которую я начал с Лизой: служба, хозяйство, ребенок, уважение людей. Если эта жизнь, то надо, чтоб ее, Степаниды, не было. Надо услать ее, как я говорил, или уничтожить ее, чтоб ее не было. А другая жизнь — это тут же. Отнять ее у мужа, дать ему денег, забыть про стыд и позор и жить с ней. Но тогда надо, чтоб Лизы не было и Мими (ребенка). Нет, что же, ребенок не мешает, но чтоб Лизы не было, чтоб она уехала. Чтоб она узнала, прокляла и уехала. Узнала, что я променял ее на бабу, что я обманщик, подлец. Нет, это слишком ужасно! Этого нельзя. Да, но может и так быть,— продолжал он думать,— может так быть. Лиза заболеет да умрет. Умрет, и тогда все будет прекрасно.

Прекрасно! О негодяй! Нет, уж если умирать, то ей. Кабы она умерла, Степанида, как бы хорошо было.

Да, вот как отравляют или убивают жен или любовниц. Взять револьвер и пойти вызвать и, вместо объятий, в грудь. И кончено.

Ведь она черт. Прямо черт. Ведь она против воли моей завладела мною. Убить? да. Только два выхода: убить жену или ее. Потому что так жить нельзя [1]. Нельзя. Надо обдумать и предвидеть. Если остаться так, как есть, то что будет?

Будет то, что я опять себе скажу, что я не хочу, что я брошу, но я только скажу, а буду вечером на задворках, и она знает, и она придет. И или люди узнают и скажут жене, или я сам скажу ей, потому что не могу я лгать, не могу я так жить. Не могу. Узнается. Все узнают, и Параша, и кузнец. Ну и что же, разве можно жить так?

Нельзя. Только два выхода: жену убить или ее. Да еще...

Ах, да, третий есть: себя,— сказал он тихо вслух, и вдруг мороз пробежал у него по коже.— Да, себя, тогда не нужно их убивать». Ему стало страшно именно потому, что он чувствовал, что только этот выход возможен. «Револьвер есть. Неужели я убью себя? Вот чего не думал никогда. Как это странно будет».

Он вернулся к себе в комнату и тотчас открыл шкаф, где был револьвер. Но не успел он открыть его, как вошла жена.

XXI

Он накинул газету на револьвер.

— Опять то же,— с испугом сказала она, взглянув на него.

— Что то же?

— То же ужасное выражение, которое было прежде, когда ты не хотел мне сказать. Геня, голубчик, скажи мне. Я вижу, ты мучаешься. Скажи мне, тебе легче будет. Что бы ни было, все лучше этих твоих страданий. Ведь я знаю, что ничего дурного.

— Ты знаешь? Пока.

— Скажи, скажи, скажи. Не пущу тебя.

Он улыбнулся жалкой улыбкой.

«Сказать? Нет, это невозможно. Да и нечего говорить».

---

[1] С этого места начинается вариант конца повести.

Может быть, он сказал бы ей, но в это время вошла кормилица, спрашивая, можно ли идти гулять. Лиза вышла одеть ребенка.

— Так ты скажешь. Я сейчас приду.

— Да, может быть...

Она никогда не могла забыть улыбки страдальческой, с которой он сказал это. Она вышла.

Поспешно, крадучись, как разбойник, он схватил револьвер, вынул из чехла. «Он заряжен, да, но давно, и одного заряда недостает. Ну, что будет».

Он приставил к виску, замялся было, но как только вспомнил Степаниду, решение не видеть, борьбу, соблазн, падение, опять борьбу, так вздрогнул от ужаса. «Нет, лучше это». И пожал гашетку.

Когда Лиза вбежала в комнату,— она только что успела спуститься с балкона,— он лежал ничком на полу, черная, теплая кровь хлестала из раны, и труп еще подрагивал.

Было следствие. Никто не мог понять и объяснить причины самоубийства. Дядюшке даже ни разу не пришло в голову, что причина имела что-нибудь общего с тем признанием, которое два месяца тому назад ему делал Евгений.

Варвара Алексеевна уверяла, что она всегда предсказывала это. Это было видно, когда он спорил. Лиза и Марья Павловна обе никак не могли понять, отчего это случилось, и все-таки не верили тому, что говорили доктора, что он был душевнобольной. Они не могли никак согласиться с этим, потому что знали, что он был более здравомыслящ, чем сотни людей, которых они знали.

И действительно, если Евгений Иртенев был душевнобольной, то все люди такие же душевнобольные, самые же душевнобольные — это несомненно те, которые в других людях видят признаки сумасшествия, которых в себе не видят.

19 ноября 1889. Ясная Поляна

⟨ВАРИАНТ КОНЦА ПОВЕСТИ «ДЬЯВОЛ»⟩ [1]

...сказал он себе и, подойдя к столу, достал из него револьвер и, осмотрев его — одного заряда недоставало,— положил его в карман штанов.

[1] См. стр. 292.

— Боже мой! что я делаю? — вдруг вскрикнул он, и, сложив руки, он стал молиться.— Господи, помоги мне, избавь меня. Ты знаешь, что я не хочу дурного, но я не могу один. Помоги мне, — говорил он, крестясь на образ.

«Да я могу же владеть собой. Пойду похожу и обдумаю».

Он вышел в переднюю, надел полушубок, калоши и вышел на крыльцо. Не замечая этого, шаги его направились мимо сада по полевой дороге к хутору. На хуторе все еще гудела молотилка и слышались крики погонщиков-мальчиков. Он вошел в ригу. Она была тут. Он тотчас же увидал ее. Она сгребала колос, и, увидав его, она, смеясь глазами, бойкая, веселая, рысью побежала по раскиданному колосу, ловко сдвигая его. Евгений не хотел, но не мог не смотреть на нее. Он опомнился только, когда она перестала быть видима. Приказчик доложил, что теперь домолачивают слежавшиеся и что от этого дольше и выхода меньше. Евгений подошел к барабану, изредка стучавшему при пропуске плохо распластанных снопов, и спросил приказчика, много ли таких слежавшихся снопов.

— Возов пять будет.

— Так вот что...— начал Евгений и не договорил. Она подошла вплоть к барабану, из-под него выгребая колос, и обожгла его своим смеющимся взглядом.

Взгляд этот говорил о веселой, беззаботной любви между ними, о том, что она знает, что он желает ее, что он приходил к ее сараю, и что она, как всегда, готова жить и веселиться с ним, не думая ни о каких условиях и последствиях. Евгений почувствовал себя в ее власти, но не хотел сдаваться.

Он вспомнил свою молитву и попытался повторить ее. Он стал про себя говорить ее, но тотчас же почувствовал, что это было бесполезно.

Одна мысль теперь поглотила его всего: как незаметно от других назначить ей свидание?

— Если нынче кончим, прикажете начинать новый скирд или уж до завтрова? — спросил приказчик.

— Да, да,— отвечал Евгений, невольно направляясь за нею к вороху, к которому она с другой бабой пригребала колос.

«Да неужели я не могу овладеть собой? — говорил он себе.— Неужели я погиб? Господи! Да нет никакого бога.

Есть дьявол. И это она. Он овладел мной. А я не хочу, не хочу. Дьявол, да, дьявол».

Он подошел вплоть к ней, вынул из кармана револьвер и раз, два, три раза выстрелил ей в спину. Она побежала и упала на ворох.

— Батюшки! родимые! что ж это? — кричали бабы.

— Нет, я не нечаянно. Я нарочно убил ее,— закричал Евгений.— Посылайте за становым.

Он пришел домой и, ничего не сказав жене, вошел в свой кабинет и заперся.

— Не ходи ко мне,— кричал он жене через дверь,— узнаешь все.

Через час он позвонил и у пришедшего лакея спросил:

— Поди узнай, жива ли Степанида.

Лакей уж знал все и сказал, что померла с час назад.

— Ну и прекрасно. Теперь оставь меня. Когда приедет становой или следователь, скажи.

Становой и следователь приехали на другое утро, и Евгений, простившись с женой и ребенком, был отвезен в острог.

Его судили. Это были первые времена суда присяжных. И его признали временно душевнобольным и приговорили только к церковному покаянию.

Он пробыл в остроге девять месяцев и в монастыре месяц.

Он начал пить еще в остроге, продолжал в монастыре и вернулся домой расслабленным, невменяемым алкоголиком.

Варвара Алексеевна уверяла, что она всегда предсказывала это. Это было видно, когда он спорил. Лиза и Марья Павловна обе никак не могли понять, отчего это случилось, и все-таки не верили тому, что говорили доктора, что он был душевнобольной, психопат. Они не могли никак согласиться с этим, потому что знали, что он был более здравомыслящий, чем сотни людей, которых они знали.

И действительно, если Евгений Иртенев был душевнобольной тогда, когда он совершил свое преступление, то все люди такие же душевнобольные, самые же душевнобольные — это несомненно те, которые в других людях видят признаки сумасшествия, которых в себе не видят.

ХОЗЯИН И РАБОТНИК

I

Это было в семидесятых годах, на другой день после зимнего Николы. В приходе был праздник, и деревенскому дворнику, купцу второй гильдии Василию Андреичу Брехунову, нельзя было отлучиться: надо было быть в церкви,— он был церковный староста,— и дома надо было принять и угостить родных и знакомых. Но вот последние гости уехали, и Василий Андреич стал собираться тотчас же ехать к соседнему помещику для покупки у него давно уже приторговываемой рощи. Василий Андреич торопился ехать, чтобы городские купцы не отбили у него эту выгодную покупку. Молодой помещик просил за рощу десять тысяч только потому, что Василий Андреич давал за нее семь. Семь же тысяч составляли только одну треть настоящей стоимости рощи. Василий Андреич, может быть, выторговал бы и еще, так как лес находился в его округе, и между ним и деревенскими уездными купцами уже давно был установлен порядок, по которому один купец не повышал цены в округе другого, но Василий Андреич узнал, что губернские лесоторговцы хотели ехать торговать Горячкинскую рощу, и он решил тотчас же ехать и покончить дело с помещиком. И потому, как только отошел праздник, он достал из сундука свои семьсот рублей, добавил к ним находящихся у него церковных две тысячи триста, так чтобы составилось три тысячи рублей, и, старательно перечтя их и уложив в бумажник, собрался ехать.

Работник Никита, один в этот день не пьяный из работников Василия Андреича, побежал запрягать. Никита не был пьян в этот день потому, что он был пьяница, и теперь, с заговен, во время которых он пропил с себя поддевку и кожаные сапоги, он зарекся пить и не пил второй

месяц; не пил и теперь, несмотря на соблазн везде распиваемого вина в первые два дня праздника.

Никита был пятидесятилетний мужик из ближней деревни, нехозяин, как про него говорили, большую часть своей жизни проживший не дома, а в людях. Везде его ценили за его трудолюбие, ловкость и силу в работе, главное — за добрый, приятный характер; но нигде он не уживался, потому что раза два в год, а то и чаще, запивал, и тогда, кроме того что пропивал все с себя, становился еще буен и придирчив. Василий Андреич тоже несколько раз прогонял его, но потом опять брал, дорожа его честностью, любовью к животным и, главное, дешевизной. Василий Андреич платил Никите не восемьдесят рублей, сколько стоил такой работник, а рублей сорок, которые выдавал ему без расчета, по мелочи, да и то большей частью не деньгами, а по дорогой цене товаром из лавки.

Жена Никиты, Марфа, когда-то бывшая красивая бойка́я баба, хозяйничала дома с подростком-малым и двумя девками и не звала Никиту жить домой, во-первых, потому, что уже лет двадцать жила с бондарем, мужиком из чужой деревни, который стоял у них в доме; а во-вторых, потому, что, хотя она и помыкала мужем, как хотела, когда он был трезв, она боялась его, как огня, когда он напивался. Один раз, напившись пьян дома, Никита, вероятно чтобы выместить жене за все свое трезвое смиренство, взломал ее сундук, достал самые драгоценные ее наряды и, взяв топор, на обрубке изрубил в мелкую окрошку все ее сарафаны и платья. Зажитое Никитой жалованье все отдавалось его жене, и Никита не противоречил этому. Так и теперь, за два дня до праздника Марфа приезжала к Василию Андреичу и забрала у него белой муки, чаю, сахару и осьмуху вина, всего рубля на три, да еще взяла пять рублей деньгами и благодарила за это, как за особую милость, тогда как по самой дешевой цене за Василием Андреичем было рублей двадцать.

— Мы разве с тобой уговоры какие делали? — говорил Василий Андреич Никите. — Нужно — бери, заживешь. У меня не как у людей: подожди, да расчеты, да штрафы. Мы по чести. Ты мне служишь, и я тебя не оставляю.

И, говоря это, Василий Андреич был искренно уверен, что он благодетельствует Никите: так убедительно он умел говорить и так все зависящие от его денег люди,

начиная с Никиты, поддерживали его в этом убеждении, что он не обманывает, а благодетельствует их.

— Да я понимаю, Василий Андреич; кажется, служу, стараюсь, как отцу родному. Я очень хорошо понимаю,— отвечал Никита, очень хорошо понимая, что Василий Андреич обманывает его, но вместе с тем чувствуя, что нечего и пытаться разъяснять с ним свои расчеты, а надо жить, пока нет другого места, и брать, что дают.

Теперь, получив приказание хозяина запрягать, Никита, как всегда, весело и охотно, бодрым и легким шагом своих гусем шагающих ног пошел в сарай, снял там с гвоздя тяжелую ременную с кистью узду и, погромыхивая баранчиками удил, пошел к затворенному хлеву, в котором отдельно стояла та лошадь, которую велел запрягать Василий Андреич.

— Что, соскучился, соскучился, дурачок? — говорил Никита, отвечая на слабое приветственное ржанье, с которым встретил его среднего роста ладный, несколько вислозадый, караковый, мухортый жеребец, стоявший один в хлевушке.— Но, но! поспеешь, дай прежде напою, — говорил он с лошадью совершенно так, как говорят с понимающими слова существами, и, обмахнув полой жирную с желобком посредине, разъеденную и засыпанную пылью спину, он надел на красивую молодую голову жеребца узду, выпростал ему уши и челку и, скинув оброть, повел поить.

Осторожно выбравшись из высоко занавоженного хлева, Мухортый заиграл и взбрыкнул, притворяясь, что хочет задней ногой ударить рысью бежавшего с ним к колодцу Никиту.

— Балуй, балуй, шельмец! — приговаривал Никита, знавший ту осторожность, с которой Мухортый вскидывал задней ногой только так, чтобы коснуться его засаленного полушубка, но не ударить, и особенно любивший эту замашку.

Напившись студеной воды, лошадь вздохнула, пошевеливая мокрыми крепкими губами, с которых капали с усов в корыто прозрачные капли, и замерла, как будто задумавшись; потом вдруг громко фыркнула.

— Не хочешь, не надо, так и знать будем; уж больше не проси,— сказал Никита, совершенно серьезно и обстоятельно разъясняя свое поведение Мухортому; и опять побежал к сараю, подергивая за повод взбрыкивающую

и на весь двор потрескивающую веселую молодую лошадь.

Работников никого не было; был только один чужой, пришедший на праздник кухаркин муж.

— Поди спроси, душа милая,— сказал ему Никита,— какие сани велить запрягать: пошевни али махонькие?

Кухаркин муж пошел в железом крытый на высоком фундаменте дом и скоро вернулся с известием, что велено впрягать махонькие. Никита в это время уже надел хомут, подвязал седелку, обитую гвоздиками, и, в одной руке неся легкую крашеную дугу, а в другой ведя лошадь, подходил к двум стоявшим под сараем саням.

— В махонькие так в махонькие,— сказал он и ввел в оглобли умную лошадь, все время притворявшуюся, что она хочет кусать его, и с помощью кухаркина мужа стал запрягать.

Когда все было почти готово и оставалось только завожжать, Никита послал кухаркина мужа в сарай за соломой и в амбар за веретьем.

— Вот и ладно. Но, но, не топырься! — говорил Никита, уминая в санях принесенную кухаркиным мужем свежеобмолоченную овсяную солому.— А теперь вот давай дерюжку так постелим, а сверху веретье. Вот так-то, вот так-то и хорошо будет сидеть,— говорил он, делая то, что говорил,— подтыкая веретье сверх соломы со всех сторон вокруг сиденья.

— Вот спасибо, душа милая,— сказал Никита кухаркину мужу,— вдвоем все спорее.— И, разобрав ременные с кольцом на соединенном конце вожжи, Никита присел на облучок и тронул просившую хода добрую лошадь по мерзлому навозу двора к воротам.

— Дядя Микит, дядюшка, а дядюшка! — закричал сзади его тоненьким голоском торопливо выбежавший из сеней на двор семилетний мальчик в черном полушубочке, новых белых валенках и теплой шапке.— Меня посади,— просил он, на ходу застегивая свой полушубочек.

— Ну, ну, беги, голубок,— сказал Никита и, остановив, посадил просиявшего от радости хозяйского бледного, худенького мальчика и выехал на улицу.

Был час третий. Было морозно — градусов десять, пасмурно и ветрено. Половина неба была закрыта низкой темной тучей. Но на дворе было тихо. На улице же ветер был заметнее: с крыши соседнего сарая мело снег, и на углу, у бани, крутило. Едва только Никита выехал в ворота

и завернул лошадь к крыльцу, как и Василий Андреич, с папироской во рту, в крытом овчинном тулупе, туго и низко подпоясанный кушаком, вышел из сеней на повизгивающее под его кожей обшитыми валенками, утоптанное снегом, высокое крыльцо и остановился. Затянувшись остатком папироски, он бросил ее под ноги и наступил на нее и, выпуская через усы дым и косясь на выезжавшую лошадь, стал заправлять с обеих сторон своего румяного, бритого, кроме усов, лица углы воротника тулупа мехом внутрь, так чтобы мех не потел от дыханья.

— Вишь ты, прокурат какой, поспел уж! — сказал он, увидав сынишку в санях. Василий Андреич был возбужден выпитым с гостями вином и потому еще более, чем обыкновенно, доволен всем тем, что ему принадлежало, и всем тем, что он делал. Вид своего сына, которого он всегда в мыслях называл наследником, доставлял ему теперь большое удовольствие; он, щурясь и оскаливая длинные зубы, смотрел на него.

Закутанная по голове и плечам шерстяным платком, так что только глаза ее были видны, беременная, бледная и худая жена Василия Андреича, провожая его, стояла за ним в сенях.

— Право, Никиту бы взял,— говорила она, робко выступая из-за двери.

Василий Андреич ничего не отвечал и на слова ее, которые были ему, очевидно, неприятны, сердито нахмурился и плюнул.

— С деньгами поедешь,— продолжала тем же жалобным голосом жена.— Да и погода не поднялась бы, право, ей-богу.

— Что ж я, иль дороги не знаю, что мне беспременно провожатого нужно? — проговорил Василий Андреич с тем неестественным напряжением губ, с которым он обыкновенно говорил с продавцами и покупателями, с особенной отчетливостью выговаривая каждый слог.

— Ну, право, взял бы. Богом тебя прошу! — повторила жена, перекутывая платок на другую сторону.

— Вот как банный лист пристала... Ну куда я его возьму?

— Что ж, Василий Андреич, я готов,— весело сказал Никита.— Только лошадям корма бы без меня дали,— прибавил он, обращаясь к хозяйке.

— Я посмотрю, Никитушка, Семену велю,— сказала хозяйка.

— Так что ж, ехать, что ли, Василий Андреич? — сказал Никита, ожидая.

— Да уж, видно, уважить старуху. Только коли ехать, поди одень дипломат какой потеплее, — выговорил Василий Андреич, опять улыбаясь и подмигивая глазом на прорванный под мышками и в спине и в подоле бахромой разорванный, засаленный и свалявшийся, всего видавший полушубок Никиты.

— Эй, душа милая, выдь подержи лошадь! — крикнул Никита во двор кухаркину мужу.

— Я сам, я сам! — запищал мальчик, вынимая зазябшие красные ручонки из карманов и хватаясь ими за холодные ременные вожжи.

— Только не больно охорашивай дипломат-то свой, поживей! — крикнул Василий Андреич, зубоскаля на Никиту.

— Одним пыхом, батюшка Василий Андреич,— проговорил Никита и, быстро мелькая носками внутрь своими старыми, подшитыми войлочными подметками валенками, побежал во двор и в рабочую избу.

— Ну-ка, Аринушка, халат давай мой с печи — с хозяином ехать! — проговорил Никита, вбегая в избу и снимая кушак с гвоздя.

Работница, выспавшаяся после обеда и теперь ставившая самовар для мужа, весело встретила Никиту и, зараженная его поспешностью, так же как он, быстро зашевелилась и достала с печи сушившийся там плохонький, проношенный суконный кафтан и начала поспешно отряхивать и разминать его.

— То-то тебе с хозяином просторно гулять будеть, — сказал Никита кухарке, всегда из добродушной учтивости что-нибудь да говоривший человеку, когда оставался с ним с глазу на глаз.

И, обведя вокруг себя узенький свалявшийся кушачок, он втянул в себя и так тощее брюхо и затянулся по полушубку что было силы.

— Вот так-то,— сказал он после этого, обращаясь уже не к кухарке, а к кушаку, засовывая его концы за пояс,— так не выскочишь,— и, приподняв и опустив плечи, чтобы была развязность в руках, он надел сверху халат, тоже напружил спину, чтобы рукам вольно было, подбил под мышками и достал с полки рукавицы.— Ну вот и ладно.

— Ты бы, Степаныч, ноги-то перебул,— сказала кухарка,— а то сапоги худые.

Никита остановился, как бы вспомнив.

— Надо бы... Ну да сойдеть и так, недалече!

И он побежал на двор.

— Не холодно тебе будет, Никитушка? — сказала хозяйка, когда он подошел к саням.

— Чего холодно, тепло вовсе,— отвечал Никита, оправляя солому в головашках саней, чтобы закрыть ею ноги, и засовывая ненужный для доброй лошади кнут под солому.

Василий Андреич уже сидел в санях, наполняя своей одетою в двух шубах спиною почти весь гнутый задок саней, и тотчас же, взяв вожжи, тронул лошадь. Никита на ходу примостился спереди с левой стороны и высунул одну ногу.

II

Добрый жеребец с легким скрипом полозьев сдвинул сани и бойкой ходою тронулся по накатанной в поселке морозной дороге.

— Ты куда прицепился? Дай сюда кнут, Микита! — крикнул Василий Андреич, очевидно, радуясь на наследника, который примостился было сзади на полозьях. — Я тебя! Беги к мамаше, сукин сын!

Мальчик соскочил. Мухортый прибавил иноходи и, заекав, перешел на рысь.

Кресты, в которых стоял дом Василия Андреича, состояли из шести домов. Как только они выехали за последнюю кузнецову избу, они тотчас же заметили, что ветер гораздо сильнее, чем они думали. Дороги уже почти не видно было. След полозьев тотчас же заметало, и дорогу можно было отличить только потому, что она была выше остального места. По всему полю кружило, и не видно было той черты, где сходится земля с небом. Телятинский лес, всегда хорошо видный, только изредка смутно чернел через снежную пыль. Ветер дул с левой стороны, заворачивая упорно в одну сторону гриву на крутой, наеденной шее Мухортого, и сворачивал набок его простым узлом подвязанный пушистый хвост. Длинный воротник Никиты, сидевшего со стороны ветра, прижимался к его лицу и носу.

— Бегу ей настоящего нет, снежно,— сказал Василий Андреич, гордясь своей хорошей лошадью.— Я раз в Пашутино ездил на нем же, так он в полчаса доставил.

— Чаго? — спросил, не расслышав из-за воротника, Никита.

— В Пашутино, говорю, в полчаса доехал,— прокричал Василий Андреич.

— Что и говорить, лошадь добрая! — сказал Никита.

Они помолчали. Но Василию Андреичу хотелось говорить.

— Что ж, хозяйке-то, я чай, наказывал бондаря не поить? — заговорил тем же громким голосом Василий Андреич, столь уверенный в том, что Никите должно быть лестно поговорить с таким значительным и умным человеком, как он, и столь довольный своей шуткой, что ему и в голову не приходило, что разговор этот может быть неприятен Никите.

Никита опять не расслышал относимый ветром звук слов хозяина.

Василий Андреич повторил своим громким, отчетливым голосом свою шутку о бондаре.

— Бог с ними, Василий Андреич, я не вникаю в эти дела. Мне чтобы малого она не обижала, а то бог с ней.

— Это так,— сказал Василий Андреич.— Ну, а что ж, лошадь-то будешь покупать к весне? — начал он новый предмет разговора.

— Да не миновать,— отвечал Никита, отворотив воротник кафтана и перегнувшись к хозяину.

Теперь уж разговор был интересен Никите, и он желал все слышать.

— Малый возрос, надо самому пахать, и то все наймали,— сказал он.

— Что же, берите бескостречного, дорого не положу! — прокричал Василий Андреич, чувствуя себя возбужденным и вследствие этого нападая на любимое, поглощавшее все его умственные силы, занятие — барышничество.

— А то рубликов пятнадцать дадите, я на конной куплю,— сказал Никита, знавший, что красная цена бескостречному, которого хочет ему сбыть Василий Андреич, рублей семь, а что Василий Андреич, отдав ему эту лошадь, будет считать ее рублей в двадцать пять, и тогда за полгода не увидишь от него денег.

— Лошадь хорошая. Я тебе желаю, как самому себе. По совести. Брехунов никакого человека не обидит. Пускай мое пропадает, а не то чтобы как другие. По чести,—прокричал он своим тем голосом, которым он за-

говаривал зубы своим продавцам и покупателям.— Лошадь настоящая!

— Как есть,— сказал Никита, вздохнув, и, убедившись, что слушать больше нечего, пустил рукой воротник, который тотчас же закрыл ему ухо и лицо.

С полчаса они ехали молча. Ветер продувал Никите бок и руку, где шуба была прорвана.

Он пожимался и дышал в воротник, закрывавший ему рот, и ему всему было не холодно.

— Что, как думаешь, на Карамышево поедем али прямо? — спросил Василий Андреич.

На Карамышево езда была по более бойкой дороге, уставленной хорошими вешками в два ряда, но — дальше. Прямо было ближе, но дорога была мало езжена и вешек не было или были плохонькие, занесенные.

Никита подумал немного.

— На Карамышево хоть и подальше, да ездовитее,— проговорил он.

— Да ведь прямо только лощинку проехать не сбиться, а там лесом хорошо,— сказал Василий Андреич, которому хотелось ехать прямо.

— Воля ваша,— сказал Никита и опять пустил воротник.

Василий Андреич так и сделал и, отъехав с полверсты, у высокой, мотавшейся от ветра дубовой ветки с сухими, кое-где державшимися на ней листьями, свернул влево.

Ветер с поворота стал им почти встречный. И сверху пошел снежок. Василий Андреич правил, надувал щеки и пускал дух себе снизу в усы. Никита дремал.

Они молча проехали так минут десять. Вдруг Василий Андреич заговорил что-то.

— Чаго? — спросил Никита, открывая глаза.

Василий Андреич не отвечал и изгибался, оглядываясь назад и вперед перед лошадью. Лошадь, закурчавившаяся от пота в пахах и на шее, шла шагом.

— Чаго ты, говорю? — повторил Никита.

— Чаго, чаго! — передразнил его Василий Андреич сердито.— Вешек не видать! Должно, сбились!

— Так стой же, я дорогу погляжу,— сказал Никита и, легко соскочив с саней и достав кнут из-под соломы, пошел влево и с той стороны, с которой сидел.

Снег в этом году был неглубокий, так что везде была дорога, но все-таки кое-где он был по колено и засыпался

Никите в сапог. Никита ходил, щупал ногами и кнутом, но дороги нигде не было.

— Ну что? — сказал Василий Андреич, когда Никита подошел опять к саням.

— С этой стороны нету дороги. Надо в ту сторону пойти походить.

— Вон что-то впереди чернеет, ты туда дойди погляди,— сказал Василий Андреич.

Никита пошел и туда, подошел к тому, что чернелось, — это чернелась земля, насыпавшаяся с оголенных озимей сверх снега и окрасившая снег черным. Походив и справа, Никита вернулся к саням, обил с себя снег, вытряхнул его из сапога и сел в сани.

— Вправо ехать надо,— сказал он решительно.— Ветер мне в левый бок был, а теперь прямо в морду. Пошел вправо! — решительно сказал он.

Василий Андреич послушал его и взял вправо. Но дороги все не было. Они проехали так несколько времени. Ветер не уменьшался, и пошел снежок.

— А мы, Василий Андреич, видно, вовсе сбились,— вдруг сказал как будто с удовольствием Никита.— Это что? — сказал он, указывая на черную картофельную ботву, торчавшую из-под снега.

Василий Андреич остановил уже вспотевшую и тяжело водившую крутыми боками лошадь.

— А что? — спросил он.

— А то, что мы на захаровском поле. Вон куда заехали!

— Вре? — откликнулся Василий Андреич.

— Не вру я, Василий Андреич, а правду говорю, — сказал Никита,— и по саням слышно — по картофелищу едем; а вон и кучи, — ботву свозили. Захаровское заводское поле.

— Вишь ты, куда сбились! — сказал Василий Андреич. — Как же быть-то?

— А надо прямо брать, вот и все, куда-нибудь да выедем,— сказал Никита.— Не в Захаровку, так на барский хутор выедем.

Василий Андреич послушался и пустил лошадь, как велел Никита. Они ехали так довольно долго. Иногда они выезжали на оголенные зеленя, и сани гремели по колчам мерзлой земли. Иногда выезжали на жнивье, то на озимое, то на яровое, по которым из-под снега виднелись мотавшиеся от ветра полыни и соломины; иногда

въезжали в глубокий и везде одинаково белый ровный снег, сверху которого уже ничего не было видно.

Снег шел сверху и иногда поднимался снизу. Лошадь, очевидно, уморилась, вся закурчавилась и заиндевела от пота и шла шагом. Вдруг она оборвалась и села в водомоину или в канаву. Василий Андреич хотел остановить, но Никита закричал на него:

— Чего держать! Заехали — выезжать надо. Но, миленький! но! но, родной! — закричал он веселым голосом на лошадь, выскакивая из саней и сам увязая в канаве.

Лошадь рванулась и тотчас же выбралась на мерзлую насыпь. Очевидно, это была копаная канава.

— Где ж это мы? — сказал Василий Андреич.

— А вот узнаем! — отвечал Никита.— Трогай знай, куда-нибудь выедем.

— А ведь это, должно, Горячкинский лес? — сказал Василий Андреич, указывая на что-то черное, показавшееся из-за снега впереди их.

— Вот подъедем, увидим, какой такой лес,— сказал Никита.

Никита видел, что со стороны черневшегося чего-то неслись сухие продолговатые листья лозины, и потому знал, что это не лес, а жилье, но не хотел говорить. И действительно, не проехали они еще и десяти саженей после канавы, как перед ними зачернелись, очевидно, деревья, и послышался какой-то новый унылый звук. Никита угадал верно: это был не лес, а ряд высоких лозин, с кое-где трепавшимися еще на них листьями. Лозины, очевидно, были обсажены по канаве гумна. Подъехав к уныло гудевшим на ветру лозинам, лошадь вдруг поднялась передними ногами выше саней, выбралась и задними на возвышенье, повернула влево и перестала утопать в снегу по колена. Это была дорога.

— Вот и приехали,— сказал Никита,— а незнамо куда.

Лошадь, не сбиваясь, пошла по занесенной дороге, и не проехали они по ней сорока саженей, как зачернелась прямая полоса плетня риги под толсто засыпанной снегом крышей, с которой не переставая сыпался снег. Миновав ригу, дорога повернула по ветру, и они въехали в сугроб. Но впереди виднелся проулок между двумя домами, так что, очевидно, сугроб надуло на дороге, и надо было переехать его. И действительно, переехав сугроб, они въехали в улицу. У крайнего двора на веревке отча-

янно трепалось от ветра развешанное замерзшее белье: рубахи, одна красная, одна белая, портки, онучи и юбка. Белая рубаха особенно отчаянно рвалась, махая своими рукавами.

— Вишь, баба ленивая, а либо умираеть, белье к празднику не собрала, — сказал Никита, глядя на мотавшиеся рубахи.

III

В начале улицы еще было ветрено, и дорога была заметена, но в середине деревни стало тихо, тепло и весело. У одного двора лаяла собака, у другого баба, закрывшись с головой поддевкой, прибежала откуда-то и зашла в дверь избы, остановившись на пороге, чтобы поглядеть на проезжающих. Из середины деревни слышались песни девок.

В деревне, казалось, и ветра, и снега, и мороза было меньше.

— А ведь это Гришкино,— сказал Василий Андреич.

— Оно и есть,— отвечал Никита.

И действительно, это было Гришкино. Выходило так, что они сбились влево и проехали верст восемь не совсем в том направлении, которое им нужно было, но все-таки подвинулись к месту своего назначения. До Горячкина от Гришкина было верст пять.

В середине деревни они наткнулись на высокого человека, шедшего посередине улицы.

— Кто едет? — крикнул этот человек, останавливая лошадь, и, тотчас же узнав Василия Андреича, схватился за оглоблю и, перебирая по ней руками, дошел до саней и сел на облучок.

Это был знакомый Василию Андреичу мужик Исай, известный в округе за первого конокрада.

— А! Василий Андреич! Куда же это вас бог несет? — сказал Исай, обдавая Никиту запахом выпитой водки.

— Да мы в Горячкино было.

— Вона куда заехали! Вам бы на Малахово надо.

— Мало что надо, да не потрафили,— сказал Василий Андреич, останавливая лошадь.

— Лошадка-то добрая,— сказал Исай, оглядывая лошадь и затягивая ей привычным движением под самую репицу ослабший узел завязанного густого хвоста.

— Что же, ночевать, что ли?
— Не, брат, обязательно ехать надо.
— Нужно, видно. А это чей? А! Никита Степаныч!
— А то кто же? — отвечал Никита.— А вот как бы, душа милая, нам тут не сбиться опять.
— Где же тут сбиться! Поворачивай назад, по улице прямо, а там, как выедешь, все прямо. Влево не бери. Выедешь на большак, а тогда — вправо.
— Поворот-то с большака где? По летнему или по зимнему? — спросил Никита.
— По зимнему. Сейчас, как выедешь, кустики, насупротив кустиков еще вешка большая дубовая, кудрявая стоит,— тут и есть.
Василий Андреич повернул лошадь назад и поехал слободой.
— А то ночевали бы! — прокричал им сзади Исай.
Но Василий Андреич не отвечал ему и потрогивал лошадь: пять верст ровной дороги, из которых две были лесом, казалось, легко проехать, тем более что ветер как будто затих и снег переставал.
Проехав опять улицей по накатанной и черневшей кое-где свежим навозом дороге и миновав двор с бельем, у которого белая рубаха уже сорвалась и висела на одном мерзлом рукаве, они опять выехали к страшно гудевшим лозинам и опять очутились в открытом поле. Метель не только не стихала, но, казалось, еще усилилась. Дорога вся была заметена, и можно было знать, что не сбился, только по вешкам. Но и вешки впереди трудно было рассматривать, потому что ветер был встречный.
Василий Андреич щурился, нагибал голову и разглядывал вешки, но больше пускал лошадь, надеясь на нее. И лошадь действительно не сбивалась и шла, поворачивая то вправо, то влево по извилинам дороги, которую она чуяла под ногами, так что, несмотря на то, что снег сверху усилился и усилился ветер, вешки продолжали быть видны то справа, то слева.
Так проехали они минут десять, как вдруг прямо перед лошадью показалось что-то черное, двигавшееся в косой сетке гонимого ветром снега. Это были попутчики. Мухортый совсем догнал их и стукал ногами об кресла впереди едущих саней.
— Объезжай... а-а-й... передом! — кричали из саней.
Василий Андреич стал объезжать. В санях сидели три мужика и баба. Очевидно, это ехали гости с праздника.

Один мужик хлестал засыпанный снегом зад лошаденки хворостиной. Двое, махая руками, кричали что-то в передке. Укутанная баба, вся засыпанная снегом, не шевелясь, сидела, нахохлившись, в задке саней.

— Чьи будете? — закричал Василий Андреич.

— А-а-а...ские! — только слышно было.

— Чьи, говорю?

— А-а-а-ские! — изо всех сил закричал один из мужиков, но все-таки нельзя было расслышать, какие.

— Вали! Не сдавай! — кричал другой, не переставая молотить хворостиной по лошаденке.

— От праздника, видно?

— Пошел, пошел! Вали, Семка! Объезжай! Вали!

Сани стукнулись друг о друга отводами, чуть не зацепились, расцепились, и мужицкие сани стали отставать.

Косматая, вся засыпанная снегом, брюхастая лошаденка, тяжело дыша под низкой дугой, очевидно, из последних сил тщетно стараясь убежать от ударявшей ее хворостины, ковыляла своими коротенькими ногами по глубокому снегу, подкидывая их под себя. Морда, очевидно, молодая, с подтянутой, как у рыбы, нижней губой, с расширенными ноздрями и прижатыми от страха ушами, подержалась несколько секунд подле плеча Никиты, потом стала отставать.

— Вино-то что делает,— сказал Никита.— На отделку замучили лошаденку. Азиаты как есть!

Несколько минут слышны были сопенье ноздрей замученной лошаденки и пьяные крики мужиков, потом затихло сопенье, потом замолкли и крики. И кругом опять ничего не стало слышно, кроме свистящего около ушей ветра и изредка слабого скрипа полозьев по сдутым местам дороги.

Встреча эта развеселила и ободрила Василия Андреича, и он смелее, не разбирая вешек, погнал лошадь, надеясь на нее.

Никите делать было нечего, и, как всегда, когда он находился в таком положении, он дремал, наверстывая много недоспанного времени. Вдруг лошадь остановилась, и Никита чуть не упал, клюнув вперед носом.

— А ведь мы опять неладно едем,— сказал Василий Андреич.

— А что?

— Да вешек не видать. Должно, опять сбились с дороги.

— А сбились с дороги, поискать надо,— коротко сказал Никита, встал и опять, легко шагая своими внутрь вывернутыми ступнями, пошел ходить по снегу.

Он долго ходил, скрываясь из вида, опять показываясь и опять скрываясь, и, наконец, вернулся.

— Нет тут дороги, может, впереди где,— сказал он, садясь на сани.

Начинало уже заметно смеркаться. Метель не усиливалась, но и не слабела.

— Хоть бы тех мужиков услыхать,— сказал Василий Андреич.

— Да, вишь, не догнали, должно, далеко сбились. А може, и они сбились,— сказал Никита.

— Куда же ехать-то? — сказал Василий Андреич.

— А пустить лошадь надо,— сказал Никита.— Он приведеть. Давай вожжи.

Василий Андреич отдал вожжи тем более охотно, что руки его в теплых перчатках начинали зябнуть.

Никита взял вожжи и только держал их, стараясь не шевелить ими, радуясь на ум своего любимца. Действительно, умная лошадь, повертывая то в одну, то в другую сторону то одно, то другое ухо, стала поворачивать.

— Только не говорить, — приговаривал Никита. — Вишь, что делаеть! Иди, иди знай! Так, так.

Ветер стал дуть взад, стало теплее.

— И умен же,— продолжал радоваться на лошадь Никита.— Киргизенок — тот силен, а глуп. А этот, гляди, что ушами делаеть. Никакого телеграфа не надо, за версту чуеть.

И не прошло еще получаса, как впереди действительно зачернело что-то: лес ли, деревня, и с правой стороны показались опять вешки. Очевидно, они опять выехали на дорогу.

— А ведь это опять Гришкино,— вдруг проговорил Никита.

Действительно, теперь слева у них была та самая рига, с которой несло снег, и дальше та же веревка с замерзшим бельем, рубахами и портками, которые все так же отчаянно трепались от ветра.

Опять они въехали в улицу, опять стало тихо, тепло, весело, опять стала видна навозная дорога, опять послышались голоса, песни, опять залаяла собака. Уже настолько смерклось, что в некоторых окнах засветились огни.

Посередине улицы Василий Андреич повернул лошадь к большому, в две кирпичные связи, дому и остановил ее у крыльца.

Никита подошел к занесенному освещенному окну, в свете которого блестели перепархивающие снежинки, и постучал кнутовищем.

— Кто там? — откликнулся голос на призыв Никиты.

— С Крестов, Брехуновы, милый человек,— отвечал Никита.— Выдь-ка на час!

От окна отошли, и через минуты две — слышно было — отлипла дверь в сенях, потом стукнула щеколда в наружной двери, и, придерживая дверь от ветра, высунулся высокий старый с белой бородой мужик в накинутом полушубке сверх белой праздничной рубахи и за ним малый в красной рубахе и кожаных сапогах.

— Ты, что ли, Андреич? — сказал старик.

— Да вот заплутали, брат,— сказал Василий Андреич,— хотели в Горячкино, да вот к вам попали. Отъехали, опять заплутали.

— Вишь, как сбились,— сказал старик.— Петрушка, поди отвори ворота! — обратился он к малому в красной рубахе.

— Это можно,— отвечал малый веселым голосом и побежал в сени.

— Да мы, брат, не ночевать,— сказал Василий Андреич.

— Куда ехать — ночное время, ночуй!

— И рад бы ночевать, да ехать надо. Дела, брат, нельзя.

— Ну, погрейся по крайности, прямо к самовару,— сказал старик.

— Погреться — это можно,— сказал Василий Андреич,— темнее не будет, а месяц взойдет — посветлеет. Зайдем, что ль, погреемся, Микит?

— Ну, что ж, и погреться можно,— сказал Никита, сильно перезябший и очень желавший отогреть в тепле свои зазябшие члены.

Василий Андреич пошел со стариком в избу, а Никита въехал в отворенные Петрушкой ворота и, по указанию его, вдвинул лошадь под навес сарая. Сарай был поднавоженный, и высокая дуга зацепила за перемет. Уж усевшиеся на перемете куры с петухом что-то недовольно заквахтали и поцапались лапками по перемету. Встревоженные овцы, топая копытами по мерзлому навозу,

шарахнулись в сторону. Собака, отчаянно взвизгивая, с испугом и злостью по-щенячьи заливалась-лаяла на чужого.

Никита поговорил со всеми: извинился перед курами, успокоил их, что больше не потревожит, упрекнул овец за то, что они пугаются, сами не зная чего, и не переставая усовещивал собачонку, в то время как привязывал лошадь.

— Вот так-то и ладно будеть,— сказал он, охлопывая с себя снег.— Вишь, заливается! — прибавил он на собаку.— Да будеть тебе! Ну, буде, глупая, буде. Только себя беспокоишь,— говорил он.— Не воры, свои...

— А это, как сказано, три домашние советника,— сказал малый, закидывая сильной рукой под навес оставшиеся снаружи санки.

— Это как же советники? — сказал Никита.

— А так в Пульсоне напечатывано: вор подкрадывается к дому, собака лает,— не зевай, значит, смотри. Петух поет — значит, вставай. Кошка умывается — значит, дорогой гость, приготовься угостить его,— проговорил малый, улыбаясь.

Петруха был грамотный и знал почти наизусть имевшуюся у него единственную книгу Паульсона и любил, особенно когда он был немного выпивши, как нынче, приводить из нее казавшиеся ему подходящими к случаю изречения.

— Это точно,— сказал Никита.

— Прозяб, я чай, дядюшка? — прибавил Петруха.

— Да, есть-таки,— сказал Никита, и они пошли через двор и сени в избу.

IV

Двор, в который заехал Василий Андреич, был один из самых богатых в деревне. Семья держала пять наделов и принанимала еще землю на стороне. Лошадей во дворе было шесть, три коровы, два подтелка, штук двадцать овец. Всех семейных во дворе было двадцать две души: четыре сына женатых, шестеро внуков, из которых один Петруха был женатый, два правнука, трое сирот и четыре снохи с ребятами. Это был один из редких домов, оставшихся еще неделенными; но и в нем уже шла глухая внутренняя, как всегда начавшаяся между баб, работа раздора, которая неминуемо должна была скоро привести к разделу. Два сына жили в Москве в водовозах, один

был в солдатах. Дома теперь были старик, старуха, второй сын — хозяин и старший сын, приехавший из Москвы на праздник, и все бабы и дети; кроме домашних, был еще гость-сосед и кум.

Над столом в избе висела с верхним щитком лампа, ярко освещавшая под собой чайную посуду, бутылку с водкой, закуску и кирпичные стены, в красном углу увешанные иконами и по обе стороны их картинами. На первом месте сидел за столом в одном черном полушубке Василий Андреич, обсасывая свои замерзшие усы и оглядывая кругом народ и избу своими выпуклыми и ястребиными глазами. Кроме Василия Андреича, за столом сидел лысый белобородый старик-хозяин в белой домотканой рубахе; рядом с ним, в тонкой ситцевой рубахе, с здоровенной спиной и плечами,— сын, приехавший из Москвы на праздник, и еще другой сын, широкоплечий — старший брат, хозяйничавший в доме, и худощавый рыжий мужик — сосед.

Мужики, выпив и закусив, только что собирались пить чай, и самовар уже гудел, стоя на полу у печки. На полатях и на печке виднелись ребята. На нарах сидела баба над люлькою. Старушка-хозяйка, с покрытым во всех направлениях мелкими морщинками, морщившими даже ее губы, лицом, ухаживала за Василием Андреичем.

В то время как Никита входил в избу, она, налив в толстого стекла стаканчик водки, подносила его гостю.

— Не обессудь, Василий Андреич, нельзя, поздравить надо,— говорила она.— Выкушай, касатик.

Вид и запах водки, особенно теперь, когда он перезяб и уморился, сильно смутили Никиту. Он нахмурился и, отряхнув шапку и кафтан от снега, стал против образов и как бы не видя никого, три раза перекрестился и поклонился образам, потом, обернувшись к хозяину-старику, поклонился сперва ему, потом всем бывшим за столом, потом бабам, стоявшим около печки, и, проговоря: «С праздником»,— стал раздеваться, не глядя на стол.

— Ну и заиндевел же ты, дядя,— сказал старший брат, глядя на запушенное снегом лицо, глаза и бороду Никиты.

Никита снял кафтан, еще отряхнул его, повесил к печи и подошел к столу. Ему тоже предложили водки. Была минута мучительной борьбы: он чуть не взял стаканчик и не опрокинул в рот душистую светлую влагу; но он взглянул на Василия Андреича, вспомнил зарок,

вспомнил пропитые сапоги, вспомнил бондаря, вспомнил малого, которому он обещал к весне купить лошадь, вздохнул и отказался.

— Не пью, благодарим покорно,— сказал он, нахмурившись, и присел ко второму окну на лавку.

— Что же так? — сказал старший брат.

— Не пью, да и не пью,— сказал Никита, не поднимая глаз, косясь на свои жиденькие усы и бороду и оттаивая с них сосульки.

— Ему не годится,— сказал Василий Андреич, закусывая баранкой выпитый стаканчик.

— Ну, так чайку, — сказала ласковая старушка. — Я чай, иззяб, сердечный. Что вы, бабы, с самоваром копаетесь?

— Готов,— отвечала молодайка и, обмахнув занавеской уходивший прикрытый самовар, с трудом донесла его, подняла и стукнула на стол.

Между тем Василий Андреич рассказывал, как они сбились, как два раза возвращались в ту же деревню, как плутали, как встретили пьяных. Хозяева дивились, объясняли, где и почему они сбились и кто были пьяные, которых они встретили, и учили, как надо ехать.

— Тут до Молчановки малый ребенок доедет, только потрафить на повороте с большака,— куст тут видать. А вы не доехали! — говорил сосед.

— А то ночевали бы. Бабы постелют,— уговаривала старушка.

— Утречком поехали бы, разлюбезное дело,— подтверждал старик.

— Нельзя, брат, дела! — сказал Василий Андреич.— Час упустишь, годом не наверстаешь,— добавил он, вспоминая о роще и о купцах, которые могли перебить у него эту покупку.— Доедем ведь? — обратился он к Никите.

Никита долго не отвечал, все как будто озабоченный оттаиванием бороды и усов.

— Не сбиться бы опять,— сказал он мрачно.

Никита был мрачен потому, что ему страстно хотелось водки, и одно, что могло затушить это желание, был чай, а чая еще ему не предлагали.

— Да ведь только до поворота бы доехать, а там уж не собьемся; лесом до самого места, — сказал Василий Андреич.

— Дело ваше, Василий Андреич; ехать так ехать, — сказал Никита, принимая подаваемый ему стакан чаю.

— Напьемся чайку, да и марш.

Никита ничего не сказал, но только покачал головой и, осторожно вылив чай на блюдечко, стал греть о пар свои, с всегда напухшими от работы пальцами, руки. Потом, откусив крошечный кусочек сахару, он поклонился хозяевам и проговорил:

— Будьте здоровы,— и потянул в себя согревающую жидкость.

— Кабы проводил кто до поворота,— сказал Василий Андреич.

— Что же, это можно,— сказал старший сын.— Петруха запряжет, да и проводит до поворота.

— Так запрягай, брат. А уж я поблагодарю.

— И, чего ты, касатик! — сказала ласковая старушка.— Мы рады душой.

— Петруха, иди запряги кобылу,— сказал старший брат.

— Это можно,— сказал Петруха, улыбаясь, и тотчас же, сорвав с гвоздя шапку, побежал запрягать.

Пока закладывали лошадь, разговор перешел на то, на чем он остановился в то время, как Василий Андреич подъехал к окну. Старик жаловался соседу-старосте на третьего сына, не приславшего ему ничего к празднику, а жене приславшего французский платок.

— Отбивается народ молодой от рук,— говорил старик.

— Как отбивается-то, — сказал кум-сосед, — сладу нет! Больно умны стали. Вон Демочкин — так отцу руку сломал. Все от большого ума, видно.

Никита вслушивался, всматривался в лица и, очевидно, желал тоже принять участие в разговоре, но был весь поглощен чаем и только одобрительно кивал головой. Он выпивал стакан за стаканом, и ему становилось все теплее и теплее, и приятнее и приятнее. Разговор продолжался долго все об одном и том же, о вреде разделов; и разговор, очевидно, был не отвлеченный, а дело шло о разделе в этом доме, — разделе, которого требовал второй сын, тут же сидевший и угрюмо молчавший. Очевидно, это было больное место, и вопрос этот занимал всех домашних, но они из приличия при чужих не разбирали своего частного дела. Но, наконец, старик не выдержал и со слезами в голосе заговорил о том, что делиться он не даст, пока жив, что дом у него слава богу, а разделить — все по миру пойдут.

— Вот как Матвеевы,— сказал сосед.— Был дом настоящий, а разделили — ни у кого ничего нет.

— Так-то и ты хочешь,— обратился старик к сыну.

Сын ничего не отвечал, и наступило неловкое молчание. Молчание это перервал Петруха, уже заложивший лошадь и вернувшийся за несколько минут перед этим в избу и все время улыбавшийся.

— Так-то у Пульсона есть басня,— сказал он,— дал родитель сыновьям веник сломать. Сразу не сломали, а по прутику — лёгко. Так и это,— сказал он, улыбаясь во весь рот.— Готово! — прибавил он.

— А готово, так поедем,— сказал Василий Андреич.— А насчет дележу ты, дедушка, не сдавайся. Ты наживал, ты и хозяин. Мировому подай. Он порядок укажет.

— Так фордыбачить, так фордыбачить,— плаксивым голосом говорил все свое старик,— что нет с ним ладов. Как осатанел ровно!

Никита между тем, допив пятый стакан чаю, все-таки не перевернул его, а положил боком, надеясь, что ему нальют еще шестой. Но воды в самоваре уже не было, и хозяйка не налила ему еще, да и Василий Андреич стал одеваться. Нечего было делать. Никита тоже встал, положил назад в сахарницу свой обкусанный со всех сторон кусочек сахару, обтер полою мокрое от пота лицо и пошел надевать халат.

Одевшись, он тяжело вздохнул и, поблагодарив хозяев и простившись с ними, вышел из теплой, светлой горницы в темные, холодные, гудевшие от рвавшегося в них ветра и занесенные снегом через щели дрожавших дверей сени и оттуда — на темный двор.

Петруха в шубе стоял с своею лошадью посередине двора и говорил, улыбаясь, стихи из Паульсона. Он говорил: «Буря с мглою небо скроить, вихри снежные крутять, аж как зверь она завоить, аж заплачеть, как дитё».

Никита одобрительно покачивал головой и разбирал вожжи.

Старик, провожая Василия Андреича, вынес фонарь в сени и хотел посветить ему, но фонарь тотчас же задуло. И на дворе даже заметно было, что метель разыгралась еще сильнее.

«Ну, уж погодка,— подумал Василий Андреич,— пожалуй, и не доедешь, да нельзя, дела! Да и собрался уж, и лошадь хозяйская запряжена. Доедем, бог даст!»

Хозяин-старик тоже думал, что не следовало ехать, но он уже уговаривал остаться, его не послушали. Больше просить нечего. «Может, я от старости так робею, а они доедут,— думал он.— Да и по крайности спать ляжем вовремя. Без хлопот».

Петруха же и не думал об опасности: он так знал дорогу и всю местность, а кроме того, стишок о том, как «вихри снежные крутять», бодрил его тем, что совершенно выражал то, что происходило на дворе. Никите же вовсе не хотелось ехать, но он уже давно привык не иметь своей воли и служить другим, так что никто не удержал отъезжающих.

V

Василий Андреич подошел к саням, с трудом разбирая в темноте, где они, влез в них и взял вожжи.

— Пошел передом!— крикнул он.

Петруха, стоя на коленках в розвальнях, пустил свою лошадь. Мухортый, уже давно ржавший, чуя впереди себя кобылу, рванулся за нею, и они выехали на улицу. Опять поехали слободой и той же дорогой, мимо того же двора с развешанным замерзшим бельем, которого теперь уже не видно было; мимо того же сарая, который уже был занесен почти до крыши и с которого сыпался бесконечный снег; мимо тех же мрачно шумящих, свистящих и гнущихся лозин и опять въехали в то снежное, сверху и снизу бушевавшее море. Ветер был так силен, что когда он был вбок и седоки парусили против него, то он накренивал набок санки и сбивал лошадь в сторону. Петруха ехал развалистой рысцой своей доброй кобылы впереди и бодро покрикивал. Мухортый рвался за нею.

Проехав так минут десять, Петруха обернулся и что-то прокричал. Ни Василий Андреич, ни Никита не слышали от ветра, но догадались, что они приехали к повороту. Действительно, Петруха поворотил направо, и ветер, бывший вбок, опять стал навстречу, и справа, сквозь снег, завиднелось что-то черное. Это был кустик на повороте.

— Ну, с богом!

— Спасибо, Петруха!

— Буря небо мглою скроить,— прокричал Петруха и скрылся.

— Вишь, стихотворец какой,— проговорил Василий Андреич и тронул вожжами.

— Да, молодец хороший, мужик настоящий,— сказал Никита.

Поехали дальше.

Никита, укутавшись и вжав голову в плечи, так что небольшая борода его облегала ему шею, сидел молча, стараясь не потерять набранное в избе за чаем тепло. Перед собою он видел прямые линии оглобель, беспрестанно обманывавшие его и казавшиеся ему накатанной дорогой, колеблющийся зад лошади с заворачиваемым в одну сторону подвязанным узлом хвостом и дальше, впереди, высокую дугу и качавшуюся голову и шею лошади с развевающейся гривой. Изредка ему попадались в глаза вешки, так что он знал, что ехали пока по дороге, и ему делать было нечего.

Василий Андреич правил, предоставляя лошади самой держаться дороги. Но Мухортый, несмотря на то, что вздохнул в деревне, бежал неохотно и как будто сворачивал с дороги, так что Василий Андреич несколько раз поправлял его.

«Вот справа одна вешка, вот другая, вот и третья,— считал Василий Андреич,— а вот впереди и лес»,— подумал он, вглядываясь во что-то чернеющее впереди его. Но то, что показалось ему лесом, был только куст. Куст проехали, проехали еще сажен двадцать,— четвертой вешки не было, и леса не было. «Должен сейчас быть лес»,— думал Василий Андреич и, возбужденный вином и чаем, не останавливаясь, потрогивал вожжами, и покорное, доброе животное слушалось и то иноходью, то небольшою рысцой бежало туда, куда его посылали, хотя и знало, что его посылают совсем не туда, куда надо. Прошло минут десять, леса все не было.

— А ведь мы опять сбились! — сказал Василий Андреич, останавливая лошадь.

Никита молча вылез из саней и, придерживая свой халат, то липнувший к нему по ветру, то отворачивающийся и слезающий с него, пошел лазить по снегу; пошел в одну сторону, пошел в другую. Раза три он скрывался совсем из вида. Наконец он вернулся и взял вожжи из рук Василия Андреича.

— Вправо ехать надо,— сказал он строго и решительно, поворачивая лошадь.

— Ну, вправо, так вправо пошел, — сказал Василий

Андреич, отдавая вожжи и засовывая озябшие руки в рукава.

Никита не отвечал.

— Ну, дружок, потрудись,— крикнул он на лошадь; но лошадь, несмотря на потряхивание вожжей, шла только шагом.

Снег был кое-где по колено, и сани подергивались рывом с каждым движением лошади.

Никита достал кнут, висевший на передке, и стегнул. Добрая, непривычная к кнуту лошадь рванулась, пошла рысью, но тотчас же опять перешла на иноходь и шаг. Так проехали минут пять. Было так темно и так курило сверху и снизу, что дуги иногда не было видно. Сани, казалось иногда, стояли на месте, и поле бежало назад. Вдруг лошадь круто остановилась, очевидно, чуя что-то неладное перед собой. Никита опять легко выскочил, бросая вожжи, и пошел вперед лошади, чтобы посмотреть, чего она остановилась; но только что он хотел ступить шаг перед лошадью, как ноги его поскользнулись и он покатился под какую-то кручь.

— Тпру, тпру, тпру,— говорил он себе, падая и стараясь остановиться, но не мог удержаться и остановился, только врезавшись ногами в нанесенный внизу оврага толстый слой снега.

Нависший с края кручи сугроб, растревоженный падением Никиты, насыпался на него и засыпал ему снегу за шиворот...

— Эко ты как! — укоризненно проговорил Никита, обращаясь к сугробу и оврагу и вытряхивая снег из-за воротника.

— Никита, а Никит! — кричал Василий Андреич сверху.

Но Никита не откликался.

Ему некогда было: он отряхался, потом отыскивал кнут, который выронил, когда скатился под кручу. Найдя кнут, он полез было прямо назад, где скатился, но влезть не было возможности; он скатывался назад, так что должен был низом пойти искать выхода кверху. Сажени на три от того места, где он скатился, он с трудом вылез на четвереньках на гору и пошел по краю оврага к тому месту, где должна была быть лошадь. Лошади и саней он не видал; но так как он шел на ветер, он, прежде чем увидал их, услыхал крики Василия Андреича и ржанье Мухортого, звавших его.

— Иду, иду, чего гогочешь! — проговорил он.

Только совсем уже дойдя до саней, он увидал лошадь и стоявшего возле них Василия Андреича, казавшегося огромным.

— Куда, к дьяволу, запропастился? Назад ехать надо. Хоть в Гришкино вернемся,— сердито стал выговаривать Никите хозяин.

— И рад бы вернулся, Василий Андреич, да куда ехать-то? Тут овражище такой, что попади туда — и не выберешься. Я туда засветил так, что насилу выдрался.

— Что же, не стоять же тут? Куда-нибудь надо же ехать,— сказал Василий Андреич.

Никита ничего не отвечал. Он сел на сани задом к ветру, разулся и вытряхнул снег, набившийся ему в сапоги, и, достав соломки, старательно заткнул ею изнутри дыру в левом сапоге.

Василий Андреич молчал, как бы предоставив теперь уже все Никите. Переобувшись, Никита убрал ноги в сани, надел опять рукавицы, взял вожжи и повернул лошадь вдоль оврага. Но не проехали они и ста шагов, как лошадь опять уперлась. Перед ней опять был овраг.

Никита опять вылез и опять пошел лазить по снегу. Довольно долго он ходил. Наконец появился с противоположной стороны, с которой он пошел.

— Андреич, жив? — крикнул он.

— Здесь! — откликнулся Василий Андреич. — Ну, что?

— Да не разберешь никак. Темно. Овраги какие-то. Надо опять на ветер ехать.

Опять поехали, опять ходил Никита, лазая по снегу. Опять садился, опять лазил и, наконец, запыхавшись, остановился у саней.

— Ну, что? — спросил Василий Андреич.

— Да что, вымотался я весь! Да и лошадь становится.

— Так что же делать?

— Да вот, постой.

Никита опять ушел и скоро вернулся.

— Держи за мной,— сказал он, заходя перед лошадью.

Василий Андреич уже не приказывал ничего, а покорно делал то, что говорил ему Никита.

— Сюда, за мной! — закричал Никита, отходя быстро вправо и хватая за вожжу Мухортого и направляя его куда-то книзу в сугроб.

Лошадь сначала уперлась, но потом рванулась, надеясь проскочить сугроб, но не осилила и села в него по хомут.

— Вылезай! — закричал Никита на Василия Андреича, продолжавшего сидеть в санях, и, подхватив под одну оглоблю, стал надвигать сани на лошадь.— Трудненько, брат,— обратился он к Мухортому,— да что же делать, понатужься! Но, но, немного! — крикнул он.

Лошадь рванулась раз, другой, но все-таки не выбралась и опять села, как будто что-то обдумывала.

— Что же, брат, так неладно,— усовещивал Никита Мухортого.— Ну, еще!

Опять Никита потащил за оглоблю с своей стороны; Василий Андреич делал то же с другой. Лошадь пошевелила головой, потом вдруг рванулась.

— Ну! но! не потонешь небось! — кричал Никита.

Прыжок, другой, третий, и, наконец, лошадь выбралась из сугроба и остановилась, тяжело дыша и отряхиваясь. Никита хотел вести дальше, но Василий Андреич так запыхался в своих двух шубах, что не мог идти и повалился в сани.

— Дай вздохнуть,— сказал он, распуская платок, которым он повязал в деревне воротник шубы.

— Тут ничего, ты лежи,— сказал Никита,— я проведу,— и с Василием Андреичем в санях провел лошадь под уздцы вниз шагов десять и потом немного вверх и остановился.

Место, на котором остановился Никита, было не в лощине, где бы снег, сметаемый с бугров и оставаясь, мог совсем засыпать их, но оно все-таки отчасти было защищено краем оврага от ветра. Были минуты, когда ветер как будто немного стихал, но это продолжалось недолго, и как будто для того, чтобы наверстать этот отдых, буря налетала после этого с удесятеренной силой, еще злее рвала и крутила. Такой порыв ветра ударил в ту минуту, как Василий Андреич, отдышавшись, вылез из саней и подошел к Никите, чтобы поговорить о том, что делать. Оба невольно пригнулись и подождали говорить, пока пройдет ярость порыва. Мухортый тоже недовольно прижимал уши и тряс головой. Как только немного прошел порыв ветра, Никита, сняв рукавицы и заткнув их за кушак, подышав в руки, стал отвязывать с дуги поводок.

— Ты что ж это делаешь? — спросил Василий Андреич.

— Отпрягаю, что ж еще делать? Мочи моей нет,— как бы извиняясь, отвечал Никита.

— А разве не выедем куда?

— Не выедем, только лошадь замучаем. Ведь он, сердечный, не в себе стал,— сказал Никита, указывая на покорно стоящую, на все готовую и тяжело носившую крутыми и мокрыми боками лошадь.— Ночевать надо,— повторил он, точно как будто собирался ночевать на постоялом дворе, и стал развязывать супонь.

Клещи расскочились.

— А не замерзнем мы? — сказал Василий Андреич.

— Что ж? И замерзнешь — не откажешься,— сказал Никита.

VI

Василию Андреичу в своих двух шубах было совсем тепло, особенно после того, как он повозился в сугробе; но мороз пробежал у него по спине, когда он понял, что действительно надо ночевать здесь. Чтобы успокоиться, он сел в сани и стал доставать папиросы и спички.

Никита между тем распрягал лошадь. Он развязал подбрюшник, чресседельник, разворжжал, снял гуж, вывернул дугу и, не переставая разговаривать с лошадью, ободрял ее.

— Ну, выходи, выходи,— говорил он, выводя ее из оглобель.— Да вот привяжем тебя тут. Соломки подложу да размуздаю,— говорил он, делая то, что говорил.— Закусишь, тебе все веселее будет.

Но Мухортый, очевидно, не успокаивался речами Никиты и был тревожен; он переступал с ноги на ногу, жался к саням, становясь задом к ветру, и терся головой о рукав Никиты.

Как будто только для того, чтобы не отказать Никите в его угощении соломой, которую Никита подсунул ему под храп, Мухортый раз порывисто схватил пук соломы из саней, но тотчас же решил, что теперь дело не до соломы, бросил ее, и ветер мгновенно растрепал солому, унес ее и засыпал снегом.

— Теперь примету сделаем,— сказал Никита, повернув сани лицом к ветру, и, связав оглобли чресседельником, он поднял их вверх и притянул к передку.— Вот как занесеть нас, добрые люди по оглоблям увидять, откопа-

ють,— сказал Никита, похлопывая рукавицами и надевая их.— Так-то старики учили.

Василий Андреич между тем, распустив шубу и закрываясь полами ее, тер одну серную спичку за другой о стальную коробку, но руки у него дрожали, и загоравшиеся спички одна за другою, то еще не разгоревшись, то в самую ту минуту, как он подносил ее к папиросе, задувались ветром. Наконец одна спичка вся загорелась и осветила на мгновение мех его шубы, его руку с золотым перстнем на загнутом внутрь указательном пальце и засыпанную снегом, выбившуюся из-под веретья овсяную солому, и папироса загорелась. Раза два он жадно потянул, проглотил, выпустил сквозь усы дым, хотел еще затянуться, но табак с огнем сорвало и унесло туда же, куда и солому.

Но и эти несколько глотков табачного дыма развеселили Василия Андреича.

— Ночевать так ночевать! — сказал он решительно.

— Погоди же ты, я еще флаг сделаю,— сказал он, поднимая платок, который он, сняв с воротника, бросил было в сани, и, сняв перчатки, стал в передке саней и, вытягиваясь, чтоб достать до чресседельника, тугим узлом привязал к нему платок подле оглобли.

Платок тотчас же отчаянно затрепался, то прилипая к оглобле, то вдруг отдуваясь, натягиваясь и щелкая.

— Вишь, как ловко,— сказал Василий Андреич, любуясь на свою работу, опускаясь в сани.— Теплее бы вместе, да вдвоем не усядемся,— сказал он.

— Я место найду,— отвечал Никита,— только лошадь укрыть надо, а то взопрел, сердечный. Пусти-ка,— прибавил он и, подойдя к саням, потянул из-под Василия Андреича веретье.

И, достав веретье, он сложил его вдвое и, скинув прежде шлею и сняв седелку, покрыл им Мухортого.

— Все теплее тебе будеть, дурачок,— говорил он, надевая опять на лошадь сверх веретья седелку и шлею.— А не нужна вам дерюжка будет? Да соломки мне дайте, сказал Никита, окончив это дело и опять подойдя к саням.

И, забрав и то и другое из-под Василия Андреича, Никита зашел за спинку саней, выкопал себе там, в снегу, ямку, положил в нее соломы и, нахлобучив шапку и закутавшись кафтаном и сверху покрывшись дерюжкой,

сел на постланную солому, прислонясь к лубочному задку саней, защищавшему его от ветра и снега.

Василий Андреич неодобрительно покачал головой на то, что делал Никита, как он вообще не одобрял необразованность и глупость мужицкую, и стал устраиваться на ночь.

Он разровнял оставшуюся солому по санкам, подложил погуще себе под бок и, засунув руки в рукава, приладился головой в угол саней, к передку, защищавшему его от ветра.

Спать ему не хотелось. Он лежал и думал: думал все о том же одном, что составляло единственную цель, смысл, радость и гордость его жизни,— о том, сколько он нажил и может еще нажить денег; сколько другие, ему известные люди, нажили и имеют денег, и как эти другие наживали и наживают деньги, и как он, так же как и они, может нажить еще очень много денег. Покупка Горячкинского леса составляла для него дело огромной важности. Он надеялся на этом лесе поживиться сразу, может быть, десятком тысяч. И он стал в мыслях расценивать виденную им осенью рощу, в которой он на двух десятинах пересчитал все деревья.

«Дуб на полозья пойдет. Срубы сами собой. Да дров сажен тридцать все станет на десятине,— говорил он себе. — С десятины на худой конец по двести с четвертной останется. Пятьдесят шесть десятин, пятьдесят шесть сотен, да пятьдесят шесть сотен, да пятьдесят шесть десятков, да еще пятьдесят шесть десятков, да пятьдесят шесть пятков». Он видел, что выходило за двенадцать тысяч, но без счетов не мог смекнуть ровно сколько. «Десяти тысяч все-таки не дам, а тысяч восемь, да чтоб за вычетом полян. Землемера помажу — сотню, а то полторы; он мне десятин пять полян намеряет. И за восемь отдаст. Сейчас три тысячи в зубы. Небось размякнет,— думал он, ощупывая предплечьем руки бумажник в кармане.— И как сбились с поворота, бог ее знает! Должен бы тут быть лес и сторожка. Собак бы слышно. Так не лают, проклятые, когда их нужно». Он отстранил воротник от уха и стал прислушиваться; слышен был все тот же свист ветра, в оглоблях трепанье и щелканье платка и стеганье по лубку саней падающего снега. Он закрылся опять.

«Кабы знать, ночевать бы остаться. Ну, да все одно, доедем и завтра. Только день лишний. В такую погоду и те не поедут». И он вспомнил, что к девятому надо

получить за валухов с мясника деньги. «Хотел сам приехать; не застанет меня — жена не сумеет деньги взять. Очень уж необразованна. Обхождения настоящего не знает»,— продолжал он думать, вспоминая, как она не умела обойтись со становым, бывшим вчера на празднике у него в гостях. «Известно — женщина! Где она что видала? При родителях какой наш дом был? Так себе, деревенский мужик богатый: рушка да постоялый двор — и все имущество в том. А я что в пятнадцать лет сделал? Лавка, два кабака, мельница, ссыпка, два именья в аренде, дом с амбаром под железной крышей,— вспоминал он с гордостью.— Не то, что при родителе! Нынче кто в округе гремит? Брехунов.

А почему так? Потому — дело помню, стараюсь, не так, как другие — лежни али глупостями занимаются. А я ночи не сплю. Метель не метель — еду. Ну и дело делается. Они думают, так, шутя денежки наживают. Нет, ты потрудись да голову поломай. Вот так-то заночуй в поле да ночи не спи. Как подушка от думы в головах ворочается,— размышлял он с гордостью.— Думают, что в люди выходят по счастью. Вон, Мироновы в миллионах теперь. А почему? Трудись. Бог и даст. Только бы дал бог здоровья».

И мысль о том, что и он может быть таким же миллионщиком, как Миронов, который взялся с ничего, так взволновала Василия Андреича, что он почувствовал потребность поговорить с кем-нибудь. Но говорить не с кем было... Кабы доехать до Горячкина, он бы поговорил с помещиком, вставил бы ему очки.

«Ишь ты, дует как! Занесет так, что и не выберемся утром!» — подумал он, прислушиваясь к порыву ветра, который дул в передок, нагибая его, и сек его лубок снегом. Он приподнялся и оглянулся: в белой колеблющейся темноте видна была только чернеющая голова Мухортого и его спина, покрытая развевающимся веретьем, и густой завязанный хвост; кругом же со всех сторон, спереди, сзади, была везде одна и та же однообразная белая колеблющаяся тьма, иногда как будто чуть-чуть просветляющаяся, иногда еще больше сгущающаяся.

«И напрасно послушался я Никиту,— думал он.— Ехать бы надо, все бы выехали куда-нибудь. Хоть назад бы доехали в Гришкино, ночевали бы у Тараса. А то вот сиди ночь целую. Да что, бишь, хорошего было? Да, что за труды бог дает, а не лодырям, лежебокам али дуракам.

Да и покурить надо!» Он сел, достал папиросочницу, лег брюхом вниз, закрывая полой от ветра огонь, но ветер находил ход и тушил спички одну за другой. Наконец он ухитрился зажечь одну и закурил. То, что он добился своего, очень обрадовало его. Хотя папироску выкурил больше ветер, чем он, он все-таки затянулся раза три, и ему опять стало веселей. Он опять привалился к задку, укутался и опять начал вспоминать, мечтать и совершенно неожиданно вдруг потерял сознание и задремал.

Но вдруг точно что-то толкнуло и разбудило его. Мухортый ли это дернул из-под него солому, или это внутри его что-то всколыхнуло его — только он проснулся, и сердце у него стало стучать так быстро и так сильно, что ему показалось, что сани трясутся под ним. Он открыл глаза. Вокруг него было все то же, но только казалось светлее. «Светает,— подумал он,— должно, и до утра недолго». Но тотчас же он вспомнил, что светлее стало только оттого, что месяц взошел. Он приподнялся, оглядел сначала лошадь. Мухортый стоял все задом к ветру и весь трясся. Засыпанное снегом веретье заворотилось одной стороной, шлея съехала набок, и засыпанная снегом голова с развевающимися челкой и гривой были теперь виднее. Василий Андреич перегнулся к задку и заглянул за него. Никита сидел все в том же положении, в каком он сел. Дерюжка, которою он прикрывался, и ноги его были густо засыпаны снегом. «Не замерз бы мужик; плоха одежонка на нем. Еще ответишь за него. То-то народ бестолковый. Истинно необразованность»,— подумал Василий Андреич и хотел было снять с лошади веретье и накрыть Никиту, но холодно было вставать и ворочаться, и лошадь, боялся, как бы не застыла. «И на что я его взял? Все ее глупость одна!» — подумал Василий Андреич, вспоминая немилую жену, и опять перевалился на свое прежнее место к передку саней. «Так-то дядюшка раз всю ночь в снегу просидел,— вспомнил он,— и ничего. Ну, а Севастьяна-то откопали,— тут же представился ему другой случай,— так тот помер, закоченел весь, как туша мороженая.

Остался бы в Гришкином ночевать, ничего бы не было». И, старательно запахнувшись, так чтобы тепло меха нигде не пропадало даром, а везде — и в шее, и в коленях, и в ступнях — грело его, он закрыл глаза, стараясь опять заснуть. Но сколько он ни старался теперь, он не мог уже забыться, а, напротив, чувствовал себя совершен-

но бодрым и оживленным. Опять он начал считать барыши, долги за людьми, опять стал хвастаться сам перед собой и радоваться на себя и на свое положение,— но все теперь постоянно прерывалось подкрадывающимся страхом и досадной мыслью о том, зачем он не остался ночевать в Гришкином. «То ли дело: лежал бы на лавке, тепло». Он несколько раз переворачивался, укладывался, стараясь найти более ловкое и защищенное от ветра положение, но все ему казалось неловко; он опять приподнимался, переменял положение, укутывал ноги, закрывал глаза и затихал. Но или скрюченные ноги в крепких валеных сапогах начинали ныть, или продувало где-нибудь, и он, полежав недолго, опять с досадой на себя вспоминал о том, как бы он теперь мог спокойно лежать в теплой избе в Гришкином, и опять поднимался, ворочался, кутался, и опять укладывался.

Раз Василью Андреичу почудилось, что он слышит дальний крик петухов. Он обрадовался, отворотил шубу и стал напряженно слушать, но сколько он ни напрягал слух, ничего не слышно было, кроме звука ветра, свиставшего в оглоблях и трепавшего платок, и снега, стегавшего об лубок саней.

Никита как сел с вечера, так и сидел все время, не шевелясь и даже не отвечая на обращения Василия Андреича, который раза два окликал его. «Ему и горюшка мало, спит, должно»,— с досадой думал Василий Андреич, заглядывая через задок саней на густо засыпанного снегом Никиту.

Василий Андреич вставал и ложился раз двадцать. Ему казалось, что конца не будет этой ночи. «Теперь уже, должно быть, близко к утру,— подумал он раз, поднимаясь и оглядываясь.— Дай посмотрю на часы. Озябнешь раскрываться. Ну, да коли узнаю, что к утру дело, все веселее будет. Запрягать станем». Василий Андреич в глубине души знал, что не может быть еще утро, но он все сильнее и сильнее начинал робеть и хотел в одно и то же время и проверить и обмануть себя. Он осторожно распустил крючки полушубка и, засунув руку за пазуху, долго копался, пока достал до жилетки. Насилу-насилу вытащил он свои серебряные с эмалевыми цветками часы и стал смотреть. Без огня ничего не видно было. Он опять лег ничком на локти и на коленки, так же, как когда закуривал, достал спички и стал зажигать. Теперь он аккуратнее взялся за дело, и, ощупав пальцами спичку

с самым большим количеством фосфора, он с первого раза зажег ее. Подсунув циферблат под свет, он взглянул и глазам своим не верил... Было всего десять минут первого. Еще вся ночь была впереди.

«Ох, длинна ночь!» — подумал Василий Андреич, чувствуя, как мороз пробежал ему по спине, и, застегнувшись опять и укрывшись, он прижался к углу саней, собираясь терпеливо ждать. Вдруг из-за однообразного шума ветра он явственно услышал какой-то новый, живой звук. Звук равномерно усиливался и, дойдя до совершенной явственности, так же равномерно стал ослабевать. Не было никакого сомнения, что это был волк. И волк этот выл так недалеко, что по ветру ясно было слышно, как он, ворочая челюстями, изменял звуки своего голоса. Василий Андреич откинул воротник и внимательно слушал. Мухортый также напряженно слушал, поводя ушами, и, когда волк кончил свое колено, переставил ноги и предостерегающе фыркнул. После этого Василий Андреич уж никак не мог не только заснуть, но и успокоиться. Сколько он ни старался думать о своих расчетах, делах и о своей славе и своем достоинстве и богатстве, страх все больше и больше завладевал им, и над всеми мыслями преобладала и ко всем мыслям примешивалась мысль о том, зачем он не остался ночевать в Гришкине.

«Бог с ним, с лесом, без него дел слава богу. Эх, ночевать бы! — говорил он себе.— Говорят, пьяные-то замерзают,— подумал он.— А я выпил». И, прислушиваясь к своему ощущению, он чувствовал, что начинал дрожать, сам не зная, от чего он дрожит — от холода или от страха. Он пробовал закрыться и лежать как прежде, но уже не мог этого сделать. Он не мог оставаться на месте, ему хотелось встать, предпринять что-нибудь, с тем чтобы заглушить поднимающийся в нем страх, против которого он чувствовал себя бессильным. Он опять достал папироски и спички, но спичек уже оставалось только три, и все худшие. Все три ошмурыгались не загоревшись.

«А, черт тебя дери, проклятая, провались ты!» — обругал он сам не зная кого и швырнул смятую папироску. Хотел швырнуть и спичечницу, но остановил движение руки и сунул ее в карман. На него нашло такое беспокойство, что он не мог больше оставаться на месте. Он вылез из саней и, став задом к ветру, начал туго и низко вновь перепоясываться.

«Что лежать-то, смерти дожидаться! Сесть верхом — да и марш, — вдруг пришло ему в голову. — Верхом лошадь не станет. Ему,— подумал он на Никиту,— все равно умирать. Какая его жизнь! Ему и жизни не жалко, а мне, слава богу, есть чем пожить...»

И он, отвязав лошадь, перекинул ей поводья на шею и хотел вскочить на нее, но шубы и сапоги были так тяжелы, что он сорвался. Тогда он встал на сани и хотел с саней сесть. Но сани покачнулись под его тяжестью, и он опять оборвался. Наконец в третий раз он подвинул лошадь к саням и, осторожно став на край их, добился-таки того, что лег брюхом поперек спины лошади. Полежав так, он посунулся вперед раз, два и, наконец, перекинул ногу через спину лошади и уселся, упираясь ступнями ног на долевой ремень шлеи. Толчок пошатнувшихся саней разбудил Никиту, и он приподнялся, и Василию Андреичу показалось, что он говорит что-то.

— Слушай вас, дураков! Что ж, пропадать так, ни за что? — крикнул Василий Андреич и, подправляя под колена развевающиеся полы шубы, повернул лошадь и погнал ее прочь от саней по тому направлению, в котором он предполагал, что должен быть лес и сторожка.

VII

Никита, с тех пор как сел, покрывшись дерюжкой, за задком саней, сидел неподвижно. Он, как и все люди, живущие с природой и знающие нужду, был терпелив и мог спокойно ждать часы, дни даже, не испытывая ни беспокойства, ни раздражения. Он слышал, как хозяин звал его, но не откликался, потому что не хотел шевелиться и откликаться. Хотя ему еще было тепло от выпитого чая и оттого, что он много двигался, лазая по сугробам, он знал, что тепла этого хватит ненадолго, а что согреваться движением он уже будет не в силах, потому что чувствовал себя так же усталым, как чувствует себя лошадь, когда она становится, не может, несмотря ни на какой кнут, идти дальше, и хозяин видит, что надо кормить, чтобы она вновь могла работать. Одна нога его в прорванном сапоге остыла, и он уже не чуял на ней большого пальца. И, кроме того, всему телу его становилось все холоднее и холоднее. Мысль о том, что он может и даже, по всем вероятиям, должен умереть в эту ночь,

пришла ему, но мысль эта показалась ему ни особенно неприятной, ни особенно страшной. Не особенно неприятна показалась ему эта мысль потому, что вся его жизнь не была постоянным праздником, а, напротив, была неперестающей службой, от которой он начинал уставать. Не особенно же страшна была эта мысль потому, что, кроме тех хозяев, как Василий Андреич, которым он служил здесь, он чувствовал себя всегда в этой жизни в зависимости от главного хозяина, того, который послал его в эту жизнь, и знал, что и умирая он останется во власти этого же хозяина, а что хозяин этот не обидит. «Жаль бросать обжитое, привычное? Ну, да что же делать, и к новому привыкать надо».

«Грехи? — подумал он и вспомнил свое пьянство, пропитые деньги, обиды жене, ругательства, нехождение в церковь, несоблюдение постов и все то, за что выговаривал ему поп на исповеди.— Известно, грехи. Да что же, разве я сам их на себя напустил? Таким, видно, меня бог сделал. Ну, и грехи! Куда ж денешься?»

Так он подумал сначала о том, что может случиться с ним в эту ночь, и потом уже не возвращался к этим мыслям и отдался тем воспоминаниям, которые сами собой приходили ему в голову. То он вспоминал приезд Марфы, и пьянство рабочих, и свои отказы от вина, то теперешнюю поездку, и Тарасову избу, и разговоры о дележах, то о своем малом, и о Мухортом, который угреется теперь под попоной, то о хозяине, который скрипит теперь санями, ворочаясь в них. «Тоже, я чай, сердечный, сам не рад, что поехал,— думал он.— От такого житья помирать не хочется. Не то, что наш брат». И все эти воспоминания стали переплетаться, мешаться в его голове, и он заснул.

Когда же Василий Андреич, садясь на лошадь, покачнул сани, и задок, на который Никита упирался спиной, совсем отдернулся, и его полозом ударило в спину, он проснулся и волей-неволей принужден был изменить свое положение. С трудом выпрямляя ноги и осыпая с них снег, он поднялся, и тотчас же мучительный холод пронизал все его тело. Поняв, в чем дело, он хотел, чтобы Василий Андреич оставил ему ненужное теперь для лошади веретье, чтобы укрыться им, и закричал ему об этом.

Но Василий Андреич не остановился и скрылся в снежной пыли.

Оставшись один, Никита задумался на минуту, что ему делать. Идти искать жилья он чувствовал себя не в силах. Сесть на старое место уже нельзя было — оно все было засыпано снегом. И в санях, он чувствовал, что не согреется, потому что ему нечем было покрыться, его же кафтан и шуба теперь совсем не грели его. Ему было так холодно, как будто он был в одной рубахе. Ему стало жутко. «Батюшка, отец небесный!» — проговорил он, и сознание того, что он не один, а кто-то слышит его и не оставит, успокоило его. Он глубоко вздохнул и, не снимая с головы дерюжки, влез в сани и лег в них на место хозяина.

Но и в санях он никак не мог согреться. Сначала он дрожал всем телом, потом дрожь прошла, и он понемногу стал терять сознание. Умирал он или засыпал — он не знал, но чувствовал себя одинаково готовым на то и на другое.

VIII

Между тем Василий Андреич и ногами и концами повода гнал лошадь туда, где он почему-то предположил лес и сторожку. Снег слепил ему глаза, а ветер, казалось, хотел остановить его, но он, нагнувшись вперед и беспрестанно запахивая шубу и подвертывая ее между собой и мешавшей ему сидеть холодной седелкой, не переставая гнал лошадь. Лошадь хотя с трудом, но покорно шла иноходью туда, куда он посылал ее.

Минут пять он ехал, как ему казалось, все прямо, ничего не видя, кроме головы лошади и белой пустыни, и ничего не слыша, кроме свиста ветра около ушей лошади и воротника своей шубы.

Вдруг перед ним зачернелось что-то. Сердце радостно забилось в нем, и он поехал на это черное, уже видя в нем стены домов деревни. Но черное это было не неподвижно, а все шевелилось, и было не деревня, а выросший на меже высокий чернобыльник, торчавший из-под снега и отчаянно мотавшийся под напором гнувшего его все в одну сторону и свистевшего в нем ветра. И почему-то вид этого чернобыльника, мучимого немилосердным ветром, заставил содрогнуться Василия Андреича, и он поспешно стал погонять лошадь, не замечая того, что, подъезжая к чернобыльнику, он совершенно изменил прежнее направление и теперь гнал лошадь совсем уже

в другую сторону, все-таки воображая, что он едет в ту сторону, где должна была быть сторожка. Но лошадь все воротила вправо, и потому он все время сворачивал ее влево.

Опять впереди его зачернелось что-то. Он обрадовался, уверенный, что теперь это уже наверное деревня. Но это была опять межа, поросшая чернобыльником. Опять так же отчаянно трепыхался сухой бурьян, наводя почему-то страх на Василия Андреича. Но мало того, что это был такой же бурьян,— подле него шел конный, заносимый ветром след. Василий Андреич остановился, нагнулся, пригляделся: это был лошадиный, слегка занесенный след и не мог быть ничей иной, как его собственный. Он, очевидно, кружился, и на небольшом пространстве. «Пропаду я так!» — подумал он, но, чтобы не поддаваться страху, он еще усиленнее стал погонять лошадь, вглядываясь в белую снежную мглу, в которой ему показывались как будто светящиеся точки, тотчас же исчезавшие, как только он вглядывался в них. Раз ему показалось, что он слышит лай собак или вой волков, но звуки эти были так слабы и неопределенны, что он не знал, слышит ли он что, или это только чудится ему, и он, остановившись, стал напряженно прислушиваться.

Вдруг какой-то страшный, оглушающий крик раздался около его ушей, все задрожало и затрепетало под ним. Василий Андреич схватился за шею лошади, но и шея лошади вся тряслась, и страшный крик стал еще ужаснее. Несколько секунд Василий Андреич не мог опомниться и понять, что случилось. А случилось только то, что Мухортый, ободряя ли себя или призывая кого на помощь, заржал своим громким, заливистым голосом. «Тьфу ты пропасть! напугал как, проклятый!» — сказал себе Василий Андреич. Но и поняв истинную причину страха, он не мог уже разогнать его.

«Надо одуматься, остепениться»,— говорил он себе и вместе с тем не мог удержаться и все гнал лошадь, не замечая того, что он ехал теперь уже по ветру, а не против него. Тело его, особенно в шагу, где оно было открыто и касалось седелки, зябло и болело, руки и ноги его дрожали, и дыхание было прерывисто. Он видит, что пропадает среди этой ужасной снежной пустыни, и не видит никакого средства спасения.

Вдруг лошадь куда-то ухнула под ним и, завязши в сугробе, стала биться и падать на бок. Василий Андреич

соскочил с нее, при соскакивании сдернув набок шлею, на которую опиралась его нога, и свернув седелку, за которую держался, соскакивая. Как только Василий Андреич соскочил с нее, лошадь справилась, рванулась вперед, сделала прыжок, другой и, опять заржавши и таща за собой волочившееся веретье и шлею, скрылась из вида, оставив Василия Андреича одного в сугробе. Василий Андреич бросился за нею, но снег был так глубок и шубы на нем так тяжелы, что, увязая каждой ногой выше колена, он, сделав не более двадцати шагов, запыхался и остановился. «Роща, валухи, аренда, лавка, кабаки, железом крытый дом и амбар, наследник,— подумал он,— как же это все останется? Что ж это такое? Не может быть!» — мелькнуло у него в голове. И почему-то ему вспомнился мотавшийся от ветра чернобыльник, мимо которого он проезжал два раза, и на него нашел такой ужас, что он не верил в действительность того, что с ним было. Он подумал: «Не во сне ли все это?» — и хотел проснуться, но просыпаться некуда было. Это был действительный снег, который хлестал ему в лицо и засыпал его и холодил его правую руку, с которой он потерял перчатку, и это была действительно пустыня, та, в которой он теперь оставался один, как тот чернобыльник, ожидая неминуемой, скорой и бессмысленной смерти.

«Царица небесная, святителю отче Миколае, воздержания учителю»,— вспомнил он вчерашние молебны, и образ с черным ликом в золотой ризе, и свечи, которые он продавал к этому образу и которые тотчас приносили ему назад и которые он чуть обгоревшие прятал в ящик. И он стал просить этого самого Николая-чудотворца, чтобы он спас его, обещал ему молебен и свечи. Но тут же он ясно, несомненно понял, что этот лик, риза, свечи, священник, молебны — все это было очень важно и нужно там, в церкви, но что здесь они ничего не могли сделать ему, что между этими свечами и молебнами и его бедственным теперешним положением нет и не может быть никакой связи. «Надо не унывать,— подумал он.— Надо идти по следам лошади, а то и те занесет,— пришло ему в голову.— Она выведет, а то и поймаю. Только не торопиться, а то зарьяешь и хуже пропадешь». Но, несмотря на намерение идти тихо, он бросился вперед и бежал, беспрестанно падая, поднимаясь и опять падая. След лошади уже становился чуть заметен в тех местах, где снег был неглубок. «Пропал я,— подумал Василий Андреич,—

потеряю и след, и лошади не догоню». Но в ту же минуту, взглянув вперед, он увидал что-то черное. Это был Мухортый и не только один Мухортый, но и сани и оглобли с платком. Мухортый, со сбитой набок шлеей и веретьем, стоял теперь не на прежнем месте, а ближе к оглоблям и мотал головой, которую заступленный повод притягивал ему книзу. Оказалось, что завяз Василий Андреич в той самой лощине, в которой они завязли еще с Никитой, что лошадь везла его назад к саням и что соскочил он с нее не больше пятидесяти шагов от того места, где были сани.

IX

Довалившись до саней, Василий Андреич схватился за них и долго стоял так неподвижно, стараясь успокоиться и отдышаться. На прежнем месте Никиты не было, но в санях лежало что-то, занесенное уже снегом, и Василий Андреич догадался, что это был Никита. Страх Василия Андреича теперь совершенно прошел, и если он боялся чего, то только того ужасного состояния страха, который он испытал на лошади, и в особенности тогда, когда один остался в сугробе. Надо было во что бы то ни стало не допустить до себя этот страх, а чтобы не допустить его, надо было делать что-нибудь, чем-нибудь заняться. И потому первое, что он сделал, было то, что он, став задом к ветру, распустил шубу. Потом, как только он немного отдышался, он вытряхнул снег из сапог, из левой перчатки, правая была безнадежно потеряна и, должно быть, уже где-нибудь на две четверти под снегом; потом он вновь туго и низко, как он подтягивался, когда выходил из лавки покупать с возов привозимый мужиками хлеб, затянулся кушаком и приготовился к деятельности. Первое дело, которое представилось ему, было то, чтобы выпростать ногу лошади. Василий Андреич и сделал это и, освободив повод, привязал Мухортого опять к железной скобе у передка к старому месту и стал заходить сзади лошади, чтобы оправить на ней шлею, седелку и веретье; но в это время он увидал, что в санях зашевелилось что-то и из-под снега, которым она была засыпана, поднялась голова Никиты. Очевидно, с большим усилием, замерзавший уже Никита приподнялся и сел и как-то странно, точно отгоняя мух, махая перед носом рукой. Он махал рукой и говорил что-то, как показалось Василию Андреичу,

призывая его. Василий Андреич оставил веретье, не поправив его, и подошел к саням.

— Чего ты? — спросил он.— Чего говоришь?

— Поми-ми-мираю я, вот что,— с трудом, прерывистым голосом выговорил Никита.— Зажитое малому отдай али бабе, все равно.

— А что ж, аль зазяб? — спросил Василий Андреич.

— Чую, смерть моя... прости, Христа ради... — сказал Никита плачущим голосом, все продолжая, точно обмахивая мух, махать перед лицом руками.

Василий Андреич с полминуты постоял молча и неподвижно, потом вдруг с той же решительностью, с которой он ударял по рукам при выгодной покупке, он отступил шаг назад, засучил рукава шубы и обеими руками принялся выгребать снег с Никиты и из саней. Выгребши снег, Василий Андреич поспешно распоясался, расправил шубу и, толкнув Никиту, лег на него, покрывая его не только своей шубой, но и всем своим теплым, разгоряченным телом. Заправив руками полы шубы между лубком саней и Никитой и коленками ног прихватив ее подол, Василий Андреич лежал так ничком, упершись головой в лубок передка, и теперь уже не слышал ни движения лошади, ни свиста бури, а только прислушивался к дыханию Никиты. Никита сначала долго лежал неподвижно, потом громко вздохнул и пошевелился.

— А вот то-то, а ты говоришь — помираешь. Лежи, грейся, мы вот как...— начал было Василий Андреич.

Но дальше он, к своему великому удивлению, не мог говорить, потому что слезы ему выступили на глаза и нижняя челюсть быстро запрыгала. Он перестал говорить и только глотал то, что подступало ему к горлу. «Настращался я, видно, ослаб вовсе»,— подумал он на себя. Но слабость эта его не только не была ему неприятна, но доставляла ему какую-то особенную, не испытанную еще никогда радость.

«Мы вот как»,— говорил он себе, испытывая какое-то особенное торжественное умиление. Довольно долго он лежал так молча, вытирая глаза о мех шубы и подбирая под колена все заворачиваемую ветром правую полу шубы.

Но ему так страстно захотелось сказать кому-нибудь про свое радостное состояние.

— Микита! — сказал он.

— Хорошо, тепло,— откликнулось ему снизу.

— Так-то, брат, пропал было я. И ты бы замерз, и я бы...

Но тут опять у него задрожали скулы, и глаза его опять наполнились слезами, и он не мог дальше говорить.

«Ну, ничего, — подумал он.— Я сам про себя знаю, что́ знаю».

И он замолк. Так он лежал долго.

Ему было тепло снизу от Никиты, тепло и сверху от шубы; только руки, которыми он придерживал полы шубы по бокам Никиты, и ноги, с которых ветер беспрестанно сворачивал шубу, начинали зябнуть. Особенно зябла правая рука без перчатки. Но он не думал ни о своих ногах, ни о руках, а думал только о том, как бы отогреть лежащего под собой мужика.

Несколько раз он взглядывал на лошадь и видел, что спина ее раскрыта и веретье с шлеею лежат на снегу, что надо бы встать и покрыть лошадь, но он не мог решиться ни на минуту оставить Никиту и нарушить то радостное состояние, в котором он находился. Страха он теперь не испытывал никакого.

«Небось не вывернется»,— говорил он сам себе про то, что он отогреет мужика, с тем же хвастовством, с которым он говорил про свои покупки и продажи.

Так пролежал Василий Андреич час, и другой, и третий, но он не видал, как проходило время. Сначала в воображении его носились впечатления метели, оглобель и лошади под дугой, трясущихся перед глазами, и вспоминалось о Никите, лежащем под ним; потом стали примешиваться воспоминания о празднике, жене, становом, свечном ящике и опять о Никите, лежащем под этим ящиком; потом стали представляться мужики, продающие и покупающие, и белые стены, и дома, крытые железом, под которыми лежал Никита; потом все это смешалось, одно вошло в другое, и, как цвета радуги, соединяющиеся в один белый свет, все разные впечатления сошлись в одно ничто, и он заснул. Он спал долго, без снов, но перед рассветом опять появились сновидения. Представилось ему, что стоит он будто у свечного ящика и Тихонова баба требует у него пятикопеечную свечу к празднику, и он хочет взять свечу и дать ей, но руки не поднимаются, а зажаты в карманах. Хочет он обойти ящик, и ноги не движутся, а калоши, новые, чищеные, приросли к каменному полу, и их не поднимешь и из них не вынешь.

И вдруг свечной ящик становится не свечным ящиком, а постелью, и Василий Андреич видит себя лежащим на брюхе на свечном ящике, то есть на своей постели, в своем доме. И лежит он на постели и не может встать, а встать ему надо, потому что сейчас зайдет за ним Иван Матвеич, становой, и с Иваном Матвеичем надо идти либо торговать рощу, либо поправить шлею на Мухортом. И спрашивает он у жены: «Что же, Миколавна, не заходил?» — «Нет,— говорит,— не заходил». И слышит он, что подъезжает кто-то к крыльцу. Должно, он. Нет, мимо. «Миколавна, а Миколавна, что ж, все нету?» — «Нету». И он лежит на постели и все не может встать, и все ждет, и ожидание это и жутко и радостно. И вдруг радость совершается: приходит тот, кого он ждал, и это уж не Иван Матвеич, становой, а кто-то другой, но тот самый, кого он ждет. Он пришел и зовет его, и этот, тот, кто зовет его, тот самый, который кликнул его и велел ему лечь на Никиту. И Василий Андреич рад, что этот кто-то пришел за ним. «Иду!» — кричит он радостно, и крик этот будит его. И он просыпается, но просыпается совсем уже не тем, каким он заснул. Он хочет встать — и не может, хочет двинуть рукой — не может, ногой — тоже не может. Хочет повернуть головой — и того не может. И он удивляется, но нисколько не огорчается этим. Он понимает, что это смерть, и нисколько не огорчается и этим. И он вспоминает, что Никита лежит под ним и что он угрелся и жив, и ему кажется, что он — Никита, а Никита — он, и что жизнь его не в нем самом, а в Никите. Он напрягает слух и слышит дыханье, даже слабый храп Никиты. «Жив Никита, значит, жив и я»,— с торжеством говорит он себе.

И он вспоминает про деньги, про лавку, дом, покупки, продажи и миллионы Мироновых; ему трудно понять, зачем этот человек, которого звали Василием Брехуновым, занимался всем тем, чем он занимался. «Что ж, ведь он не знал, в чем дело,— думает он про Василья Брехунова.— Не знал, так теперь знаю. Теперь уж без ошибки. *Теперь знаю»*. И опять слышит он зов того, кто уже окликал его. «Иду, иду!» — радостно, умиленно говорит все существо его. И он чувствует, что он свободен и ничто уж больше не держит его.

И больше уже ничего не видел, и не слышал, и не чувствовал в этом мире Василий Андреич.

Кругом все так же курило. Те же вихри снега крутились, засыпали шубу мертвого Василия Андреича, и всего трясущегося Мухортого, и чуть видные уже сани, и в глубине их лежащего под мертвым уже хозяином угревшегося Никиту.

X

Перед утром проснулся Никита. Разбудил его опять начавший пробирать его спину холод. Приснилось ему, что он едет с мельницы с возом хозяйской муки и, переезжая ручей, взял мимо моста и завязил воз. И видит он, что он подлез под воз и поднимает его, расправляя спину. Но удивительное дело! Воз не двигается и прилип ему к спине, и он не может ни поднять воза, ни уйти из-под него. Всю поясницу раздавило. Да и холодный же! Видно, вылезать надо. «Да будеть,— говорит он кому-то тому, кто давит ему возом спину. — Вынимай мешки!» Но воз все холоднее и холоднее давит его, и вдруг стукает что-то особенное, и он просыпается совсем и вспоминает все. Холодный воз — это мертвый замерзший хозяин, лежащий на нем. А стукнул это Мухортый, ударивший два раза копытом о сани.

— Андреич, а Андреич! — осторожно, уже предчувствуя истину, окликает Никита хозяина, напруживая спину.

Но Андреич не отзывается, и брюхо его и ноги— крепкие, и холодные, и тяжелые, как гири.

«Кончился, должно. Царство небесное!»— думает Никита.

Он повертывает голову, прокапывает перед собою снег рукою и открывает глаза. Светло; так же свистит ветер в оглоблях, и так же сыплется снег, с тою только разницею, что уже не стегает о лубок саней, а беззвучно засыпает сани и лошадь все выше и выше, и ни движенья, ни дыханья лошади не слышно больше. «Замерз, должно, и он»,— думает Никита про Мухортого. И действительно, те удары копыт о сани, которые разбудили Никиту, были предсмертные усилия удержаться на ногах уже совсем застывшего Мухортого.

«Господи, батюшка, видно, и меня зовешь,— говорит себе Никита.— Твоя святая воля. А жутко. Ну, да двух смертей не бывать, а одной не миновать. Только поскорее бы...» И он опять прячет руку, закрывая глаза, и забыва-

ется, вполне уверенный, что теперь он уже наверное и совсем умирает.

Уже в обед на другой день мужики откопали лопатами Василия Андреича и Никиту в тридцати саженях от дороги и в полуверсте от деревни.

Снег нанесло выше саней, но оглобли и платок на них были еще видны. Мухортый по брюхо в снегу, с сбившимися со спины шлеей и веретьем, стоял весь белый, прижав мертвую голову к закостенелому кадыку; ноздри обмерзли сосульками, глаза заиндевели и тоже обмерзли точно слезами. Он исхудал в одну ночь так, что остались на нем только кости да кожа. Василий Андреич застыл, как мороженая туша, и как были у него расставлены ноги, так, раскорячившись, его и отвалили с Никиты. Ястребиные выпуклые глаза его обмерзли, и раскрытый рот его под подстриженными усами был набит снегом. Никита же был жив, хотя и весь обмороженный. Когда Никиту разбудили, он был уверен, что теперь он уже умер и что то, что с ним теперь делается, происходит уже не на этом, а на том свете. Но когда он услыхал кричащих мужиков, откапывавших его и сваливших с него закоченевшего Василия Андреича, он сначала удивился, что на том свете так же кричат мужики и такое же тело, но когда понял, что он еще здесь, на этом свете, он скорее огорчился этим, чем обрадовался, особенно когда почувствовал, что у него пальцы на обеих ногах отморожены.

Пролежал Никита в больнице два месяца. Три пальца ему отняли, а остальные зажили, так что он мог работать, и еще двадцать лет продолжал жить — сначала в работниках, а потом, под старость, в караульщиках. Помер он только в нынешнем году дома, как желал, под святыми и с зажженной восковой свечкой в руках. Перед смертью он просил прощенья у своей старухи и простил ее за бондаря; простился и с малым и с внучатами и умер, истинно радуясь тому, что избавляет своей смертью сына и сноху от обузы лишнего хлеба и сам уже по-настоящему переходит из этой наскучившей ему жизни в ту иную жизнь, которая с каждым годом и часом становилась ему все понятнее и заманчивее. Лучше или хуже ему там, где он, после этой настоящей смерти, проснулся? разочаровался ли он или нашел там то самое, что ожидал? — мы все скоро узнаем.

ОТЕЦ СЕРГИЙ

I

В Петербурге в сороковых годах случилось удивившее всех событие: красавец, князь, командир лейб-эскадрона кирасирского полка, которому все предсказывали и флигель-адъютантство и блестящую карьеру при императоре Николае I, за месяц до свадьбы с красавицей фрейлиной, пользовавшейся особой милостью императрицы, подал в отставку, разорвал свою связь с невестой, отдал небольшое имение свое сестре и уехал в монастырь, с намерением поступить в него монахом. Событие казалось необыкновенным и необъяснимым для людей, не знавших внутренних причин его; для самого же князя Степана Касатского все это сделалось так естественно, что он не мог и представить себе, как бы он мог поступить иначе.

Отец Степана Касатского, отставной полковник гвардии, умер, когда сыну было двенадцать лет. Как ни жаль было матери отдавать сына из дома, она не решилась не исполнить воли покойного мужа, который в случае своей смерти завещал не держать сына дома, а отдать в корпус, и отдала его в корпус. Сама же вдова с дочерью Варварой переехала в Петербург, чтобы жить там же, где сын, и брать его на праздники.

Мальчик выдавался блестящими способностями и огромным самолюбием, вследствие чего он был первым и по наукам, в особенности по математике, к которой он имел особенное пристрастие, и по фронту и верховой езде. Несмотря на свой выше обыкновенного рост, он был красив и ловок. Кроме того, и по поведению он был бы образцовым кадетом, если бы не его вспыльчивость. Он не пил, не распутничал и был замечательно правдив. Одно, что мешало ему быть образцовым, были находившие на него вспышки гнева, во время которых он совершенно терял

самообладание и делался зверем. Один раз он чуть не выкинул из окна кадета, начавшего трунить над его коллекцией минералов. Другой раз он чуть было не погиб: целым блюдом котлет пустил в эконома, бросился на офицера и, говорят, ударил его за то, что тот отрекся от своих слов и прямо в лицо солгал. Его наверно бы разжаловали в солдаты, если бы директор корпуса не скрыл все дело и не выгнал эконома.

Восемнадцати лет он был выпущен офицером в гвардейский аристократический полк. Император Николай Павлович знал его еще в корпусе и отличал его и после в полку, так что ему пророчили флигель-адъютантство. И Касатский сильно желал этого не только из честолюбия, но, главное, потому, что еще со времен корпуса страстно, именно страстно, любил Николая Павловича. Всякий приезд Николая Павловича в корпус,— а он часто езжал к ним, — когда входила бодрым шагом эта высокая, с выпяченной грудью, горбатым носом над усами и с подрезанными бакенбардами, фигура в военном сюртуке и могучим голосом здоровалась с кадетами, Касатский испытывал восторг влюбленного, такой же, какой он испытывал после, когда встречал предмет любви. Только влюбленный восторг к Николаю Павловичу был сильнее: хотелось показать ему свою беспредельную преданность, пожертвовать чем-нибудь, всем собой ему. И Николай Павлович знал, что возбуждает этот восторг, и умышленно вызывал его. Он играл с кадетами, окружал себя ими, то ребячески просто, то дружески, то торжественно-величественно обращаясь с ними. После последней истории Касатского с офицером Николай Павлович ничего не сказал Касатскому, но, когда тот близко подошел к нему, он театрально отстранил его и, нахмурившись, погрозил пальцем и потом, уезжая, сказал:

— Знайте, что все мне известно, но некоторые вещи я не хочу знать. Но они здесь.

Он показал на сердце.

Когда же выпущенные кадеты являлись ему, он уже не поминал об этом, сказал, как всегда, что они все могут прямо обращаться к нему, чтоб они верно служили ему и отечеству, а он всегда останется их первым другом. Все, как всегда, были тронуты, а Касатский, помня прошедшее, плакал слезами и дал обет служить любимому царю всеми своими силами.

Когда Касатский вышел в полк, мать его переехала с дочерью сначала в Москву, а потом в деревню. Касатский отдал сестре половину состояния, и то, что оставалось у него, было только достаточно для того, чтобы содержать себя в том роскошном полку, в котором он служил.

С внешней стороны Касатский казался самым обыкновенным молодым блестящим гвардейцем, делающим карьеру, но внутри его шла сложная и напряженная работа. Работа с самого его детства шла, по-видимому, самая разнообразная, но, в сущности, все одна и та же, состоящая в том, чтобы во всех делах, представлявшихся ему на пути, достигать совершенства и успеха, вызывающего похвалы и удивление людей. Было ли это ученье, науки, он брался за них и работал до тех пор, пока его хвалили и ставили в пример другим. Добившись одного, он брался за другое. Так он добился первого места по наукам, так он, еще будучи в корпусе, заметив раз за собой неловкость в разговоре по-французски, добился до того, чтобы овладеть французским, как русским; так он потом, занявшись шахматами, добился того, что, еще будучи в корпусе, стал отлично играть.

Кроме общего призвания жизни, которое состояло в служении царю и отечеству, у него всегда была поставлена какая-нибудь цель, и как бы ничтожна она ни была, он отдавался ей весь и жил только для нее до тех пор, пока не достигал ее. Но как только он достигал назначенной цели, так другая тотчас же вырастала в его сознании и сменяла прежнюю. Это-то стремление отличиться, и для того, чтобы отличиться, достигнуть поставленной цели, наполняло его жизнь. Так, по выходе в офицеры, он задался целью наивозможнейшего совершенства в знании службы и очень скоро стал образцовым офицером, хотя и опять с тем недостатком неудержимой вспыльчивости, которая и на службе вовлекла его в дурные и вредные для успеха поступки. Потом, почувствовав раз в светском разговоре свой недостаток общего образования, задался мыслью пополнить его и засел за книги, и добился того, чего хотел. Потом он задался мыслью достигнуть блестящего положения в высшем светском обществе, выучился отлично танцевать и очень скоро достиг того, что был зван на все великосветские балы и на некоторые вечера. Но это положение не удовлетворяло его. Он привык быть первым, а в этом деле он далеко не был им.

Высшее общество тогда состояло, да, я думаю, всегда и везде состоит из четырех сортов людей: из 1) людей богатых и придворных; из 2) небогатых людей, но родившихся и выросших при дворе; 3) из богатых людей, подделывающихся к придворным, и 4) из небогатых и непридворных людей, подделывающихся к первым и вторым. Касатский не принадлежал к первым. Касатский был охотно принимаем в последние два круга. Даже вступая в свет, он задал себе целью связь с женщиной света — и неожиданно для себя скоро достиг этого. Но очень скоро он увидал, что те круги, в которых он вращался, были круги низшие, а что были высшие круги, и что в этих высших придворных кругах, хотя его и принимали, он был чужой; с ним были учтивы, но все обращение показывало, что есть свои и он не свой. И Касатский захотел быть там своим. Для этого надо было быть или флигель-адъютантом,—и он дожидался этого,— или жениться в этом кругу. И он решил, что сделает это. И он избрал девушку, красавицу, придворную, не только свою в том обществе, в которое он хотел вступить, но такую, с которой старались сближаться все самые высоко и твердо поставленные в высшем кругу люди. Это была графиня Короткова. Касатский не для одной карьеры стал ухаживать за Коротковой, она была необыкновенно привлекательна, и он скоро влюбился в нее. Сначала она была особенно холодна к нему, но потом вдруг все изменилось, и она стала ласкова, и ее мать особенно усиленно приглашала его к себе.

Касатский сделал предложение и был принят. Он был удивлен легкостью, с которой он достиг такого счастья, и чем-то особенным, странным в обращении и матери и дочери. Он был очень влюблен, и ослеплен, и потому не заметил того, что знали почти все в городе, что его невеста была за год тому назад любовницей Николая Павловича.

II

За две недели до назначенного дня свадьбы Касатский сидел в Царском Селе на даче у своей невесты. Был жаркий майский день. Жених с невестой походили по саду и сели на лавочке в тенистой липовой аллее. Мэри была особенно хороша в белом кисейном платье. Она казалась олицетворением невинности и любви. Она сидела, то

опустив голову, то взглядывая на огромного красавца, который с особенной нежностью и осторожностью говорил с ней, каждым своим жестом, словом боясь оскорбить, осквернить ангельскую чистоту невесты. Касатский принадлежал к тем людям сороковых годов, которых уже нет нынче, к людям, которые, сознательно допуская для себя и внутренно не осуждая нечистоту в половом отношении, требовали от жены идеальной, небесной чистоты, и эту самую небесную чистоту признавали в каждой девушке своего круга, и так относились к ним. В таком взгляде было много неверного и вредного в той распущенности, которую позволяли себе мужчины, но по отношению женщин такой взгляд, резко отличающийся от взгляда теперешних молодых людей, видящих в каждой девушке ищущую себе дружку самку,— такой взгляд был, я думаю, полезен. Девушки, видя такое обоготворение, старались и быть более или менее богинями. Такого взгляда на женщин держался и Касатский и так смотрел на свою невесту. Он был особенно влюблен в этот день и не испытывал ни малейшей чувственности к невесте, напротив, с умилением смотрел на нее, как на нечто недосягаемое.

Он встал во весь свой большой рост и стал перед нею, опершись обеими руками на саблю.

— Я только теперь узнал всё то счастье, которое может испытать человек. И это вы, это ты,— сказал он, робко улыбаясь,— дала мне это!

Он был в том периоде, когда «ты» еще не сделалось привычно, и ему, смотря нравственно снизу вверх на нее, страшно было говорить «ты» этому ангелу.

— Я себя узнал благодаря... тебе, узнал, что я лучше, чем я думал.

— Я давно это знаю. Я за то-то и полюбила вас.

Соловей защелкал вблизи, свежая листва зашевелилась от набежавшего ветерка.

Он взял ее руку и поцеловал ее, и слезы выступили ему на глаза. Она поняла, что он благодарит ее за то, что она сказала, что полюбила его. Он прошелся, помолчал, потом подошел, сел.

— Вы знаете, ты знаешь, ну, все равно. Я сблизился с тобой не бескорыстно, я хотел установить связи с светом, но потом... Как ничтожно стало это в сравнении с тобой, когда я узнал тебя. Ты не сердишься на меня за это?

Она не отвечала и только тронула рукой его руку.

Он понял, что это значило: «Нет, не сержусь».

— Да, ты вот сказала...— он замялся, ему показалось это слишком дерзко,— ты сказала, что полюбила меня, но, прости меня, я верю, но что-то, кроме этого, есть, что тебя тревожит и мешает. Что это?

«Да, теперь или никогда,— подумала она.— Все равно он узнает. Но теперь он не уйдет. Ах, если бы он ушел, это было бы ужасно!»

И она любовным взглядом окинула всю его большую, благородную, могучую фигуру. Она любила его теперь больше Николая и, если бы не императорство, не променяла бы этого на того.

— Послушайте. Я не могу быть неправдива. Я должна сказать все. Вы спрашиваете, что? То, что я любила.

Она положила свою руку на его умоляющим жестом.

Он молчал.

— Вы хотите знать кого? Да, его, государя.

— Мы все любим его, я воображаю, вы в институте...

— Нет, после. Это было увлеченье, но потом прошло. Но я должна сказать...

— Ну, так что же?

— Нет, я не просто.

Она закрыла лицо руками.

— Как? Вы отдались ему?

Она молчала.

— Любовницей?

Она молчала.

Он вскочил и бледный, как смерть, с трясущимися скулами, стоял перед нею. Он вспомнил теперь, как Николай Павлович, встретив его на Невском, ласково поздравлял его.

— Боже мой, что я сделала, Стива!

— Не трогайте, не трогайте меня. О, как больно!

Он повернулся и пошел к дому. В доме он встретил мать.

— Вы что, князь? Я...— Она замолчала, увидав его лицо. Кровь вдруг ударила ему в лицо.

— Вы знали это и мной хотели прикрыть их. Если бы вы не были женщины, — вскрикнул он, подняв огромный кулак над нею, и, повернувшись, убежал.

Если б тот, кто был любовником его невесты, был бы частный человек, он убил бы его, но это был обожаемый царь.

На другой же день он подал в отпуск и отставку и сказался больным, чтобы никого не видеть, и поехал в деревню.

Лето он провел в своей деревне, устраивая свои дела. Когда же кончилось лето, он не вернулся в Петербург, а поехал в монастырь и поступил в него монахом.

Мать писала ему, отговаривая от такого решительного шага. Он отвечал ей, что призвание бога выше всех других соображений, а он чувствует его. Одна сестра, такая же гордая и честолюбивая, как и брат, понимала его.

Она понимала, что он стал монахом, чтобы стать выше тех, которые хотели показать ему, что они стоят выше его. И она понимала его верно. Поступая в монахи, он показывал, что презирает все то, что казалось столь важным другим и ему самому в то время, как он служил, и становился на новую такую высоту, с которой он мог сверху вниз смотреть на тех людей, которым он прежде завидовал. Но не одно это чувство, как думала сестра его Варенька, руководило им. В нем было и другое, истинно религиозное чувство, которого не знала Варенька, которое, переплетаясь с чувством гордости и желанием первенства, руководило им. Разочарование в Мэри (невесте), которую он представлял себе таким ангелом, и оскорбление было так сильно, что привело его к отчаянию, а отчаяние куда? — к богу, к вере детской, которая никогда не нарушалась в нем.

III

В день Покрова Касатский поступил в монастырь.

Игумен монастыря был дворянин, ученый писатель и старец, то есть принадлежал к той преемственности, ведущейся из Валахии, монахов, безропотно подчиняющихся избранному руководителю и учителю. Игумен был ученик известного старца Амвросия, ученика Макария, ученика старца Леонида, ученика Паисия Величковского. Этому игумну подчинился, как своему старцу, Касатский.

Кроме того чувства сознания своего превосходства над другими, которое испытывал Касатский в монастыре, Касатский так же, как и во всех делах, которые он делал, и в монастыре находил радость в достижении наибольшего как внешнего, так и внутреннего совершенства. Как в полку он был не только безукоризненным офицером, но таким, который делал больше того, что требовалось,

и расширял рамки совершенства, так и монахом он старался быть совершенным: трудящимся всегда, воздержным, смиренным, кротким, чистым, не только на деле, но и в мыслях, и послушным. В особенности последнее качество, или совершенство, облегчало ему жизнь. Если многие требования монашеской жизни в монастыре, близком к столице и многопосещаемом, не нравились ему, соблазняя его, все это уничтожалось послушанием: не мое дело рассуждать, мое дело нести назначенное послушание, будет ли то стояние у мощей, пение на клиросе или ведение счетов по гостинице. Всякая возможность сомнений в чем бы то ни было устранялась тем же послушанием старцу. Не будь послушания, он бы тяготился и продолжительностью и однообразием церковных служб, и суетой посетителей, и дурными свойствами братии, но теперь все это не только радостно переносилось, но составляло в жизни утешение и поддержку. «Не знаю, зачем надо слышать несколько раз в день те же молитвы, но знаю, что это нужно. А зная, что это нужно, нахожу радость в них». Старец сказал ему, что как нужна материальная пища для поддержания жизни, так нужна духовная пища — молитва церковная — для поддержания духовной жизни. Он верил в это, и действительно, служба церковная, на которую он с трудом поднимался иногда поутру, давала ему несомненное успокоение и радость. Радость давало сознание смирения и несомненности поступков, всех определенных старцем. Интерес же жизни состоял не только во все большем и большем покорении своей воли, во все большем и большем смирении, но и в достижении всех христианских добродетелей, которые в первое время казались ему легко достижимыми. Имение свое он все отдал в монастырь и не жалел его, лености у него не было. Смирение перед низшими было не только легко ему, но доставляло ему радость. Даже победа над грехом похоти, как жадности, так и блуда, легко далась ему. Старец в особенности предостерегал его от этого греха, но Касатский радовался, что был свободен от него.

Мучало его только воспоминание о невесте. И не только воспоминание, но представление живое о том, что могло бы быть. Невольно представлялась ему знакомая фаворитка государя, вышедшая потом замуж и ставшая прекрасной женой, матерью семейства. Муж же имел важное назначение, имел и власть, и почет, и хорошую, покаявшуюся жену.

В хорошие минуты Касатского не смущали эти мысли. Когда он вспоминал про это в хорошие минуты, он радовался, что избавился от этих соблазнов. Но были минуты, когда вдруг все то, чем он жил, тускнело перед ним, он переставал не то что верить в то, чем жил, но переставал видеть это, не мог вызвать в себе того, чем жил, а воспоминание и — ужасно сказать — раскаяние в своем обращении охватывало его.

Спасенье в этом положении было послушание — работа и весь занятой день молитвой. Он, как обыкновенно, молился, клал поклоны, даже больше обыкновенного молился, но молился телом, души не было. И это продолжалось день, иногда два и потом само проходило. Но день этот или два были ужасны. Касатский чувствовал, что он не в своей и не в божьей власти, а в чьей-то чужой. И все, что он мог делать и делал в эти времена, было то, что советовал старец, чтобы держаться, ничего не предпринимать в это время и ждать. Вообще за все это время Касатский жил не по своей воле, а по воле старца, и в этом послушании было особенное спокойствие.

Так прожил Касатский в первом монастыре, куда поступил, семь лет. В конце третьего года был пострижен в иеромонахи с именем Сергия. Пострижение было важным внутренним событием для Сергия. Он и прежде испытывал великое утешение и подъем духовный, когда причащался; теперь же, когда ему случалось служить самому, совершение проскомидии приводило его в восторженное, умиленное состояние. Но потом чувство это все более и более притуплялось, и когда один раз ему случилось служить в том подавленном состоянии духа, в котором он бывал, он почувствовал, что и это пройдет. И действительно, чувство это ослабело, но осталась привычка.

Вообще на седьмой год своей жизни в монастыре Сергию стало скучно. Все то, чему надо было учиться, все то, чего надо было достигнуть,— он достиг, и больше делать было нечего.

Но зато состояние усыпления становилось все сильнее и сильнее. За это время он узнал о смерти своей матери и о выходе замуж Мэри. Оба известия он принял равнодушно. Все внимание, все интересы его были сосредоточены на своей внутренней жизни.

На четвертом году его монашества архиерей особенно обласкал его, и старец сказал ему, что он не должен будет отказываться, если его назначат на высшие должности.

И тогда монашеское честолюбие, то самое, которое так противно было в монахах, поднялось в нем. Его назначили в близкий к столице монастырь. Он хотел отказаться, но старец велел ему принять назначение. Он принял назначение, простился с старцем и переехал в другой монастырь.

Переход этот в столичный монастырь был важным событием в жизни Сергия. Соблазнов всякого рода было много, и все силы Сергия были направлены на это.

В прежнем монастыре соблазн женский мало мучал Сергия, здесь же соблазн этот поднялся с страшной силой и дошел до того, что получил даже определенную форму. Была известная своим дурным поведением барыня, которая начала заискивать в Сергии. Она заговорила с ним и просила его посетить ее. Сергий отказал строго, но ужаснулся определенности своего желания. Он так испугался, что написал о том старцу, но мало того, чтобы окоротить себя, призвал своего молодого послушника и, покоряя стыд, признался ему в своей слабости, прося его следить за ним и не пускать его никуда, кроме служб и послушаний.

Кроме того, великий соблазн для Сергия состоял в том, что игумен этого монастыря, светский, ловкий человек, делавший духовную карьеру, был в высшей степени антипатичен Сергию. Как ни бился с собой Сергий, он не мог преодолеть этой антипатии. Он смирялся, но в глубине души не переставал осуждать. И дурное чувство это разразилось.

Это было уже на второй год пребывания его в новом монастыре. И случилось это вот как. В Покров всенощная шла в большой церкви. Много было приезжего народа. Служил сам игумен. Отец Сергий стоял на обычном своем месте и молился, то есть находился в том состоянии борьбы, в котором он всегда находился во время служб, особенно в большой церкви, когда он не служил сам. Борьба состояла в том, что его раздражали посетители, господа, особенно дамы. Он старался не видеть их, не замечать всего того, что делалось: не видеть того, как солдат провожал их, расталкивая народ, как дамы показывали друг другу монахов — часто его даже и известного красавца монаха. Он старался, выдвинув как бы шоры своему вниманию, не видеть ничего, кроме блеска свечей у иконостаса, иконы и служащих; не слышать ничего, кроме петых и произносимых слов молитв, и не испытывать

никакого другого чувства, кроме того самозабвения в сознании исполнения должного, которое он испытывал всегда, слушая и повторяя вперед столько раз слышанные молитвы.

Так он стоял, кланялся, крестился там, где это нужно было, и боролся, отдаваясь то холодному осуждению, то сознательно вызываемому замиранию мыслей и чувств, когда ризничий, отец Никодим, тоже великое искушение для отца Сергия,— Никодим, которого он невольно упрекал в подделыванье и лести к игумну,— подошел к нему и, поклонившись перегибающимся надвое поклоном, сказал, что игумен зовет его к себе в алтарь. Отец Сергий обдернул мантию, надел клобук и пошел осторожно через толпу.

— Lise, regardez à droit, c'est lui [1], — послышался ему женский голос.

— Où, où? Il n'est pas tellement beau [2].

Он знал, что это говорили про него. Он слышал и, как всегда в минуты искушений, твердил слова: «И не введи нас во искушение»,— и, опустив голову и глаза, прошел мимо амвона и, обойдя канонархов в стихарях, проходивших в это время мимо иконостаса, вошел в северные двери. Войдя в алтарь, он, по обычаю, крестно поклонился, перегибаясь надвое, перед иконой, потом поднял голову и взглянул на игумна, которого фигуру рядом с другой блестящей чем-то фигурой он видел углом глаза, не обращаясь к ним.

Игумен стоял в облачении у стены, выпростав короткие пухлые ручки из-под ризы над толстым телом и животом и растирая галун ризы, улыбаясь, говорил что-то с военным в генеральском свитском мундире с вензелями и аксельбантами, которые сейчас рассмотрел отец Сергий своим привычным военным глазом. Генерал этот был бывший полковой командир их полка. Теперь он, очевидно, занимал важное положение, и отец Сергий тотчас же заметил, что игумен знает это и рад этому, и оттого так сияет его красное толстое лицо с лысиной. Это оскорбило и огорчило отца Сергия, и чувство это еще усилилось, когда он услыхал от игумна, что вызов его, отца Сергия, ни на что другое не был нужен, как на то, чтобы удовлет-

---

[1] Лиза, взгляни направо, это он *(франц.)*.
[2] Где, где? Он не так уж красив *(франц.)*.

ворить любопытству генерала увидать своего прежнего сослуживца, как он выразился.

— Очень рад видеть вас в ангельском образе,— сказал генерал, протягивая руку,— надеюсь, что вы не забыли старого товарища.

Все лицо игумна, среди седин красное и улыбающееся, как бы одобряющее то, что говорил генерал, выхоленное лицо генерала с самодовольной улыбкой, запах вина изо рта генерала и сигар от его бакенбард — все это взорвало отца Сергия. Он поклонился еще раз игумну и сказал:

— Ваше преподобие изволили звать меня? — И он остановился, всем выражением лица и позы спрашивая: зачем?

Игумен сказал:

— Да, повидаться с генералом.

— Ваше преподобие, я ушел от мира, чтобы спастись от соблазнов,— сказал он, бледнея и с трясущимися губами. — За что же вы здесь подвергаете меня им? Во время молитвы и в храме божием.

— Иди, иди,— вспыхнув и нахмурившись, сказал игумен.

На другой день отец Сергий просил прощенья у игумна и братии за свою гордость, но вместе с тем, после ночи, проведенной в молитве, решил, что ему надо оставить этот монастырь, и написал об этом письмо старцу, умоляя его разрешить ему перейти назад в монастырь старца. Он писал, что чувствует свою слабость и неспособность бороться один против соблазнов без помощи старца. И каялся в своем грехе гордости. С следующей почтой пришло письмо от старца, в котором тот писал ему, что причиной всему его гордость. Старец разъяснял ему, что его вспышка гнева произошла оттого, что он смирился, отказавшись от духовных почестей не ради бога, а ради своей гордости, что вот, мол, я какой, ни в чем не нуждаюсь. От этого он и не мог перенести поступка игумна. Я всем пренебрег для бога, а меня показывают, как зверя. «Если бы ты пренебрег славой для бога, ты бы снес. Еще не потухла в тебе гордость светская. Думал я о тебе, чадо Сергий, и молился, и вот что о тебе бог внушил мне: живи по-прежнему и покорись. В это время стало известно, что в скиту помер святой жизни затворник Илларион. Он жил там восемнадцать лет. Игумен тамбинский спрашивал, нет ли брата, который хотел бы жить там. А тут

твое письмо. Ступай к отцу Паисию в Тамбинский монастырь, я напишу ему, а ты просись занять Илларионову келью. Не то, чтобы ты мог заменить Иллариона, но тебе нужно уединение, чтобы смирить гордыню. Да благословит тебя бог».

Сергий послушался старца, показал его письмо игумну и, испросив его позволения, отдав свою келью и все свои вещи монастырю, уехал в Тамбинскую пустынь.

В Тамбинской пустыни настоятель, прекрасный хозяин, из купцов, принял просто и спокойно Сергия и поместил его в келье Иллариона, дав сначала ему келейника, а потом, по желанию Сергия, оставив его одного. Келья была пещера, выкопанная в горе. В ней был и похоронен Илларион. В задней пещере был похоронен Илларион, в ближней была ниша для спанья, с соломенным матрацем, столик и полка с иконами и книгами. У двери наружной, которая запиралась, была полка; на эту полку раз в день монах приносил пищу из монастыря.

И отец Сергий стал затворником.

IV

На масленице шестого года жизни Сергия в затворе из соседнего города, после блинов с вином, собралась веселая компания богатых людей, мужчин и женщин, кататься на тройках. Компания состояла из двух адвокатов, одного богатого помещика, офицера и четырех женщин. Одна была жена офицера, другая — помещика, третья была девица, сестра помещика, и четвертая была разводная жена, красавица, богачка и чудачка, удивлявшая и мутившая город своими выходками.

Погода была прекрасная, дорога — как пол. Проехали верст десять за городом, остановились, и началось совещание, куда ехать: назад или дальше.

— Да куда ведет эта дорога? — спросила Маковкина, разводная жена, красавица.

— В Тамбино, отсюда двенадцать верст,— сказал адвокат, ухаживавший за Маковкиной.

— Ну, а потом?

— А потом на Л. через монастырь.

— Там, где отец Сергий этот живет?

— Да.

— Касатский? Этот красавец пустынник?

— Да.

— Медам! Господа! Едемте к Касатскому. В Тамбине отдохнем, закусим.

— Но мы не поспеем ночевать домой.

— Ничего, ночуем у Касатского.

— Положим, там есть гостиница монастырская, и очень хорошо. Я был, когда защищал Махина.

— Нет, я у Касатского буду ночевать.

— Ну, уж это даже с вашим всемогуществом невозможно.

— Невозможно? Пари.

— Идет. Если вы ночуете у него, то я что хотите.

— A discrétion [1].

— А вы тоже!

— Ну да. Едемте.

Ямщикам поднесли вина. Сами достали ящик с пирожками, вином, конфетами. Дамы закутались в белые собачьи шубы. Ямщики поспорили, кому ехать передом, и один, молодой, повернувшись ухарски боком, повел длинным кнутовищем, крикнул,— и залились колокольчики, и завизжали полозья.

Сани чуть подрагивали и покачивались, пристяжная ровно и весело скакала с своим круто подвязанным хвостом над наборной шлеей, ровная, масленая дорога быстро убегала назад, ямщик ухарски пошевеливал вожжами, адвокат, офицер, сидя напротив, что-то врали с соседкой Маковкиной, а она сама, завернувшись туго в шубу, сидела неподвижно и думала: «Все одно и то же, и все гадкое: красные, глянцевитые лица с запахом вина и табаку, те же речи, те же мысли, и все вертится около самой гадости. И все они довольны и уверены, что так надо, и могут так продолжать жить до смерти. Я не могу. Мне скучно. Мне нужно что-нибудь такое, что бы все это расстроило, перевернуло. Ну, хоть бы как те, в Саратове, кажется, поехали и замерзли. Ну, что бы наши сделали? Как бы вели себя? Да, наверно, подло. Каждый бы за себя. Да и я тоже подло вела бы себя. Но я, по крайней мере, хороша. Они-то знают это. Ну, а этот монах? Неужели он этого уже не понимает? Неправда. Это одно они понимают. Как осенью с этим кадетом. И какой он дурак был...»

---

[1] По усмотрению *(франц.)*.

— Иван Николаич! — сказала она.
— Что прикажете?
— Да ему сколько лет?
— Кому?
— Да Касатскому.
— Кажется, лет за сорок.
— И что же, он принимает всех?
— Всех, но не всегда.
— Закройте мне ноги. Не так. Какой вы неловкий! Ну, еще, еще, вот так. А ног моих жать не нужно.

Так они доехали до леса, где стояла келья.

Она вышла и велела им уехать. Они отговаривали ее, но она рассердилась и велела уезжать. Тогда сани уехали, а она, в своей белой собачьей шубе, пошла по дорожке. Адвокат слез и остался смотреть.

V

Отец Сергий жил шестой год в затворе. Ему было сорок девять лет. Жизнь его была трудная. Не трудами поста и молитвы, это были не труды, а внутренней борьбой, которой он никак не ожидал. Источников борьбы было два: сомнение и плотская похоть. И оба врага всегда поднимались вместе. Ему казалось, что это были два разные врага, тогда как это был один и тот же. Как только уничтожалось сомненье, так уничтожалась похоть. Но он думал, что это два разные дьявола, и боролся с ними порознь.

«Боже мой! боже мой! — думал он.— За что не даешь ты мне веры. Да, похоть, да, с нею боролись святой Антоний и другие, но вера. Они имели ее, а у меня вот минуты, часы, дни, когда нет ее. Зачем весь мир, вся прелесть его, если он греховен и надо отречься от него? Зачем ты сделал этот соблазн? Соблазн? Но не соблазн ли то, что я хочу уйти от радостей мира и что-то готовлю там, где ничего нет, может быть.— Сказал он себе и ужаснулся, омерзился на самого себя.— Гадина! Гадина! Хочешь быть святым»,— начал он бранить себя. И стал на молитву. Но только что он начал молиться, как ему живо представился он сам, каким он бывал в монастыре: в клобуке, в мантии, в величественном виде. И он покачал головой. «Нет, это не то. Это обман. Но других я обману, а не себя и не бога. Не величественный я человек, а жалкий, смеш-

пой». И он откинул полы рясы и посмотрел на свои жалкие ноги в подштанниках. И улыбнулся.

Потом он опустил пóлы и стал читать молитвы, креститься и кланяться. «Неужели одр сей мне гроб будет?» — читал он. И как бы дьявол какой шепнул ему: «Одр одинокий и то гроб. Ложь». И он увидал в воображении плечи вдовы, с которой он жил. Он отряхнулся и продолжал читать. Прочтя правила, он взял Евангелие, раскрыл его и напал на место, которое он часто твердил и знал наизусть: «Верую, господи, помоги моему неверию». Он убрал назад все выступающие сомнения. Как устанавливают предмет неустойчивого равновесия, он установил опять свою веру на колеблющейся ножке и осторожно отступил от нее, чтобы не толкнуть и не завалить ее. Шоры выдвинулись опять, и он успокоился. Он повторил свою детскую молитву: «Господи, возьми, возьми меня»,— и ему не только легко, но радостно-умиленно стало. Он перекрестился и лег на свою подстилочку на узенькой скамье, положив под голову летнюю ряску. И он заснул. В легком сне ему казалось, что он слышал колокольчики. Он не знал, наяву ли это было или во сне. Но вот из сна его разбудил стук в его двери. Он поднялся, не веря себе. Но стук повторился. Да, это был стук близкий, в его двери, и женский голос.

«Боже мой! Да неужели правда то, что я читал в житиях, что дьявол принимает вид женщины... Да, это голос женщины. И голос нежный, робкий и милый! Тьфу! — он плюнул.— Нет, мне кажется»,— сказал он и отошел к углу, перед которым стоял аналойчик, и опустился на колена тем привычным правильным движением, в котором, в движении в самом, он находил утешение и удовольствие. Он опустился, волосы повисли ему на лицо, и прижал оголявшийся уже лоб к сырой, холодной полосушке. (В полу дуло.)

...читал он псалом, который, ему говорил старичок отец Пимен, помогал от наваждения. Он легко поднял на сильных нервных ногах свое исхудалое легкое тело и хотел продолжать читать дальше, но не читал, а невольно напрягал слух, чтобы слышать. Ему хотелось слышать. Было совсем тихо. Те же капли с крыши падали в кадушку, поставленную под угол. На дворе была мга, туман, съедавший снег. Было тихо, тихо. И вдруг зашуршало у окна, и явственно голос — тот же нежный робкий голос,

такой голос, который мог принадлежать только привлекательной женщине, проговорил:

— Пустите. Ради Христа...

Казалось, вся кровь прилила к сердцу и остановилась. Он не мог вздохнуть. «Да воскреснет бог и расточатся врази...»

— Да я не дьявол...— и слышно было, что улыбались уста, говорившие это. — Я не дьявол, я просто грешная женщина, заблудилась — не в переносном, а в прямом смысле (она засмеялась), измерзла и прошу приюта...

Он приложил лицо к стеклу. Лампадка отсвечивала и светилась везде в стекле. Он приставил ладони к обеим сторонам лица и вгляделся. Туман, мга, дерево, а вот направо. Она. Да, она, женщина в шубе с белой длинной шерстью, в шапке, с милым, милым, добрым испуганным лицом, тут, в двух вершках от его лица, пригнувшись к нему. Глаза их встретились и узнали друг друга. Не то чтобы они видели когда друг друга: они никогда не видались, но во взгляде, которым они обменялись, они (особенно он) почувствовали, что они знают друг друга, понятны друг другу. Сомневаться после этого взгляда в том, что это был дьявол, а не простая, добрая, милая, робкая женщина, нельзя было.

— Кто вы? Зачем вы? — сказал он.

— Да отоприте же,— с капризным самовластьем сказала она.— Я измерзла. Говорю вам, заблудилась.

— Да ведь я монах, отшельник.

— Ну, так и отоприте. А то хотите, чтоб я замерзла под окном, пока вы будете молиться.

— Да как вы...

— Не съем же я вас. Ради бога пустите. Я озябла наконец.

Ей самой становилось жутко. Она сказала это плачущим почти голосом.

Он отошел от окна, взглянул на икону Христа в терновом венке. «Господи, помоги мне, господи, помоги мне»,— проговорил он, крестясь и кланяясь в пояс, и подошел к двери, отворил ее в сенцы. В сенях ощупал крючок и стал откидывать его. С той стороны он слышал шаги. Она от окна переходила к двери. «Ай!» — вдруг вскрикнула она. Он понял, что она ногой попала в лужу, натекшую у порога. Руки его дрожали, и он никак не мог поднять натянутый дверью крючок.

— Да что же вы, пустите же. Я вся измокла. Я замерзла. Вы об спасении души думаете, а я замерзла.

Он натянул дверь к себе, поднял крючок и, не рассчитав толчок, сунул дверь внаружу так, что толкнул ее.

— Ах, извините! — сказал он, вдруг совершенно перенесясь в давнишнее, привычное обращение с дамами.

Она улыбнулась, услыхав это «извините». «Ну, он не так еще страшен»,— подумала она.

— Ничего, ничего. Вы простите меня,— сказала она, проходя мимо его.— Я бы никогда не решилась. Но такой особенный случай.

— Пожалуйте, — проговорил он, пропуская ее мимо. Сильный запах, давно не слышанный им, тонких духов поразил его. Она прошла через сени в горницу. Он захлопнул наружную дверь, не накидывая крючка, прошел сени и вошел в горницу.

«Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй мя грешного, господи, помилуй мя грешного»,— не переставая молился он не только внутренно, но и невольно наружно шевеля губами.

— Пожалуйте, — сказал он.

Она стояла посреди комнаты, с нее текло на пол, и разглядывала его. Глаза ее смеялись.

— Простите меня, что я нарушила ваше уединение. Но видите, в каком я положении. Произошло это оттого, что мы из города поехали кататься, и я побилась об заклад, что дойду одна от Воробьевки до города, но тут сбилась с дороги и вот, если бы не набрела на вашу келью...—начала она лгать. Но лицо его смущало ее, так что она не могла продолжать и замолчала. Она ожидала его совсем не таким. Он был не такой красавец, каким она воображала его, но он был прекрасен в ее глазах. Вьющиеся с проседью волосы головы и бороды, правильный тонкий нос и, как угли, горящие глаза, когда он прямо взглядывал, поразили ее.

Он видел, что она лжет.

— Да, так,— сказал он, взглянув на нее и опять опуская глаза.— Я пройду сюда, а вы располагайтесь.

И он, сняв лампочку, зажег свечу и, низко поклонившись ей, вышел в каморочку за перегородкой, и она слышала, как он что-то стал двигать там. «Вероятно, запирается чем-нибудь от меня»,— подумала она, улыбнувшись, и, скинув собачью белую ротонду, стала снимать шапку, зацепившуюся за волоса, и вязаный платок, бывший под

ней. Она вовсе не промокла, когда стояла под окном, и говорила про это только как предлог, чтоб он пустил ее. Но у двери она, точно, попала в лужу, и левая нога была мокра до икры, и ботинок и ботик полон воды. Она села на его койку — доску, только покрытую ковриком,— и стала разуваться. Келейка эта казалась ей прелестной. Узенькая, аршина в три горенка, длиной аршина четыре, была чиста, как стеклышко. В горенке была только койка, на которой она сидела, над ней полочка с книгами. В углу аналойчик. У двери гвозди, шуба и ряса. Над аналойчиком образ Христа в терновом венке и лампадка. Пахло странно: маслом, пóтом и землей. Все нравилось ей. Даже этот запах.

Мокрые ноги, особенно одна, беспокоили ее, и она поспешно стала разуваться, не переставая улыбаться, радуясь не столько тому, что она достигла своей цели, сколько тому, что она видела, что смутила его — этого прелестного, поразительного, странного, привлекательного мужчину. «Ну, не ответил, ну что же за беда», — сказала она себе.

— Отец Сергий! Отец Сергий! Так ведь вас звать?

— Что вам надо? — отвечал тихий голос.

— Вы, пожалуйста, простите меня, что я нарушила ваше уединение. Но, право, я не могла иначе. Я бы прямо заболела. Да и теперь я не знаю. Я вся мокрая, ноги как лед.

— Простите меня,— отвечал тихий голос,— я ничем не могу служить.

— Я бы ни за что не потревожила вас. Я только до рассвета.

Он не отвечал. И она слышала, что он шепчет что-то,— очевидно, молится.

— Вы не взойдете сюда? — спросила она улыбаясь.— А то мне надо раздеться, чтобы высушиться.

Он не отвечал, продолжая за стеной ровным голосом читать молитвы.

«Да, это человек»,— думала она, с трудом стаскивая шлюпающий ботик. Она тянула его и не могла, и ей смешно это стало. И она чуть слышно смеялась, но, зная, что он слышит ее смех и что смех этот подействует на него именно так, как она этого хотела, она засмеялась громче, и смех этот, веселый, натуральный, добрый, действительно подействовал на него, и именно так, как она этого хотела.

«Да, такого человека можно полюбить. Эти глаза. И это простое, благородное и — как он ни бормочи молитвы — и страстное лицо! — думала она.— Нас, женщин, не обманешь. Еще когда он придвинул лицо к стеклу и увидал меня, и понял, и узнал. В глазах блеснуло и припечаталось. Он полюбил, пожелал меня. Да, пожелал», — говорила она, сняв, наконец, ботик и ботинок и принимаясь за чулки. Чтобы снять их, эти длинные чулки на ластиках, надо было поднять юбки. Ей совестно стало, и она проговорила:

— Не входите.

Но из-за стены не было никакого ответа. Продолжалось равномерное бормотание и еще звуки движения. «Верно, он кланяется в землю,— думала она.— Но не откланяется он,— проговорила она.— Он обо мне думает. Так же, как я об нем. С тем же чувством думает он об этих ногах»,— говорила она, сдернув мокрые чулки и ступая босыми ногами по койке и поджимая их под себя. Она посидела так недолго, обхватив колени руками и задумчиво глядя перед собой. «Да эта пустыня, эта тишина. И никто никогда не узнал бы...»

Она встала, снесла чулки к печке, повесила их на отдушник. Какой-то особенный был отдушник. Она повертела его и потом, легко ступая босыми ногами, вернулась на койку и опять села на нее с ногами. За стеной совсем затихло. Она посмотрела на крошечные часы, висевшие у нее на шее. Было два часа. «Наши должны подъехать около трех». Оставалось не больше часа.

«Что ж, я так просижу тут одна. Что за вздор! Не хочу я. Сейчас позову его».

— Отец Сергий! Отец Сергий! Сергей Дмитрич. Князь Касатский!

За дверью было тихо.

— Послушайте, это жестоко. Я бы не звала вас. Если бы мне не нужно было. Я больна. Я не знаю, что со мной,— заговорила она страдающим голосом.— Ох, ох! — застонала она, падая на койку. И странное дело, она точно чувствовала, что она изнемогает, вся изнемогает, что все болит у нее и что ее трясет дрожь, лихорадка.

— Послушайте, помогите мне. Я не знаю, что со мной. Ох! Ох! — Она расстегнула платье, открыла грудь и закинула обнаженные по локоть руки.— Ох, ох!

Все это время он стоял в своем чулане и молился. Прочтя все вечерние молитвы, он теперь стоял неподвиж-

но, устремив глаза на кончик носа и творил умную молитву, духом повторяя: «Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй мя».

Но он все слышал. Он слышал, как она шуршала шелковой тканью, снимая платье, как она ступала босыми ногами по полу; он слышал, как она терла себе рукой ноги. Он чувствовал, что он слаб и что всякую минуту может погибнуть, и потому не переставая молился. Он испытывал нечто подобное тому, что должен испытывать тот сказочный герой, который должен был идти не оглядываясь. Так и Сергий слышал, чуял, что опасность, погибель тут, над ним, вокруг него, и он может спастись, только ни на минуту не оглядываясь на нее. Но вдруг желание взглянуть охватило его. В то же мгновение она сказала:

— Послушайте, это бесчеловечно. Я могу умереть.

«Да, я пойду, но так, как делал тот отец, который накладывал одну руку на блудницу, а другую клал в жаровню. Но жаровни нет». Он оглянулся. Лампа. Он выставил палец над огнем и нахмурился, готовясь терпеть, и довольно долго ему казалось, что он не чувствует, но вдруг — он еще не решил, больно ли и насколько, как он сморщился весь и отдернул руку, махая ею. «Нет, я не могу этого».

— Ради бога! Ох, подите ко мне! Я умираю, ох!

«Так что же, я погибну? Так нет же».

— Сейчас я приду к вам,— проговорил он и, отворив свою дверь, не глядя на нее, прошел мимо нее в дверь в сени, где он рубил дрова, ощупал чурбан, на котором он рубил дрова, и топор, прислоненный к стене.

— Сейчас,— сказал он и, взяв топор в правую руку, положил указательный палец левой руки на чурбан, взмахнул топором и ударил по нем ниже второго сустава. Палец отскочил легче, чем отскакивали дрова такой же толщины, перевернулся и шлепнулся на край чурбана и потом на пол.

Он услыхал этот звук прежде, чем почувствовал боль. Но не успел он удивиться тому, что боли нет, как он почувствовал жгучую боль и тепло полившейся крови. Он быстро прихватил отрубленный сустав подолом рясы и, прижав его к бедру, вошел назад в дверь и, остановившись против женщины, опустив глаза, тихо спросил:

— Что вам?

Она взглянула на его побледневшее лицо с дрожащей левой щекой, и вдруг ей стало стыдно. Она вскочила, схватила шубу и, накинув на себя, закуталась в нее.

— Да, мне было больно... я простудилась... я... Отец Сергий... я...

Он поднял на нее глаза, светившиеся тихим радостным светом, и сказал:

— Милая сестра, за что ты хотела погубить свою бессмертную душу? Соблазны должны войти в мир, но горе тому, через кого соблазн входит... Молись, чтобы бог простил нас.

Она слушала его и смотрела на него. Вдруг она услыхала капли падающей жидкости. Она взглянула и увидела, как по рясе текла из руки кровь.

— Что вы сделали с рукой? — Она вспомнила звук, который слышала, и, схватив лампаду, выбежала в сени и увидала на полу окровавленный палец. Бледнее его она вернулась и хотела сказать ему; но он тихо прошел в чулан и запер за собой дверь.

— Простите меня,— сказала она.— Чем выкуплю я грех свой?

— Уйди.

— Дайте я перевяжу вам рану.

— Уйди отсюда.

Торопливо и молча оделась она. И готовая, в шубе, сидела, ожидая. С надворья послышались бубенцы.

— Отец Сергий. Простите меня.

— Уйди. Бог простит.

— Отец Сергий. Я переменю свою жизнь. Не оставляйте меня.

— Уйди.

— Простите и благословите меня.

— Во имя отца и сына и святого духа,— послышалось из-за перегородки.— Уйди.

Она зарыдала и вышла из кельи. Адвокат шел ей навстречу.

— Ну, проиграл, нечего делать. Куда ж вы сядете?

— Все равно.

Она села и до дома не сказала ни одного слова.

Через год она была пострижена малым постригом и жила строгой жизнью в монастыре под руководительством затворника Арсения, который изредка писал ей письма.

VI

В затворе прожил отец Сергий еще семь лет. Сначала отец Сергий принимал многое из того, что ему приносили: и чай, и сахар, и белый хлеб, и молоко, и одежду, и дрова. Но чем дальше и дальше шло время, тем строже и строже он устанавливал свою жизнь, отказываясь от всего излишнего, и, наконец, дошел до того, что не принимал больше ничего, кроме черного хлеба один раз в неделю. Все то, что приносили ему, он раздавал бедным, приходившим к нему.

Все время свое отец Сергий проводил в келье на молитве или в беседе с посетителями, которых все становилось больше и больше. Выходил отец Сергий только в церковь раза три в год и за водой и за дровами, когда была в том нужда.

После пяти лет такой жизни случилось то ставшее скоро везде известным событие с Маковкиной, ее ночное посещение, совершившаяся в ней после этого перемена и ее поступление в монастырь. С тех пор слава отца Сергия стала увеличиваться. Посетителей стало приходить все больше и больше, и около его кельи поселились монахи, построилась церковь и гостиница. Слава про отца Сергия, как всегда, преувеличивая его подвиги, шла все дальше и дальше. Стали стекаться к нему издалека и стали приводить к нему болящих, утверждая, что он исцеляет их.

Первое исцеление было на восьмой год его жизни в затворе. Это было исцеление четырнадцатилетнего мальчика, которого привела мать к отцу Сергию с требованием, чтобы он наложил на него руки. Отцу Сергию и в мысль не приходило, чтобы он мог исцелять болящих. Он считал бы такую мысль великим грехом гордости; но мать, приведшая мальчика, неотступно молила его, валялась в ногах, говорила: за что он, исцеляя других, не хочет помочь ее сыну, просила ради Христа. На утверждение отца Сергия, что только бог исцеляет, говорила, что она просит его только наложить руку и помолиться. Отец Сергий отказался и ушел в свою келью. Но на другой день (это было осенью, и уже ночи были холодные) он, выйдя из кельи за водой, увидал опять ту же мать с своим сыном, четырнадцатилетним бледным, исхудавшим мальчиком, и услыхал те же мольбы. Отец Сергий вспомнил притчу о неправедном судье и, прежде не имевши

сомнений в том, что он должен отказать, почувствовал сомнение, а почувствовав сомнение, стал на молитву и молился до тех пор, пока в душе его не возникло решение. Решение было такое, что он должен исполнить требование женщины, что вера ее может спасти ее сына; сам же он, отец Сергий, в этом случае не что иное, как ничтожное орудие, избранное богом.

И, выйдя к матери, отец Сергий исполнил ее желание, положил руку на голову мальчика и стал молиться.

Мать уехала с сыном, и через месяц мальчик выздоровел, и по округе прошла слава о святой целебной силе старца Сергия, как его называли теперь. С тех пор не проходило недели, чтобы к отцу Сергию не приходили, не приезжали больные. И, не отказав одним, он не мог отказывать и другим, и накладывал руку и молился, и исцелялись многие, и слава отца Сергия распространялась дальше и дальше.

Так прошло девять лет в монастыре и тринадцать в уединении. Отец Сергий имел вид старца: борода у него была длинная и седая, но волосы, хотя и редкие, еще черные и курчавые.

VII

Отец Сергий уже несколько недель жил с одной неотступною мыслью: хорошо ли он делал, подчиняясь тому положению, в которое он не столько сам стал, сколько поставили его архимандрит и игумен. Началось это после выздоровевшего четырнадцатилетнего мальчика, с тех пор с каждым месяцем, неделей, днем Сергий чувствовал, как уничтожалась его внутренняя жизнь и заменялась внешней. Точно его выворачивали наружу.

Сергий видел, что он был средством привлечения посетителей и жертвователей к монастырю и что потому монастырские власти обставляли его такими условиями, в которых бы он мог быть наиболее полезен. Ему, например, не давали уже совсем возможности трудиться. Ему припасали все, что ему могло быть нужно, и требовали от него только того, чтобы он не лишал своего благословения тех посетителей, которые приходили к нему. Для его удобства устроили дни, в которые он принимал. Устроили приемную для мужчин и место, огороженное перилами так, что его не сбивали с ног бросавшиеся к нему

посетительницы, — место, где он мог благословлять приходящих. Если говорили, что он нужен был людям, что, исполняя закон христов любви, он не мог отказывать людям в их требовании видеть его, что удаление от этих людей было бы жестокостью, он не мог не соглашаться с этим, но, по мере того как он отдавался этой жизни, он чувствовал, как внутреннее переходило во внешнее, как иссякал в нем источник воды живой, как то, что он делал, он делал все больше и больше для людей, а не для бога.

Говорил ли он наставления людям, просто благословлял ли, молился ли о болящих, давал ли советы людям о направлении их жизни, выслушивал ли благодарность людей, которым он помог либо исцелением, как ему говорили, либо поучением, он не мог не радоваться этому, не мог не заботиться о последствиях своей деятельности, о влиянии ее на людей. Он думал о том, что он был светильник горящий, и чем больше он чувствовал это, тем больше он чувствовал ослабление, потухание божеского света истины, горящего в нем. «Насколько то, что я делаю, для бога и насколько для людей?» — вот вопрос, который постоянно мучал его и на который он никогда не то что не мог, но не решался ответить себе. Он чувствовал в глубине души, что дьявол подменил всю его деятельность для бога деятельностью для людей. Он чувствовал это потому, что как прежде ему тяжело было, когда его отрывали от его уединения, так ему тяжело было его уединение. Он тяготился посетителями, уставал от них, но в глубине души он радовался им, радовался тем восхвалениям, которыми окружали его.

Было даже время, когда он решил уйти, скрыться. Он даже все обдумал, как это сделать. Он приготовил себе мужицкую рубаху, портки, кафтан и шапку. Он объяснил, что это нужно ему для того, чтобы давать просящим. И он держал это одеяние у себя, придумывая, как он оденется, острижет волосы и уйдет. Сначала он уедет на поезде, проедет триста верст, сойдет и пойдет по деревням. Он расспрашивал старика солдата, как он ходит, как подают и пускают. Солдат рассказал, как и где лучше подают и пускают, и вот так и хотел сделать отец Сергий. Он даже раз оделся ночью и хотел идти, но он не знал, что хорошо: оставаться или бежать. Сначала он был в нерешительности, потом нерешительность прошла, он привык и покорился дьяволу, и одежда мужицкая только напоминала ему его мысли и чувства.

С каждым днем все больше и больше приходило к нему людей и все меньше и меньше оставалось времени для духовного укрепления и молитвы. Иногда, в светлые минуты, он думал так, что он стал подобен месту, где прежде был ключ. «Был слабый ключ воды живой, который тихо тек из меня, через меня. То была истинная жизнь, когда «она» (он всегда с восторгом вспоминал эту ночь и ее. Теперь мать Агнию) соблазняла его. Она вкусила той чистой воды. Но с тех пор не успевает набраться вода, как жаждущие приходят, теснятся, отбивая друг друга. И они затолкли все, осталась одна грязь». Так думал он в редкие, светлые минуты; но самое обыкновенное состояние его было: усталость и умиление перед собой за эту усталость.

Была весна, канун праздника преполовения. Отец Сергий служил всенощную в своей пещерной церкви. Народу было столько, сколько могло поместиться, человек двадцать. Это всё были господа и купцы — богатые. Отец Сергий пускал всех, но эту выборку делали монах, приставленный к нему, и дежурный, присылаемый ежедневно к его затвору из монастыря. Толпа народа, человек в восемьдесят странников, в особенности баб, толпилась наружи, ожидая выхода отца Сергия и его благословения. Отец Сергий служил и, когда он вышел, славя... к гробу своего предшественника, он пошатнулся и упал бы, если бы стоявший за ним купец и за ним монах, служивший за дьякона, не подхватили его.

— Что с вами? Батюшка, отец Сергий! Голубчик! Господи! — заговорили голоса женщин.— Как платок стали.

Но отец Сергий тотчас же оправился и, хотя и очень бледный, отстранил от себя купца и дьякона и продолжал петь. Отец Серапион, дьякон, и причетники, и барыня Софья Ивановна, жившая всегда при затворе и ухаживавшая за отцом Сергием, стали просить его прекратить службу.

— Ничего, ничего,— улыбаясь чуть заметно под своими усами, проговорил отец Сергий,— не прерывайте службу.

«Да, так святые делают»,— подумал он.

— Святой! Ангел божий! — послышался ему тотчас же сзади его голос Софьи Ивановны и еще того купца, который поддержал его. Он не послушался уговоров

и продолжал служить. Опять теснясь, все прошли коридорчиками назад к маленькой церкви, и там, хотя немного и сократив ее, отец Сергий дослужил всенощную.

Тотчас после службы отец Сергий благословил бывших тут и вышел на лавочку под вяз у входа в пещеры. Он хотел отдохнуть, подышать свежим воздухом, чувствовал, что ему это необходимо, но только что он вышел, как толпа народа бросилась к нему, прося благословенья и спрашивая советов и помощи. Тут были странницы, всегда ходящие от святого места к святому месту, от старца к старцу и всегда умиляющиеся перед всякой святыней и всяким старцем. Отец Сергий знал этот обычный, самый нерелигиозный, холодный, условный тип; тут были странники, большей частью из отставных солдат, отбившиеся от оседлой жизни, бедствующие и большей частью запивающие старики, шляющиеся из монастыря в монастырь, только чтобы кормиться; тут были и серые крестьяне и крестьянки с своими эгоистическими требованиями исцеления или разрешения сомнений о самых практических делах: о выдаче дочери, о найме лавочки, о покупке земли или о снятии с себя греха заспанного или прижитого ребенка. Все это было давно знакомо и неинтересно отцу Сергию. Он знал, что от этих лиц он ничего не узнает нового, что лица эти не вызовут в нем никакого религиозного чувства, но он любил видеть их, как толпу, которой он, его благословенье, его слово было нужно и дорого, и потому он и тяготился этой толпой, и она вместе с тем была приятна ему. Отец Серапион стал было отгонять их, говоря, что отец Сергий устал, но он, вспомнив при том слова Евангелия: «Не мешайте им (детям) приходить ко мне» и умилившись на себя при этом воспоминании, сказал, чтобы их пустили.

Он встал, подошел к перильцам, около которых они толпились, и стал благословлять их и отвечать на их вопросы голосом, слабостью звука которого он сам умилялся. Но, несмотря на желание, принять их всех он не мог: опять у него потемнело в глазах, он пошатнулся и схватился за перила. Опять он почувствовал прилив к голове и сначала побледнел, а потом вдруг вспыхнул.

— Да, видно, до завтра. Я не могу нынче, — сказал он и, благословив вообще всех, пошел к лавочке. Купец опять подхватил его и довел за руку и посадил.

— Отец! — послышалось в толпе.— Отец! Батюшка! Не покинь ты нас. Пропали мы без тебя!

Купец, усадив отца Сергия на лавочку под вязами, взял на себя обязанность полицейскую и очень решительно взялся прогонять народ. Правда, он говорил тихо, так что отец Сергий не мог слышать его, но говорил решительно и сердито:

— Убирайтесь, убирайтесь. Благословил, ну, чего же вам еще? Марш. А то, право, шею намну. Ну, ну! Ты, тетка, черные онучи, ступай, ступай. Ты куда лезешь? Сказано, шабаш. Что завтра бог даст, а нынче весь отошел.

— Батюшка, только из глазка на личико его взглянуть,— говорила старушка.

— Я те взгляну, куда лезешь?

Отец Сергий заметил, что купец что-то строго действует, и слабым голосом сказал келейнику, чтоб он не гнал народ. Отец Сергий знал, что он все-таки прогонит, и очень желал остаться один и отдохнуть, но послал келейника сказать, чтобы произвести впечатление.

— Хорошо, хорошо. Я не гоню, я усовещиваю,— отвечал купец,— ведь они ради доконать человека. У них жалости ведь нет, они только себя помнят. Нельзя, сказано. Иди. Завтра.

И купец прогнал всех.

Купец усердствовал и потому, что он любил порядок и любил гонять народ, помыкать им, и главное потому, что отец Сергий ему нужен был. Он был вдовец, и у него была единственная дочь, больная, не шедшая замуж, и он за тысячу четыреста верст привез ее к отцу Сергию, чтобы отец Сергий излечил ее. Он лечил эту дочь за два года ее болезни уж в разных местах. Сначала в губернском университетском городе в клинике — не помогли; потом возил ее к мужику в Самарскую губернию — немножко полегчало; потом возил к московскому доктору, заплатил много денег — ничего не помог. Теперь ему сказали, что отец Сергий излечивает, и вот он привез ее. Так что, когда купец разогнал весь народ, он подошел к отцу Сергию и, став без всяких приготовлений на колени, громким голосом сказал:

— Отец святый, благослови дщерь мою болящую, исцелить от боли недуга. Дерзаю прибегнуть к святым стопам твоим.— И он сложил горсточкой руку на руку. Все это он сделал и сказал так, как будто он делал нечто ясно и твердо определенное законом и обычаем, как будто именно так, а не каким-либо иным способом надо и

должно просить об исцелении дочери. Он сделал это с такою уверенностью, что даже и отцу Сергию показалось, что все это именно так и должно говорить и делать. Но он все-таки велел ему встать и рассказать, в чем дело. Купец рассказал, что дочь его, девица двадцати двух лет, заболела два года тому назад, после скоропостижной смерти матери, ахнула, как он говорит, и с тех пор повредилась. И вот он привез ее за тысячу четыреста верст, и она ждет в гостинице, когда отец Сергий прикажет привесть ее. Днем она не ходит, боится света, а может выходить только после заката солнца.

— Что же, она очень слаба? — сказал отец Сергий.

— Нет, слабости она особой не имеет и корпусна, а только нерастениха, как доктор сказывал. Если бы нынче приказал отец Сергий привесть ее, я бы духом слетал. Отец святый, оживите сердце родителя, восстановите род его — молитвами своими спасите болящую дщерь его.

И купец опять с размаха упал на колени и, склонившись боком головой над двумя руками горсточкой, замер. Отец Сергий опять велел ему встать и, подумав о том, как тяжела его деятельность и как, несмотря на то, он покорно несет ее, тяжело вздохнул и, помолчав несколько секунд, сказал:

— Хорошо, приведите ее вечером. Я помолюсь о ней, но теперь я устал.— И он закрыл глаза.— Я пришлю тогда.

Купец, на цыпочках ступая по песку, отчего сапоги только громче скрипели, удалился, и отец Сергий остался один.

Вся жизнь отца Сергия была полна службами и посетителями, но нынче был особенно трудный день. Утром был приезжий важный сановник, долго беседовавший с ним; после него была барыня с сыном. Сын этот был молодой профессор, неверующий, которого мать, горячо верующая и преданная отцу Сергию, привезла сюда и упросила отца Сергия поговорить с ним. Разговор был очень тяжелый. Молодой человек, очевидно, не желал вступать в спор с монахом, соглашался с ним во всем, как с человеком слабым, но отец Сергий видел, что молодой человек не верит и что, несмотря на то, ему хорошо, легко и спокойно. Отец Сергий с неудовольствием вспоминал теперь этот разговор.

— Покушать, батюшка,— сказал келейник.

— Да, что-нибудь принесите.

Келейник ушел в келейку, построенную в десяти шагах от входа в пещеры, а отец Сергий остался один.

Давно уже прошло то время, когда отец Сергий жил один и сам все делал для себя и питался одной просвирой и хлебом. Уже давно ему доказали, что он не имеет права пренебрегать своим здоровьем, и его питали постными, но здоровыми кушаньями. Он употреблял их мало, но гораздо больше, чем прежде, и часто ел с особенным удовольствием, а не так, как прежде, с отвращением и сознанием греха. Так это было и теперь. Он поел кашку, выпил чашку чая и съел половину белого хлеба.

Келейник ушел, и он остался один на лавочке под вязом.

Был чудный майский вечер, лист только что разлопушился на березах, осинах, вязах, черемухах и дубах. Черемуховые кусты за вязом были в полном цвету и еще не осыпались. Соловьи, один совсем близко и другие два или три внизу в кустах у реки, щелкали и заливались. С реки слышалось далеко пенье возвращавшихся, верно с работы, рабочих; солнце зашло за лес и брызгало разбившимися лучами сквозь зелень. Вся сторона эта была светлозеленая, другая, с вязом, была темная. Жуки летали, хлопались и падали.

После ужина отец Сергий стал творить умственную молитву: «Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас»,— а потом стал читать псалом, и вдруг, среди псалма, откуда ни возьмись, воробей слетел с куста на землю и, чиликая и попрыгивая, подскочил к нему, испугался чего-то и улетел. Он читал молитву, в которой говорил о своем отречении от мира, и торопился поскорее прочесть ее, чтобы послать за купцом с больною дочерью: она интересовала его. Она интересовала его тем, что это было развлечение, новое лицо, тем, что и отец ее и она считали его угодником, таким, чья молитва исполнялась. Он отрекался от этого, но он в глубине души сам считал себя таким.

Он часто удивлялся тому, как это случилось, что ему, Степану Касатскому, довелось быть таким необыкновенным угодником и прямо чудотворцем, но то, что он был такой, не было никакого сомнения: он не мог не верить тем чудесам, которые он сам видел, начиная с расслабленного мальчика и до последней старушки, получившей зрение по его молитве.

Как ни странно это было, это было так. Так купцова дочь интересовала его тем, что она была новое лицо, что

она имела веру в него, и тем еще, что предстояло опять на ней подтвердить свою силу исцеления и свою славу. «За тысячу верст приезжают, в газетах пишут, государь знает, в Европе, в неверующей Европе знают»,— думал он. И вдруг ему стало совестно своего тщеславия, и он стал опять молиться богу. «Господи, царю небесный, утешителю, душе истины, приди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, блаже, души наша. Очисти от скверны славы людской, обуревающей меня»,— повторил он и вспомнил, сколько раз он молился об этом и как тщетны были до сих пор в этом отношении его молитвы: молитва его делала чудеса для других, но для себя он не мог выпросить у бога освобождения от этой ничтожной страсти.

Он вспомнил молитвы свои в первое время затвора, когда он молился о даровании ему чистоты, смирения и любви, и о том, как ему казалось тогда, что бог услышал его молитвы, он был чист и отрубил себе палец, и он поднял сморщенный сборками отрезок пальца и поцеловал его; ему казалось, что он и был смиренен тогда, когда он постоянно гадок был себе своей греховностью, и ему казалось, что он имел тогда и любовь, когда вспоминал, с каким умилением он встретил тогда старика, зашедшего к нему, пьяного солдата, требовавшего денег, и ее. Но теперь? И он спросил себя: любит ли он кого, любит ли Софью Ивановну, отца Серапиона, испытал ли он чувство любви ко всем этим лицам, бывшим у него нынче, к этому ученому юноше, с которым он так поучительно беседовал, заботясь только о том, чтобы показать ему свой ум и неотсталость от образования. Ему приятна, нужна любовь от них, но к ним любви он не чувствовал. Не было у него теперь любви, не было и смирения, не было и чистоты.

Ему было приятно узнать, что купцовой дочери двадцать два года, и хотелось знать, красива ли она. И, спрашивая о ее слабости, он именно хотел знать, имеет ли она женскую прелесть или нет.

«Неужели я так пал? — подумал он. — Господи, помоги мне, восстанови меня, господь и бог мой». И он сложил руки и стал молиться. Соловьи заливались. Жук налетел на него и пополз по затылку. Он сбросил его. «Да есть ли он? Что, как я стучусь у запертого снаружи дома... Замок на двери, и я мог бы видеть его. Замок этот — соловьи, жуки, природа. Юноша прав, может быть». И он стал

громко молиться и долго молился, до тех пор пока мысли эти не исчезли и он почувствовал себя опять спокойным и уверенным. Он позвонил в колокольчик и вышедшему келейнику сказал, что пускай купец этот с дочерью придет теперь.

Купец привел под руку дочь, провел ее в келью и тотчас же ушел.

Дочь была белокурая, чрезвычайно белая, бледная, полная, чрезвычайно короткая девушка, с испуганным детским лицом и очень развитыми женскими формами. Отец Сергий остался на лавочке у входа. Когда проходила девушка и остановилась подле него и он благословил ее, он сам ужаснулся на себя, как он осмотрел ее тело. Она прошла, а он чувствовал себя ужаленным. По лицу ее он увидал, что она чувственна и слабоумна. Он встал и вошел в келью. Она сидела на табурете, дожидаясь его.

Когда он взошел, она встала.

— Я к папаше хочу,— сказала она.

— Не бойся,— сказал он.— Что у тебя болит?

— Все у меня болит,— сказала она, и вдруг лицо ее осветилось улыбкой.

— Ты будешь здорова, — сказал он. — Молись.

— Что молиться, я молилась, ничего не помогает. — И она все улыбалась. — Вот вы помолитесь да руки на меня наложите. Я во сне вас видела.

— Как видела?

— Видела, что вы вот так ручку наложили мне на грудь.— Она взяла его руку и прижала ее к своей груди.— Вот сюда.

Он отдал ей свою правую руку.

— Как тебя звать? — спросил он, дрожа всем телом и чувствуя, что он побежден, что похоть ушла уже из-под руководства.

— Марья. А что?

Она взяла руку и поцеловала ее, а потом одной рукой обвила его за пояс и прижимала к себе.

— Что ты? — сказал он.— Марья. Ты дьявол.

— Ну, авось ничего.

И она, обнимая его, села с ним на кровать.

На рассвете он вышел на крыльцо.

«Неужели все это было? Отец придет. Она расскажет. Она дьявол. Да что же я сделаю? Вот он, тот топор,

которым я рубил палец». — Он схватил топор и пошел в келью.

Келейник встретил его.

— Дров прикажете нарубить? Пожалуйте топор.

Он отдал топор. Вошел в келью. Она лежала и спала. С ужасом взглянул он на нее. Прошел в келью, снял мужицкое платье, оделся, взял ножницы, обстриг волосы и вышел по тропинке под гору к реке, у которой он не был четыре года.

Вдоль реки шла дорога; он пошел по ней и прошел до обеда. В обед он вошел в рожь и лег в ней. К вечеру он пришел к деревне на реке. Он не пошел в деревню, а к реке, к обрыву.

Было раннее утро, с полчаса до восхода солнца. Все было серо и мрачно, и тянул с запада холодный предрассветный ветер. «Да, надо кончить. Нет бога! Как покончить? Броситься? Умею плавать, не утонешь. Повеситься? Да, вот кушак, на суку». Это показалось так возможно и близко, что он ужаснулся. Хотел, как обыкновенно в минуты отчаяния, помолиться. Но молиться некому было. Бога не было. Он лежал, облокотившись на руку. И вдруг он почувствовал такую потребность сна, что не мог держать больше голову рукой, а вытянул руку, положил на нее голову и тотчас же заснул. Но сон этот продолжался только мгновение; он тотчас же просыпается и начинает не то видеть во сне, не то вспоминать.

И вот видит он себя почти ребенком, в доме матери в деревне. И к ним подъезжает коляска, и из коляски выходят: дядя Николай Сергеевич, с огромной, лопатой, черной бородой, и с ним худенькая девочка Пашенька, с большими кроткими глазами и жалким, робким лицом. И вот им, в их компанию мальчиков, приводят эту Пашеньку. И надо с ней играть, а скучно. Она глупая. Кончается тем, что ее поднимают на смех, заставляют ее показывать, как она умеет плавать. Она ложится на пол и показывают на сухом. И все хохочут и делают ее дурой. И она видит это и краснеет пятнами и становится жалкой, такой жалкой, что совестно и что никогда забыть нельзя этой ее кривой, доброй, покорной улыбки. И вспоминает Сергий, когда он видел ее после этого. Видел он ее долго потом, перед поступлением его в монахи. Она была замужем за каким-то помещиком, промотавшим все ее состояние и бившим ее. У нее было двое детей: сын и дочь. Сын умер маленьким.

Сергий вспоминал, как он видел ее несчастной. Потом он видел ее в монастыре вдовой. Она была такая же — не сказать глупая, но безвкусная, ничтожная и жалкая. Она приезжала с дочерью и ее женихом. И они были уже бедны. Потом он слышал, что она живет где-то в уездном городе и что она очень бедна. «И зачем я думаю о ней? — спрашивал он себя. Но не мог перестать думать о ней. Где она? Что с ней? Так ли она все несчастна, как была тогда, когда показывала, как плавают, по полу? Да что мне об ней думать? Что я? Кончить надо».

И опять ему страшно стало, и опять, чтобы спастись от этой мысли, он стал думать о Пашеньке.

Так он лежал долго, думая то о своем необходимом конце, то о Пашеньке. Пашенька представлялась ему спасением. Наконец он заснул. И во сне он увидал ангела, который пришел к нему и сказал: «Иди к Пашеньке и узнай от нее, что тебе надо делать, и в чем твой грех, и в чем твое спасение».

Он проснулся и, решив, что это было виденье от бога, обрадовался и решил сделать то, что ему сказано было в видении. Он знал город, в котором она живет,— это было за триста верст,— и пошел туда.

VIII

Пашенька уж давно была не Пашенька, а старая, высохшая, сморщенная Прасковья Михайловна, теща неудачника, пьющего чиновника Маврикьева. Жила она в том уездном городе, в котором зять имел последнее место, и там кормила семью: и дочь, и самого больного, неврастеника зятя, и пятерых внучат. А кормила она тем, что давала уроки музыки купцовым дочкам, по пятьдесят за час. В день было иногда четыре, иногда пять часов, так что в месяц зарабатывалось около шестидесяти рублей. Тем и жили покамест, ожидая места. С просьбами о месте Прасковья Михайловна послала письма ко всем своим родным и знакомым, в том числе и к Сергию. Но письмо это не застало его.

Была суббота, и Прасковья Михайловна сама замешивала сдобный хлеб с изюмом, который так хорошо делал еще крепостной повар у ее папаши. Прасковья Михайловна хотела завтра к празднику угостить внучат.

Маша, дочь ее, нянчилась с меньшим, старшие, мальчик и девочка, были в школе. Сам зять не спал ночь и теперь заснул. Прасковья Михайловна долго не спала вчера, стараясь смягчить гнев дочери на мужа.

Она видела, что зять — слабое существо, не мог говорить и жить иначе, и видела, что упреки ему от жены не помогут, и она все силы употребляла, чтобы смягчить их, чтоб не было упреков, не было зла. Она не могла физически почти переносить недобрые отношения между людьми. Ей так ясно было, что от этого ничто не может стать лучше, а все будет хуже. Да этого даже она не думала, она просто страдала от вида злобы, как от дурного запаха, резкого шума, ударов по телу.

Она только что самодовольно учила Лукерью, как замешивать опару, когда Миша, шестилетний внук, в фартучке, на кривых ножках, в штопаных чулочках, прибежал в кухню с испуганным лицом.

— Бабушка, старик страшный тебя ищет.

Лукерья выглянула:

— И то, странник какой-то, барыня.

Прасковья Михайловна обтерла свои худые локти один о другой и руки об фартук и пошла было в дом за кошельком подать пять копеек, но потом вспомнила, что нет меньше гривенника, и решила подать хлеба и вернулась к шкафу, но вдруг покраснела, вспомнив, что она пожалела, и, приказав Лукерье отрезать ломоть, сама пошла сверх того за гривенником. «Вот тебе наказанье,— сказала она себе,— вдвое подай».

Она подала, извиняясь, и то и другое страннику, и когда подавала, не только уж не гордилась своей щедростью, а напротив, устыдилась, что подает так мало. Такой значительный вид был у странника.

Несмотря на то, что он триста верст прошел христовым именем, и оборвался, и похудел, и почернел, волосы у него были обстрижены, шапка мужицкая и сапоги такие же, несмотря на то, что он смиренно кланялся, у Сергия был все тот же значительный вид, который так привлекал к нему. Но Прасковья Михайловна не узнала его. Она и не могла узнать его, не видав его почти тридцать лет.

— Не взыщите, батюшка. Может, поесть хотите?

Он взял хлеб и деньги. И Прасковья Михайловна удивилась, что он не уходит, а смотрит на нее.

— Пашенька. Я к тебе пришел. Прими меня.

И черные прекрасные глаза пристально и просительно смотрели на нее и заблестели выступившими слезами. И под седеющими усами жалостно дрогнули губы.

Прасковья Михайловна схватилась за высохшую грудь, открыла рот и замерла спустившимися зрачками на лице странника.

— Да не может быть! Степа! Сергий! Отец Сергий.

— Да, он самый,— тихо проговорил Сергий.— Только не Сергий, не отец Сергий, а великий грешник Степан Касатский, погибший, великий грешник. Прими, помоги мне.

— Да не может быть, да как же вы это так смирились? Да пойдемте же.

Она протянула руку; но он не взял ее и пошел за нею.

Но куда вести? Квартирка была маленькая. Сначала была отведена комнатка крошечная, почти чуланчик, для нее, но потом и этот чуланчик она отдала дочери. И теперь там сидела Маша, укачивая грудного.

— Сядьте сюда, сейчас,— сказала она Сергию, указывая на лавку в кухне.

Сергий тотчас же сел и снял, очевидно уже привычным жестом, сначала с одного, потом с другого плеча сумку.

— Боже мой, боже мой, как смирился, батюшка! Какая слава и вдруг так...

Сергий не отвечал и только кротко улыбнулся, укладывая подле себя сумку.

— Маша, это знаешь кто?

И Прасковья Михайловна шепотом рассказала дочери, кто был Сергий, и они вместе вынесли и постель и люльку из чулана, опростав его для Сергия.

Прасковья Михайловна провела Сергия в каморку.

— Вот тут отдохните. Не взыщите. А мне идти надо.

— Куда?

— Уроки у меня тут, совестно и говорить — музыке учу.

— Музыке — это хорошо. Только одно, Прасковья Михайловна, я ведь к вам за делом пришел. Когда я могу поговорить с вами?

— За счастье почту. Вечером можно?

— Можно, только еще просьба: не говорите обо мне, кто я. Я только вам открылся. Никто не знает, куда я ушел. Так надо.

— Ах, а я сказала дочери.

— Ну, попросите ее не говорить.

Сергий снял сапоги, лег и тотчас же заснул после бессонной ночи и сорока верст ходу.

Когда Прасковья Михайловна вернулась, Сергий сидел в своей каморке и ждал ее. Он не выходил к обеду, а поел супу и каши, которые принесла ему туда Лукерья.

— Что же ты раньше пришла обещанного? — сказал Сергий.— Теперь можно поговорить?

— И за что мне такое счастье, что такой посетитель. Я уж пропустила урок. После... Я мечтала все съездить к вам, писала вам, и вдруг такое счастье.

— Пашенька! пожалуйста, слова, которые я скажу тебе сейчас, прими как исповедь, как слова, которые я в смертный час говорю перед богом. Пашенька! я не святой человек, даже не простой, рядовой человек: я грешник, грязный, гадкий, заблудший, гордый грешник, хуже, не знаю, всех ли, но хуже самых худых людей.

Пашенька смотрела сначала выпучив глаза; она верила. Потом, когда она вполне поверила, она тронула рукой его руку и, жалостно улыбаясь, сказала:

— Стива, может быть, ты преувеличиваешь?

— Нет, Пашенька. Я блудник, я убийца, я богохульник и обманщик.

— Боже мой! Что ж это? — проговорила Прасковья Михайловна.

— Но надо жить. И я, который думал, что все знаю, который учил других, как жить,— я ничего не знаю, и я тебя прошу научить.

— Что ты, Стива. Ты смеешься. За что вы всегда смеетесь надо мной?

— Ну, хорошо, я смеюсь; только скажи мне, как ты живешь и как прожила жизнь?

— Я? Да я прожила самую гадкую, скверную жизнь, и теперь бог наказывает меня, и поделом, и живу так дурно, так дурно...

— Как же ты вышла замуж? как жила с мужем?

— Все было дурно. Вышла — влюбилась самым гадким манером. Папа не желал этого. Я ни на что не посмотрела, вышла. И замужем, вместо того чтобы помогать мужу, я мучила его ревностью, которую не могла в себе победить.

— Он пил, я слышал.

— Да, но я-то не умела успокоить его. Упрекала его. А ведь это болезнь. Он не мог удержаться, а я теперь вспоминаю, как я не давала ему. И у нас были ужасные сцены.

И она смотрела прекрасными, страдающими при воспоминании глазами на Касатского.

Касатский вспоминал, как ему рассказывали, что муж бил Пашеньку. И Касатский видел теперь, глядя на ее худую, высохшую шею с выдающимися жилами за ушами и пучком редких полуседых, полурусых волос, как будто видел, как это происходило.

— Потом я осталась одна с двумя детьми и без всяких средств.

— Да ведь у вас было именье.

— Это еще при Васе мы продали и всё... прожили. Надо было жить, а я ничего не умела — как все мы, барышни. Но я особенно плоха, беспомощна была. Так проживали последнее, я учила детей — сама немножко подучилась. А тут Митя заболел уже в четвертом классе, и бог взял его. Манечка полюбила Ваню — зятя. И что ж, он хороший, но только несчастный. Он больной.

— Мамаша,— перебила ее речь дочь.— Возьмите Мишу, не могу я разорваться.

Прасковья Михайловна вздрогнула, встала и, быстро ступая в своих стоптанных башмаках, вышла в дверь и тотчас же вернулась с двухлетним мальчиком на руках, который валился назад и схватился ручонками за ее косынку.

— Да, так на чем я остановилась? Ну вот, было у него место тут хорошее — и начальник такой милый, но Ваня не мог и вышел в отставку.

— Чем же он болен?

— Неврастенией, это ужасная болезнь. Мы советовались, но надо было ехать, но средств нет. Но я все надеюсь, что так пройдет. Особенно болей у него нет, но...

— Лукерья! — послышался его голос, сердитый и слабый. — Всегда ушлют куда-нибудь, когда ее нужно. Мамаша!..

— Сейчас,— опять перебила себя Прасковья Михайловна.— Он не обедал еще. Он не может с нами.

Она вышла, что-то устроила там и вернулась, обтирая загорелые худые руки.

— Так вот и живу. И всё жалуемся, и всё недовольны,

а, слава богу, внуки все славные, здоровые, и жить еще можно. Да что про меня говорить.

— Ну, чем же вы живете?

— А немножко я вырабатываю. Вот я скучала музыкой, а теперь как она мне пригодилась.

Она держала маленькую руку на комодце, у которого сидела, и, как упражнения, перебирала худыми пальцами.

— Что же вам платят за уроки?

— Платят и рубль, и пятьдесят копеек, есть и тридцать копеек. Они все такие добрые ко мне.

— И что же, успехи делают? — чуть улыбаясь глазами, спросил Касатский.

Прасковья Михайловна не поверила сразу серьезности вопроса и вопросительно взглянула ему в глаза.

— Делают и успехи. Одна славная девочка есть, мясника дочь. Добрая, хорошая девочка. Вот если бы я была порядочная женщина, то, разумеется, по папашиным связям, я бы могла найти место зятю. А то я ничего не умела и вот довела их всех до этого.

— Да, да,— говорил Касатский, наклоняя голову.— Ну, а как вы, Пашенька, в церковной жизни участвуете? — спросил он.

— Ах, не говорите. Уж так дурно, так запустила. С детьми говею и бываю в церкви, а то по месяцам не бываю. Детей посылаю.

— А отчего же не бываете сами?

— Да правду сказать,— она покраснела,— да оборванной идти совестно перед дочерью, внучатами, а новенького нет. Да просто ленюсь.

— Ну, а дома молитесь?

— Молюсь, да что за молитва, так, машинально. Знаю, что не так надо, да нет настоящего чувства, только и есть, что знаешь всю свою гадость...

— Да, да, так, так,— как бы одобряя, подговаривал Касатский.

— Сейчас, сейчас, — ответила она на зов зятя и, поправив на голове косичку, вышла из комнаты.

На этот раз она долго не возвращалась. Когда она вернулась, Касатский сидел в том же положении, опершись локтями на колена и опустив голову. Но сумка его была надета на спину.

Когда она вошла с жестяной, без колпака, лампочкой, он поднял на нее свои прекрасные, усталые глаза и глубоко, глубоко вздохнул.

— Я им не сказала, кто вы,— начала она робко,— а только сказала, что странник из благородных и что я знала. Пойдемте в столовую, чаю.

— Нет...

— Ну, я сюда принесу.

— Нет, ничего не надо. Спаси тебя бог, Пашенька. Я пойду. Если жалеешь, не говори никому, что видела меня. Богом живым заклинаю тебя: не говори никому. Спасибо тебе. Я бы поклонился тебе в ноги, да знаю, что это смутит тебя. Спасибо, прости Христа ради.

— Благословите.

— Бог благословит. Прости Христа ради.

И он хотел идти, но она не пустила его и принесла ему хлеба, баранок и масла. Он взял всё и вышел.

Было темно, и не отошел он двух домов, как она потеряла его из вида и узнала, что он идет, только по тому, что протопопова собака залаяла на него.

«Так вот что значил мой сон. Пашенька именно то, что я должен был быть и чем я не был. Я жил для людей под предлогом бога, она живет для бога, воображая, что она живет для людей. Да, одно доброе дело, чашка воды, поданная без мысли о награде, дороже облагодетельствованных мною для людей. Но ведь была доля искреннего желания служить богу?» — спрашивал он себя, и ответ был: «Да, но все это было загажено, заросло славой людской. Да, нет бога для того, кто жил, как я, для славы людской. Буду искать его».

И он пошел, как шел до Пашеньки, от деревни до деревни, сходясь и расходясь с странниками и странницами и прося Христа ради хлеба и ночлега. Изредка его бранила злая хозяйка, ругал выпивший мужик, но большей частью его кормили, поили, давали даже на дорогу. Его господское обличье располагало некоторых в его пользу. Некоторые, напротив, как бы радовались на то, что вот господин дошел также до нищеты. Но кротость его побеждала всех.

Он часто, находя в доме Евангелие, читал его, и люди всегда, везде все умилялись и удивлялись, как новое и вместе с тем давно знакомое слушали его.

Если удавалось ему послужить людям или советом, или грамотой, или уговором ссорящихся, он не видел

благодарности, потому что уходил. И понемногу бог стал проявляться в нем.

Один раз он шел с двумя старушками и солдатом. Барин с барыней на шарабане, запряженном рысаком, и мужчина и дама верховые остановили их. Муж барыни ехал с дочерью верхами, а в шарабане ехала барыня с, очевидно, путешественником-французом.

Они остановили их, чтобы показать ему les pélérins [1], которые, по свойственному русскому народу суеверию, вместо того чтобы работать, ходят из места в место.

Они говорили по-французски, думая, что не понимают их.

— Demandez leur,— сказал француз,— s'ils sont bien sûrs de ce que leur pélérinage est agréable à dieu [2].

Их спросили. Старушки отвечали:

— Как бог примет. Ногами-то были, сердцем будем ли?

Спросили солдата. Он сказал, что один, деться некуда.

Спросили Касатского, кто он?

— Раб божий.

— Qu'est ce qu'il dit? Il ne répond pas.

— Il dit qu'il est un serviteur de dieu.

— Cela doit être un fils de prêtre. Il a de la race. Avez-vous de la petite monnaie? [3]

У француза нашлась мелочь. И он всем роздал по двадцать копеек.

— Mais dites leur que ce n'est pas pour des cierges que je leur donne, mais pour qu'ils se régalent de thé; чай, чай, — улыбаясь, — pour vous, mon vieux [4], — сказал он, трепля рукой в перчатке Касатского по плечу.

— Спаси Христос,— ответил Касатский, не надевая шапки и кланяясь своей лысой головой.

И Касатскому особенно радостна была эта встреча, потому что он презрел людское мнение и сделал самое пустое, легкое — взял смиренно двадцать копеек и отдал их

---

[1] Странников *(франц.)*.

[2] Спросите у них, твердо ли они уверены, что их паломничество угодно богу? *(франц.)*

[3] — Что он сказал? Он не отвечает.

— Он сказал, что он слуга божий.

— Должно быть, это сын священника. Чувствуется порода. Есть у вас мелочь? *(франц.)*

[4] — Скажите им, что я даю им не на свечи, а чтобы они полакомились чаем... вам, дедушка *(франц.)*.

товарищу, слепому нищему. Чем меньше имело значения мнение людей, тем сильнее чувствовался бог.

Восемь месяцев проходил так Касатский, на девятом месяце его задержали в губернском городе, в приюте, в котором он ночевал с странниками, и как беспаспортного взяли в часть. На вопросы, где его билет и кто он, он отвечал, что билета у него нет, а что он раб божий. Его причислили к бродягам, судили и сослали в Сибирь.

В Сибири он поселился на заимке у богатого мужика и теперь живет там. Он работает у хозяина в огороде, и учит детей, и ходит за больными.

ПОСЛЕ БАЛА

Рассказ

— Вот вы говорите, что человек не может сам по себе понять, что хорошо, что дурно, что все дело в среде, что среда заедает. А я думаю, что все дело в случае. Я вот про себя скажу.

Так заговорил всеми уважаемый Иван Васильевич после разговора, шедшего между нами, о том, что для личного совершенствования необходимо прежде изменить условия, среди которых живут люди. Никто, собственно, не говорил, что нельзя самому понять, что хорошо, что дурно, но у Ивана Васильевича была такая манера отвечать на свои собственные, возникающие вследствие разговора мысли и по случаю этих мыслей рассказывать эпизоды из своей жизни. Часто он совершенно забывал повод, по которому он рассказывал, увлекаясь рассказом, тем более что рассказывал он очень искренно и правдиво.

Так он сделал и теперь.

— Я про себя скажу. Вся моя жизнь сложилась так, а не иначе, не от среды, а совсем от другого.

— От чего же? — спросили мы.

— Да это длинная история. Чтобы понять, надо много рассказывать.

— Вот вы и расскажите.

Иван Васильевич задумался, покачал головой.

— Да,— сказал он.— Вся жизнь переменилась от одной ночи, или скорее утра.

— Да что же было?

— А было то, что был я сильно влюблен. Влюблялся я много раз, но это была самая моя сильная любовь. Дело прошлое; у нее уже дочери замужем. Это была Б..., да, Варенька Б...,— Иван Васильевич назвал фамилию.— Она и в пятьдесят лет была замечательная красавица. Но в молодости, восемнадцати лет, была прелестна: высокая, стройная, грациозная и величественная, именно величест-

венная. Держалась она всегда необыкновенно прямо, как будто не могла иначе, откинув немного назад голову, и это давало ей, с ее красотой и высоким ростом, несмотря на ее худобу, даже костлявость, какой-то царственный вид, который отпугивал бы от нее, если бы не ласковая, всегда веселая улыбка и рта, и прелестных, блестящих глаз, и всего ее милого, молодого существа.

— Каково Иван Васильевич расписывает.

— Да как ни расписывай, расписать нельзя так, чтобы вы поняли, какая она была. Но не в том дело: то, что я хочу рассказать, было в сороковых годах. Был я в то время студентом в провинциальном университете. Не знаю, хорошо ли это или дурно, но не было у нас в то время в нашем университете никаких кружков, никаких теорий, а были мы просто молоды и жили, как свойственно молодости: учились и веселились. Был я очень веселый и бойкий малый, да еще и богатый. Был у меня иноходец лихой, катался с гор с барышнями (коньки еще не были в моде), кутил с товарищами (в то время мы ничего, кроме шампанского, не пили; не было денег — ничего не пили, но не пили, как теперь, водку). Главное же мое удовольствие составляли вечера и балы. Танцевал я хорошо и был не безобразен.

— Ну, нечего скромничать,— перебила его одна из собеседниц.— Мы ведь знаем ваш еще дагерротипный портрет. Не то что не безобразен, а вы были красавец.

— Красавец так красавец, да не в том дело. А дело в том, что во время этой моей самой сильной любви к ней был я в последний день масленицы на бале у губернского предводителя, добродушного старичка, богача-хлебосола и камергера. Принимала такая же добродушная, как и он, жена его в бархатном пюсовом платье, в брильянтовой фероньерке на голове и с открытыми старыми, пухлыми, белыми плечами и грудью, как портреты Елизаветы Петровны. Бал был чудесный: зала прекрасная, с хорами, музыканты — знаменитые в то время крепостные помещика-любителя, буфет великолепный и разливанное море шампанского. Хоть я и охотник был до шампанского, но не пил, потому что без вина был пьян любовью, но зато танцевал до упаду — танцевал и кадрили, и вальсы, и польки, разумеется, насколько возможно было, всё с Варенькой. Она была в белом платье с розовым поясом и в белых лайковых перчатках, немного не доходивших до худых, острых локтей, и в белых атласных башмачках.

Мазурку отбили у меня: препротивный инженер Анисимов — я до сих пор не могу простить это ему — пригласил ее, только что она вошла, а я заезжал к парикмахеру и за перчатками и опоздал. Так что мазурку я танцевал не с ней, а с одной немочкой, за которой я немножко ухаживал прежде. Но, боюсь, в этот вечер был очень неучтив с ней, не говорил с ней, не смотрел на нее, а видел только высокую стройную фигуру в белом платье с розовым поясом, ее сияющее, зарумянившееся, с ямочками лицо и ласковые, милые глаза. Не я один, все смотрели на нее и любовались ею, любовались и мужчины, и женщины, несмотря на то, что она затмила их всех. Нельзя было не любоваться.

По закону, так сказать, мазурку я танцевал не с нею, но в действительности танцевал я почти все время с ней. Она, не смущаясь, через всю залу шла прямо ко мне, и я вскакивал, не дожидаясь приглашения, и она улыбкой благодарила меня за мою догадливость. Когда нас подводили к ней и она не угадывала моего качества, она, подавая руку не мне, пожимала худыми плечами и, в знак сожаления и утешения, улыбалась мне. Когда делали фигуры мазурки вальсом, я подолгу вальсировал с нею, и она, часто дыша, улыбалась и говорила мне: «Encore» [1]. И я вальсировал еще и еще и не чувствовал своего тела.

— Ну, как же не чувствовали, я думаю, очень чувствовали, когда обнимали ее за талию, не только свое, но и ее тело,— сказал один из гостей.

Иван Васильевич вдруг покраснел и сердито закричал почти:

— Да, вот это вы, нынешняя молодежь. Вы, кроме тела, ничего не видите. В наше время было не так. Чем сильнее я был влюблен, тем бестелеснее становилась для меня она. Вы теперь видите ноги, щиколки и еще что-то, вы раздеваете женщин, в которых влюблены, для меня же, как говорил Alphonse Karr [2], — хороший был писатель,— на предмете моей любви были всегда бронзовые одежды. Мы не то что раздевали, а старались прикрыть наготу, как добрый сын Ноя. Ну, да вы не поймете...

— Не слушайте его. Дальше что? — сказал один из нас.

— Да. Так вот танцевал я больше с нею и не видал, как прошло время. Музыканты уж с каким-то отчаянием усталости, знаете, как бывает в конце бала, подхватывали

---

[1] Еще *(франц.)*.
[2] Альфонс Карр *(франц.)*.

всё тот же мотив мазурки, из гостиных поднялись уже от карточных столов папаши и мамаши, ожидая ужина, лакеи чаще забегали, пронося что-то. Был третий час. Надо было пользоваться последними минутами. Я еще раз выбрал ее, и мы в сотый раз прошли вдоль залы.

— Так после ужина кадриль моя? — сказал я ей, отводя ее к месту.

— Разумеется, если меня не увезут,— сказала она, улыбаясь.

— Я не дам,— сказал я.

— Дайте же веер,— сказала она.

— Жалко отдавать, — сказал я, подавая ей белый дешевенький веер.

— Так вот вам, чтоб вы не жалели,— сказала она, оторвала перышко от веера и дала мне.

Я взял перышко и только взглядом мог выразить весь свой восторг и благодарность. Я был не только весел и доволен, я был счастлив, блажен, я был добр, я был не я, а какое-то неземное существо, не знающее зла и способное на одно добро. Я спрятал перышко в перчатку и стоял, не в силах отойти от нее.

— Смотрите, папà просят танцевать,— сказала она мне, указывая на высокую статную фигуру ее отца, полковника с серебряными эполетами, стоявшего в дверях с хозяйкой и другими дамами.

— Варенька, подите сюда, — услышали мы громкий голос хозяйки в брильянтовой фероньерке и с елисаветинскими плечами.

Варенька подошла к двери, и я за ней.

— Уговорите, ma chère [1], отца пройтись с вами. Ну, пожалуйста, Петр Владиславич,— обратилась хозяйка к полковнику.

Отец Вареньки был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Лицо у него было очень румяное, с белыми à la Nicolas I [2] подвитыми усами, белыми же, подведенными к усам бакенбардами и с зачесанными вперед височками, и та же ласковая, радостная улыбка, как и у дочери, была в его блестящих глазах и губах. Сложен он был прекрасно, с широкой, небогато украшенной орденами, выпячивающейся по-военному грудью, с сильными плечами и длинными стройными ногами. Он был воин-

---

[1] дорогая *(франц.)*.
[2] как у Николая I *(франц.)*.

ский начальник типа старого служаки николаевской выправки.

Когда мы подошли к дверям, полковник отказывался, говоря, что он разучился танцевать, но все-таки, улыбаясь, закинув на левую сторону руку, вынул шпагу из портупеи, отдал ее услужливому молодому человеку и, натянув замшевую перчатку на правую руку,— «надо всё по закону»,— улыбаясь, сказал он, взял руку дочери и стал в четверть оборота, выжидая такт.

Дождавшись начала мазурочного мотива, он бойко топнул одной ногой, выкинул другую, и высокая, грузная фигура его то тихо и плавно, то шумно и бурно, с топотом подошв и ноги об ногу, задвигалась вокруг залы. Грациозная фигура Вареньки плыла около него, незаметно, вовремя укорачивая или удлиняя шаги своих маленьких белых атласных ножек. Вся зала следила за каждым движением пары. Я же не только любовался, но с восторженным умилением смотрел на них. Особенно умилили меня его сапоги, обтянутые штрипками,— хорошие опойковые сапоги, но не модные, с острыми, а старинные, с четвероугольными носками и без каблуков. Очевидно, сапоги были построены батальонным сапожником. «Чтобы вывозить и одевать любимую дочь, он не покупает модных сапог, а носит домодельные»,— думал я, и эти четвероугольные носки сапог особенно умиляли меня. Видно было, что он когда-то танцевал прекрасно, но теперь был грузен, и ноги уже не были достаточно упруги для всех тех красивых и быстрых па, которые он старался выделывать. Но он все-таки ловко прошел два круга. Когда же он, быстро расставив ноги, опять соединил их и, хотя и несколько тяжело, упал на одно колено, а она, улыбаясь и поправляя юбку, которую он зацепил, плавно прошла вокруг него, все громко зааплодировали. С некоторым усилием приподнявшись, он нежно, мило обхватил дочь руками за уши и, поцеловав в лоб, подвел ее ко мне, думая, что я танцую с ней. Я сказал, что не я ее кавалер.

— Ну, все равно, пройдитесь теперь вы с ней,— сказал он, ласково улыбаясь и вдевая шпагу в портупею.

Как бывает, что вслед за одной вылившейся из бутылки каплей содержимое ее выливается большими струями, так и в моей душе любовь к Вареньке освободила всю скрытую в моей душе способность любви. Я обнимал в то время весь мир своей любовью. Я любил и хозяйку в фероньерке, с ее елисаветинским бюстом, и ее мужа, и ее

гостей, и ее лакеев, и даже дувшегося на меня инженера Анисимова. К отцу же ее, с его домашними сапогами и ласковой, похожей на нее, улыбкой, я испытывал в то время какое-то восторженно-нежное чувство.

Мазурка кончилась, хозяева просили гостей к ужину, но полковник Б. отказался, сказав, что ему надо завтра рано вставать, и простился с хозяевами. Я было испугался, что и ее увезут, но она осталась с матерью.

После ужина я танцевал с нею обещанную кадриль, и, несмотря на то, что был, казалось, бесконечно счастлив, счастье мое все росло и росло. Мы ничего не говорили о любви. Я не спрашивал ни ее, ни себя даже о том, любит ли она меня. Мне достаточно было того, что я любил ее. И я боялся только одного, чтобы что-нибудь не испортило моего счастья.

Когда я приехал домой, разделся и подумал о сне, я увидал, что это совершенно невозможно. У меня в руке было перышко от ее веера и целая ее перчатка, которую она дала мне, уезжая, когда садилась в карету и я подсаживал ее мать и потом ее. Я смотрел на эти вещи и, не закрывая глаз, видел ее перед собой то в ту минуту, когда она, выбирая из двух кавалеров, угадывает мое качество, и слышу ее милый голос, когда она говорит: «*Гордость? да?*» — и радостно подает мне руку или когда за ужином пригубливает бокал шампанского и исподлобья смотрит на меня ласкающими глазами. Но больше всего я вижу ее в паре с отцом, когда она плавно двигается около него и с гордостью и радостью и за себя и за него взглядывает на любующихся зрителей. И я невольно соединяю его и ее в одном нежном, умиленном чувстве.

Жили мы тогда одни с покойным братом. Брат и вообще не любил света и не ездил на балы, теперь же готовился к кандидатскому экзамену и вел самую правильную жизнь. Он спал. Я посмотрел на его уткнутую в подушку и закрытую до половины фланелевым одеялом голову, и мне стало любовно жалко его, жалко за то, что он не знал и не разделял того счастья, которое я испытывал. Крепостной наш лакей Петруша встретил меня со свечой и хотел помочь мне раздеваться, но я отпустил его. Вид его заспанного лица с спутанными волосами показался мне умилительно трогательным. Стараясь не шуметь, я на цыпочках прошел в свою комнату и сел на постель. Нет, я был слишком счастлив, я не мог спать. Притом мне жарко было в натопленных комнатах, и я, не снимая мун-

дира, потихоньку вышел в переднюю, надел шинель, отворил наружную дверь и вышел на улицу.

С бала я уехал в пятом часу, пока доехал домой, посидел дома, прошло еще часа два, так что, когда я вышел, уже было светло. Была самая масленичная погода, был туман, насыщенный водою снег таял на дорогах, и со всех крыш капало. Жили Б. тогда на конце города, подле большого поля, на одном конце которого было гулянье, а на другом — девический институт. Я прошел наш пустынный переулок и вышел на большую улицу, где стали встречаться и пешеходы, и ломовые с дровами на санях, достававших полозьями до мостовой. И лошади, равномерно покачивающие под глянцевитыми дугами мокрыми головами, и покрытые рогожками извозчики, шлепавшие в огромных сапогах подле возов, и дома улицы, казавшиеся в тумане очень высокими,— все было мне особенно мило и значительно.

Когда я вышел на поле, где был их дом, я увидал в конце его, по направлению гулянья, что-то большое, черное и услыхал доносившиеся оттуда звуки флейты и барабана. В душе у меня все время пело и изредка слышался мотив мазурки. Но это была какая-то другая, жесткая, нехорошая музыка.

«Что это такое?» — подумал я и по проезженной посередине поля скользкой дороге пошел по направлению звуков. Пройдя шагов сто, я из-за тумана стал различать много черных людей. Очевидно, солдаты. «Верно, ученье», — подумал я и вместе с кузнецом в засаленном полушубке и фартуке, несшим что-то и шедшим передо мной, подошел ближе. Солдаты в черных мундирах стояли двумя рядами друг против друга, держа ружья к ноге, и не двигались. Позади их стояли барабанщик и флейтщик и не переставая повторяли всё ту же неприятную, визгливую мелодию.

— Что это они делают? — спросил я у кузнеца, остановившегося рядом со мною.

— Татарина гоняют за побег,— сердито сказал кузнец, взглядывая в дальний конец рядов.

Я стал смотреть туда же и увидал посреди рядов что-то страшное, приближающееся ко мне. Приближающееся ко мне был оголенный по пояс человек, привязанный к ружьям двух солдат, которые вели его. Рядом с ним шел высокий военный в шинели и фуражке, фигура которого показалась мне знакомой. Дергаясь всем телом, шле-

пая ногами по талому снегу, наказываемый, под сыпавшимися с обеих сторон на него ударами, подвигался ко мне, то опрокидываясь назад — и тогда унтер-офицеры, ведшие его за ружья, толкали его вперед, то падая наперед — и тогда унтер-офицеры, удерживая его от падения, тянули его назад. И не отставая от него, шел твердой, подрагивающей походкой высокий военный. Это был ее отец, с своим румяным лицом и белыми усами и бакенбардами.

При каждом ударе наказываемый, как бы удивляясь, поворачивал сморщенное от страдания лицо в ту сторону, с которой падал удар, и, оскаливая белые зубы, повторял какие-то одни и те же слова. Только когда он был совсем близко, я расслышал эти слова. Он не говорил, а всхлипывал: «Братцы, помилосердуйте. Братцы, помилосердуйте». Но братцы не милосердовали, и, когда шествие совсем поравнялось со мною, я видел, как стоявший против меня солдат решительно выступил шаг вперед и, со свистом взмахнув палкой, сильно шлепнул ею по спине татарина. Татарин дернулся вперед, но унтер-офицеры удержали его, и такой же удар упал на него с другой стороны, и опять с этой, и опять с той. Полковник шел подле, и, поглядывая то себе под ноги, то на наказываемого, втягивал в себя воздух, раздувая щеки, и медленно выпускал его через оттопыренную губу. Когда шествие миновало то место, где я стоял, я мельком увидал между рядов спину наказываемого. Это было что-то такое пестрое, мокрое, красное, неестественное, что я не поверил, чтобы это было тело человека.

— О господи,— проговорил подле меня кузнец.

Шествие стало удаляться, все так же падали с двух сторон удары на спотыкающегося, корчившегося человека, и все так же били барабаны и свистела флейта, и все так же твердым шагом двигалась высокая, статная фигура полковника рядом с наказываемым. Вдруг полковник остановился и быстро приблизился к одному из солдат.

— Я тебе помажу,— услыхал я его гневный голос.— Будешь мазать? Будешь?

И я видел, как он своей сильной рукой в замшевой перчатке бил по лицу испуганного малорослого, слабосильного солдата за то, что он недостаточно сильно опустил свою палку на красную спину татарина.

— Подать свежих шпицрутенов! — крикнул он, оглядываясь, и увидел меня. Делая вид, что он не знает меня, он, грозно и злобно нахмурившись, поспешно отвернулся.

Мне было до такой степени стыдно, что, не зная, куда смотреть, как будто я был уличен в самом постыдном поступке, я опустил глаза и поторопился уйти домой. Всю дорогу в ушах у меня то била барабанная дробь и свистела флейта, то слышались слова: «Братцы, помилосердуйте», то я слышал самоуверенный, гневный голос полковника, кричащего: «Будешь мазать? Будешь?» А между тем на сердце была почти физическая, доходившая до тошноты, тоска, такая, что я несколько раз останавливался, и мне казалось, что вот-вот меня вырвет всем тем ужасом, который вошел в меня от этого зрелища. Не помню, как я добрался домой и лег. Но только стал засыпать, услыхал и увидал опять все и вскочил.

«Очевидно, он что-то знает такое, чего я не знаю,— думал я про полковника.— Если бы я знал то, что он знает, я бы понимал и то, что я видел, и это не мучило бы меня». Но сколько я ни думал, я не мог понять того, что знает полковник, и заснул только к вечеру, и то после того, как пошел к приятелю и напился с ним совсем пьян.

Что ж, вы думаете, что я тогда решил, что то, что я видел, было — дурное дело? Ничуть. «Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал»,— думал я и старался узнать это. Но сколько ни старался — и потом не мог узнать этого. А не узнав, не мог поступить в военную службу, как хотел прежде, и не только не служил в военной, но нигде не служил и никуда, как видите, не годился.

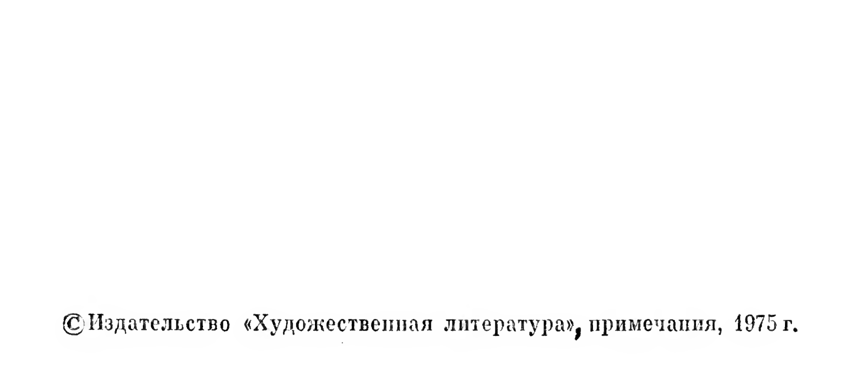
— Ну, это мы знаем, как вы никуда не годились,— сказал один из нас.— Скажите лучше: сколько бы людей никуда не годились, кабы вас не было.

— Ну, это уж совсем глупости,— с искренней досадой сказал Иван Васильевич.

— Ну, а любовь что? — спросили мы.

— Любовь? Любовь с этого дня пошла на убыль. Когда она, как это часто бывало с ней, с улыбкой на лице, задумывалась, я сейчас же вспоминал полковника на площади, и мне становилось как-то неловко и неприятно, и я стал реже видаться с ней. И любовь так и сошла на нет. Так вот какие бывают дела и от чего переменяется и направляется вся жизнь человека. А вы говорите... — закончил он.

ПРИМЕЧАНИЯ



1

Писательская биография Толстого необычайно своеобразна. Он, знавший, как много ему дано, постоянно испытывал муки сомнения в себе, неудовлетворенность достигнутым. Он никогда не повторял самого себя, не шел найденными дорогами, всегда пребывал в тревоге, исканиях, открывал новое в жизни и в себе. За каждым из его таких разных романов, принесших писателю мировую славу, следовали длительные периоды «простоя», кризисов, пересмотра взглядов на эпоху и искусство, поисков новых способов выражения своей художественной мысли, экспериментов и великих открытий.

В годы, отделявшие «Анну Каренину» от «Войны и мира», «Воскресение» от «Анны Карениной» и «Хаджи-Мурат» от «Воскресения», Толстой сочинял повести и рассказы, драмы и комедии, сказки и притчи, не только по жанру, но всему своему пафосу, стилю, манере глубоко отличные от того, что им предшествовало. И в то же время, отражая новую фазу его духовного и литературного развития, все эти произведения были преемственно связаны с его предыдущими творениями, как бы отпочковывались от них.

В настоящем томе представлена «малая проза» — самые значительные произведения писателя, созданные на протяжении трех десятилетий с 1872 по 1903 год.

После выхода в свет «Войны и мира» Толстой пережил трудную пору переоценки ценностей, его многочисленные замыслы остались незавершенными. «Я тоскую и ничего не пишу, а работаю мучительно»,— признается он Фету в ноябре 1870 года (Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч.,[1] т. 61, с. 240). Еще незнакомому тогда критику Н. Н. Страхову, пригласившему его сотрудничать в журнале «Заря», Толстой отвечает письмом-исповедью: «Я нахо-

[1] В дальнейшем ссылки на это издание даются лишь с указанием тома и страницы.

жусь в мучительном состоянии сомнения, дерзких замыслов невозможного или непосильного и недоверия к себе и вместе с тем упорной внутренней работы» (т. 61, с. 242). «Внутренняя работа» великого писателя означала уяснение для себя проблем социальных и философских, этических и эстетических, определение характера времени, искусства и направления собственного творчества. Анализируя состояние современной русской литературы, он увидел ее переломный характер, ее внутреннюю трансформацию и пришел к выводам, имевшим для него серьезное значение. «Последняя волна поэтическая — парабола была при Пушкине на высшей точке, потом Лермонтов, Гоголь, мы грешные, и ушла под землю. Другая линия пошла в изучение народа и выплывет, бог даст, а Пушкинский период умер совсем, сошел на нет», — таков один из итогов, о котором он поведал Страхову (т. 61, с. 274—275). Толстой был близок к истине, когда усматривал в современной литературе процесс депоэтизации, поворот к освещению народной жизни с ее прозой и жестокой правдой. «Заметили ли вы, — спрашивал он Страхова, — в наше время в мире русской поэзии связь между двумя явлениями, находящимися между собой в обратном отношении: упадок поэтического творчества всякого рода — музыки, живописи, поэзии, и стремление к изучению русской народной поэзии всякого рода — музыки, живописи и поэзии. Мне кажется, что это даже не упадок, а смерть с залогом возрождения в народности» (т. 61, с. 274). И для самого Толстого также наступает период «возрождения в народности», правда, в особой ее трактовке, не совпадающей с революционно-демократической, некрасовской и щедринской. Для него народ — это идеальная субстанция, творец истории и культуры, не нуждающийся в просвещении, в изменении своего самосознания, а наоборот, у которого следует «учиться писать» и жить. И Толстой «учится». Он увлеченно «читает «Четьи-Минеи», житье святых и говорит, что это наша русская настоящая поэзия»[1], — отмечает в своем дневнике С. А. Толстая. В литературе он отдает предпочтение «песням, сказкам, былинам» — всему тому, что, по его мнению, «будут читать, пока будет русский язык» (т. 61, стр. 278). Писатель восхищен творениями древних греков, классическим эпосом, баснями, философско-поэтическими диалогами, русским фольклором и сам «мечтает... о произведении столь же чистом, изящном, где не было бы ничего лишнего, как вся древняя греческая литература, как греческое искусство» [2].

Толстовское «возрождение в народности» проявлялось в создании школы для крестьянских ребят, в педагогической деятельно-

---

[1] «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891». М., 1928, с. 34.
[2] Там же, с. 33—34.

сти, в работе над «Азбукой», над «Русскими книгами для чтения». Оно сказалось также и на его эстетической программе тех лет, вобравшей в себя принципы художественного творчества народа и рассчитанной на то, чтобы творить для него и в его духе. Страхову же он сделал признание: «Я изменил приемы своего писания и язык, но, повторяю, не потому, что рассудил, что так надобно. А потому, что даже Пушкин мне смешон... а язык, которым говорит народ и в котором есть звуки для выражения всего, что только может желать сказать поэт, — мне мил. Язык этот, кроме того — и это главное,— есть лучший поэтический регулятор. Захоти сказать лишнее, напыщенное, болезненное — язык не позволит, а наш литературный язык без костей; так набалован, чтó хочешь мели — все похоже на литературу» (т. 61, с. 277—278). Отвергая «напыщенную, болезненную литературу», Толстой сам начинает писать в другом роде, стремясь, по собственному признанию, к «простоте и ясности рисунка и штриха», то есть языка (т. 61, с. 274). «Надо, чтоб все было красиво, коротко, просто и, главное, ясно», — формулирует он свой критерий художественности (т. 61, с. 283). В таком стиле были написаны рассказы «Бог правду видит...» и «Кавказский пленник», посланный в редакцию журнала с сопроводительным письмом, в котором автор счел нужным заметить: «Это образец тех приемов и языка, которым я пишу и буду писать для больших» (т. 61, с. 278).

«Кавказский пленник» — произведение эпического рода, его ситуация — поединок благородного, смелого, находчивого, верного долгу воина с злым, не знающим пощады ворогом, олицетворенным в образе «татарина с красной бородой» — ситуация эпоса, былинная. И хотя в рассказе два главных персонажа, но действует, движет сюжет, как и полагается по законам эпического жанра, один герой — Жилин. И в описании враждебного мира выдерживается эпическая объективность, признание права чужого, сохранившего близость к природе и добрые чувства (эпизод с Диной, спасшей пленника) народа на свое особое существование. Элементарность сюжета, ясность характеров всех персонажей, поэзия цельных и естественных чувств и отношений, лаконичный язык — все эти черты, свойственные эпическому искусству, отличают новую манеру Толстого. Один из исследователей творчества писателя имел все основания утверждать, что «Кавказский пленник» — это «нечто вроде миниатюрной «Одиссеи» [1].

Толстой очень ценил этот маленький рассказ. «Вот «Кавказский пленник»,— вдруг особенно оживившись, сказал Толстой...

---

[1] Б. М. Эйхенбаум. Лев Толстой. Л., «Советский писатель», 1960, с. 84.

вот это я люблю,— передает Г. А. Русанов свой разговор с писателем в 1883 году.— Это дело другое. «Кавказский пленник» можно дать детям, и они любят его. Хотя это могло быть лучше»[1]. В трактате «Что такое искусство» он отнесен автором к произведениям, принадлежащим «к хорошему всемирному житейскому искусству», тем, что объединяют людей, проповедуют человечность (т. 30, с. 163).

Критикой рассказ был замечен. В анонимной статье, опубликованной в журнале «Всемирная иллюстрация» (1872, № 181)[2] было сказано: «Кавказский пленник» написан совершенно особым, новым языком. Простота изложения поставлена в нем на первом плане. Нет ни одного лишнего слова, ни одной стилистической прикрасы... Каждое слово, каждая фраза «Кавказского пленника» будут непременно понятны для тех читателей, для которых он написан, и в то же время поражает читателя образованного своею прелестью и образностью». Критик находил, что этот рассказ образец того, «как следует писать для народа, а это — такая заслуга, которой одной уже было бы достаточно для того, чтобы упрочить за именем гр. Л. Н. Толстого одно из самых видных почетных мест в истории нашей литературы».

«Возрождение в народности» Толстого в 70-е годы, когда на первом плане стояла перед ним задача выявления нравственных качеств народа, его свободолюбия, храбрости, гуманности, душевности, бескорыстия, еще было свободно от религиозной нравоучительности, характерной для того этапа, который наступил спустя десятилетие.

2

Толстой прожил десятилетие огромного душевного напряжения, неустанной работы мысли, в которое произошло, по его словам, «озарение светом истины» (т. 23, с. 306) и ему открылось, что современное общество сверху донизу устроено неправильно, соткано из глубочайших противоречий, зиждется на чудовищной несправедливости, рабстве, гнете и лжи. «Страдания о несчастиях, несправедливости людей, о бедности их, о заключенных в тюрьмах, о злобе людей... и сжигает его существование», — записала в своем дневнике С. А. Толстая[3].

---

[1] Г. А. Русанов и А. Г. Русанов. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. Воронеж, 1972, с. 36.

[2] По мнению Н. Н. Страхова, ее автором был поэт К. К. Случевский.

[3] «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891». М., 1928, с. 34.

«Океан человеческого горя» увидел прозревший писатель. Он увидел, что «сущность правительства» — «войны, казни, грабеж, воровство» (т. 48, с. 195), что меньшая часть общества живет за счет чужого труда, в праздности и роскоши, пользуется всеми благами культуры, а другая, значительно большая, изнемогает под бременем каторжной работы, нищеты, темноты и невежества. Бесстрашный в своих выводах, преисполненный отвращения и гнева против «сытых дармоедов», Толстой порывает с аристократическим сословием, к которому принадлежал по своему рождению и образу жизни.

В 80-е годы, годы второй революционной ситуации в России, он безоговорочно на стороне «обиженных» миллионов русских земледельцев, тех самых, в интересах которых самоотверженно сражалась с самодержавием «подпольная Россия». Но в мировоззрении Толстого, в его творчестве всегда отчетливо проступало его преклонение перед патриархальными формами жизни, перед «житьем по-народному», перед крестьянским самосознанием, моралью. Поэтому «истина», познанная им, включала в себя не только осуждение «людоедского строя», но и убежденность в том, что спасение от всех пороков нового порядка в возвращении к примитивно-патриархально-крестьянской демократии без власти правительства, армии, земельного рабства. Путь к идеалу лежал, по мысли писателя, в принятии его «веры»,— нового свободного от церковных догм христианства, требующего от всякого человека лишь исповедания философии любви, пробуждения «разумного сознания».

Столь значительна была убежденность Толстого в действенности его религиозно-нравственного учения, в предлагаемом им решении социальных и нравственных проблем времени, что он всего себя отдает писанию работ, излагающих сущность его «учения». Какое-то время Толстой выступает только с резкими социально-критическими трактатами, религиозно-философскими статьями, переводами евангельских текстов, уличающих во лжи церковные догматы, исповедальными сочинениями о своем «былом» и своих «думах». Вместе с тем все это время его не оставляет тоска по деятельности «писательской, самой родственной, тянущей к себе». Он приступает к писанию собственно литературных произведений главным образом с тем, чтобы и здесь выразить свои «мысли» (т. 63, с. 81). Так возник цикл из семнадцати народных рассказов, начало которому положила легенда «Чем люди живы». В основе почти всех рассказов, сказок, легенд, притч, вошедших в этот цикл, чужие, заимствованные сюжеты — сказочные, фольклорные, евангельские, книжные и живущие в устных преданиях, русские и широко распространенные в литературных памятниках многих

народов мира. Все эти готовые сюжеты, сложившиеся фабульные ситуации Толстой подвергал коренной переработке, подчинял их логике своего миросозерцания.

Так Толстой вступил во вторую фазу «возрождения в народности». В этом повествовательном цикле он ориентировался на читателя из крестьян, на его духовный и нравственный мир, на его житейские и эстетические представления. Отсюда своеобразие его поэтики: четкость социальных и моральных характеристик, ясность авторских оценок, однозначность характеров персонажей, простота фабулы, развитие которой определяется внешними причинами, «чудесами», дьявольскими наваждениями, использование сказочных и фольклорных приемов (традиционные зачины и концовки, троичность), народно-разговорный язык и, наконец, обнаженная назидательность.

В народных рассказах в противоречивом единстве сплелись трезвость и иллюзорность его «мыслей», сильные и наивные стороны его миросозерцания.

Каждодневно общаясь с яснополянскими крестьянами, Толстой превосходно знал их быт, нравы, обычаи, нужды и заботы.

В легенде «Чем люди живы», как, впрочем, и в других рассказах, правдиво и с очень конкретными подробностями воспроизведены условия существования крестьянина, деревенская жизнь. Жанровые сцены, которые вводят в будничный, горький мир сапожника Семена с семьей, написаны с толстовской реалистической силой и преисполнены боли и возмущения. Писатель даже воспринимает как нечто естественное и законное их плебейскую ненависть к «гладкому барину», к этому «человеку с другого света». Однако вся «плоть» рассказа, его действительная основа не играет в нем активной роли, не получает развития, как бы остается за кадром. И вопреки его обличительному содержанию, сквозь всю фантасмагорию сюжета о сошедшем с неба провинившемся ангеле проводится «мысль» о том, что «жив человек не заботой о себе, а любовью» и «не дано людям знать, что им для своего тела нужно». Гуманная сама по себе идея примата любви над ненавистью в человеческих взаимоотношениях в данном контексте означает примирение с действительностью, со всеми ее невзгодами и неблагополучием.

Толстой имел полное право именовать себя адвокатом многомиллионного земледельческого сословия, так как неоднократно выступал с защитой всех его прав, а в первую очередь, на землю. Он создал в пьесе «Плоды просвещения» бессмертный образ мужика, которому куренка некуда выпустить. И в то же время пишет рассказ «Много ли человеку земли нужно», — о мужике Пахоме, не пожелавшем «в тесноте бедствовать» и отправившемся

«овладевать землей» на восток, — основная мысль которого идет вразрез со всей его реальной коллизией. Пафос этого произведения не в оправдании Пахома, его инициативы, а в решительном осуждении его действий, в которых писатель видит лишь проявление жажды приобретательства, алчность, стремление к собственности, страсть к удовлетворению материальных «плотских» потребностей.

Толстой проповедует идею аскетическую, парализующую волю и энергию народа, что человеку нужно всего «три аршина земли».

Наиболее зримо противоречивость взглядов Толстого проявилась в его остро сатирической «Сказке об Иване-дураке», в которой ее автор, по собственному признанию, изобразил «все общество» [1].

Традиционный сказочный сюжет о трех братьях — двух «умных» и одном «дураке» — Толстой подчинил задаче памфлетного осмеяния «умных, представляющих пороки «нашего времени», и возвеличивания «дурака», его бескорыстия, кротости и непротивления.

Сказочная мифология, игра бесовских сил, насылающих в мир все «зло», все пороки нового времени, используется писателем для резкого обличения буржуазного строя. Здесь же Толстой нарисовал фантастическую страну свободных хлебопашцев без царя и армии, без денег и эксплуатации, вражды и распрей, со справедливым принципом «у кого мозоли на руках — полезай за стол, а у кого нет — тому объедки». Но путь к ней лежит через непротивление и отказ от всех достижений цивилизации. Так Толстой, с одной стороны, непримирим к паразитическим слоям общества, к неправедной власти, а с другой стороны — видит в христианской любви, смирении, кротости проявление подлинного «ума», качеств, без которых невозможно осуществить царство народа. Иллюзорно-утопическим было решение Толстым «самых проклятых вопросов нашего времени» [2].

Рассказы Толстого, адресованные «простонародному» читателю, с их сатирой и веселым карнавальным смехом над царями и многими «идолами», с их апологией мужицкой России, с критическим духом и проповедью смирения, аскетизма вызвали среди современников и в печати самую разноречивую оценку. Крайне враждебно были они встречены официальными кругами. Член Петербургской духовной цензуры архимандрит Тихон, получив в 1887 году на отзыв подготовленный «Посредником» к изданию

---

[1] Н. Н. Иванов. У Л. Н. Толстого в 1886 году. — В сб. «Лев Николаевич Толстой». ГИЗ, 1928, с. 189.

[2] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, с. 23.

сборник, куда вошел весь цикл, следующим образом высказался по поводу некоторых произведений. «Чем люди живы», с его точки зрения, представляет собой «кощунственное искажение православного учения об ангелах». Больше всего его возмутила «Сказка об Иване-дураке», которая «проводит... мысль о возможности быть царству без войск, без денег, без науки, без купли и продажи, даже без царя», где «осмеиваются современные условия жизни...». Вследствие этого цензор пришел к выводу, что «тон книги не гармонирует с требованиями правильного религиозно-нравственного воспитания и образования народа», и потому книга «как непригодная для чтения народа, и, по содержанию некоторых помещенных в ней рассказов, вредная своим направлением, не может быть одобрена и разрешена к выпуску в свет» [1].

Особенно резким нападкам подверглась социальная концепция Толстого, вытекающая из его истолкования Евангелия. В этом смысле показательна статья «Страх божий и любовь к человечеству» писателя и критика, сторонника ортодоксальной церкви, будущего монаха К. Н. Леонтьева. Споря с Толстым, он утверждал: «Настоящая христианская любовь... не имеет и тени «одностороннего демократизма». И есть много случаев, в которых высший, богатый, одаренный властью гораздо достойнее и сострадания, и сочувствия, и всех других движений нашей любви, чем неимущий и даже раб» («Гражданин», 1882, № 54 и 55, 8 и 11 июня за подписью «Русский мирянин»). Против Леонтьева на защиту Толстого выступил Н. С. Лесков, опровергший обвинения в «ереси» и «одностороннем демократизме». Он доказывал, что «христианские идеалы» Толстого «прелестны и чисты» и что «общее впечатление рассказа глубоко трогательное и способное возбуждать самые добрые чувства», а крестьяне изображены «с художественным соблюдением верности склада их речи и их простонародного миросозерцания» («Новости и Биржевая газета», 1883, 3 апреля).

В весьма многочисленных выступлениях по поводу всего цикла и отдельных произведений явственно слышались голоса, одобрявшие новое художественное слово Толстого, но также и голоса, спорящие с ним, предпочитавшие его «старую манеру».

Народные рассказы сыграли роль творческой лаборатории, в которой определились черты нового стиля толстовской прозы с ее социально-моралистической направленностью, противопоставлением положительных и отрицательных норм поведения, определенностью характеров и композиции, известной заданностью и тенденциозностью.

---

[1] Сб. «Русская литература в борьбе с религией». М., Изд-во АН СССР, 1963, с. 269.

3

«Внутренняя перестройка» и последовавшая за ней «перестройка... деятельности, которая называется художественной» (т. 30, с. 35) сделала органичным появление цикла народных рассказов. Тем не менее Толстого не оставляла потребность в «поэтической работе» (т. 83, с. 324), в творчестве, сопряженном с его преисполненными глубокого трагизма философскими размышлениями о жизни и смерти, о взаимоотношениях личности и общества, смысле бытия. И он наряду с легендами и притчами, сказками и поучительными «житиями» пишет высокую прозу, пишет о том, «чем люди живы» и чем они «мертвы». Созданные им в 80-90-е годы такие шедевры, как «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната», «Хозяин и работник», составили целую эпоху и в русской и в мировой литературе. «Вера не только не убила в нем художественный гений, но, напротив, способствовала его обновлению» [1],— заметил Ромен Роллан.

Действительно, всматриваясь в окружающий его мир с критерием идеального общественного строя, в котором «не нарушена связь человека с природой... общение с землей, растениями, животными», не нарушен «любимый и свободный труд... свободное любовное общение со всеми разнообразными людьми мира... здоровье, безболезненная смерть» (т. 23, с. 418—421), он с поразительной четкостью обнаруживал характерные признаки эпохи, ее контрасты и противоречия, трагические диссонансы, ее враждебность человеку. Художественное мышление Толстого в какой-то мере утрачивает свою эпичность, интерес к поэтической стороне жизни, пластичность, но оно приобретает большую реалистическую трезвость, аналитичность, драматическую напряженность и обличительный пафос.

В 80-е годы искусство Толстого видоизменяется: исчезают многоплановые, разветвленные полотна с множеством действующих лиц и сюжетных линий, «сцепленных» между собой глубинной авторской идеей, и начинают преобладать повести и рассказы с одним или двумя центральными действующими лицами, отчетливо оформленным сюжетом.

Серьезные изменения претерпевает и самый тип его главного литературного героя. Прежде атмосферу его произведений определяли исключительные личности, обладающие высоким интеллектом, ищущие разгадки тайн бытия, познания вечных истин, но чьи духовные драмы еще не завершаются разрывом со своим окружением, безоговорочным его отрицанием, «уходом».

---

[1] Ромен Роллан. Собр. соч., т. 2, Гослитиздат, 1954, с. 293.

Главными персонажами повестей и рассказов позднего периода становятся средние люди, «обыкновенный человек»: заурядный чиновник, буржуазный интеллигент, нетитулованный помещик, купец, которые целиком принимают сложившийся уклад со всеми его нормами и принципами, химерами и заблуждениями, но лишь до определенного момента, до нравственного переворота.

Рубежные ситуации, идейные кризисы, через которые Толстой, реализуя метод «диалектики души», всегда проводил главных действующих лиц, получают в творчестве нового этапа особое значение. Все последние произведения зиждятся на таких рубежных ситуациях, на кризисных моментах, разламывающих жизненную историю героя на резко отличающиеся, отрицающие друг друга стадии. Такой кризис влечет за собой прозрение, решительное осуждение старого образа существования, обретение нового «разумного сознания», освобождение от «обмана», от ложной и «мертвой» жизни.

По своим взглядам Толстой был идеалистом: он различал в человеке дух и плоть, животное и духовное начало. В «плоти», в материальной субстанции человека, заставляющей его стремиться к своему личному благу, потворствовать казавшимся Толстому низменными и эгоистическими побуждениям, он видел одну из главных причин порочности и неблагополучия современного общественного устройства. Ложной была предпосылка, из которой исходил великий писатель. Но она же сделала его очень чувствительным к подлинным изъянам собственнического строя, ко всем владевшим им «призракам» и фантомам. Проза Толстого этих лет с ее драматизмом, психологическими глубинами, с ее огромным общественным и нравственным содержанием, вечными проблемами жизни истинной и жизни мнимой созвучна сочинениям его великих современников — Чехова, Гаршина, Щедрина, Короленко.

4

«Поэтическая работа», которая так влекла к себе Толстого, по-настоящему завладела им лишь тогда, когда в его творческом сознании возник замысел «Записок сумасшедшего». Работа над этой повестью имела для него принципиальное значение и отвечала его потребности в художественной форме запечатлеть свое изменившееся видение мира, свои сокровенные убеждения. Здесь впервые обозначился тот круг проблем, те драматические коллизии, которые отныне станут определяющими для его творчества, наметился также и тот новый герой, который с некоторыми ва-

риациями станет главным действующим лицом всего повествовательного цикла 80-х годов и последующих сочинений.

Здесь впервые изображается «воскресение» героя, познавшего, что все, чем он жил, «не то», ибо признавал власть над собой «самого страшного соблазна собственности». Но в «Записках сумасшедшего» еще не была найдена ситуация «на краю гроба», которая определит структуру таких шедевров Толстого, как «Смерть Ивана Ильича», «Хозяин и работник», позволит ему реализовать свою концепцию жизни.

«Записки сумасшедшего» остались незаконченными, но уже во время их писания возникли контуры замысла другого произведения, сходного с ним. «Либо «Смерть судьи», либо «Записки несумасшедшего», — записывает он в дневнике (т. 49, с. 87). Этот этюд, в какой-то мере носивший характер эксперимента, открыл долго сдерживаемый шлюз творческой энергии писателя, ибо в потенции содержал в себе зачатки ряда будущих толстовских шедевров. В писательской биографии Толстого 80-х годов наблюдается проявление своеобразной цепной реакции, когда из одного произведения как бы рождается другое, когда тема, намеченная пунктиром в одном, становится основной в другом, написанном вскоре, почти без разрыва во времени.

В такой причудливой форме проявилось стремление великого художника к эпической полноте охвата действительности, к многогранному ее освещению.

Преемственная связь между «Записками сумасшедшего» и «Смертью судьи», получившей впоследствии название «Смерть Ивана Ильича», очевидна. Биография Ивана Ильича Головина — это, в сущности, более развернутая биография мирового судьи из «Записок сумасшедшего». То же «обыкновенное», «ужасное» безликое существование, в котором не участвует и не проявляет себя его индивидуальность. Покорный всем незыблемым параграфам традиционного сословного кодекса, он совершает свой жизненный путь по негласному, но общепринятому уставу: гимназия, университет, служба, брак, сосредоточенность, главным образом, на карьере, чисто прозаических интересах. В первых вариантах повести даже сохранилась жанровая преемственность от «Записок сумасшедшего». Но в процессе работы Толстой отказывается дать «описание простой смерти простого человека, описывая из него» (т. 63, с. 282), отказывается от сковывающей его формы автобиографических записок. Он останавливается на объективном повествовании, в котором смог не только пронизать жизнеописание Ивана Ильича своим взглядом, но и зажечь перед ним «свет истины» и этого, по выражению К. Н. Леонтьева, «прозаического и дюжинного героя... довольного своею буржуазностию», привести к осо-

знанию того, что все, что составляло смысл его существования, оказалось «не то, все это был ужасный огромный обман, закрывающий и жизнь и смерть» [1].

Толстой создал произведение, потрясающее по силе эмоционального воздействия и глубине критики бюрократической России, которая сформировала этот тип чиновника. Он внимательно исследует биографию Головина, для того чтобы понять и обнаружить истоки его «омертвения». «Живым» он был лишь в детстве, когда еще не был отчужден от своей естественной сущности и не включен в систему служебных, официальных отношений. «И что дальше, — замечает писатель, — то мертвее».

Его обесчеловечивание он связывает с участием в деятельности государственного бюрократического механизма, превратившего его в предмет, ценность которого определяется не уровнем личности, а местом, занимаемым на служебной лестнице. В одной из редакций повести было прямо сказано: «И он ехал, везя себя на базар, кому понадобится, кто даст больше» (т. 26, с. 513). А в окончательном тексте существен для авторского замысла эпизод, рассказывающий об энергичной борьбе судьи «за место в пять тысяч». Как и в трактате «О жизни» Толстой считает «смертью» жизнь, которую вел Головин, потому что он всего себя посвятил тщеславному удовлетворению чисто материальных, «плотских» потребностей, рабски следовал всем канонам и установлениям, не думал об «общем благе», об «общих вопросах», был глубоко равнодушен к людям. Иван Ильич, в трактовке писателя,— порождение извращенного общественного порядка, который узаконил, сделал нормой «прием отстранения от себя всех обстоятельств, не касающихся службы, и облечения всякого самого сложного дела в такую форму, при которой бы дело внешним образом отражалось на бумаге и при котором исключалось совершенно его личное воззрение».

В повести Толстой развертывает панораму всей жизни одного чиновника, дабы показать, что бюрократическая болезнь захватила все проявления его личности. Даже такое значительное и интимнейшее событие, как женитьба, совершается формально, деловито и без «личного воззрения». Он женится не потому, что им овладела страстная любовь, влечение именно к этой женщине, женится потому, что «делал приятное для себя, приобретая такую жену, и вместе с тем делал то, что наивысше поставленные люди считали правильным». «Приличия внешних форм, которые определялись общественным мнением», вот что, как и от службы, требовал от семьи Иван Ильич, и поэтому он так и не узнал поэзии «семейного

---

[1] К. Н. Леонтьев. О романах гр. Толстого. М., 1911, с. 59.

счастья», тепла домашнего очага, эмоциональных взлетов и глубоких переживаний. В самом первом наброске повести ее героем было сделано знаменательное признание: «Ложь, обман, ложь, ложь, ложь, ложь, все ложь. Все вокруг меня ложь, жена моя ложь, дети мои ложь, я сам ложь, и вокруг меня все ложь» [1]. Толстой не внес этот абзац в окончательный текст, но его суть осталась, осталась коллизия — безжалостное описание драмы человека, вокруг которого «ложь», и освобождение от нее. Но избавление от «обмана» приходит к Ивану Ильичу лишь в дни предсмертной болезни, в ситуации между жизнью и смертью, когда он оказался выключенным из всей сферы привычных дел и отношений, отторгнутым от притязаний своей «материальной» субстанции.

Проблема смерти, умирания занимает в повести столь же значительное место, как и проблема жизни. «Зло в виде смерти и страданий видны человеку только, когда он закон своего плотского животного существования принимает за закон своей жизни» (т. 26, с. 434), — таково одно из крайне важных для Толстого умозаключений, содержащееся в статье «О жизни» и определившее концепцию повести. Физические и нравственные страдания Ивана Ильича, его страх смерти Толстой ставит в прямую связь со всей неправедной его жизнью, пренебрежением законом любви.

Толстой писал свою повесть, чтобы осудить «животного» человека, его эгоистическое и прозаическое существование, его служение «злу», но на самом деле он вынес жестокий приговор «старому порядку», «нашему времени», формирующему такой человеческий тип, как Иван Ильич, и такую формулу существования. В одном из черновых вариантов на свой вопрос «Как же жить?» Иван Ильич отвечает: «Не суд, не остроги, не казнь повешения, при которой ты присутствовал как прокурор, не винт, не табак, не обед, не гардины и гостиные, а так — запах сена и яблочный сад, Герасим и Володя, так надо было жить» [2].

Мысль Толстого, остро критическая и гуманистическая, билась в тисках противоречий. Полагая, что «новое отношение к миру, новое существо не умещается в существовании плотского человека» (т. 26, с. 411), Толстой «воскрешал» своих героев в момент «ухода», у «пограничной ситуации», ибо обретенная ими истина была абстрактной и наивной и не могла быть реализованной, стать началом новой биографии, такой, в которой гармонически сочетались бы «плоть» и «дух», свое «благо» и «благо» других,

---

[1] Цит. по кн.: В. А. Жданов. От «Анны Карениной» к «Воскресению», изд-во «Книга», 1968, с. 53.

[2] Цит. по кн.: В. А. Жданов. От «Анны Карениной» к «Воскресению», с. 111.

В особенностях взглядов Толстого, в его убеждении, что источник преображения общества не в самодеятельности народа, а в духовно-нравственном пробуждении «хозяина», всех тех, кто на вершине социальной пирамиды, таится разгадка, того, почему так пассивны, кротки и безмолвны его Герасимы, Степаниды, Никиты, Иваны. Слуги, «работники» в рассказах Толстого не запятнаны «ложью», сохраняют человечность, естественность, душевную цельность, но в то же время они лишены самосознания, представления о своем униженном состоянии, бесправии, умиротворены и не участвуют в развитии повествования, в движении сюжета, не создают конфликта.

В прозаическом цикле 80-х годов «Смерть Ивана Ильича» самое масштабное и самое выдающееся произведение, оказавшее и оказывающее огромное влияние на отечественную и мировую литературу.

Идейно-литературным интересам Толстого той поры отвечала лежавшая с 1863 года без движения рукопись повести «Холстомер». Наивное, непосредственное сознание Холстомера — воплощение природности, истинной меры вещей — позволило писателю обнажить абсурдность общества, где сохранилось право собственности на живые существа, произвол, насилие. «Патриархальная толстовская идеология», с ее «полным самого глубокого чувства и самого пылкого возмущения» [1] обличением капитализма, для своего выражения требовала именно такое мировосприятие, наивное и чистое, не опутанное условностями и предрассудками. Вот почему, когда перед писателем оказалась тетрадь со старой рукописью, в которой описывалась судьба несчастного мерина, он вдохновенно принялся за ее переделку. По словам М. А. Стаховича, он признался, «что после тяжелого труда, многолетних писаний философских статей, начав писать литературную вещь, он легко и вольно чувствует себя и, точно купаясь в реке, размашисто плавает в свободном потоке своей фантазии» («Литературный вестник», 1903, № 7-8, с. 256). Сохранив прежнюю композицию и некоторые элементы стиля (эпическую обстоятельность, лирический пейзаж, поэзию земных радостей), Толстой углубляет критический настрой повести, акцентирует трагизм судьбы подневольного труженика, социальные парадоксы [2]. При переработке повести в образе коняги рельефнее выделены черты крестьянской психологии, и не случайно Толстой в наборной рукописи даже восстанавливает искон-

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, с. 21.

[2] См. об этом статью Л. Д. Опульской «Творческая история повести «Холстомер». — «Литературное наследство», т. 69, кн. I,

ное имя реального прототипа Холстомера — Мужик Первый, сын Бабы, — заново пишет сцену смерти лошади и эпилог.

Когда фантазия писателя «придумывала» перипетии судьбы Холстомера, перед его взором стоял образ попранного, униженного, порабощенного земледельца. Вот почему так драматична поведанная им история лошади, участь которой — «труд, унижения, унижения, труд», вот почему столько боли и гнева в авторском голосе. Весь рассказ о мерине подчинен четкой задаче — выявления алогизма общественного уклада, враждебного природе, естественному праву. «Я был пегий,— говорит о себе Холстомер,— я был мерин, и люди вообразили себе обо мне, что я принадлежал не богу и себе, как это свойственно всему живому». Только потому, что он пегий, он превращается в вещь, принадлежащую то конюшему, то гусарскому офицеру, его калечат, лишают возможности жить по законам природы. Пежина играет здесь роль некоего символа, демонстрирующая условность и бессмысленность деления «божьего мира» на разные касты, слои, сословия, с резко противоположным образом жизни.

И в этой повести Толстым представлен особый вариант «обмана», «лжи», к осознанию которого Холстомер приходит после «странного несчастья», ставшего для него «решительным переворотом». Тогда-то он уразумел жестокость и нелепость слов: «мой, моя, мое, которые говорят про различные вещи, существа, предметы, даже про землю, про людей и про лошадей».

Вся повесть — это апофеоз коняг, чьи «божьи жизни» были отданы труду и покорному служению людям. Даже после смерти они продолжали служить добру, участвуя в вечном круговороте жизни. Но вместе с тем в завершающем, поэтическом и эпически величественном эпилоге дала о себе знать толстовская философия непротивления злу, примирения с теми условиями, против которых был направлен весь его скорбный рассказ о Мужике Первом.

И. А. Бунин полагал, что «Холстомер» следовало бы озаглавить «Две жизни и две смерти». Одна из них — жизнь пегого мерина, а другая — гусарского офицера Серпуховского, контрастно противопоставленные одна другой. В трактовку образа Серпуховского писатель на втором этапе работы внес серьезные изменения. Бесшабашный, беззаботный, веселый и добрый гусар был превращен им в никчемного, безнравственного барина-паразита. В его характеристике Толстой прибегает к сатире, обличительной интонации, которая обретает особый смысл оттого, что о его поведении и поступках повествует разумный, неиспорченный цивилизацией Холстомер. Серпуховской с его мертвой, безнравственной жизнью, «грязной старостью» и не просветившей его смертью, в трактовке писателя,— порождение «барства», жертва своих противоестествен-

ных привилегий, позволивших ему жить за счет «холстомеров», нарушить вечные и обязательные для всех законы морали.

Так, написанная более двадцати лет назад, но серьезно переделанная и озаренная светом нового миросозерцания писателя повесть «Холстомер» органически вошла в его прозу 80-х годов.

5

Вскоре после окончания «Холстомера» Толстой набрасывает первую редакцию «Крейцеровой сонаты». Началась длившаяся почти два года мучительная работа писателя над одним из самых сложных его произведений. Уже в описаниях формального делового брака Ивана Ильича, буднях его семейного быта, затаенной вражды супругов предчувствовалась возможность появления самостоятельного сочинения на «семейную» тему. В «Смерти Ивана Ильича» рассказ про «эту любовь ихнюю» был лишь одним моментом в ряду других, входящих в жизнеописание героя. То, что здесь было только намечено, стало основным содержанием «Крейцеровой сонаты».

Проблема «семейного счастья», «мысль семейная», через которую просвечивалось нравственное состояние общества, всегда представляла для Толстого первостепенный интерес. «Отношение мужчины к женщине,— читаем мы у Маркса,— есть *естественнейшее* отношение человека к человеку. Поэтому в нем обнаруживается, в какой мере *естественное* поведение человека стало *человеческим* или в какой мере *человеческая* сущность стала для него *естественной* сущностью, в какой мере его *человеческая природа* стала для него *природой»* [1].

Художественному исследованию того, в какой мере «естественное поведение человека стало человеческим», посвящены два произведения Толстого — «Крейцерова соната» и «Дьявол».

Приступив к работе над первой из них, Толстой первоначально весьма узко представлял себе суть замысла. Несомненно, под влиянием переписки с В. Г. Чертковым, в которой живо обсуждалась проблема брака, чувственной любви, он задумывает сочинение «на тему половой любви». Драму современной семьи, отсутствие гармонии, человечности в отношениях между мужчиной и женщиной, мужем и женой в особенности, Толстой склонен был объяснять плотским характером любви, властью над ними непреодолимой стихии чувственных желаний, коварными шутками «страшного дьявола, кото-

---

[1] «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве» в 2-х томах, т. 1. М., «Искусство», 1957, с. 247.

рый, когда явился повод, сорвался с цепи и пошел чертить» (т. 27, с. 577).

Бесперспективность такого подхода к этой теме осложнила творческий процесс, заставила автора пройти через восемь редакций, создать несколько вариантов сюжетной коллизии, менять сущность характеров действующих лиц. Большую трудность представил для Толстого образ жены Позднышева. То она у него грешная, «плотская», «зверь как зверь, хороший зверок, ласковый, хитрый, красивый и умный» (т. 27, с. 367, первая редакция), то, наоборот, она «добрый, великодушный, почти святой человек» (т. 27, с. 415), то она грешница, открыто изменяющая мужу с художником, и Толстой погружается «в писание повести о том, как муж убил неверную жену» [1]. Не удовлетворенный таким «адюльтерным» поворотом повествования, Толстой намечает иное, более, с его точки зрения, правдоподобное истолкование случившейся драмы, — в нарушении законов природы, рода. «Надо все теперь сначала поправить, — записывает он 2 июля 1889 года в дневнике. — Запрещение рожать надо сделать центральным местом. Она без детей доведена до необходимости пасть» (т. 50, с. 102).

Параллельно претерпел некоторые изменения и образ Позднышева. В первой редакции он горожанин, человек интеллигентного труда, а начиная со второй — помещик. Правда, его человеческий и психологический облик принципиально не менялся, так же как и его нервозно-взволнованная интонация, но значительно расширился диапазон вопросов, затрагиваемых им в своей исповеди, углубилась мотивировка свершившейся драмы. Более резкой стала ироническая критика либерализма, представленного в лице адвоката и передовой дамы, защищающих «европейский взгляд на брак», за которым писатель разглядел оправдание разврата, равнодушие к сути стоящего на повестке дня жгучего «семейного» вопроса.

Вся логика повествования развертывается таким образом, чтобы доказать, что преступление, совершенное Позднышевым, — печальный итог извращения «естественнейшего отношения мужчины к женщине», катастрофического падения уровня нравственности в нашем «европейском обществе», где разрушились все патриархальные связи и жизнь превратилась в «сутолоку существования». «Мы живем в безнравственном мире», «мы не нравственные люди», — признается Позднышев.

Повесть Толстого наполнена огромным социальным содержанием, тема «дьявола» сплелась с критикой современных общественных условий, буржуазности, стала как бы зловещим символом

[1] См.: В. В. Розанов. Литературные изгнанники, т. 1. СПб., 1913, с. 184.

неблагополучия всей системы. Ее неблагополучие, аморальность в том, что при современном жизнеустройстве произошло отчуждение человека от его собственной природы, стала продажной любовь, брак превращен в сделку, «в один обман». «Глядишь на женщину как на предмет наслаждения, хотя бы то была, и даже тем более, если это твоя жена, то ты прелюбодействуешь и грешишь. При исполнении закона хлебного труда совокупление имеет цель личного наслаждения — помощники, продолжатели, но при избытке — один разврат» (т. 50, с. 126), — так расшифровал в дневнике смысл эпиграфа, предпосланного повести, автор.

Драма Позднышева имеет в «Крейцеровой сонате» вполне исторически справедливую и вполне конкретную мотивировку. Тот стереотип жизни, который утвердился среди господствующих классов, превратил любовь и брак в фикцию, грубую имитацию подлинных естественных отношений. В своей жене, как и в тех женщинах, с которыми Позднышев был близок до женитьбы, он видел только объект своих вожделений, «плоть» и был глубоко безразличен к их индивидуальности, духовному миру, влечениям, интересам, чувствам. Его безумная ревность — логическое следствие его грубо-чувственного, не знающего нравственных барьеров отношения к женщине.

Позднышев, который, как и Иван Ильич, тоже «барахтался в гнусной лжи», освобождается от «обмана», «ширм» и прозревает лишь после страшного преступления, когда «в первый раз увидел» в своей жене «человека».

Справедливость критики, трезвость взгляда автора сочетаются в «Крейцеровой сонате» с парадоксами, ложными выводами. Он безоговорочно отвергает «ихнюю любовь», «брак-обман», приковывающий друг к другу людей, между которыми «страшная пропасть», отвергает все суррогаты любви, но при этом проповедует целомудрие, воздержание, безбрачие, отказ от любви вообще, являющейся якобы исключительно велением «плоти».

Его требования аскетизма, отказа от всяких чувственных радостей, от семейного счастья представляли собой противоречивую критику буржуазного прогресса, нравственного состояния элитарного общества. Из всех страстей, владеющих современным человечеством, Толстому самой страшной и опасной казалась «половая плотская любовь», страсть, посягающая на права другого существа, требующая безусловного обладания им, и которая по самой своей природе является собственнической. В одной из редакций «Крейцеровой сонаты» было сказано: «Брак — приобретение собственности», а «мучения ревности» — проявление «негодования на покушение против законной собственности, купленной... дорогой ценой» (т. 27, с. 378—379). Поэтому в повести писатель зача-

стую вопреки всему ее жизненному содержанию, правде трагедии семьи Позднышевых пытался доказать, что супругов ставит в отношения постоянной взаимной борьбы, превращает их в «двух ненавидящих друг друга колодников» властвующий над ними «дьявол», то есть «веление животного человека».

Своего героя, пережившего страшное нравственное потрясение и «увидевшего все в другом свете», вырвавшегося из «пучины заблуждения», писатель ввергает в новую — идею христианского платонического брака. Толстой, видимо, чувствовал, что логика его рассуждений не во всем последовательна, вот почему рассказ ведется то от лица Позднышева, то самим автором, и в повести борются два плана, не всегда адекватные: один — непосредственно художественный и второй — аналитически-публицистический. Отсюда известная неудовлетворенность мастера своим творением. «В художественном отношении я знаю, что это писание ниже всякой критики, — исповедовался он перед Страховым 17 ноября 1889 года,— оно произошло двумя приемами, и оба приема несогласные между собой, и от этого то безобразие, которое вы слышали» (т. 64, с. 334). Несмотря на то что «Крейцерова соната» одно из самых тенденциозных и публицистических художественных сочинений Толстого, все же именно оно потребовало от писателя еще и специального послесловия, в котором он следовал совету Черткова «в заключение прибавить в какой-нибудь форме... более всестороннее освещение вопроса» (т. 86, с. 273).

Так возникло это послесловие — догматически-назидательное поучение, аскетическая проповедь отказа от всех порывов живой плоти, которые вносят в бытие человека высокую радость, могучую творческую энергию, богатство ощущений и переживаний, дают ему счастье. Этим послесловием писатель как бы пытался зачеркнуть «Крейцерову сонату», пафос которой при всех ее оговорках — величественная мечта художника о гуманном гармоничном общественном строе, о неомраченной «естественной» человеческой любви, нравственной и чистой. Именно этот «план» и придал повести такую страстность, взволнованность, полемическую запальчивость и значимость.

С «Крейцеровой сонатой» тесно связана повесть «Дьявол», не случайно написанная в самом разгаре работы над историей Позднышева. Во всех редакциях «Крейцеровой сонаты» варьируется тема «прошлого» Позднышева, с которым он знакомит свою жену, показывая ей свой дневник. И хотя тень «прошлого» нависает над Позднышевым, но не в ней источник драматического конфликта. «Я избегал тех женщин,— говорит о себе Позднышев,— которые рождением ребенка или привязанностью ко мне могли бы связать меня. Впрочем, может быть, и были дети, и были привязанности,

но я делал, как будто их не было. И это-то считал не только нравственным, но я гордился этим». Таившаяся в этом признании действительно драматическая коллизия писателем не реализуется, но почва для нее подготовлена. «А ведь в этом-то и главная мерзость,—говорит Позднышев.—Разврат ведь не в чем-нибудь физическом, ведь никакое безобразие физическое не разврат; а разврат, истинный разврат именно в освобождении себя от нравственных отношений к женщине, с которой входишь в физическое общение».

В «Крейцеровой сонате» внимание Толстого было направлено на изображение трагедии «обыкновенного» брака в среде «образованных классов», в котором греховность «прошлого» героя проявлялась лишь косвенно, в извращенности его сознания, в потребительском взгляде на женщину. За пределами повествования осталось то, что давно и безмерно волновало и тревожило его «думы» и с такой могучей силой прорвалось в «Дьяволе».

В отличие от Позднышева, Иртенев не в состоянии после женитьбы «делать вид, как будто не было привязанностей». Его свободное от каких бы то ни было обязательств сближение с крестьянкой Степанидой жестоко отомстило за себя, превратило его жизнь в ад, привело к гибели. Драма Иртенева в нарушении закона «человечности естественных отношений». Степанида для него не человек, не полноценная личность, а лишь «плоть», вещь, предмет для «шашен», необходимых «для физического здоровья и умственной свободы», служанка сладострастия. Сойдясь с ней, он вначале даже «хорошенько ее не рассмотрел», и «в голову не приходило, чтобы эти отношения... имели какое-нибудь для него значение». Свою жизнь он устраивает так, как будто не существует Степаниды и не было никогда встреч в шалаше. Но свобода Иртенева — фикция; отношения, которым он не придавал никакого значения, именно в силу того, что были «естественнейшей формой связи между мужчиной и женщиной», не могли быть вычеркнуты, преданы полному забвению, они разверзли страшную стихию чувств. Они стали «дьяволом» именно потому, что это была месть природы, бессознательная месть «безличной» женщины, превращенной в объект только чувственных наслаждений, и потому-то ее власть приняла исключительно «плотский» характер.

В «Дьяволе» нет драмы двух жизней, двух существ, нет в нем конфликта, такого, как между Нехлюдовым и Катюшей. Сюжет повести построен на драме одного Иртенева. Степанида все происходящее с нею воспринимает как должное, обыденное. Она не предъявляет никаких прав на барина, внешне совершенно бесстрастна. Но Толстой тонко, одним штрихом дает понять, что и для нее эти лесные встречи не прошли бесследно: опоздавший

на свидание Иртенев не застает Степаниды, но там, где должна была быть их встреча, находит поломанные ветки, обрывки цветов — признаки явного волнения, трепетного нетерпения, с каким она его ждала. И все же на протяжении всего повествования Степанида — это сама природа, невозмутимо-спокойная, как будто бы даже равнодушная, покорная, бесконечно далекая от протеста против своего бесправия, униженности. За нее это делает автор. Не случайно в те дни, когда он торопливо и взволнованно писал эту повесть, в его дневнике появилась запись: «Все ходит и тревожит мысль о том, что рабство, стоящее за нами, губит нашу жизнь, извращает наше сознание жизни» (т. 50, с. 178).

Драматическая история гибели Евгения Иртенева, «отпрыска хорошего дворянского рода», приобрела у Толстого социально-обличительную и гуманистическую трактовку. «Дьявол», чьей жертвой стал молодой Иртенев, не столько «животность», греховность его природы, сколько мистифицированное выражение «извращенности» рабством жизни и сознания, принимающего как норму весь «людоедский строй».

Тревожная мысль о рабстве подсказала писателю иронически-насмешливую интонацию, с какой он высмеивает быт и нравы «обыкновенной» помещичьей семьи с ее внешней благопристойностью, прикрывающей всю неправедность принципов ее существования и исповедуемой ею морали. Драма помещика Иртенева приобрела таким образом вполне социально обусловленный характер. Но оба варианта повести — и тот, где герой кончает с собой, и тот, где он стреляет в Степаниду, свидетельствуют, с одной стороны, о бескомпромиссном отрицании Толстым всякой бесчеловечности, господской психологии, а с другой стороны — о безысходности его идейных позиций.

6

На рабочем столе Толстого еще лежала незаконченная рукопись «Крейцеровой сонаты», а в его дневнике была сделана запись: «К роману или драме. «Духовное рождение». Ему открылась ложь его жизни и истина истинной, и он избирает первый попавшийся путь: отдавать нищим, ходить за больными, учредить общину, проповедовать и ошибается...» (т. 50, с. 166). Еще не было среди сочинений писателя романа «Воскресение», но им уже владел замысел произведения, в центре которого была бы личность, чья литературная биография начинается «духовным рождением», выбором нового типа существования. Сохранилось несколько сделанных им набросков сочинений о правдоискателях, отказавшихся от сословных

привилегий, жаждущих жертвенного служения людям, добрых дел и иногда именуемых им «юродивыми». Опыты Толстого в этом направлении завершились повестью «Отец Сергий», отнявшей у него с перерывами около восьми лет труда. Ее композиция в виде двух жизнеописаний «история жития и музыкальной учительницы», противопоставленных одна другой, наметилась с самого начала. Идейный смысл уяснился лишь в процессе работы. «Нет успокоения ни тому, который живет для мирских целей среди людей, ни тому, который живет для духовных целей один», — в соответствии со своим «учением» набрасывал писатель в дневнике линии сюжетного развития будущего произведения. «Успокоение только тогда, когда человек живет для служения богу среди людей» (т. 53, с. 204). Эта конспективная запись указывает, сколь утопичной, наивной и мнимой была положительная программа писателя, которую он предполагал реализовать в новом сочинении.

Как и во всех произведениях позднего Толстого, и в «Отце Сергии» зримо и достоверно изображены отрицательные полюсы помещичье-дворянской России, чей подлинный лик постепенно открывается Касатскому и вынуждает его к бегству. За всеми его «разочарованиями», «неожиданными открытиями» — реальность состояния общества, государственной системы. За «торжественно-величавой» и дружелюбной маской государя императора, «обожаемого» юными кадетами, обнаруживается растленный и жестокий властелин, грубо разрушающий его семейное счастье. За парадной благопристойностью официальной церкви, за ее святостью скрывается фарисейская ложь, ненасытная алчность, подлая борьба «святых, воспитанных рабством», за свои самые низменные интересы (т. 51, с. 23). Все «пути», через которые в своих исканиях проходит Касатский, оказываются ложными и неправедными. И даже его скитское уединение, его трудный и мучительный подвиг бессмыслен и не служит целям «добра», ибо используется как «средство привлечения посетителей и жертвователей к монастырю».

В повести как бы существуют два плана: один — реальная картина самодержавной России, определенной общественной среды, а другой — эволюция Касатского, стадии его «духовного рождения», которые писатель ради своей «веры» не всегда соотносит с критическим содержанием, с тем, что составляет пафос первого плана. Поэтому становление личности центрального персонажа протекает в известной степени самостийно, в очень узком пространстве, подчиненное законам «житийного жанра».

Все конфликтные ситуации вследствие этого строятся не на борьбе героя с социальным злом, с жизненной грязью, а на его сопротивлении соблазнам, искушениям, порывам греховной плоти,

«дьявольскому» в нем. Психологическое состояние Касатского, его душевные переживания сопрягаются не с внешними обстоятельствами, а с теми эмоциями и настроениями, которые являлись реакцией на исключительность и необычность избранного им бытия. «Приступы половой похоти порождают путаницу мыслей, скорее отсутствие мыслей. Весь мир потемнеет; теряется отношение к миру. Случайность, мрак, бессилие» (т. 52, с. 53),—так в дневниковой записи, непосредственно относящейся к «Отцу Сергию», намечен автором один из важнейших узлов драмы Касатского, хотя и не единственный. «Как только человек немного освободился от грехов похоти, так тотчас же он отступается и попадает в худшую яму славы людской» (т. 52, с. 82), — вот та запись, где была дана формула другого узла, обозначены те испытания, через которые пройдет Касатский в своем стремлении к «божьей жизни».

Однако было бы величайшей ошибкой включить это произведение Толстого в один ряд с теми романами, рассказами, драмами на сексуально-санинские темы, которые мощным потоком хлынули в русскую литературу начала XX века. Своего «Отца Сергия» он писал в первую очередь для того, чтобы оправдать разрыв «блудного сына» с ложным аристократическим миром, светским и церковным, возвеличить его нравственную требовательность, его высокое стремление к всеобщему благу, деятельной жизни, посвященной «нищим и обремененным».

Несомненно, что «кричащие противоречия» мировоззрения великого художника проявились здесь особенно зримо: безоговорочное осуждение власти, господского кодекса жизни, мятежность духа сочетается с прямой проповедью юродства, апологией смиренного, тусклого «жития» Пашеньки и своеобразного религиозного «хождения в народ» Степана Касатского, ставшего после каторги и ссылки безымянным «рабом божьим».

Самого автора это его сочинение не вполне удовлетворяло, и на последней странице рукописи он написал: «Все очень скверно», а Черткову признался, что оно доведено до такой стадии, когда только «связно и последовательно» (т. 88, с. 274).

Из всех задуманных Толстым в 90-е годы повестей, в сущности, закончена была одна—«Хозяин и работник». Вероятно, потому, что для своей главной художественной мысли тех лет он нашел исключительно благоприятную сюжетную ситуацию. В необычной обстановке, грозящей обоим гибелью, на «краю гроба» очутились и «хозяин» и «работник». Как всегда у Толстого, его герои, выброшенные из обычной жизненной колеи, вступают в ситуацию переворота, социального, нравственного, психологического. Меняются ролями «хозяин» и «работник». Никита, униженный, задавленный нуждой, бездомностью, благодаря своему житейскому

опыту, смекалке, мужеству и исконной мужицкой мудрости обнаруживает свое превосходство над Брехуновым, и теперь тот подчиняется ему, следует его воле. Нравственное потрясение, постигшее Брехунова, позволило ему увидеть в своем слуге человека, брата и тем самым утвердить иллюзорную веру писателя в условность социальных перегородок, в их устранимость через прозрение «хозяина».

Логика самого сюжета требовала изобличения всей остроты общественных противоречий, обоснования того конфликта, который будет преодолен через душевное просветление. И с присущей ему изобразительной силой воспроизвел Толстой атмосферу русской деревни конца века, царящие в ней нравы, обычаи, детали быта, сложившиеся характеры, типы, народную речь. Его купец Брехунов, беззастенчивый торгаш, корыстолюбивый и расчетливый, жаждущий наживы, обогащения,—это новый «хозяин» деревни, тот же Разуваев или Колупаев, которых обессмертил Щедрин. В противовес Брехунову, представляющему новую капиталистическую формацию, в Никите подчеркивается патриархальность, незлобивость, бескорыстие, отсутствие собственнических инстинктов. Он «добрый», с «приятным характером», неприхотлив, безответен и рабски покорен. Взаимоотношения деревенских «верхов» и «низов» даны обнаженно, без идиллического покрова, во всей подлинности. Но подчиняясь диктату своей концепции «революции сознания» взамен революции, меняющей всю общественную структуру, писатель дал этому действительному и социально-напряженному конфликту ложное направление, искусственно «снял» его. Ледяное дыхание смерти, ужас небытия преображает «хозяина», приносит освобождение от неистинного существования, сознание, что раб, которым он помыкал, человек, брат ему. Торжественно-мистический финал повествования надуман и не соответствует «трезвому реализму» ее начальных частей.

В начале нового века Толстой-художник еще раз обратился к проблеме «духовного рождения» человека. Он написал небольшой, но очень плотный, удивительно емкий рассказ «После бала». Позади был опыт «Воскресения» и «Хаджи-Мурата», и престарелый мастер сумел создать иную коллизию «переворота», придать ей другое освещение, решить ее в другом ключе. Пафос рассказа тот же, что и предыдущих, — утверждение идеи личного совершенствования, противления автоматизму жизни, борьбы за ее нравственный потенциал. В этом рассказе нет религиозного догматизма, он свободен от проповеднического элемента, от тенденциозного выпрямления фабулы, от прямого вторжения «мысли», действие происходит не в положении «на краю гроба». Импульсом перелома, изменения всей судьбы рассказчика, его отказа от любви, от госу-

дарственной службы является «случай», социально-типический, жизненный, вполне возможный. Поэтому в рассказе, фокус которого — обстоятельно выписанная страшная сцена чудовищного по своей бесчеловечности наказания солдата шпицрутенами, кризис героя предельно мотивирован, а его решение о «неучастии во зле» оправдано и приобретает высокий гуманистический смысл. Совершенство стиля, стройность композиции, драматизм действия в сочетании с эпически-спокойным повествовательным тоном сделали этот маленький рассказ заметным явлением позднего творчества Толстого.

Весь этот прозаический цикл—собственно, один большой роман, в каждой главе которого свой вариант изображения драмы человеческого существования, омраченного «обманами», «ложью», неразумностью современного «жизнеустройства», проблемы извечные, непреходящие, и в каждой из них свои величайшие эстетические открытия.

7

Интерес к сочинениям позднего Толстого как в России, так и за рубежом был исключительно велик. Сразу же после своего появления в печати, а иногда еще до этого они становились объектом острых полемических схваток, идейной борьбы и порой резко противоположных истолкований. Они жадно читались, живо обсуждались современниками, друзьями и недругами, читателями разных профессий и убеждений.

«Смерть Ивана Ильича» была встречена с изумлением, восторгом и на большинство читателей произвела потрясающее впечатление. «Ни у одного народа, нигде на свете нет такого гениального создания, — высказывал свое мнение автору его друг, критик В. В. Стасов.—Все мало, все мелко, все слабо и бледно в сравнении с этими 70-ю страницами. И я себе сказал: «Вот, наконец, *настоящее* искусство, правда и жизнь настоящая» (Л. Н. Толстой и В. В. Стасов. Переписка. Изд-во «Прибой», 1929, с. 74). П. И. Чайковский записал в своем дневнике: «Прочел «Смерть Ивана Ильича». Более чем когда-либо я убежден, что величайший из всех когда-либо и где-либо бывших писателей-художников есть *Л. Н. Толстой»* («Дневники П. И. Чайковского. 1873—1891». М. — Пг. 1923, с. 211). Художник И. Н. Крамской взволнованно писал 21 сентября 1886 г. П. М. Ковалевскому: «Это нечто такое, что перестает уже быть искусством, а является просто *творчеством.* Рассказ этот прямо библейский, и я чувствую глубокое волнение при мысли, что такое произведение снова появилось в русской литературе... Удивительно в этом рассказе отсутствие, полное, украшений, без

чего, кажется, нет ни одного произведения человеческого» (И. Н. Крамской. Письма в двух томах, т. II. М., «Искусство», 1966, с. 261).

Дискуссии, разгоревшиеся на страницах журналов, были вызваны различным отношением к «учению» Толстого, к той «истине», которую он исповедовал и проповедовал в те годы. Демократическая критика в целом признала, что писатель открыл «выдающийся литературный тип», который «в своих различных проявлениях охватывает самые разнообразные круги нашего общества» (Дм. Струнин. Выдающийся литературный тип. — «Русское богатство», 1890, № 4, с. 118). Другой критик отмечал: «Рассказ «Смерть Ивана Ильича»... по необыкновенной пластичности изображения, по глубокой своей правдивости, по совершенному отсутствию каких бы то ни было условностей, прикрас — этот рассказ является беспримерным в истории русской литературы и должен быть признан торжеством реализма и правды в поэзии» и что «самое перерождение является результатом широкой критики современной жизни» («Смерть Ивана Ильича», этюд А. Лисовского. — «Русское богатство», 1888, № 1, с. 182 и 195).

В то же время, стремясь парализовать влияние сложного комплекса идей Толстого, передовые критики того времени пытались несколько смягчить общий восторг, вызванный повестью. Н. К. Михайловский, выступивший в 1886 году со статьями, критикующими социально-нравственную философию писателя, в одной из них заявлял: «Смерть Ивана Ильича», без сомнения, прекрасный рассказ», но «не есть первый номер ни по художественной красоте, ни по силе и ясности мысли, ни, наконец, по бесстрашному реализму письма» (Н. К. Михайловский. Собр. соч., т. VI. СПб., 1897, с. 378). Реакционная критика пыталась использовать имя и произведения Толстого в своих интересах. Так, Ю. Елагин на том основании, что «трагедия Ивана Ильича»—в принадлежности к «мертвенному слою», оторвавшемуся от «стихии народной» («Русский вестник», 1891, № 5, с. 328), выдвигал славянофильскую концепцию преклонения перед стихией народной жизни.

Восторженный отзыв реакционного критика В. П. Буренина, находившего, что «это самый поучительный из всех рассказов, когда-либо написанных, и самый потрясающий», был вызван идейными соображениями. Его выступление, направленное против противников нового направления творчества Толстого, объясняется его намерением «теоретические искания правды» истолковать для доказательства бесплодности «стремлений к насильственным реформам», то есть революций (В. П. Буренин. Журнальный поход против гр. Л. Н. Толстого. — Критические этюды, СПб., 1888, с. 223, 254).

«Смерть Ивана Ильича» приобрела мировую известность. По свидетельству Ромена Роллана, это «одно из тех произведений русской литературы, которые всего больше взволновали французских читателей» (Ромен Роллан. Собр. соч., т. 2. Гослитиздат, 1954, с. 312). Там же он вспоминал: «Я сам был свидетелем того, с каким огромным волнением говорили о «Смерти Ивана Ильича» мои земляки — буржуа из Ниверпэ, которые до тех пор вовсе не интересовались искусством и почти ничего не читали» (там же, с. 220).

Значительно более сложной была реакция на «Крейцерову сонату», которая вызвала целую бурю еще тогда, когда, запрещенная, она распространялась в столицах и провинции в списках. Придворная фрейлина А. А. Толстая вспоминала: «Власть тьмы» и «Крейцерова соната», не пропущенные в печати, переписывались уже сотнями и тысячами экземпляров, переходили из рук в руки, переводились на все языки и читались везде с неимоверной страстностью» («Переписка Л. Н. Толстого с А. А. Толстой». СПб., 1911, с. 56). Из Воронежа Толстому писал его друг Г. А. Русанов: «Я получил от А. Н. Дунаева «Крейцерову сонату» и раз одиннадцать до настоящего дня прочел ее... Экземпляр этот через два дня, по его прибытии ко мне из Москвы, начал путешествовать по Воронежу. Я принужден был записывать просивших у меня «Сонату», чтобы соблюсти правильную очередь... Лица, бравшие у меня Вашу новую повесть, устраивали у себя вечерние чтения, а также давали своим знакомым, которые тоже устраивали чтения у себя, собирая многих слушателей и слушательниц... На вечерах с «Сонатой» слушателей бывало помногу... в одном доме человек сорок, а в другом человек пятьдесят... Я 45 лет живу на свете и ни разу нигде, где я ни жил, я не видел такого возбуждения, вызванного в обществе литературным произведением... «Соната» чрезвычайно задела всех, как обухом по голове треснула. Прения идут ожесточенные; есть и согласные, защитники, есть и несогласные, противники...» (Г. А. Русанов и А. Г. Русанов. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. Воронеж, 1972, с. 256, 257).

Н. Н. Страхов из Петербурга сообщал автору, что «Крейцерова соната» «всех задела», «что целую зиму только об ней и говорили и что вместо: «Как ваше здоровье?» — обыкновенно спрашивали: «Читали ли вы «Крейцерову сонату»?» (Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов. Переписка. СПб., 1914, с. 400—401). Отголоски споров и волнений, вызванных новым сочинением Толстого, слышатся также в письме В. В. Стасова к В. Г. Черткову от 26 декабря 1889 года: «Ну и, конечно, общий восторг! Только на первые 18 глав многие в претензии, зачем это *трактат*, а не *сцены*, по-

добные тем великим сценам, которые еще новый раз делают нашего Льва *единственным в мире* ровней и товарищем Шекспира. На мои глаза, эти последние главы (начиная с 18-й) ни на единый волосок не уступят одному из величайших творений Шекспира — «Отелло» («Исторический архив», 1955, № 2, с. 151). Но далеко не все даже друзья писателя были столь восхищены этим произведением. А. П. Чехов находил, что едва ли можно найти «что-нибудь равносильное по важности замысла и исполнения». Он же заметил в письме к А. Н. Плещеву 15 февраля 1890 года: «Не говоря уж о художественных достоинствах, которые местами поразительны, спасибо повести за одно то, что она до крайности возбуждает мысль». Правда, при этом его возмущала «смелость, с какою Толстой трактует о том, чего он не знает» (А. П. Чехов. Полн. собр. соч., т. 15. М., 1949, с. 15—16), имея в виду рассуждения писателя на медицинские темы. Но когда Чехов прочел «Послесловие», то воскликнул: «...к черту философию великих мира сего! Она вся, со всеми юродивыми послесловиями... не стоит одной кобылки из его «Холстомера» (там же, с. 241). В большинстве статей делался упрек в том, что это не художественное произведение, а «памфлет», причем страшный и безысходный. Критик М. А. Протопопов в статье «Психологический вопрос» утверждал: «Это тяжелое, мрачное, *страшное* произведение, преисполненное злобы и человеконенавистничества... Позднышев — не человек, не личность, не тип, а просто авторская марионетка». Он обвинял автора в том, что он не ищет объяснения в общественных условиях жизни, «утратил всякое чутье действительной жизни» («Русская мысль», 1891, № 8, с. 124, 125, 144). Иной точки зрения придерживался Н. К. Михайловский, который призывал «смотреть на «Крейцерову сонату» не как на замаскированную публицистику», а «исключительно как на художественное произведение». Подчеркивая социальное и нравственное содержание повести, он в то же время высказал свое несогласие с взглядами Толстого, с его отрицанием брака (Н. К. Михайловский. Собр. соч., т. VI. СПб., с. 764).

Серьезную тревогу вызвала повесть в церковных кругах, усмотревших в ней посягательство на церковь, освященную ею семью, на нравственность. Было выпущено множество полемических брошюр, книг, отдельных статей, некоторые из них носили явно черносотенный и доносительский характер. Среди них выделялась брошюра профессора Казанской духовной академии А. Ф. Гусева «О браке и безбрачии» (Казань, 1891), в которой Толстому было предъявлено обвинение в извращении христианства, в проповеди «радикально-социалистических идей» (с. 101).

Из всех художественных произведений Толстого, вышедших в десятилетие 1885—1895, наибольший успех пришелся на повесть «Хозяин и работник». Газета «Неделя» сообщала: «Ни одно литературное произведение в России не распространялось с такой быстротой, как новый рассказ Л. Н. Толстого «Хозяин и работник» («Неделя», 1895, № 12). «Когда рассказ вышел в свет — в первые же дни публика расхватывала несколько изданий... успех «Хозяина и работника» небывалый»,—сообщал критик М. О. Меньшиков. Об этом же писал Стасов дочери писателя Т. Л. Сухотиной: «Мы тут все, вся Россия, а пожалуй, и вся Европа объедаемся теперь до обжорства, до положения риз новой книгой Вашего отца: «Хозяин и работник»... Какая скульптура!» (Сб. Гос. Толст. музея. М., Гослитиздат, 1937, с. 274—275).

Споры вокруг повести, опубликованной в середине 90-х годов, в период активизации общественного движения, приняли отчетливо политический характер. Спор шел о «дорогах», которые могут привести к изменению социальной действительности. М. Протопопов, выступивший со статьей «Удобная мораль», давал понять, что мораль Толстого «удобна» для хозяев, но «не усвоить ее тому, кто сознает в себе не только пассивную силу долготерпения, но и жаждет проявить свою личность в активных, ответственных действиях» («Русское богатство», 1895, № 4, с. 177). В обзоре «Литература и жизнь» Н. К. Михайловский заметил, что из повести напрашивается вывод: «что работником, батраком лучше быть, чем хозяином», но при этом иронически добавил: «Я боюсь, что ни хозяева, ни работники не поверят гр. Толстому» («Русское богатство», 1895, № 3, с. 143).

Если демократическая критика направляла свои усилия на то, чтобы раскрыть иллюзорность непротивленческой философии Толстого, способной оказать отрицательное влияние на «работников», то реакционная критика превратила это произведение в знамя борьбы с революцией. В этом смысле характерна статья реакционного критика М. О. Меньшикова «Сбились с дороги», который утверждал, что требования революционного преобразования общества бессмысленны, ибо «миллионеры отказываются от своих миллионов... аристократы древних фамилий от своих титулов и званий», а «народ всегда и всюду подчиняется безропотно» («Книжки Недели», 1895, № 5, с. 194 и 196).

Меньшикова поддержал В. В. Розанов, обратившийся к Толстому с призывом прекратить свою противоцерковную деятельность («По поводу одной тревоги графа Л. Н. Толстого».—«Русский вестник», 1895, № 8). В защиту Толстого выступил Михайловский, заявивший, что выступление Розанова «пустосветское увещание» и никому не дано «права говорить с гр. Толстым тоном знаменито-

го архимандрита Фотия» («Русское богатство», 1895, № 10, с. 33). Ложное истолкование толстовских идей Меньшиковым опроверг также и Л. Никифоров (в прошлом революционер-народник), автор статьи «Где же дорога?», в которой доказывал, что толстовское неделание—это «призыв к тому, чтобы люди опомнились, перестали связывать свою волю, перестали быть рабами, рабами разных Брехуновых» («Книжки Недели», 1896, № 3, с. 248—249).

Так демократическая критика при всех своих колебаниях поддерживала Толстого, не позволяла заглушить сильные стороны его мировоззрения, фальсифицировать идейный смысл его великого искусства.

Кавказский пленник. Рассказ написан между 11 и 26 марта 1872 г. Впервые опубликован в журнале «Заря», 1872, № 2, был включен в четвертую «Книгу для чтения» (1875). Для отдельного издания 1885 г. (изд-во И. Д. Сытина) Толстой предложил заглавие: «Кавказский пленник, или История о том, как был в плену и бежал из плена русский офицер» (издание не было осуществлено).

В основе рассказа — эпизод из кавказской жизни Толстого, случившийся с ним 13 июня 1853 г., когда около крепости Грозной колонна русских войск подверглась нападению чеченцев. Установлено также большое сюжетное сходство рассказа Толстого с рассказом «Кавказский пленник», напечатанным в 1838 г. в журнале «Библиотека для чтения» (т. XXXI, с. 17—52) за подписью «М. Н.». См. об этом: В. М. Попов. Историко-литературные истоки «Кавказского пленника».— Сб. «Летописи Литературного музея», т. XII, 1948.

Чем люди живы. Работа над рассказом продолжалась с января до осени 1881 г. Впервые опубликован в журнале «Детский отдых», 1881, № 12 и перепечатан в 1885 г. в изд-ве «Посредник».

Сюжет рассказа восходит к обширному кругу сказаний о дивном промысле божием или о судьбах господних неисповедимых, в основе которых ветхозаветный апокриф и талмудическая легенда об ангеле и пустыннике. Толстой воспользовался тем вариантом легенды, которую под названием «Ангел» он услышал от сказителя В. П. Щеголенка летом 1879 г. в Ясной Поляне и прочел в «Прологе», где она под названием «О судах божиих неиспытаемых» помещена за 21 ноября. В тексте восстановлен пропуск, сделанный редактором журнала «Детский отдых» (См.: В. К. Лебедев. О каноническом тексте рассказа Л. Н. Толстого «Чем люди живы».— «Русская литература», 1972, № 2).

Сказка об Иване-дураке... Первый вариант был создан в сентябре 1881 г. 29 сентября 1881 г. С. А. Толстая сообщала Т. А. Кузминской: «...Он без вас написал чудесную сказку, прочел нам, и мы все пришли в восторг. Теперь он ее старательно переделывает и дает в мое издание» (Рукописный отдел Гос. музея Л. Н. Толстого). Впервые опубликована в 12-й части «Сочинений гр. Л. Н. Толстого». М., 1886 (издание, подготовленное С. А. Толстой). Цензурную историю см. с. 399—400 наст. тома. Главным управлением по делам печати 20 января 1892 г. было дано распоряжение за № 430, подписанное Е. М. Феоктистовым: «Воспретить на будущее время перепечатывание брошюры графа Л. Толстого под названием «Сказка об Иване-дураке и его двух братьях: Семене-воине, и Тарасе-брюхане, и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе и трех чертенятах». Тогда же циркулярно было объявлено: «Г-н министр внутренних дел... признал необходимым воспретить розничную продажу на улицах, площадях и других публичных местах, а равно через ходебщиков и офеней брошюры под названием «Сказка об Иване-дураке...» Льва Толстого» (т. 25, с. 717).

Много ли человеку земли нужно. Рассказ написан в феврале — марте 1886 г. и первоначально назывался «Сказка о земле». Впервые опубликован в книге «Л. Н. Толстой. Три сказки», изд-во «Посредник», 1886, и одновременно в журнале «Русское богатство», 1886, № 4. Существует предположение, что сюжет рассказа навеян «Историей» Геродота, в которой приводится скифское предание о предоставлении человеку, обреченному на смерть, столько земли, сколько он может объехать на коне (кн. IV, гл. 7). См.: М. С. Альтман. От Геродота до Льва Толстого.— Сб. «Л. Н. Толстой. Статьи и материалы». Горький, 1963.

Работник Емельян и пустой барабан. Написана в мае 1886 г. Сказка была изъята цензурой из сверстанной 12-й части «Сочинений гр. Л. Н. Толстого». Впервые опубликована в 1891 г. М. Элпидиным в Женеве с примечанием: «Из народных сказок, созданных на Волге в отдаленном от нас времени, восстановил Л. Толстой». В России впервые с цензурными изменениями в сб. «Помощь голодающим». СПб., 1892, и с тем же примечанием, что и в женевском издании. Без цензурных искажений вышла в 1906 г. в изд-ве «Посредник». Толстой использовал сюжет сказки «Пустой барабан» из сборника «Сказки и предания Самарского края. Собраны и записаны Д. Н. Садовниковым». СПб., 1884.

Холстомер. Мысль о написании произведения, в котором главным действующим лицом была бы лошадь, возникла у Толсто-

го еще в 1856 г. «Хочется писать историю лошади»,— записал он в дневнике (т. 47, с. 78). Примерно к этому времени относятся воспоминания И. С. Тургенева, записанные С. Н. Кривенко, о том, как во время прогулки по выгону они остановились возле «несчастного мерина» и «Толстой стал его гладить и приговаривать, что тот, по его мнению, должен был чувствовать и думать». «Он не только вошел сам, но и меня ввел в положение этого несчастного существа,— вспоминал Тургенев.— Я не выдержал и сказал: «Послушайте, Лев Николаевич, право, вы когда-нибудь были лошадью. Да, вот извольте-ка изобразить внутреннее состояние лошади» (С. Н. Кривенко. Из «Литературных воспоминаний». — Сб. «И. С. Тургенев в воспоминаниях современников». М., «Художественная литература», 1969, т. 1, с. 461). Спустя некоторое время Толстой встретился с А. А. Стаховичем, который рассказал ему о судьбе Холстомера. «Судьба этой замечательной лошади,— вспоминал он,— дала мысль моему покойному брату написать повесть «Похождения пегого мерина»... В 1859 или 60-м году ехал я с Львом Николаевичем на почтовых из Москвы в Ясную Поляну. Дорогой рассказал я сюжет повести «Похождения пегого мерина». ...Мне показалось, что мой рассказ заинтересовал графа... Великий писатель много, много лет после смерти «Холстомера» из чужого обычного сюжета написал гениальную вещь» (А. А. Стахович. Несколько слов о «Холстомере», рассказе графа Л. Н. Толстого. — «Литературный вестник», 1903, № 5, с. 255—256). Писать повесть на тему о «пегом мерине» Толстой начал в 1861 г. и работал над ней до 1863 г., когда, не докончив, он прекратил ее писание. В 1885 г. по предложению С. А. Толстой, готовившей издание сочинений Л. Н. Толстого, повесть была вновь просмотрена писателем, переработана и завершена. Первоначальное название «Хлыстомер» заменено на «Холстомер». Впервые опубликована в 3-й части «Сочинений гр. Л. Н. Толстого», 1886.

Смерть Ивана Ильича. Точная дата начала работы над повестью неизвестна. По предположению Н. Н. Гусева, о ней идет речь в письме С. А. Толстой от 20 декабря 1882 г. к Т. А. Кузминской, которой она сообщала: «Левочка... кажется, начал писать в прежнем духе» (Н. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. М., Гослитиздат, 1958, с. 554). Активная творческая работа началась в апреле 1884 г. и продолжалась до февраля—марта 1886 г.

По свидетельству самого Толстого и мемуаристов, прообразом главного действующего лица повести является член Тульского окружного суда Иван Ильич Мечников, скончавшийся 2 июля 1881 г. от онкологического заболевания. Припоминая как-то по-

дробности своей беседы с известным ученым И. И. Мечниковым, Толстой заметил: «В разговоре мы вспомнили, что я знал его брата Ивана Ильича — даже моя повесть «Смерть Ивана Ильича» имеет некоторое отношение к покойному...» (С. П. Спиро. Беседы с Л. Н. Толстым (1909 и 1910 гг.). М., 1911, с. 35). Т. А. Кузминская вспоминала: «Иван Ильич Мечников... послужил... прототипом главного героя в повести «Смерть Ивана Ильича». Жена рассказывала мне впоследствии его предсмертные мысли, разговоры о бесплодности проведенной им жизни, которые я и передала Льву Николаевичу» (Т. А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула, 1958, с. 445—446).

Повесть впервые опубликована в 12-й части «Сочинений гр. Л. Н. Толстого». М., 1886.

Стр. 136. *...у Шармера.* — Шармер — модный портной, услугами которого пользовались высшие круги общества.

...у Донона — Донон — владелец ресторана в Петербурге.

Стр. 138. *...уставы 1864 года.* — Имеется в виду принятый 20 ноября 1864 г. новый судебный устав, отменивший сословный суд и установивший институт присяжных поверенных и гласный состязательный характер судопроизводства.

Стр. 143. *...учреждения императрицы Марии.* — В ведении ведомства учреждений императрицы Марии находились учебные, лечебные и благотворительные заведения (богадельни, приюты, больницы).

Стр. 158. *...логика Кизеветера.* — Кизеветтер Иоганн (1766—1819) — немецкий философ, последователь И. Канта, автор учебника «Логика», переведенного на русский язык.

Стр. 169. *...приезжая Сарра Бернар* — известная французская актриса (1844—1923); зимой 1881/1882 г. впервые приехала на гастроли в Россию.

Стр. 170. *...«Adrienne Lecouvreur»* — драма французских драматургов Огюстена Скриба (1791—1861) и Габриэля Легуве (1764—1812) о судьбе известной французской трагической актрисы Адриенны Лекуврер; была в репертуаре Сарры Бернар.

Крейцерова соната. По свидетельству С. А. Толстой, сюжет повести был подсказан актером В. Н. Андреевым-Бурлаком, посетившим писателя 20 июня 1887 г. «Мысль создать настоящий *рассказ* была ему внушена Андреевым-Бурлаком, — записала С. А. Толстая. — Он же рассказал ему, что раз, на железной дороге, один господин сообщил ему свое несчастие от измены жены, и этим-то сюжетом и воспользовался Левочка» («Дневники

С. А. Толстой. 1860—1891». М., 1928, с. 160). Начатая в 1887 г. повесть была закончена лишь осенью 1889 г. Широкое распространение повести в литографических списках, которая с разрешения автора читалась вслух в знакомых ему домах (напр. у Т. А. Кузминской, А. Ф. Кони), в какой-то мере затруднило ее публикацию. Толстой согласился на ее печатание в сборнике, посвященном памяти редактора журнала «Русская мысль» С. А. Юрьева. Цензура, уже знакомая с текстом повести по рукописным спискам и литографическим изданиям, не разрешила ее печатание в сборнике. Попытки С. А. Толстой включить ее в состав 13-й части собрания сочинений также встретили возражения цензурного ведомства. Начальник Главного управления по делам печати Е. М. Феоктистов в ответ на ходатайства С. А. Толстой писал: «Господин министр внутренних дел... поручил мне известить Вас, что при всем желании оказать Вам услугу, его высокопревосходительство не в состоянии разрешить к печати повесть «Крейцерова соната», ибо поводом к ее запрещению послужили не одни только, как Вы изволите предполагать, встречающиеся в ней неудобные выражения» (т. 27, с. 595). Набранный без цензурного разрешения том был арестован, и С. А. Толстая добилась аудиенции у Александра III, который разрешил печатание повести, но только в собраниях сочинений. Лишь в 1890 г. особым правительственным циркуляром было отменено запрещение издавать ее отдельно.

Впервые опубликована в 13-й части «Сочинений гр. Л. Н. Толстого», 1890.

В тексте исправлена ошибка в описании исполнения «Крейцеровой сонаты» Бетховена (См.: «Лит. наследство», т. 69, кн. II, с. 452).

Стр. 191. *...заповедь об употреблении ut в условных предложениях.* — Речь идет о грамматическом правиле в латинском языке.

Стр. 193. *...Ригольбош* — прозвище парижской каскадной танцовщицы и певицы Маргариты Бодель, выступавшей в 1850—1860 гг. (от слов: rigolo — смешной и bauche — грубый). Прозвище стало нарицательным для определенного типа танцовщиц.

Стр. 203. *...то Шопенгауэры и Гартманы... совершенно правы.* — Толстой называет имена немецких философов А. Шопенгауэра (1788—1860) и Э. Гартмана (1842—1906). Для их философской концепции характерен пессимистический взгляд на жизнь, убежденность в неотвратимости страданий человека в этом мире.

Стр. 204. *...шекеры* — американская религиозная секта, исповедовавшая общность имущества всех ее членов и обязательные для всех труд и безбрачие.

Стр. 210. *...она такова на Трубе, и на Грачевке...* — Имеются в виду Трубная площадь и Трубная улица, которая прежде называлась Драчевкой.

Стр. 231. *...как жена Урии.* — Урия — библейский персонаж, его женой Вирсавией завладел царь Давид в его отсутствие.

Стр. 235. *...В Китае музыка государственное дело.* — В древнем Китае музыке придавалось огромное значение. Ее рассматривали и как точный показатель состояния государства, и как средство упорядочения общества, эмоционального воздействия на него. «В упорядоченном обществе, — утверждалось в конфуцианском каноне «Ле цзи», — музыкальные звуки злобны, тем вызывают гнев людей, а управление там извращенное; в гибнущем государстве музыкальные звуки печальны и тем вызывают тоску, а его народ в трудном положении» (Древнекитайская философия, т. 2. Изд-во «Мысль», 1973, с. 116).

Стр. 236. *...«Элегию» Эрнста...* — Эрнст Генрих Вильгельм (1814—1865) — выдающийся немецкий скрипач и композитор романтического направления. «Элегия» — одно из наиболее известных его произведений.

Дьявол. Повесть была написана в ноябре 1889 г. Толстой в своем дневнике именует ее «историей Фредерикса», так как в основе этого произведения событие из жизни тульского судебного следователя Н. Н. Фридрихса, находившегося в близких отношениях с крестьянкой Степанидой Муницыной. После женитьбы на женщине своего круга он через три месяца убил Степаниду выстрелом из револьвера. Несомненно, что в повести отразились и события из жизни самого Толстого — его связь с крестьянкой Аксиньей Базыкиной в годы, предшествовавшие женитьбе.

20 февраля 1890 г. В. Г. Чертков писал Толстому: «Посылаю вам переписанную новую повесть вашу», которую «хотелось бы поскорее видеть... в печати» (т. 87, с. 11). Речь шла о повести «Дьявол». Получив от Черткова копию рукописи своей повести, Толстой тогда же, в феврале 1890 г., ее просмотрел, поправил и написал новый вариант ее окончания, тот, в котором Иртенев убивает Степаниду. Толстой не хотел, чтоб эта повесть появилась в печати при жизни. Автограф хранился в Петербурге у матери В. Г. Черткова — Е. И. Чертковой.

Опубликована впервые в «Посмертных художественных произведениях» Л. Н. Толстого, т. 1, 1911.

Хозяин и работник. Мысль о написании произведения на аналогичную тему возникла у Толстого еще зимой 1892—1893 г. Впервые он упоминает об этом замысле в дневниковой

записи от 6 сентября 1894 г.: «...продумал очень живой художественный рассказ о хозяине и работнике» (т. 52, с. 137). Работа над рассказом продолжалась до января 1895 г., когда он был отправлен Н. Н. Страхову для передачи в журнал «Северный вестник», где и был впервые опубликован в 1895 г., № 3. Одновременно в изд-ве «Посредник» и в 14-й части «Сочинений гр. Л. Н. Толстого», 1895.

Стр. 296. *...дворник* — владелец или содержатель постоялого двора.

Стр. 312. *...книгу Паульсона.* — Имеется в виду популярная «Книга для чтения», составленная в 60-х гг. известным педагогом И. И. Паульсоном (1825—1898).

Отец Сергий. Замысел повести возник у Толстого в конце декабря 1889 — начале января 1890 г. В промежутке между мартом и маем 1890 г. была написана первая редакция. Работа над повестью продолжалась до лета 1891 г. Возобновилась только в 1898 г. в связи с необходимостью собрать средства в помощь преследуемым царским правительством духоборам, переселявшимся в Канаду. Не считая ее законченной, Толстой не стал ее публиковать. Однако он продолжал думать о ее завершении. В 1900 г. при встрече с Горьким Толстой изложил ему содержание «Отца Сергия». Повесть произвела на слушателя сильное впечатление: «...я слушал рассказ, ошеломленный и красотой изложения, и простотой, и идеей», — вспоминал Горький (М. Горький. Собр. соч., т. 28. Гослитиздат, 1952, с. 137). Источник повести — житие Якова Пустынника, сюжетную канву которой использовал Толстой.

Впервые опубликовано в «Посмертных художественных произведениях Л. Н. Толстого», т. 1, 1911.

Стр. 348. *...проскомидия* — первая часть православной литургии (церковного богослужения).

Стр. 350. *...канонархи в стихарях.* — Стихарь — длинная с широкими рукавами одежда дьяконов (канонархов) и дьячков при богослужении.

Стр. 362. *...о неправедном судье...* — Возможно, имеется в виду древнерусская повесть «Шемякин суд», в которой сатирически используется притча Соломона о праведном судье.

Стр. 365. *...праздник преполовения* — церковный праздник между Пасхой и Троицей.

После бала. В июне 1903 г. Толстой записал в дневнике три сюжета новых произведений, среди которых был «рассказ о бале и сквозь строй» (т. 54, с. 177). Работа над ним началась

и продолжалась в течение августа. 9 августа Толстой сделал в дневнике пометку: «Написал в один день «Дочь и отец». Недурно» (т. 54, с. 189). На следующем этапе работы рассказ назывался «А вы говорите» и лишь в окончательном варианте писатель определил его название «После бала». В основе рассказа действительное событие из жизни С. Н. Толстого — брата писателя. Для описания сцены наказания шпицрутенами Толстой использовал мемуары Л. А. Серикова (см.: «Русская старина», 1875, № 9).

Рассказ при жизни Толстого не был опубликован. Впервые напечатан в «Посмертных художественных произведениях» Л. Н. Толстого, т. 1, 1911.

Стр. 384. *...Альфонс Карр* — французский писатель (1808—1890), автор многочисленных романов и повестей, легко читаемых, веселых и ироничных. Толстой его любил и называл «милым остроумным французским писателем» (т. 1, с. 114).

СОДЕРЖАНИЕ

Толстой Л. Н.

Т 54 Собрание сочинений. В 12-ти томах. Т. 10. Повести и рассказы. 1872—1903. Примеч. С. А. Розановой. Оформл. худ. И. Жихарева. М., «Худож. лит.», 1975.

432 с.

В настоящий том вошли повести и рассказы позднего периода творчества Л. Толстого. Среди них избранные народные рассказы, рассказы-притчи, сказки. Большое место в томе занимает широко известный повествовательный цикл 80-х годов. В повестях «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната», «Хозяин и работник», «Дьявол» великий писатель обнажил состояние современного ему русского общества, трагические стороны жизни человека, выступил как критик и обличитель дворянско-буржуазной России и в то же время высказал свою глубокую веру в «работников», в народ.

Т $\frac{70301-038}{028(01)-75}$ **подписное** **Р 1**

Лев Николаевич
Толстой

Собрание сочинений
том 10

Редактор
Ч. Залилова

Художественный редактор
С. Данилов

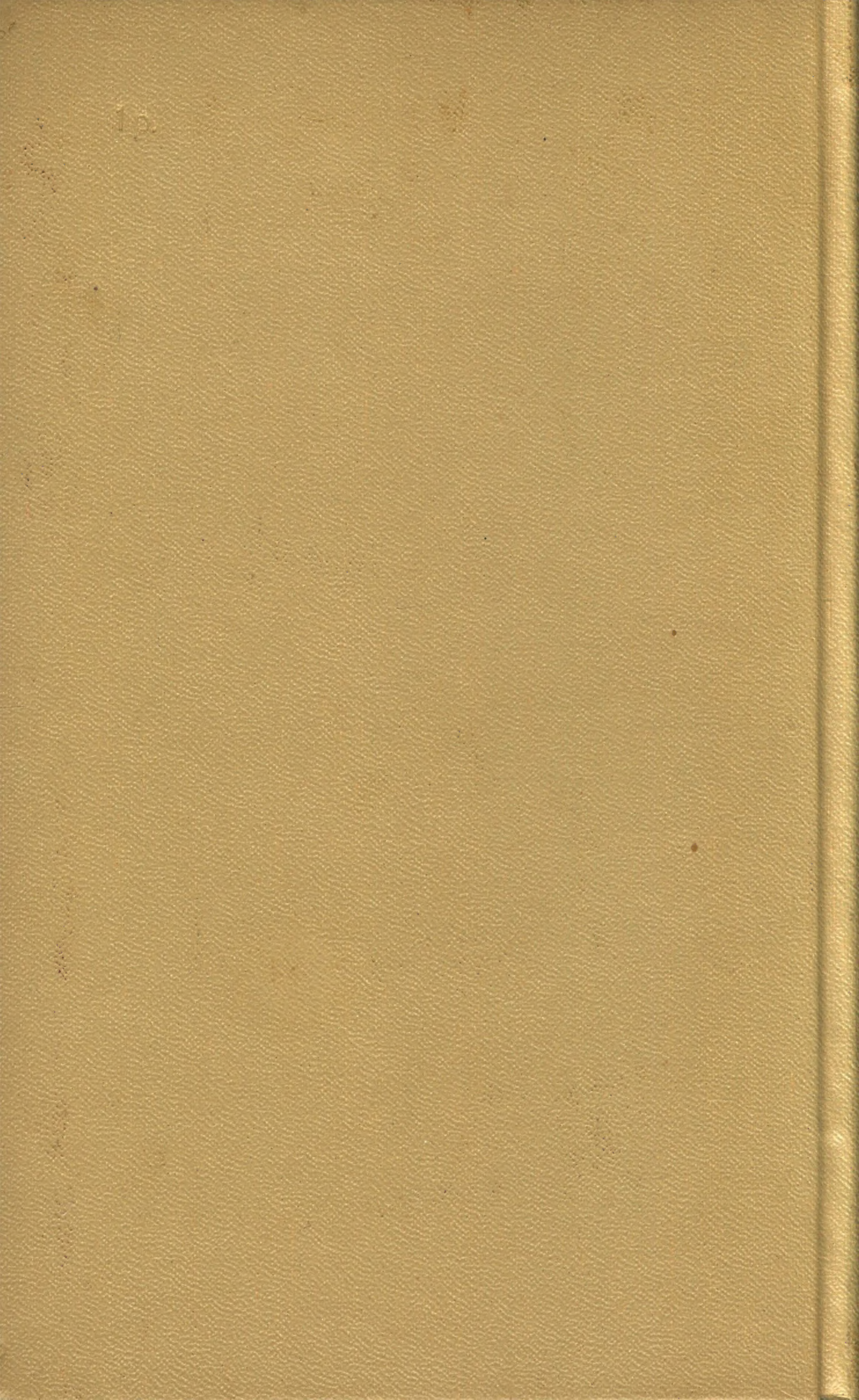
Технический редактор
О. Ярославцева

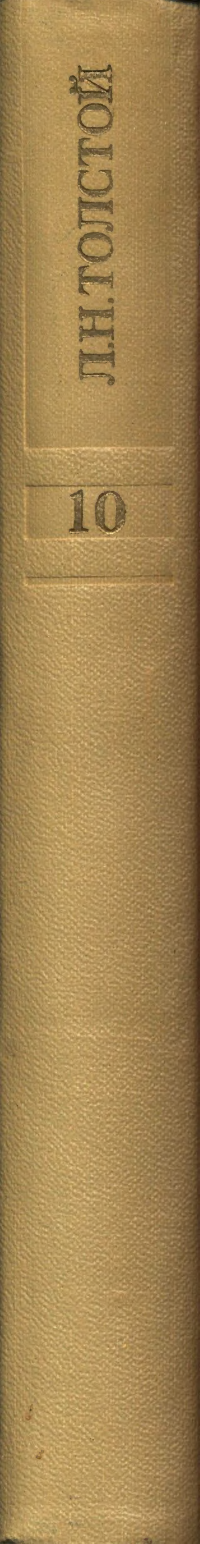
Корректоры
Г. Ганапольская и *Н. Замятина*

Сдано в набор 10/IV 1974 г. Подписано к печати 18/XI 1974 г. Бумага типогр. № 1. Формат 84×108[1]/32. 13,5 печ. л. 22,68 усл. печ. л. 23,78 уч.-изд. л. Тираж 300 000 экз. Заказ № 1437. Цена 1 руб.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26.


1p.


Л.Н.ТОЛСТОЙ
10